

ЗВЕЗДА

1999 5

- Василь Быков
Рассказы.
- Сергей Гандлевский
Чтение. Одноактная пьеса
- Владимир Маразмин
Возвращенец.
- Жан Лакутюр
17 брюмера генерала де Голля.



Семнадцатого мая Галине Васильевне Старовойтовой исполнилось бы пятьдесят три года. Вместе с ее друзьями и коллегами я пришел к Ольге, сестре Галины. Ольга показывала фотографии сестры, статьи о ней, газеты с ее выступлениями, телеграммы коллег, единомышленников Старовойтовой. Кто-то из них полгода назад стоял в тридцатитысячной очереди на площади Искусств, чтобы увидеть Галину в последний раз. Другие живут в Москве, Ереване, Токио, Сумгаите, Лондоне, Грозном, Берлине, Нью-Йорке, в городах, поселках и деревнях, названия которых мы узнавали впервые. Подписи под текстами: Борис Ельцин, Левон Тер-Петросян, Егор Гайдар... Один из американских конгрессменов сообщил о выдвижении Галины Старовойтовой на соискание Нобелевской премии мира...

Жаль, что миллионы грузей Галины не знают семью Старовойтовых, то есть Ваших, Ольга, родителей.

Мама работала ученым секретарем и заведующей аспирантурой, затем в исполкоме. Папа, Василий Степанович, — настоящий самородок. Родился в глухой белорусской деревне, родители его грамоты не знали. В шесть лет был принят не в первый, а сразу во второй класс, так как умел уже и читать, и считать. Школу папа закончил уже в Гомеле, на одни пятерки. И поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Закончил его блестяще. Потом всю жизнь — в оборонной промышленности. Один из самых «закрытых» людей в стране. Защитил докторскую, написал несколько учебников. Стал директором головного института оборонной промышленности — ВНИИТрансмаш. Новейшее оборудование для танков, лазерные ошеломительные установки. Василий Степанович — один из авторов ходовой части «лунохода». Он награжден многими орденами, медалью Королева, стал лауреатом Ленинской премии, а в январе этого года — кавалером ордена новой России — «За заслуги перед Отечеством». Но «закрытый» отец не закрывал нам с Галей глаза на положение в стране и характер властных структур.

Нам известно, что Галина научилась управлять современным танком. Как все же случилось, что она избрала сугубо гуманитарную профессию?

В школе Галя прославилась как руководитель исторического кружка. Интерес ее к истории — отсюда же, откуда все остальное, — из семьи, от мамы. Благодаря Римме Яковлевне Галя понимала, что вариант «истории», предлагаемый нам школой, — лжив, и стремилась найти правду. В шестьдесят втором году Галя участвовала в создании Кировской коммуны. Условно я бы сегодня назвала это

ЗВЕЗДА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ

Издается
с января
1924
года

5

1999

Санкт-Петербург

Из общего тиража этого номера в 9700 экземпляров Институт «Открытое общество» выкупает 4333 экземпляра и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ.

Учредитель: АОЗТ «Журнал «Звезда»

Директор Я. А. ГОРДИН

Соредакторы: А. Ю. АРЬЕВ, Я. А. ГОРДИН

Редакционная коллегия:

**К. М. АЗАДОВСКИЙ, Ю. Ф. КАРЯКИН, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР,
Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ, М. М. ПАНИН,
Б. М. ПАРАМОНОВ (Нью-Йорк), В. Г. ПОПОВ, А. Б. РОГИНСКИЙ,
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ,
А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ**

Редакция:

**М. М. ПАНИН, Н. А. ЧЕЧУЛИНА (проза); А. А. ПУРИН (поэзия);
Н. К. НЕУЙМИНА (публицистика); А. К. СЛАВИНСКАЯ (критика)
Зам. гл. редактора В. В. РОГУШИНА. Зам. гл. редактора В. И. ЗАВОРОТНЫЙ
Зав. редакцией А. Д. РОЗЕН. Отв. секретарь А. А. ПУРИН
Корректоры: Ф. Н. АВРУНИНА, Н. В. ВИНОГРАДОВА, О. А. НАЗАРОВА
Компьютерная группа: Ю. А. СМИРЕННИКОВ, Н. П. ЕГОРОВА, О. В. МУРАТОВА**

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Звезды» запрещена.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Информацию о журнале «Звезда»
и краткое содержание всех номеров журнала
можно найти в INTERNET по адресу:
tt. @ russia. agama.com

Подписаться на журнал можно непосредственно в редакции.

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48, зав. редакцией —
(812) 273-37-24, редакция — (812) 272-71-38, факс — (812) 273-52-56
Отдел реализации — (812) 273-76-92

© «Звезда», 1999

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Путаница-путница,
девушка-душа,
кровь по капле спустится,
как с карандаша

буковки на чистое
пространство листа,
где вопит неистово
пуща-пустота.

* * *

В предсонье сочиняя и забыв
наутро всё... О Господи, избавь —
не от забвения, от сочиненья,
от сонных мар, от маревных зыбей,
от вылазок без лампочки в забой,
где скоро дотрухлявеют крепления.

* * *

...Господь!
этот воздух запустевший только плоть
душ...

Первая-то рифма каждому слышна,
а вторая — «плоть-душ»,
Господи, прости меня, так ли я смешна,
дуя все в ту же да ту ж

дудку двуединую, душ плоть
выманивая на свет?
Дай мне в огороде лебеду полоть
с тою, чей восход воспет.

* * *

По Петроградской стороне,
по проходным дворам,
двадцать пять лет тому назад
— назад или вперед? —
а нынче это не родней,
чем Люксембургский сад,
и веницейский тарарам,
и тот ночной полет

над океаном, по горам
недвижных облаков,
где пыль и даже пыль веков
навек вмерзла в лед,
и двадцать пять минувших лет —
как один миг, как взгляд,
как листопад столетних лип
в неназванной стране...

* * *

И виждь,
и слышь,
и дождь,
и сушь,
с очей и с уш
пыль отряхни,

смахни с плаща
капли дождя,
ты жив,
ты суц,
как мох
и хвоц.

Наталья Евгеньевна Горбаневская — поэт, с 1975 г. — в эмиграции, автор сборников «Стихи» (Frankfurt/M., 1969), «Побережье» (Ann Arbor, 1973), «Три тетради стихотворений» (Времен, 1975), «Перелетая снежную границу» (Paris, 1979), «Не спи на закате» (СПб., 1996), «Кто о чем поет» (М., 1997) и др. Живет в Париже.

© Наталья Горбаневская, 1999

* * *

Зацепляя подолом траву,
не спросясь, чего просит утроба,
проторивши в бурьяне тропу,
не отступишься тучного тропа.

И до той, Покрова-что-на-Рву,
не покатишь коляску, как встарь,
как стакан прижимая ко рту
пожелтевший стенной календарь.

* * *

Когда глаз на затылке,
а ухо во рту,
затворишь и застынь
в глухоту, глухоту.

Когда в мыслях трещотка,
а мозги на мосту,
каждой мышцею щек
в немоту, немоту.

И летучего облака
не достает
зацепившийся обок
восковой самолет.

* * *

Расточительный парад
облаков, повисших сохнуть
на веревке бельевой.
Что мне — ахнуть или охнуть,
когда гложнет аппарат
ухо-слухо-глуховой?

Наволочкой облака
не покроет лоб рука,
не промолвит ни полслова,
не ответит на вопрос:
где он, ухо-горло-нос
маiorа Ковалева?

.....
Порубивши лес на щепки,
не обломит лоб рука.
Расцепляются прищепки,
отлетают облака.

* * *

Это волшебство, колдовство,
волхвование...
Но да будет, верую, воля Твоя,
чтоб Тебя хвалило в с я к о е дыхание,
а не только подобное пенью соловья,
а и мое грешное, частое, короткое,
Бог весть что бормочущее хрипlouю
глоткою.

* * *

И весь-то труд — глазеть в окно
автобусов и электричек,
чтобы с мотором заодно
урчал ручей журчащ~~ж~~ строчек.

А время, вместо быть пустым,
течет и полнится журчанием,
как ключ, пробившийся в пустыне,
как луч из туч светлом нечаянным.

* * *

охотники рыщут
по темным борам
меня зайца ищут
по рвам по буграм

а я зайныка
а я серенький
в лощинку забьюсь
в щели схоронюсь

вымерзаю как
цветик синенький
в осеннем бору
на зимнем ветру

охотники рыщут
трубят в рога
меня зайца ищут
своего врага

* * *

Тук-тук в твоей груди
ничем не знаменит,
от всех укрыть изволь
непрошеную боль,
неторопливый пот,
готовящий в расход.
Струись, эфир, гуди
от пенья Аонид.

Ночной зефир, струй
эфирные масла,
сирень и резеду,
крапиву-лебеду,
предугреннюю дрожь,
и васильки, и рожь.
Ты веришь, что ручьи
река времен спасла?

ВАСИЛЬ БЫКОВ

РАССКАЗЫ

ПОЛИТРУК КОЛОМИЕЦ

К вечеру бой затих.

На изуродованную землю постепенно осела поднятая бомбежкой пыль, в чистой небесной выси зажглись первые звезды. Комполка Пахомов и политрук Коломиец выбрались из бомбовой воронки и, встав на ее краю, оглянулись на то, что осталось от занятого ими вчера железнодорожного разъезда. В общем, разъезда не было. Глинобитная казарма для рабочих и пакгауз рядом напоминали о себе лишь темными горбами на закраине такого же черного неба; поодаль вонюче дымились разбросанные взрывами штабеля шпал. От ряда стройных тополей возле дороги остались обгрызенные взрывами обломки с обвисшими прутьями сучьев. Хорошо, однако, что остались эти тополя, а то бы и не узнать, где находился разъезд, думал политрук. Час назад во время жестокой бомбежки невозможно было и предположить, что тут что-то уцелеет — от этого разъезда или полка, в спешке окопавшегося рядом в сухой окаменевшей земле.

К ночи донимавший людей дневной зной стал опадать, хотя горячий сухой из степи еще приносил мало прохлады, разгоряченное тело горело под пропотевшим обмундированием, очень донимала жажда. К несчастью, колодец возле казармы с утра был разворочен, засыпан взрывами, бойцы из саперного взвода как-то пытались добраться до воды, но пока без результата. Политрук Коломиец между тем долго и старательно стряхивал с себя пыль и землю, рядом, уронив голову, присел командир полка. Недостаток воды вызывал у него новую заботу, на время вытеснив из сознания все остальные. Вода была нужна бойцам, нужна для кухни; еще более нуждались в ней пулеметчики, три «максима» которых совершенно обезводились и не стреляли; в два последних собрали остатки воды из фляг. Сегодня полк выдержал шесть жесточайших бомбежек — сначала трех «хейнкелей», потом девяти и пятнадцати, а потом уже никто и не считал их. Правда, людские потери были умеренными, все-таки бойцы успели кое-как окопаться с утра поодаль от железнодорожных путей в поле. К несчастью, убило последних двух лошадей, таскавших полковую кухню, и теперь ни воды, ни провианта привезти было не на чем. Наверно, действи-

Василий Владимирович Быков (род. в 1924 г.) — прозаик, автор многочисленных книг, наибольшую известность получили романы и повести «Круглянский мост», «Мертвым не больно», «Дождь до рассвета», «Сотников», «Пойти и не вернуться», «Карьер», «Знак беды». Живет в Минске.

тельно придется погибать на этом проклятом разъезде, думал командир полка. Отсюда уже не отступишь, как отступали от самого Воронежа. Вчера, только они успели занять этот разъезд, прискакал порученец комдива и вручил под расписку приказ Верховного номер 227 под девизом «Ни шагу назад!». Умри, но не отступи. Это касалось всех — от командарма до последнего бойца, что бы он ни оборонял — город, станицу или такой вот разбитый, почти сровненный с землей разъезд. Порученец сообщил также, что уже есть и результаты неисполнения приказа: в соседнем полку отдали под трибунал одного комбата и расстреляли на месте ПНШ по разведке. Было от чего опечалиться.

— Так что делать будем, комиссар? — нарочито бодро спрашивал в темноте приунывший командир полка.

— Будем стоять, — просто отвечал политрук Коломиец. — Что же остается...

— Другого не остается, — скупно соглашался комполка. Обсуждать приказ не полагалось, тем более приказ Верховного.

— А где та станица? Далеко? — с новой озабоченностью спросил политрук, припомнив другой приказ порученца — устный из штаба дивизии: ночью получить пополнение. Сколько было того пополнения, он не знал, но прежде всего полагалось провести с ним политработу, особенно теперь, когда прибыл такой важный приказ. Это уже была обязанность политрука, и Коломиец обеспокоился.

— У Артюха спросите. Который из санвзвода, — сказал комполка. — Он раненых водил, знает.

Коломиец пошел в темноту, тихо окликая Артюха, и вскоре перед ним замаячила приземистая фигура в пилотке, со скаткой через плечо.

— Пойдем в станицу. Дорогу помните?

— Дорогу? Да вон напрямки, через степь, — глухо ответил боец, направляя на плече винтовку.

Возле поваленного через дорогу тополя они свернули в степь. После долгого дневного грохота бомбежек приятно впечатляла почти мирная ночная тишина, деликатно нарушаемая лишь приглушенным стрекотом цикад. Запыленные сапоги отчаянно шуршали в столь же пропыленном сухом бурьяне. Боев поблизости не было слышно, лишь где-то на западе, над мрачным горизонтом время от времени вспыхивали дальние артиллерийские отсветы и едва доносилась артканонада. А так вокруг все притихло, затаилось. Надолго ли, озабоченно думал политрук. Разве что до утра...

— Откуда родом, Артюх? — спросил он бойца, который молча брел следом.

— Я? Да из курских.

— Курский соловей?

— Ну.

— Из города, из села?

— Да с колхоза, — вздохнул Артюх. — Колхозник.

Он сказал это так просто, будто все остальное само собой подразумевалось без слов и ни о чем не было нужды спрашивать. Политрук и не спрашивал. Родом он также был из села, хотя и не из курского — из смоленского, два года перед войной работал директором школы. Перед тем как партиец активно загонял крестьян в колхозы, раскулачивал, ссылал в Заполярье, подписывал на займы, взыскивал налоги. Занимался всем, чем тогда занимались партийцы-активисты в городе и в деревне, чем занималась страна. Колхозная жизнь ему была хорошо знакома, и ныне не возникало желания что-либо из нее обсуждать или вспоминать даже. Куда больше занимала их невеселая действительность на разъезде да этот устрашающий сталинский приказ. Знал, чувствовал, что завтра придется куда как горячо, а выхода не предвиделось. Выход на войне всегда находился в тылу, куда отступали, иногда давали драпа, бежали и тем спасались. А теперь вот за отступление без разрешения — трибунал. Какой позор!.. Опасность наваливалась на них с двух сторон: привычная — со стороны не-

мцев, и новая — с тыла от своих. Если уж такой приказ товарища Сталина, то пощады от начальства не будет — ни бойцам, ни командирам. Хорошо, если повезет с пополнением, дадут обстрелянных бойцов. А если новобранцев, запасников? Да еще хуже — черноголовых из Средней Азии, которые — ни бельмеса по-русски. Вот тут и выполняй приказ Верховного.

Полынь жестко шуршала под кирзачами, политрук прибавил шаг, все-таки за короткую ночь надо было успеть туда и назад. Как бы не опоздать до рассвета. И ему показалось, что Артюх отстает, он оглянулся раз и другой, слегка замедлил шаг. А может, тот и вовсе хочет отстать? — подумал политрук. Такие молчуны способны на все, кто знает, что этот в себе носит. Мало ли их, молчаливых и разговорчивых, исчезало за короткие ночи их отступления, и никто не заметил куда. Но известно куда — домой. «Быстрее нельзя?» — обернувшись, с упреком сказал политрук. Артюх невнятно пробурчал что-то в ответ, но не прибавил шага. Конечно, бойцу что — бойца за отступление под трибунал, может, и не отдадут, отдадут командиров да его, политрука, тоже. Но больше, чем от командиров, исполнение того приказа все-таки зависело от бойцов: побегут в горький час или выстоят? Если побегут, не стерпев, тогда, считай, все пропало, — попробуй, удержи их среди этой голой, прогорклой от полыни степи, не весело рассуждал политрук.

Все-таки они добрели в ночной темени до окраины станицы и за полем подсолнечника в садике услышали тихое шебуршание множества людей. То и дело спрашивая ночных встречных, политрук отыскал в кривобочкой мазанке командира этой маршевой роты — разбитного младшего лейтенанта, который сообщил, что имеет приказ всю роту передать в его стрелковый полк. Коломиец поинтересовался, что за народ в роте, и младший лейтенант охотно рассказал, что все из запасного полка, сформированного на Саратовщине, недавние запасники районных военкоматов. Молодых мало, больше людей среднего и пожилого возраста, в запасном поучились месяц-другой, получили винтовки и — на фронт. Благо — теперь недалеко, фронт приблизился к самым стенам саратовских сел, так что...

Так что с этими вот дядьками, обсевшими садок и подворье и с затаенным вниманием покуривавшими свои самокрутки, и надо идти в полк, оборонять разъезд. Завтра он будет побеждать или умирать — воевать без права отойти хотя бы на сотню метров, как сказал вчера порученец комдива и как требует сталинский приказ. Хорошо, если немцы не пустят танки. Хотя и вчерашней бомбежки, наверно, хватит с избытком для этих необстрелянных деревенских дядек. Вчера под вечер, когда полтора десятка «хейнкелей» со включенными сиренами почти колесами утюжили разъезд, сам политрук боялся сойти с ума от нестерпимой пытки. А как им? Пожилым? Да впервые?

Он получил пятьдесят шесть человек, кое-как построил их — каждого с ладным «сидором» за спиной, с шинельной скаткой через плечо, и повел в степь. Немного отойдя от станичной околицы, остановил возле черной в ночи стены подсолнухов. До рассвета оставалось около полутора часов, разъезд был недалеко. Пожалуй, самый раз было провести политбеседу относительно приказа — разъяснить, воодушевить, призвать — без чего не обходилась ни одна приемка пополнения на фронте. В этом на войне заключалась первейшая обязанность политработника, и Коломиец стремился исполнить ее добросовестно.

Другое дело, как все объяснить, какие употребить слова, чтобы успешнее дойти до солдатского сердца, особенно когда враг рядом, времени в обрез, а оружие... Докопались ли там до воды, с тревогой подумал политрук. А то завтра останутся без пулеметов, и тогда никакой приказ не поможет. Даже сталинский.

— Садись все, — сказал политрук. — И ближе ко мне. Слышали про новый приказ товарища Сталина?

— Слышали... Говорили, — глуховато отозвалось несколько голосов спереди. Бойцы старательно и не спеша усаживались в пересохшем степ-

ном бурьяне. Политрук несколько выждал, пока вокрут утих шорох, и начал беседу — притихшим голосом, по возможности сердечнее, чтобы лучше воздействовать на возбужденные души людей, внимательно ловивших каждое его слово. Все-таки они впервые прибыли на фронт, где уже завтра многим из них придется умереть.

— Товарищи, коварный враг уже в сердце нашей родины, и товарищ Сталин издал приказ: ни шагу назад! Мы должны умереть, чтобы этот приказ выполнить, назад пути для нас нет...

Он и еще говорил, стараясь как можно проще и доходчивее, но что-то у него получалось не так, как хотелось. И он был недоволен своими словами, казавшимися теперь не теми и не такими. А умолкнув, немного выждал, прежде чем начать снова, и тогда услышал хриловатый, какой-то очень далекий от его забот голос кого-то из задних в этой группе людей:

— А завтрак будет, товарищ политрук?

— Завтрак будет, будет завтрак, товарищи. У нас, знаете, вышла неуправка с водой, завалило колодец...

— Завалило, — произнес кто-то поблизости: с недоверием или, возможно, с сочувствием, — так и не понял политрук.

— Знаете, на фронте бои, все случается. Двух лошадей разорвало бомбой, так вот знаете... Но мы, бойцы Красной армии, исполняя присягу, должны стойко переносить все тяготы и лишения и победить. Мы и победим! Мы выстоим, товарищи, и выполним приказ товарища Сталина, скрутим рога Гитлеру и добьемся счастливой жизни. Хорошая жизнь наступит, — почти вдохновенно произнес он вполне вдохновенные слова. Но его слушатели почти не отреагировали на них и угрюмо молчали, словно были не здесь, а где-то совсем в другом месте. И он почувствовал это.

— Знаете, и колхозов не будет. Распустят колхозы, чтобы жили как прежде. Как жили при Ленине, — вдруг неожиданно для себя окончил политрук, внутренне содрогнувшись от собственной нежданной решимости. Люди перед ним как-то странно и вовсе притихли в темени, никто не кашлянул, даже не шевельнулся в бурьяне, и это его взбодрило.

— Не будет колхозов, я вам говорю, будет иная жизнь, только бы нам выстоять нынче, как требует товарищ Сталин. Ни шагу назад!

Призвав, как и следовало в конце выступления, политрук почувствовал, что сказал все. Выложил все свои пропагандистские козыри. Несколько, правда, фальшивые козыри, сам понимал это, но и самые эффективные. Других козырей у него не было. И он сам готов был поверить в сказанное. Наверно, должно быть так. Потому как же иначе? Остальное уже зависело не от него — зависело от противника, фронтовых обстоятельств, этих вот измотанных саратовских мужиков, недавно еще, перед войной, переживших такое, чего не дай бог никому. В госпитале один командир потихоньку рассказывал, как в тридцатые на Саратовщине вымирали колхозные села. Случалось, люди питались человечиною, такой лютовал голод. Имея такое в памяти, вряд ли возможно выстоять и выполнить приказ. Даже самого господ бога.

Час спустя политрук Коломиец привел маршевую роту на разбомбленный разъезд, в предугрненной темени остановил возле воронки командира полка. Посвежевший к утру ветерок тихо шумел остатками листьев на ободранных тополях, удушливым нефтяным дымом вонял недогоревшие шпалы. Воды все не было, еще не докопались. Из земных недр сочилась липкая грязь, которую бойцы осторожно сцеживали в круглые котелки. Заливать в походную кухню было нечего. Завтрак задерживался. Многие из бойцов в то утро так и не успели позавтракать, другие не позавтракают уже никогда. Как только из-за покрасневшего горизонта выкатилось жгучее с утра солнце, снова налетели «хейнкели». Минут двадцать они долбали бомбами и без того разбитый разъезд, затем — пути по обе его стороны. Возле обгоревших остатков штабелей разбили походную кухню. Только самолеты улетели на запад, как из степи появилась пехота в бронетранспортерах. Транспортеры остановились поодаль, в просянном поле, а пехота

неровною цепью двинулась к дымящим руинам разъезда. И тогда с флангов ударили заправленные грязью «максимы», за ними стали дружно бахать винтовки — саратовцы, едва успев окопаться в неглубоких окопчиках-норах, не прекращая, били и били по просу. И, о чудо! Сначала по одному, а потом и дружнее немцы начали пятиться к своим транспортерам, которые уже включили задний ход. «Главное — выстоять! Главное — выстоять!» — повторял в воспаленных мыслях огушенный бомбежкой политрук Коломиец. Вместе с командиром полка он весь бой просидел все в той же огромной воронке. На ее дне, до пояса засыпанный землей, горбился над своим аппаратом боец-телефонист. Связи, кажется, не было. Политрук и комполка чувствовали это, хотя ни о чем не спрашивали, сообразив, что так, может, и лучше. В таком неопределенном положении им сподручнее было без связи — ее отсутствие избавляло их от скверных докладов, гнева и ругани.

А потом были и еще две суматошные атаки. Немцы разбили на правом фланге «максим» и зацепились за дымный от догорающих шпал конец разъезда за стрелками. Тогда тот самый Артюх с группой своих и саратовцев подобрался под огнем к стрелкам и гранатами выбил немцев с разъезда.

К вечеру как-то все помалу затихло, немцы из проса убрались. Севернее в небе вертелась самолетная карусель — «хейнкели» бомбили соседнюю станцию. Комполка с запыленным, обросшим светлой щетиной лицом обернулся к политруку с почти детской радостью в темных глазах.

— Выстояли, ага?

— Ну, — коротко ответил политрук, почему-то, однако, не разделяя его простодушной радости.

— А ты сомневался. И это... Напрасно ты — о колхозах...

— Может, и напрасно, — ответил политрук и выбрался из воронки.

С той самой минуты, как из просяной нивы исчезли немцы и умолкла беспорядочная стрельба на разъезде, в душе у политрука зашевелилось сомнение. Вчера он был почти уверен, что не переживет этого дня (да еще под таким строгим приказом), и заботился лишь о том, как выстоять. Не дать бойцам побежать, оставить разъезд. И вот не побежали и не оставили. Неожиданно для себя и он уцелел, и даже не ранен. И цел-невредим командир полка. И все же...

Действительно, зачем ему было говорить о колхозах?

Уже в глухой темноте на разъезд прискакал конный посыльный из штаба дивизии и передал устный приказ генерала отойти к станице. Памятуя другой приказ, комполка ему не поверил — затребовал письменное приказание. Тем временем, пока посланец ездил по степи, из штаба протянули провод, и комполка услышал знакомый голос комдива. Генерал действительно приказал занять новый рубеж. Получилось так, что хотя полк и выстоял, зато не выстояли соседи, и немцы охватывали дивизию в клещи. Надо было спешить, потому что и без того они потеряли время на выяснение сути приказа и его правомочность. Бойцы торопливо забросали землей шестерых убитых, взяли на руки два десятка раненых. В непроглядном мраке летней ночи колонна двинулась через степь к станице. Саратовцы уже перемешались со старыми стрелками и молча тащились все вместе, жуя на ходу сухари. Впереди колонны шел комполка и рядом — грустный, опечаленный политрук.

Он правильно предугадывал свою судьбу, радоваться было нечему. Как только полк вошел в станицу, возле садка, где вчера собиралось пополнение, их остановила группа командиров. Тут был начальник штаба дивизии, еще какие-то чины. Комполка коротко доложил о дневном бое, и начштаба похвалил полк. Но один или два командира из его штабной группы подошли ближе к притихшей колонне, и тот, что был впереди — кряжистый мужчина в форменной фуражке, — задержался возле политрука.

— Коломиец? — негромко спросил он, глядя в лицо политрука.

— Я.

— Пройдемте со мной.

Коломиец все понял: это был начальник особого отдела дивизии. Тот отделил политрука от полковой колонны и повел куда-то во двор скособо-ченной мазанки, стена которой тускло белела за цветником.

Больше политрука Коломыйца в полку не видели.

«КАТЮША»

Обстрел длился всю ночь — то ослабевая, вроде даже прекращаясь на несколько минут, то вдруг разгораясь с новой силой. Били преимущественно минометы. Их мины с пронзительным визгом разрезали воздух в самом зените неба, визжание набирало предельную силу и обрывалось резким огушительным взрывом вдали. Били большей частью в тыл, по ближнему селу, именно туда в небе устремлялся визг мин, и там то и дело вспыхивали отблески разрывов. Тут же, на травянистом пригорке, где с вечера окопались автоматчики, было немного тише. Но это, наверно, потому, думал помкомвзвода Матюхин, что автоматчики заняли этот бугор, считай, в сумерки, и немцы их тут еще не обнаружили. Однако обнаружат, глаза у них зоркие, оптика тоже. До полуночи Матюхин ходил от одного автоматчика к другому — заставлял окапываться. Автоматчики, однако, не очень налегали на лопатки — набегались за день и теперь, наставив воротники шинелей, готовились кимарнуть. Но, кажется, уже отбегались. Наступление вроде выдыхалось, за вчерашний день взяли только до основания разбитое, сожженное село и на этом бугре засели. Начальство тоже перестало подгонять: в ночь к ним никто не наведался — ни из штаба, ни из политотдела, — за неделю наступления также, наверно, все вымотались. Но главное — умолкла артиллерия: или куда-нибудь перебросили, или кончились боеприпасы. Вчера постреляли недолго полковые минометы и смолки. В осеннем поле и затянутом плотными облаками небе лишь визжали на все голоса, с треском ахая, немецкие мины, издали, от леска, стреляли их пулеметы. С участка соседнего батальона им иногда отвечали наши «максы». Автоматчики больше молчали. Во-первых, было далеко, а во-вторых, берегли патроны, которых также осталось не бог знает сколько. У самых горячих — по одному диску на автомат. Помкомвзвода рассчитывал, что подвезут ночью, но не подвезли, наверно, отстали, заблудились или перепились тылы, так что теперь вся надежда оставалась на самих себя. И что будет завтра — одному богу известно. Вдруг поперет немец — что тогда делать? По-суворовски отбиваться штыком да прикладом? Но где тот штык у автоматчиков, да и приклад чересчур короткий.

Превозможная осенняя стужа, под утро кимарнул в своей ямке-окопчике и помкомвзвода Матюхин. Не хотел, но вот не удержался. После того, как лейтенанта Климовского отвезли в тыл, он командовал взводом. Лейтенанту здорово не повезло в последнем бою: осколок немецкой мины хорошо-таки кромсанул его поперек живота; выпали кишки, неизвестно, спасут ли лейтенанта и в госпитале. Прошлым летом Матюхин тоже был ранен в живот, но не осколком — пулей. Также натерпелся боли и страха, но кое-как увернулся от кощавой. В общем, тогда ему повезло, потому что ранило рядом с дорогой, по которой шли пустые машины, его ввалили в кузов, и спустя час он уже был в санбате. А если вот так, с выпавшими кишками, тащить через поле, то и дело падая под разрывами... Бедняга лейтенант не прожил еще и двадцати лет.

Именно потому Матюхину так беспокойно, все надо досмотреть самому, командовать взводом и бегать по вызовам к начальству, докладывать и оправдываться, выслушивать его похабную матерщину. И тем не менее усталость пересилила беспокойство и все заботы, старший сержант задремал под визг и разрывы мин. Хорошо, что рядом успел окопаться молодой энергичный автоматчик Козыра, которому помкомвзвода приказал наблюдать и слушать, спать — ни в каком случае, иначе — беда. Немцы тоже

шустрят не только днем, но и ночью. За два года войны Матюхин насмотрелся всякого.

Незаметно уснув, Матюхин увидел себя как будто дома, будто он дремал на завалинке от какой-то странной усталости, и будто соседская свинья своим холодным рылом тычет в его плечо — не намеревается ли ухватить зубами. От неприятного ощущения помкомвзвода проснулся и сразу почувствовал, что за плечо его в самом деле кто-то сильно трясет, наверно, будит.

— Что такое?

— Гляньте, товарищ помкомвзвода!

В сером рассветном небе над окопчиком склонился узкоплечий силуэт Козыры. Автоматчик поглядывал, однако, не в сторону немцев, а в тыл, явно чем-то там заинтересованный. Привычно стяхнув с себя утренний сонный озноб, Матюхин привстал на коленях. На пригорке рядом темнел громоздкий силуэт автомобиля с косо наставленным верхом, возле которого молча суетились люди.

— «Катюша»?

Матюхин все понял и молча про себя выругался: это готовилась к залпу «Катюша». И откуда ее принесло сюда? К его автоматчиком?

— От теперь зададут немчуре! От зададут! — по-детски радовался Козыра.

Другие бойцы из ближних ямок-окопчиков, также, видать, заинтересованным неожиданным соседством, повывлазили на поверхность. Все с интересом наблюдали, как возле автомобиля суетились артиллеристы, похоже, настраивая свой знаменитый залп. «Черт бы их взял, с их залпом!» — занервничал помкомвзвода, уже хорошо знавший цену этих залпов. Польза кто знает какая, за полем в лесу много не увидишь, а тревоги, гляди, наделают... Между тем над полем и лесом, что затемнел впереди, стало помалу светать. Прояснилось хмарное небо вверху, дул свежеватый осенний ветер, по всей видимости, собиралось на дождь. Помкомвзвода знал, что если поработают «Катюши», обязательно польет дождь. Наконец там, возле машины, суета как будто притихла, все словно замерли; несколько человек отбежало подальше, за машину, донеслись глуховатые слова артиллерийской команды. И вдруг в воздухе над головой резко взвизгнуло, загудело, хряпнуло, огненные хвосты с треском ударили за машиной в землю, через головы автоматчиков пыркнули и исчезли вдали ракеты. Клубы пыли и дыма, закрутившись в тугом белом вихре, окутали «Катюшу», часть ближних окопчиков, и стали расползаться по склону пригорка. Еще не притихнул гул в ушах, как там уже закомондовали — на этот раз звучно, не таясь, со злой военной решимостью. К машине кинулись люди, звякнул металл, некоторые вскочили на ее подножки, и та сквозь остаток еще не осевшей пыли поползла с пригорка вниз, в сторону села. В то же время впереди за полем и лесом угрожающе грохнуло — череда раскатистого протяжного эха с минуту сотрясала пространство. В небо над лесом медленно поднимались клубы черного дыма.

— О дает, о дает немчуре проклятой! — сиял молодым курносым лицом автоматчик Козыра. Другие так же, повывлазив на поверхность или привстав в окопчиках, с восхищением наблюдали невиданное зрелище за полем. Один лишь помкомвзвода Матюхин, словно окаменев, стоял на коленях в неглубоком окопчике и, как только рокот за полем оборвался, закричал во всю силу:

— В укрытие! В укрытие, вашу мать! Козыра, ты что...

Он даже вскочил на ноги, чтобы выбраться из окопчика, но не успел. Слышно было, как где-то за лесом щелкнул одиночный взрыв или выстрел, и в небе разноголосо взвыло, затрещало... Почуввав опасность, автоматчики, будто горох со стола, сыпанули в свои окопчики. В небе взвыло, затряслось, загрохотало. Первый залп немецких шестиствольных минометов лег с перелетом, ближе к селу, другой — ближе к пригорку. А потом все вокруг перемешалось в сплошной пыльной мешанине разрывов. Одни из мин рва-

лись ближе, другие дальше, впереди, сзади и между окопчиков. Весь пригорок превратился в огненно-дымный вулкан, который старательно толкли, копали, перелопачивали немецкие мины. Оглушенный, засыпанный землей, Матюхин корчился в своем окопчике, со страхом ожидая, когда... Когда же, когда? Но это *когда* все не наступало, а взрывы долбали, сотрясали землю, которая, казалось, вот-вот расколется на всю глубину, разрушаясь сама и увлекая за собой все остальное.

Но вот как-то все постепенно затихло...

Матюхин с опаской выглянул — прежде вперед, в поле — не идут ли? Нет, оттуда, кажется, еще не шли. Затем он посмотрел в сторону, на недавнюю цепочку своего взвода автоматчиков, и не увидел его. Весь пригорок зиял ямами-воронками между нагромождением глинистых глыб, комьев земли; песок и земля засыпали вокруг траву, будто ее никогда и не было здесь. Невдалеке распласталось длинное тело Козыры, который, судя по всему, не успел добежать до своего спасительного окопчика. Голова и верхняя часть его туловища были засыпаны землей, ноги также, лишь на каблуках не истоптанных еще ботинок блестели отполированные металлические косячки...

— Ну вот, помогла, называется, — сказал Матюхин и не услышал своего голоса. Из правого уха по грязной щеке стекала струйка крови.

ПОЛКОВОДЕЦ

Как известно, плохая новость не ходит одна, за ней бежит следующая. Эта следующая настигла Полководца по дороге в хозяйство Мельникова, у которого не заладилось с самого начала: полки не смогли оторваться от днепровского берега. Соседи здорово вырвались вперед, на правом фланге взяли город, за который вчера Полководца поздравил главнокомандующий. Но стоило Полководцу выехать из села, как с КП по радиции передали: на правом фланге неустойка — немцы контратаковали крупными силами, отбросили пехоту за речку. Полководец развернул карту и приказал поворачивать на рокадную дорогу — ехать на правый фланг. Услышав новый приказ, два его адъютанта, молодые подтянутые полковники, передали сигналами приказ остальным машинам — бронетранспортеру с охраной и крытой бортовой с трибуналом, которые по обыкновению сопровождали Полководца в поездках. Вся небольшая колонна начала торопливо разворачиваться на разбитом, тесном и грязном проселке. В «виллисе» все молчали. Молчал, сжав квадратные челюсти, Полководец, уважительно молчали адъютанты, наверно, уже предчувствуя, что их ожидает. Не исключено, что Полководец с ходу вскочит в самое пекло и железной рукой... В силе его железной руки они уже имели возможность убедиться...

Покачиваясь на выбоинах, слегка разгоняясь на ровных местах и выскакивая на невысокие, заросшие мелколесьем пригорки, «виллис», транспортер и бортовая катились навстречу недалекой разрозненной канонаде, которую уже не могло заглушить натужное завывание их моторов. Скоро стало слышать, что бой гремел рядом, за леском, где, как свидетельствовала карта в руках Полководца, по широкой заболоченной пойме протекала небольшая речушка. Кто мог предположить, что немецкие танки именно тут и ударят, думал Полководец. Не хватало им ровняди, что ли? Или уже научились у нас нашей азиатской смекалке? Так или иначе, но факт оставался фактом — ударили именно тут, в этом мало пригодном для того месте. И, как на беду, фронт на этом участке оказался ослабленным: вчера бригаду Черемисина перебросили в центр, на усиление передового отряда, тут же оставался один противотанковый полк и тот, помнится, располагался немного севернее. Пехоте без подкрепления, конечно, пришлось не сладко, вот она и не выдержала. Но обязана была выдержать, на то она и пехота, чтобы всегда выдерживать. Таково ее предназначение во всякой войне и во всякой армии, думал Полководец.

«Виллис» выскочил на песчаный пригорок, поросший редким молодым сосняком, и сразу резко метнулся в сторону, ведущими мостами с хрустом ломая низкие сосенки. Полководец от неожиданности выругался хорошим солдатским матом, едва успев ухватиться рукой в перчатке за металлическую скобу перед собой. Но тут же понял, что ругался напрасно, все правильно. По сосняку уже стегали пулеметные очереди, надо было мотать назад или выскакивать и ложиться наземь. Полководец и выскочил. Немного выждал, а потом, пригибаясь, перебежал выше и упал на сухие вересковые поросли. Перед ним впереди разворачивалась широкая панорама приречной поймы и на ней — позорное зрелище беспорядочного драпа.

Сколько раз за войну приходилось Полководцу наблюдать этот драп, но привыкнуть к нему Полководец не мог и обычно без колебания пользовался испытанным средством. На ошеломленных, обуянных страхом людей следовало воздействовать еще большим страхом изо всех, которые могла предложить война. Рассыпавшаяся по всей ширине поймы пехота бежала к речке, карабкалась на ее берега; некоторые из беглецов уже были на этой стороне и приближались к пригорку. На речном берегу в лозняке дымно польхал скособоченный «студебекер», возле заполошно суетились люди. Другая машина, однако, выбралась из болота и с пушкой на прицепе медленно ползла к пригорку. На ее подножке стоял человек в гимнастерке, без шинели, с обвязанной бинтами головой. «Не командир ли противотанковой батареи?» — подумал Полководец, глядя, как тот что-то кричит или командует, наверно, указывая шоферу маршрут. Сзади из-за речки в различных направлениях неслись трассирующие очереди, на рикошетах огненными пчелами разлетаясь в стороны. Полководец, не оглянувшись, через плечо приказал охране: «Задержать!», и несколько бойцов со старшим сержантом бросились через сосняк с пригорка.

Пока они сорванными голосами останавливали пехоту, Полководец впился взглядом в пойму и дальше — по ту сторону речки, где из леса выползали светло-желтые танки. Полководец уже встречался с ними и знал, что это он решительными действиями своих войск вынудил немецкое командование перебросить их из ливийской пустыни, ради которой они и были окрашены в соответствующий пустыне колер. Но тут не пустыня, тут чаще болота. Теперь они то и дело били из орудий по берегам речки и по беглецам на этой ее стороне. От взрывов танковых снарядов содрогался пригорок.

Рядом и особенно сзади за Полководцем с настороженными лицами лежали человек десять охраны, немного ниже прибежал и вытянулся под сосенкой председатель военного трибунала — франтоватый майор, по всей форме перепоясанный португезями и ремнями, в форменной фуражке на голове. За ним уже расстегивал толстую сумку его секретарь, молодой человек в плащ-накидке. Тот не сводил опасливого взгляда с Полководца, будто от него в этом соснячке исходила наибольшая угроза. Секретарь долго расстегивал сумку, пальцы его дрожали, и сумка почему-то все не расстегивалась. Они выжидали. Не первый раз они выезжали с Полководцем в войска и слишком хорошо знали свое дело. Тем более, что это была их профессия, которую они исполняли, рискуя собственной жизнью. Близкие два разрыва в сосняке вынудили их ткнуться лицами вниз. Никак не отреагировав на разрывы, Полководец продолжал наблюдать за тем, что происходило на пойме.

Кажется, бойцы охраны все-таки задержали передних, самых удачливых беглецов и вскоре вывели из зарослей двух перепуганных пехотинцев с длинными трехлинейками и примкнутыми к ним штыками. Чудом вырвавшись из-под огня, спасшись от немецких танков, те, судя по всему, мало понимали, что здесь происходит, зачем они понадобились этому командиру с суровым, озлобленным взглядом. «Почему бежали? — строго бросил им Полководец, вперив вопрошающий взгляд куда-то под ноги обоим — высокого и низкого, почти мизерного солдатика в облепленных грязью обмотках. — Почему бежали?» Еще не отойдя от ошалелого бега, пехотинцы

молчали. Немного выждав, Полководец махнул рукой — не так им, как кому-то из охраны: «Сдать оружие!»

Наверно, это был определенный сигнал, двое в бушлатах из охраны вырвали у бойцов винтовки и злобно толкнули обоих. Меньшой сразу упал, что-то запричитав непонятное, а высокий стал бессмысленно в испуге проговаривать: «Что, что?..» С этим его «что?» их и затолкали в сосняк, подальше от глаз Полководца, откуда они уже не вышли.

Тем временем старший сержант из охраны привел к Полководцу и офицера со «студебекера». Раненный, с небрежно перевязанной головой, спасая орудие, он на свою беду перебрался через речку, как ему, по-видимому, казалось, на спасительный пригорочек. Это был старший лейтенант с орденом Отечественной войны на груди и ремнем со сбившейся набок пражкой, возле которой болталась, видно, пустая уже кобура. Увидев Полководца, он попытался отпарпортовать:

— Товарищ командующий...

Полководец перебил его тоном, лишившим голоса не только комбатов:

— Где батарея?

— Батарея погибла, товарищ ко...

— Ах, погибла! — прорычал Полководец. — А почему ты, говнюк, не погиб?

— Так я...

— Документы!

Грязными перепачканными в болоте руками старший лейтенант расстегнул пуговку гимнастерки и вынул из кармашка несколько книжечек — офицерское удостоверение, партбилет, вещевую книжку. Их тут же выхватил у него старший сержант, передал трибуналам.

— Расстрелять! — холодно приказал Полководец.

— Товарищ командующий! — хрипло выкрикнул офицер и осекся: Полководец уже озирал пойму.

Старший сержант вскинул к груди новенький вороненый автомат системы ППС, эти автоматы только что поступили на фронт и ими вчера в первую очередь вооружили охрану Полководца. Старший сержант отвел комбата в соснячок, где вскоре щелкнул негромкий одиночный выстрел.

Между тем председатель трибунала и секретарь лихорадочно оформляли документы. Шапка бланка судебного разбирательства была у них предусмотрительно заготовлена загодя, оставалось вписать конкретные фамилии и что-то согласовать между собой. Лежа, майор ближе наклонился к секретарю, который зачитывал: «Военный трибунал воинской части такой-то, рассмотрев в открытом заседании дело номер такой-то по обвинению...» — Как его там?

— Старшего лейтенанта Безуглого, — подсказал майор, развернув удостоверение. — А также рядовых Андреева и Тевелька...

— Андреева и Тевелька, — заполняя бланк, повторял секретарь. — И приговорил указанных к...

— Высшей мере социалистического наказания, — подсказал майор.

— Приговор?.. — вопросительно произнес секретарь.

— Приведен в исполнение, — тревожно оглянувшись, подсказал майор. Судя по всему, он начал торопиться: дело их на этом месте, пожалуй, заканчивалось. Тем более, что немецкие танки, кажется, уже подошли к речке — что-то стало сильно дрожать внизу у основания пригорка. В то время и действительно оглушающе громыхнуло поблизости, — на вереск и сосенки сыпануло песком и пылью, густо обсыпав фуражку и плечи Полководца, бумаги трибунальцев, которые секретарь не успел прикрыть руками. Энергичным движением Полководец стряхнул с себя песок и поднялся на ноги.

— Ну, вы готовы там?

— Так точно! — вскочил и майор.

— Всем к машинам! — бросил Полководец, торопливым шагом сходя с пригорка к своему «виллису». За ним повскакивали и бойцы охраны, все дружно сыпанули из сосняка к дороге.

На том месте, где они только что располагались, остался измятый, обсыпанный свежим песком вереск да две брошенные, с примкнутыми штывками винтовки. Издали сквозь ветви молодых сосенок виднелось что-то белое — может, бинт на окровавленной голове несчастного комбата. С поймы доносилась густая стрельба, наверно, там ладилась какая-никакая оборона.

Командующий навел порядок — немецкие танки тут не прошли.

ЗЕНИТЧИЦА

Ночной путь по полям и перелескам без остатка вымотал их силы, под утро оба они едва не падали с усталости, особенно Нина. Девушка уже не разбирала, где шла, — лишь бы не потеряться, не отстать от своего спутника комбата Колесника, который то шевелился впереди во мраке, то совсем исчезал — пригибался, что ли? Она также останавливалась, пригибалась, стараясь на закрайке светловатого неба заметить его силуэт и направиться следом. Так было в поле. Темная безмесячная ночь с рассыпанной пылью Млечного пути в небе вообще-то скрывала их от немцев, но тут, в прифронтовой полосе, легко было наткнуться на часового, огневую позицию, на бодрствующих немцев возле кухни или какого-либо полевого укрытия. Хорошо еще, что в стороне за лесом то и дело ухали неблизкие орудийные выстрелы, светловатые вспышки от которых на миг обдавали полевое пространство, перерытое траншеями, истоптанное колесами тягачей, танковыми гусеницами, и тем давали возможность кое-что увидеть поблизости.

Под утро они набрали на голый полевой пригорок, изуродованный множеством глубоких воронок — следами недавней бомбежки. Нина заметила, как в одну из них впереди, тихо ругнувшись от неожиданности, провалился Колесник, следом ухнула в воронку сама. Выбравшись из ее пыльной, вонючей глубины, наткнулась на комбата, в нерешительности стоявшего на краю следующей. Впереди наискось по небу промчались огненные пунктиры трасс и тотчас донесся рыкающе-скрипучий звук — это выпустил очередь немецкий «МГ». Издали ему ответил характерный перестук нашего «максима», очереди которого оказались без трассиров, и их не было видно в ночи.

— Поняла? — шепотом спросил Колесник, когда она подошла ближе. — Кажись, добрали.

Он не сказал ничего больше, но и без того она все поняла сразу. Если добрали, значит — до передовой, до своих, значит, там фронт, там свои; теперь только бы перейти этот самый опасный рубеж, и они спасены.

Только вот как перейти?

Прежде всего следовало, наверно, очень спешить, чтобы успеть до рассвета. Но как было торопиться, если впереди, кроме близких своих, еще ближе где-то затаились немцы? Только где? Чтобы их увидеть, надо, чтоб рассвело, но ведь тогда и немцы могут обнаружить их. И комбат Колесник застыл на краю воронки — все вглядывался и вслушивался в тревожно затаенную ночную тишину. Нина опустилаась на землю рядом.

— Надо левее брать, — наконец что-то понял комбат.

Может, и левее, подумала девушка. Как всегда в этой страшной дороге, она надеялась на него, как надеялась прежде в зенитной батарее, где обслуживала прожекторный расчет. Комбат у них был царь и бог, он распоряжался всеми — рядовыми и сержантами, а также двумя лейтенантами — командирами огневых взводов. К тому же в батарее он был старше всех чином, а также возрастом, руководил стрельбой во время бомбежек, получал команды от начальства. Разумеется, все девушки-прожектористки были влюблены в него, хотя рослый, видный из себя комбат будто бы и не выделял никого своей особой симпатией. Но Нина Башмакова все

же чувствовала особенность его отношения к ней и — ждала. Ждала даже, когда самая симпатичная из них, Света Горепашкина, открыто призналась, что влюблена в комбата и он знает о том. Нина надеялась, и ее надежды в конце концов сбылись. Однажды, когда она дежурила ночью, он пришел, вроде для проверки поста, присел с ней на бровке и поцеловал ее. Она тогда как будто помешалась от счастья, когда только было возможно любовалась им вблизи и издали, следила за каждым его движением на батарее. А потом пришло время встреч — тайком, в темени ночи. Но, по-видимому, негодным богу оказалось их короткое фронтовое счастье. За шесть дней окружения батарея была разгромлена, не осталось ни прожектора, ни орудий. Сержант Горепашкина в последнем бою осталась распластанной на бруствере с осколком в груди и окровавленным затылком, погибли оба их командира взводов. От всех зенитчиков вчера осталось пятеро, а потом, когда они перебрались под огнем через шоссе, оказались вдвоем — она и комбат. Где остальные, наверно, уже не узнать. Да и что было горевать о батарее, когда за неделю до того погибла вся армия, которую немцы обхватили в танковые клещи и уничтожили по частям.

Стрельба в отдалении то усиливалась, то затихала. Пулеметы сыпали в ночь пунктирами очередей, в небе вспыхивали отблески далеких артиллерийских выстрелов. За лесом то и дело беззвучно взмывали ракеты, отражая чернотой зубчатые вершины деревьев. Но ракеты были далеко, их отсветы недолго скользили по настороженным лицам двоих, и все пропадало в темени. С разбитого бомбами пригорка они спустились в какую-то травянистую ложбину-овражек и по ней стали круто забирать в сторону. В общем тут было безопаснее, чем в поле, отсветы разрывов и ракет сюда не проникали. Но вскоре их путь перегородили густые заросли кустарника, которые они сперва попытались обойти стороной, но лишь влезли в самую гущу на склоне.

Стало и совсем темно, ветки цеплялись за одежду и безбожно шуршали, они склонялись как можно ниже, но это мало помогало в темноте. Нина особенно боялась отстать, потеряться. Хорошо, что Колесник пробирался осторожно, и она старалась держаться поблизости.

Наконец они выбрались из кустарника. Здесь оказалось свободнее, овраг полого раздался в ширину, но, к их несчастью, начался рассвет. Бой вдали за пригорком вроде бы стал ослабевать или отдаляться — в общем, было не понять. Недалеко пройдя по оврагу, они наткнулись на что-то широко разрытое в его боку, какой-то окоп, что ли. Повсюду в траве под ногами белели разбросанные ошметки бумаг, старые бинты. Рядом валялись два черных ящика автомобильных аккумуляторов. По всей видимости, это был брошенный капонир от какой-то обозной или санитарной автомашины, которая перебралась в другое место. Колесник осторожно вошел в земляное укрытие, поддев носком сапога, отбросил в сторону старый промасленный комбинезон и выглянул наружу. Овражек, плавно понижаясь, тянулся дальше, переходя в недалекий полевой простор, где что-то мелькнуло раз и другой. Похоже, это были трассы от пуль, и комбат замер.

— Стоп! Не вылазь! — негромко скомандовал он Нине, когда та добралась до капонира. — Присядь!

Она приткнулась на корточках под земляной стеной, а он, слегка пригнувшись, взгляделся в продолжение оврага. Наверно, там кто-то находился, мелькнули тускло-светловатые утром трассы выстрелов. Но чьи они были, определить было невозможно.

— Что? Что там? Немцы? — встревоженно спрашивала Нина.

— Может, и немцы, — сдержанно ответил он.

Может, немцы, а может, и свои, к которым они пробирались пятеро суток и до которых, кажется, остались последние сотни метров. Последние и, пожалуй, самые опасные. Стоит только поспешить — и ляжешь, прощитый очередью с той или другой стороны. Комбат Колесник выходил уже из третьего окружения и кое-что в том понимал. Из первого выбирались большой группой под минометным и пулеметным огнем, лезли напролом, лишь

бы как, надеясь на авось, на то, что повезет. Многие полегли там, на хвойной опушке и особенно после, на травянистой пойме возле реки. Некоторым повезло, в том числе и Колеснику. Не зацепило ни пулей, ни осколком... Зато месяц потом просидел на фильтрации — писал объяснения, отвечал на допросах в особом отделе, заполнял анкеты. Как-то, правда, обошлось, хотя подозревали в худшем, особенно насчет батареи. Вроде он ее бросил. Хорошо, что нашелся свидетель, майор из штаба армии, который подтвердил все, что комбат показал в своем первом объяснении. Поверили и снова послали на батарею, в которой пришлось повоевать ровно один месяц. И снова — окружение, разгром. Выбирались мелкими группами ночью. Тогда им повезло — удалось нащупать прореху между соседними немецкими частями, в которую и проскользнули, разве что без матчасти. Орудия накануне подорвали, потому что двинулись в обход, по болотам и бездорожью, с ранеными, четырех из которых несли на самодельных, из жердей, носилках. В тот раз Колесник искренне пожалел, что не погиб в бою, что вышел, потому как дело его оформили в трибунал, и он неделю просидел без ремня под арестом. Да все-таки что-то там у них переменялось или, возможно, дело повернуло в иную сторону, и его срочно направили в батарею, оставшуюся без командира. Принимать батарею пришлось на переправе, к которой он бежал под огнем, но не из самолетов — из танков, уже прорвавшихся к переправе. Тогда бог его миловал, танки отбили, а батарею перебросили на правый фланг армии — на плацдарм, где она и осталась. Лишь они вдвоем уцелели.

— Что? Что там видать? — спрашивала Нина. Не прекращая наблюдать, он слегка обернулся к ней, снял с плеча автомат ППС.

— Ни черта не разобрать. Похоже — передовая.

— Где? Там? — вскочив, девушка встала с ним рядом.

— Вон видишь — столбы. Значит, дорога. За дорогой наши.

— Наши?

— Но там простреливается. Жаль, не успели по-темному.

— Не успели...

Она разочарованно отвернулась от стены капонира, встряхнула головой, закидывая назад короткие светлые волосы. Пилотку потеряла вчера, волосы были пересыпаны землей и пылью от взрывов, извоженная в пыли воронок юбчонка на коленях и бедрах намочила от росы. В кирзовых сапогах давно сбились портянки, но не было возможности переобуться. Комбат, вроде без внимания к спутнице, все исследовал даль, чтобы окончательно убедиться, что там свои. На его моложавом, с отросшей щетиной, чернобрювом лице лежала привычная тень тревожных забот. Ей захотелось, чтобы он взглянул на нее — одарил теплотой всегда желанного для нее внимания.

— Коля...

— Ну, — отозвался он, однако не повернув к ней головы. — Чего тебе?

— Ничего, — сказала она, слегка досадуя. — А мы выйдем?

— Выйдем, выйдем, — ответил он. — Ты сиди, не высовывайся.

Она опустила наземь возле его запыленных сапог и сидела так, сжавшись в болезненно-нервный комочек. Она уже спала с ним — тайком, ночью, когда батарея отдыхала и лишь часовые бодрствовали возле орудий на огневых позициях. В такое время она тихонько пробиралась к его землянке и скрывалась за натянутой плащ-палаткой, возле которой дремал над телефоном связист Блошкин. Любовь у них была молчаливая, жаркая, она сразу хмелела от прикосновения его требовательных рук и его грубоватой ласки и, наверно, не уходила бы от него, если бы не скорый рассвет. Как только начинало светать, торопливо совала босые ноги в остывшие за ночь сапоги и мчалась на пригорок, где размещалась их прожекторная позиция. Потом ждала. Дежурила, сидела в боевом расчете, ухаживала за матчастью, и все мысли ее, все воспоминания уходили за овражек, на батарейный КП, где оставался он. Так хотелось, чтобы он пришел к их прожектору, чтобы снова увидеть его, может, перекинуться словом. Как-то на склоне дня он

и в самом деле наведаясь к прожектористкам, старшина Дуся Амельченко отрапортовала, он ничего не сказал ей, обошел прожектор, молча потрогал ногой толстые жгуты проводов и ушел. Она помрачнела сразу, ушла в землянку и долго лежала с закрытыми глазами. Не набылась она с ним, не налюбилась — все ждала-жаждала, но не было как, не хватало времени. И так до разгрома, когда они очутились вдвоем. Но тут все оказалось иначе — тут он вроде и не замечал ее, да и ей стало не до него — гибель подруг, ошалелое бегство в ночи, кажется, уничтожили в ее душе все другие чувства, кроме всевластного чувства страха, опасности, единственного стремления — спастись. Опять же бессонные ночные блуждания по полям и перелескам, бесконечные игры со смертью отнимали силы, хмельной усталостью мутили сознание. Временами в провалах памяти она переставала ощущать себя, даже понимать, кто она и где очутилась.

Согнувшись у бровки капонира, Колесник молча и пристально вглядывался в широкое устье рва-ложбины, изучая рискованную возможность выскользнуть из западни. А она сидела и ждала, как всегда, во всем полагаясь на него. Усталость постепенно стала овладевать ею, наваливалась дрема, хотя знала она, спать было нельзя. За пригорком слышалась стрельба, вроде бы издали стали бить минометы, но полета мин не было слышно — значит, стреляли в сторону. Значит, там наши.

— Ну что там? — время от времени спрашивала она у комбата.

— Ничего. Сиди...

И она терпеливо сидела, отчаянно борясь с дремой, как когда-то сидела на КП командира дивизии, когда недолго служила в роте связи. В той роте, наверно, можно было служить долго, наверно, та рота в это окружение не попала, вырвалась вместе со штабом дивизии. Вообще-то, конечно, глупая она, Нинка Башмакова, зачем было ей жаловаться в политотдел на их начальника связи Блажного. Но очень уж он стал липнуть к ней — настойчиво, самонадеянно, как это он делал едва ли не со всеми девушками-связистками. Именно потому и пожаловалась, что слишком настойчиво и нагло. Опять же он был старый, некрасивый и, безусловно, семейный, а она тихонько и безответно любила тогда взводного старшего лейтенанта Артаева, который проявлял ноль внимания к ней. Но Артаева вскоре убило на переправе, а она из-за своей неразумной жалобы очутилась у зенитчиков на плацдарме...

Все-таки, наверно, она задремала и вдруг содрогнулась от совсем близких разрывов — уж не в том ли месте, куда им надлежало идти? С испугу она вскочила. Колесник стоял на своем прежнем месте, прислонясь к стене капонира и не отрывая взгляда от местности.

— Что? А?..

Комбат не ответил, и она встала рядом, стараясь понять или увидеть, что там происходит. Уже совсем рассвело, начиналось летнее утро, лучи невидимого из-за пригорка солнца ярко высветили спокойное, с редкими облачками небо. Всюду стало видно, особенно на противоположном склоне овражка, но там было пусто — спокойно лежал пологий, заросший сорняками склон.

За пригорком же разгорался огневой бой — вонзались куда-то пулеметные очереди, приглушенно трещали-лопались звуки винтовочных выстрелов; через головы, с усилием полосуя утренний воздух, пронеслись из тыла тяжелые снаряды. Взрывов, однако, не было слышно, все тонуло в грохоте и треске ближнего боя.

— Там наши! — вдруг с уверенностью сказал комбат и присел с ней рядом.

— Так пойдем! — встрепенулась она.

— Попробуем. Только...

— Что? Там немцы?

— Немцы, конечно. Но...

Снова вскочив, он прилип к стене капонира — статный, в командирской обмундировке, с портупеей через плечо, тремя кубиками в черных,

артиллерийских петлицах. Командир. Комбат. Для всех комбат, а для нее с какого-то времени — Коля.

Она понимала это его *но*: сейчас наступало самое для них важное и самое страшное. Или они наконец вырвутся из этой смертельной западни, или оба лягут на самом пороге к спасению.

Конечно, погибнуть она всегда боялась, но, может, больше, чем гибели, боялась плена. Она уже была слышана, как поступают немцы с пленными, особенно девочками — это было похуже смерти. Может, потому она за весь этот путь к спасению берегла единственную свою «лимонку», что неудобно болталась при ходьбе в кармане юбки. Граната не для немцев, это была граната для себя. В последний свой час. Правда, на батарее у нее была и винтовка образца 1891/30 года (длиннющая, с тонким штыком), но эту винтовку она оставила на позиции после ужасной бомбежки. Заваленная землей, сама кое-как выгреблась из-под завала, а винтовку искать не стала. Пусть пропадает винтовка, дал бы бог ноги. Ноги ее и спасали, как, впрочем, и всех остальных в этой ужасающей круговерти.

Колесник тем временем понял, что вроде бы наступал момент, к которому они стремились. Чувствовалось почти определенно, что за теми придорожными столбами, может, немного поодаль — наши. Он так стремился туда и даже порой терял веру, что это осуществится.

Теперь последний рывок, и они среди своих. Но что после?

Вот это *после* его и смущало, о том *после* не хотелось и думать. Да он и не думал, пока они бежали в огненной пляске транссирующих очередей из немецких танков, лежали в земляном смерче бомбежек, проползая по ночам через немецкие позиции, теряя при этом своих и чужих бойцов и командиров. И девчат. Этих милых, наивных патриоток, что недавно еще осаждали тыловые военкоматы, приписывали себе недостающие годы рождения, плакали и просились, чтобы как можно скорее послали защищать родину. В этот бесконечный фронтовой бардак, огонь, кровь и смерть. Сколько их, растерзанных бомбами, расстрелянных из пулеметов, окровавленных, умирающих в окопной грязи, осталось там, на плацдарме. Может, только ему с этой милой наивной Башмаковой и повезло. Только ее он и вывел. Но хорошо, что вывел...

— Сейчас рванем, — сказал он и, может, впервые внимательным взглядом повел по ее исстрадавшемуся перепачканному землей лицу.

За пригорком вовсая гремело и грохотало, пули с коротким свистом пронеслись над ложбиной, наверно, далее оставаться тут было небезопасно, каждую минуту возле капонира могли появиться немцы.

— Бинта не имеешь? — спросил Колесник.

— Нету, как перевязывали Гусева, отдала...

Он выскочил из неглубокого капонира и, пошарив поблизости, собрал на траве раскрученные обрывки немецких бинтов. На ходу пооборвав окровавленные бумажные концы, снова подбежал к ней.

— Нераненным туда выходить нельзя, — сказал он.

— Как?

— Так.

— Что?

— Не понимаешь, что? Хотя ты первый раз... Слушай! Вот тебе автомат! — прежде чем передать ей свой ППШ, щелкнул переводчиком, ставя его на одиночные выстрелы. — Держи. Наведешь мне в руку и выстрели.

Не до конца понимая его, она ослабевшими, ватными руками взяла оружие. В ее расширенных глазах застыли испуг и удивление. А он, отойдя шагов пять, вытянул над бровкой капонира левую руку.

— Ну!

— Что — стрелять? — беззвучно промолвила она одними губами.

— Стреляй, ну! Только скорее...

— А я?

— Можно и тебе. Если хочешь. Ну!

Он требовательно ждал, застыв возле земляной стены капонира с откинутой в сторону левой рукой в заношенном рукаве гимнастерки с двумя латунными пуговичками на манжете. Его симпатичное чернявое лицо, как всегда, внушало решимость. А в ней поднималось внутри что-то черное и злое, и в мыслях стучало одно только слово — *прегатель!*

— Ну ты что? Давай быстро! Некогда...

Захлебнувшись от непонятого взрыва обиды, она передернула металлический шпенек на автоматический огонь и подняла автомат.

— Пониже локтя. Я стерплю...

«Не стерпишь!» — сказала она себе в мыслях и решительно нажала на спуск. Недлиная очередь брызнула несколькими пулями, взбив возле комбата пыльные комья земли. На подогнутых ногах Колесник сполз по откосу наземь и застыл, неуклюже согнувшись. Показалось, он что-то сказал ей, но она не поняла что — она даже и не взглянула на него. Наверно, какое-то время он еще жил, подергивая головой, а потом затих, будто окончательно смирившись с происшедшим.

Она постояла еще, пытаясь как-то совладать с собою, и побрела по склону овражка. Впереди возле столбов, показалось, пробежал кто-то, но ее мало интересовало — кто... Назад она уже не оглядывалась и больше не интересовалась тем, кого пристрелила. Никто у нее о том и не спрашивал, когда она вышла к своим. Откуда ей тогда было знать, что в том капонире остался отец ее сына, который родился зимой, когда она, уже комиссованной, вернулась с младенцем в маленький смоленский городок, где жила до войны...

Перевод с белорусского автора

Дождь — архитектор бездны: за отвесной стеной
Свет, от тьмы отделенный, снова мешает с тьмой —
Словно меня с тобою, словно тебя со мной.
Падающей водою хочет стереть, стереть
То, что еще разделяет землю и твердь,
Так, что уже не видно, кто это, воздух ртом
Ловящий — только губы ловит: потом, потом...
Временем, полувременем иссякающий поутру,
Дождь истекает: именем, плавающим во рту.

* * *

Розовый осот,
Вретище куста.
Под ноги течет
Вещая вода.

Этот воздух — дар:
Выпил и забыл,
Отчего страдал
И кого любил.

Шмель, цветком пленен,
Не скрывает гнев —
Маленький Самсон,
Рвущий львиный зев.

Никакой Грааль
Так не напоят:
Выпил — как украл,
Больше не болит.

Как благую весть,
Этот воздух пей,
Превращаясь весь
В голубой репей,

Руку над холмом
Простирает дождь.
В сердце — мертвый сон
И осоки нож.

Лебеду, выюнок
И траву костер,
В прах, летящий с ног,
Пену, память, сор.

Луг. Вороний взмах.
Ельник меховой.
Камень-мономах
В шапке моховой.

* * *

Только глаз, приоткрытый горем,
Словно яростью — око Вия,
Видит ангела в камне голом,
Бег луча в травяной крови и

Только плача дано постичь их,
Тех невидимых геометрий

Тень дождя, отпечаток птичьих
Сильных крыльев на мокром
ветре, —

Чертежи. Только горе зорко
И открыто земле и небу:
Лишь голодный хватает
корку
На дороге. А счастье слепо.

* * *

Далеко от дома заставший меня врасплох,
Изобильно проросший с небес — не иначе, впрок,
Виноградный ливень поймал меня сетью лоз,
Забросал меня тучными гроздьями — и пришлось
На асфальте тотчас месить их, давя, топча,
И сияла каждая ягода, как свеча.
И горела кожа — казалось, то ветер мял
И давил меня, превращая в вино, и мал
Был зазор между ячеями, густой лозой,
Оплетавшей небо, и ягодой, и слезой.
Все теряло цену в глубоком точиле; дом
Расплывался; насквозь пропитанное вином,
Тяжелело платье, растерянную листвою
Приликая к ногам. И слышался голос твой.

МЕТАМОРФОЗЫ

1

Близко алхимия осени: тонет в грязи нога.
 Как арестанты — скошенные, стриженные луга
 И поля полосатые — нóмера на спине
 Только что нету; мятые груды травы; над ней
 Тучи — белья солдатского скомканного грязней.
 Бабка за макаронами в ближний ларек спешит.
 Стройками фараоновыми, копией пирамид
 Мокнут стога: за грядами чьими-то пьяный спит.
 Он-то блажен: веками шепчет над ним трава,
 Как философский камень — пудовая голова
 Так и лежит, не ведая, долго ли ей лежать,
 Ангелы в небе светлые, вороны ли кружат,
 Близко ли, сада осыпи преображая в сон,
 Здесь ли алхимия осени: раздувает огонь,
 Тихо шепча над тиглями — синих лесов свинец
 С мягкой листвою, иглами, мусором, — наконец,
 Все превращая в золото — землю, и кровь, и грязь,
 Страхи ночные, проводы, клен, и ольху, и вяз,
 Холод, шоссе из города, серый пейзаж и глаз,
 Жалкую мглу телесную, тесное естество, —
 Кроме огня небесного — нет уже ничего.

2

...Все, к чему прикасается — осень, как царь Мидас,
 Превращает в золото — даже нас,
 Прислоненных молча к листве картонной;
 Под салют георгинов, вздохнув, умирает сад,
 И живая береза, надев оклад,
 Превращается в собственную икону.
 Обступив деревню, висят леса
 В паутине, как тусклые образа;
 Круглый пруд темнеет, как гриб соленый.

В крошках птиц небесная скатерть — почти чиста.
 Все, к чему прикоснутся твои уста, —
 Если это слово — то светом брызнет,
 Если женщина — то слезами; еще хранят
 И тепло и гибкость, но тронешь — слегка звенят
 И уже непригодны для прежней жизни.

Тронь меня губами; холод — прозрачный шар —
 Окружает меня — разбей его; видишь, пар —
 Верно, это душа возле губ летает
 И не хочет обратно; чувствуя — горячо —
 Над тобою вьется — мошкой над свечой —
 Вся объятая пламенем, золотая...

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

ЧТЕНИЕ

Одноактная пьеса

Действующие лица:

Хозяйка, лет пятидесяти, но молодящаяся дама-культуртрегер.
Интеллигент, неопределенных лет и наружности; борода, очки.

Девушка, статная одетая с иголочки особа.

Неудачник, так и выглядит, много нервничает.

Провинциальный родственник, себе на уме; единственный из присутствующих — в костюме и при галстуке. Но в шлепанцах.

Балагур, лысый, с животиком, ворот рубашки расстегнут; более чем раскован.

1-й, 2-й пьяный, почти неотличимы, одеты абы как, довольно молоды.

Призрак Хозяйкина отца.

Автор, автор как автор.

Огромная мастерская покойного художника-академика, ныне принадлежащая его дочери, тоже художнице, тоже бездарной и гостеприимной. За круглым окном — зимняя темнота. Помещение освещается пятирожковой люстрой советских времен; один из пяти рожков, впрочем, разбит. Справа перед обшарпанным угловым диваном — шаткий столик с претензией; над ним самодельный лоскутный абажур. Слева — буфет, допотопная скамья чуть ли не из ЦПКиО им. Горького. Рядом — облезлая елка-перестарок, подчеркивающая лишний раз, что здесь живут не в календарном, а в своем, артистическом времени. Словом, всё как положено: по стенам одна-две иконы, хозяйкина мазня, отцовская мазня, какая-то ахинея из водопроводных труб и кранов. На табурете для пущего артистизма — граммофон с раструбом. В центре комнаты обеденный стол; на нем водка, вино, прохладительные напитки, закуска.

По комнате слоняются гости. Пялятся на стены и книжные полки, курят, делают заинтересованный вид. Царит атмосфера некоторой принужденности. Наконец молчание становится тягостным.

Балагур. Милиционер родился. Может, «по маленькой, по маленькой, чем поят лошадей»?

Хозяйка. Вольному воля, конечно. Но хорошо бы отложить на десерт, уж во всяком случае дождаться виновника торжества. Опаздывает: причуда гения.

Неудачник. Разумеется, надо дождаться, раз гениальность налицо.

Звонок в дверь.

Интеллигент. Лучше поздно, чем никогда...

Сергей Маркович Гандлевский (род. в 1952 г.) — поэт, прозаик, эссеист, автор стихотворных книг «Рассказ» (М., 1989), «Праздник» (СПб., 1995), повести «Трепанация черепа» (СПб., 1995) и книги очерков «Поздичекая кухня» (СПб., 1998). Лауреат премии «Малый Букер» (1996) и «Антибукер» (1996). Живет в Москве.

© Сергей Гандлевский, 1999

Хозяйка спешит к дверям. Вваливаются два незнакомца — оба пьяны.

1-й пьяный и 2-й пьяный (*хором*). Чтение здесь, что ли, добрый вечер?

Балагур (*обкомовским баритоном*). Добрый.

Хозяйка. Ждем с минуты на минуту.

1-й пьяный (*обращаясь ко 2-му пьяному*). Это что за баба?

2-й пьяный. Кажись, хозяйка.

1-й пьяный. Да не эта, а у буфета, с огромной кормой.

2-й пьяный. Со спины — испанка.

1-й пьяный. Чертовка будет моей! (*Неверными шагами пересекает комнату по направлению к Девуце.*)

Интеллигент. Маэстро заставляет себя ждать, на моих — без четверти восемь.

Балагур. Время срать, а мы не ели.

Девуца (*Балагуру*). Вы недавно демобилизовались? И в каком полку служить изволили?

Балагур. Служить бы рад — прислуживаться тошно.

Хозяйка. Может, и кстати, что наш герой опаздывает: народ еще подтянется, я всех оповестила. Хотя середина недели, время позднее — кто их знает?

Неудачник. Да, конная милиция явно не потребуется. А вот взвод солдат, как в былые времена — для массовости, был бы кстати.

Хозяйка. Массовость ничего не значит, писатель он прекрасный.

Неудачник. Мне как-то ближе его раннее: непосредственно было, живо. Потом пошло повторение пройденного. Буксуем.

Хозяйка. Не знаю, не знаю. Каждый этап по-своему хорош. Одно слово — гений.

1-й пьяный. Из Уфы она, твоя испанка.

2-й пьяный. Задница-то у нее от этого меньше не стала.

1-й пьяный. Справедливо. (*Возвращается к Девуце.*)

Балагур (*умоляюще обращается к Хозяйке*). Мадам, что-то стало холодать... Я не оговорился, мэм, — сухая ложка рот дерет...

Хозяйка. Что с вами, с богемой, поделаешь! Да я и сама того же поля ягода.

Интеллигент. «Я сам такой, Кармен!»

Провинциальный родственник. Хорошо сказано.

Неудачник. Да и меня колотит после вчерашнего, я бы выпил.

Провинциальный родственник. Еще лучше сказано.

Балагур (*обоим Пьяным и Девуце*). Молодежь, особого приглашения дожидаетесь? Не дождетесь. Подгребайте-ка к раздаче поближе.

Все сгрудились у стола. Девуца садится. Остальные стоят за нехваткой стульев. Балагур разливает водку собравшимся. Неудачник уступает место Хозяйке. Его занимает 1-й пьяный. Неудачник приносит второй стул. На него плюхается 2-й пьяный.

2-й пьяный (*Неудачнику*). Спасибо, я бы сам.

Хозяйка. Выпьем, но с одним условием: первую — в честь отсутствующего автора, не то вовсе на пьянку похоже.

Интеллигент. In absentia, так сказать? С превеликим удовольствием.

Все сдвигают стаканы и пьют.

Балагур (*крякает после выпитого*). Будь водка твердой, я б ее грыз.

Неудачник (*Балагуру*). Господин хороший, да вам, должно быть, цены нет — ну не знаю... в поезде дальнего следования. Или в общественной бане.

Балагур. Не говорите под руку, я в образе. Лучше солыцы одолжите на этот край стола. И колбаски. Вон той, сырокопченной.

1-й пьяный. Хорошо пошла.

2-й пьяный. Обещала вернуться.

Интеллигент (*Девуце*). Хлеба передайте, прошу покорно. (*Та берет за плетеную хлебницу.*) Можно перстами. Нет, черного.

Балагур (*Хозяйке*). Капустка, я чай, рыночная? Самое оно: злая! Хозяйка. Обижаете — своего производства.

Провинциальный родственник. Семейный рецепт.

Балагур. Поделитесь тайнами ремесла или давали подписку о неразглашении?

Хозяйка. Никакой таинственности. Шинкуете с морковкой, только выбирайте кочан белый, плоский и покрепче.

Балагур. И вся недолга?

Хозяйка. Представьте, вся. Трамбуете в трехлитровую банку, заливаете рассолом: на литр кипяченой воды — столовую ложку соли с горкой, ложку сахара без горки. И через три дня — под водочку.

Интеллигент. Все гениальное — просто.

Хозяйка. Чуть не забыла: и чесноку.

Балагур. Ясное дело, как же без него, родимого! (*Девуце.*) А мы, красавица, чего так плохо кушаем? Брали бы пример (*кивает на Пьяных*) с пионэров. Ишь, как уписывают. — любо-дорого смотреть! (*Призывно стучит черенком ножа по бутылке.*) Честная компания, попрошу внимания! Между первой и второй — перерывчик небольшой!

Провинциальный родственник. Вот это по-нашему!

Хозяйка. Первая — колом, вторая — соколом, а дальше — мелкой пташечкой.

Интеллигент (*делает Хозяйке «козу»*). Сказительница вы наша, шахерзадница!

1-й пьяный тщетно пытается разлить присутствующим из закупоренной бутылки.

Балагур. Объектив закрыт. (*Забирает у 1-го пьяного бутылку и разливает сам.*)

Девуца смеется.

2-й пьяный (*вступает за 1-го пьяного*). Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Интеллигент. Полно спорить, господа. Чтение можно считать удавшимся.

Выпивают. Блаженная пауза. Возгласы: «Благодать!», «Есть в жизни счастье!», «Вроде отпускает...», «Подобное — подобным».

Хозяйка. Боюсь показаться занудой, но всё же: желательно, чтобы мы не забыли о том, что нас здесь свело, — как бы сверхзадачу сегодняшнего собрания — и не потеряли человеческий, с позволения сказать, облик еще до прихода автора.

Неудачник. Я бы с радостью человеческий, простите за выражение, облик потерял. Как-то уже приелась собственная антропоморфность.

Хозяйка. Надеюсь, вы это не всерьез: уныние — смертный грех. Берите пример с американцев: у них на все случаи жизни — «cheese». (*Произносит, растягивая рот в улыбке. Затем повторяет громко, отчетливо, как логопед.*) «Che-e-e-se». (*Обращается к Неудачнику с гурьевским жестом.*) Ну-ка!

Неудачник (*сквозь зубы*). Сыр!

Хозяйка. Да ну вас к лешему!

Балагур. А мы переложим красеньким. Умеете по Стендалю пить? Провинциальный родственник. Это как же? Балагур. Красное по-черному.

Девнца прыскает и закашливается.

Интеллигент. По спинке постучать?

Девнца (*отрицательно качает головой*). С этим массовиком-затейником никакого чтения не надо.

Хозяйка. Обижает, мать, надо. Уверю всех — я знаю, кого приглашаю. Автор апробированный — не кот в мешке, скучно не будет.

Неудачник. И мало не покажется.

Провинциальный родственник. Он о чем пишет, если суммировать? Я не в курсе, но слышан.

Хозяйка (*стесняясь за него*). Как бы обо всех нас.

1-й пьяный. Ну, по третьей, что ли?

2-й пьяный. Чтоб дети грома не боялись и чтоб до старости стоял!

Интеллигент. То бишь, за прекрасных дам!

Балагур. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! Господа офицеры пьют стоя!

Все чокаются и пьют. Мужчины — стоя.

Хозяйка. Все-таки ума не приложу, куда он запропастился.

Интеллигент. Подозреваю, проводит время не хуже нашего.

Неудачник. И доиграется, если уже не доигрался, до белой горячки.

1-й пьяный. Да он закодировался.

2-й пьяный. А код какой?

Интеллигент. Число зверя.

Пауза.

Хозяйка. Да, пьянство, пьянство... Где талант — там и водка: Анатолий Зверев, Мусоргский, Ли Бо...

Провинциальный родственник. Володя Высоцкий...

Неудачник. Иванов, Петров, Сидоров...

Девнца (*закуривая*). Однова живем.

Балагур. Умные речи приятно слышать.

1-й пьяный. Ну что, еще по одной — для ровного счета?

2-й пьяный. Чтобы не быть голословным.

Хозяйка. Антракт! Убивайте время до появления гвоздя программы кто как умеет.

Девнца. В меру собственной испорченности.

Интеллигент (*откликается на реплику Девцны*). Интересная мысль.

Хозяйка. Фонтанируйте, фонтанируйте! Я требую, чтобы здесь было надышано. Философствуйте, философствуйте, чувствуйте себя в башне из словной кости, играйте в города, ассоциации, буриме, слова.

Интеллигент. Это мы мастера: с утра курей нажремся и — бу-бу-бу. Помните анекдот? (*Обращается к Неудачнику*). Вот вы — писатель?

Неудачник. Наверде того.

Интеллигент. Тогда скажите что-нибудь глубокомысленное.

Неудачник. Прямо так, навскидку?

Интеллигент. Неукоснительно. Рожайте же, мы в нетерпении.

Неудачник. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а амореи называют его Сениром.

Интеллигент. Ничего не могу возразить на это, решительно ничего.

Балагур. Раз мы в башне из моржовой кости, угадайте шараду! Мой первый слог — нищий китаец, второй — нехороший человек, третий — приказание рыбе. А в целом я — пирог.

1-й пьяный. Эврика: жопа!

Балагур. Уже горячо, юноша, дерзайте.

2-й пьяный. Даешь отгадку, сфинкс, не томи!

Балагур. Кулебяка с рисом.

Провинциальный родственник (с расстановкой). Кули. Бяка. Сри, сом! Это уметь надо!

Девушка. Не кругло выходит: «кулебяка» через «е».

Интеллигент. Похвально! Столь твердые познания, я бы даже сказал «принцип», в столь нежном возрасте.

Пауза.

Хозяйка. Поговорите, что ли, о политике: вы же — соль земли..

Неудачник. А не хер собачий.

1-й пьяный (крутанув ручку граммофона). Белый танец!

Раздаются звуки танго.

Хозяйка (шаловливо). Дело принимает серьезный оборот. (Приглашает Неудачника. Танцуют.) Не устроить ли нам к весне поближе ваш вечер? У меня есть на примете один человечек вам в пандан — ясновидящая из Бурятии. Сперва — ваша исповедальность, потом — другие энергии... Может получиться интересно, а?

Неудачник. А почему сегодня — сольный концерт, без шаманизма в нагрузку?

Хозяйка. Не привередничайте, матерый человечеще.

Удаляются в глубь сцены, музыка идет на убыль.

Провинциальный родственник (погсаживается к Девушке). Вы такая чудная...

Девушка. Спасибо, здесь все — чудные.

Провинциальный родственник. Нет, правда. Что вы делаете, такая чудная, среди этой образованщины, столичного сброда, накипи? Пойдемте отсюда рука об руку, мы — сила, за нами немотствуют или — как знать? — субботствуют до поры Бобруйск, Воронеж, Павелец, Вышний Волочёк, Устюжна, та же Уфа, Кинешма...

Девушка. Вы меня в Кинешму приглашаете или обратно в Уфу?

Провинциальный родственник. Не совсем. Здесь есть небольшая смежно-изолированная комната-подсобка с креслом-кроватью, буквально минут на десять-пятнадцать...

Девушка. Ход мысли понятен, но мне больше импонирует вон тот, выпимши. (Указывает сигаретой на одного из Пьяных.)

Провинциальный родственник. Который? Их двое, и они, судя по всему, близнецы.

Девушка. Тогда оба.

Провинциальный родственник (отходя прочь). Блядь... римская.

Неудачник (занимает место возле Девушки). Вы меня в периодике читали?

Девушка. Возможно, но у меня ужасная память на фамилии.

Неудачник. Благодарю за внимание.

Девушка. Что это у вас такое похоронное настроение? Отчего глаза чуть ли не на мокром месте?

Неудачник. Чтобы крепче обнять тебя, Красная шапочка.

Пауза.

Извините.

Пауза.

Я вам голову морочить не стану, вам, наверное, надоели командировочные ухаживания, но что вы делаете, такая чудная, среди этих посредственностей, неудачников, в сущности? Взять того же меня...

Пауза.

Эх, ма! Зло берет, как паскудно звучат мои слова, когда говорятя наспех в этом вонючем салоне, каким шутом гороховым я смотрюсь... Но я правду говорю. Я вас с самого начала отметил, вы еще у буфета стояли. Словом, пожалейте меня, станьте просветом, праздником. Я старею непоправимо, никто меня не ценит, у меня живот растет.

Девуца (*заинтересованно*). Ну-ка, ну-ка. (*Оглядывает Неудачника.*) Нет, особенно незаметно. А вот жоппы уши как раз в наличии. (*Щиплет Неудачника за бока.*)

Неудачник, отбиваясь от щипков, встает раздосадованный.

Неудачник. Встретимся здесь же лет через сто, когда я войду в обязательную школьную программу. Надеюсь, что заочно знакомый по учебнику литературы, я произведу на вас большее впечатление. А сейчас вы меня всерьез не воспринимаете. (*Отходит.*)

Девуца. А здесь никто никого всерьез не воспринимает. Мы люди — играющие.

Интеллигент. *Nomo ludens* — этим все сказано.

Балагур. Во-во, это вам не у Пронькиных!

Интеллигент (*сагится рядом с Девуцей*). Свято место пусто не бывает. Не хочу унижаться до нитья, опускаться до дежурных пошлостей, но что вы делаете...

Девуца. Такая чудная?

Интеллигент. С языка, что называется, сняли — такая чудная в подобной межуточной компании — в толк не возьму? Вот вам мое кредо. Вы — молоды и простодушны, я — опытен, неглуп, колоритен. Чем не пара? Здесь есть, говорят, укромный уголок. Могли бы уединиться, пока суть да дело; как вам такая перспектива?

Девуца. Это у вас на безымянном пальчике не обручальное ли колечко?

Интеллигент. Так — одна кажимость. А потом, я бываю широк, если речь идет о моменте истины, вроде нынешнего. В любви неутомим.

Девуца. Звучит заманчиво, но мое сердце уже отдано.

Интеллигент. И к кому же сумасбродка неровно дышит? Кто сей счастливец?

Девуца (*наобум кивает на Провинциального родственника*). Простец из глубинки.

Интеллигент (*уязвленно*). Тогда вопросов нет, сердцу девы закон, как известно, не писан. (*Отходит.*) Динамо крутит.

Балагур (*Девуце*). Разрешите присоседиться? (*Сагится.*) Попытаю, что ли, я счастья? (*Указывает себе на грудь.*) Это сердечко умеет любить.

Девуца. Вы просто строим идете, как суворовцы.

Балагур (*торжественно*). Нас годы выстроили. И вам не миновать этой выправки — держать равнение на смерть. Довольно скоро всем присутствующим лежать под капельницей, давиться желудочным зондом, ходить на судно. Все в панике, у сказки — и впрямь невеселый конец. Вот и держатся вместе, хотя надоели друг другу, хорохорятся на людях, цепляются, точно за соломинку, за каждую блондинистую пигалицу, вроде вас. А прозаичнейшая смерть, знаете, как сестра-хозяйка под хмельком, затесавшаяся на детский утренник, бродит на ощупь с завязанными глазами, растопырив руки, и выхватывает то одного, то другого паршивца прочь из хоровода.

Деввица. Красно говорите. Вы в ударе нынче или это — домашние наработки?

Балагур. Мыслить образами — моя слабость. Я продолжу, если позволите. Ваш паровоз вперед летит. Пока. (*Изображает раскоцегаривающийся паровоз и паровозный гудок.*) Чуваши-мордвин-тата-а-арин, чуваш-мордвин-тата-а-арин... Кирги-и-из!!!

Деввица смеется.

Глазейте, пока глазеется, в окошко, да прихлебывайте затхлое ситро — Бог в помощь! А мы уже сдали белье проводнице и с чемоданами толпимся в коридоре в ожидании конечной станции. Нет, плохое сравнение. Мы с вами не вполне пассажиры. Место назначения у всех — одно: дыра, хуже некуда. Но маршрут отчасти зависит и от нас. Выбор свободен — последствия predetermined, как говаривал старина Сопровский. Вот я осмелился с вами заговорить, а в Антарктиде тут же пингвин чихнул, а не осмелился бы — в Конотопе каком-нибудь тройня бы родилась. К чему я это? А к тому, что никакого небесного либретто нет, вернее есть, но подвижное, на каждое мгновение — свое. Посмотришь отсюда — полный бедлам, а сверху — узор в движении. И Ему (*указывает пальцем в потолок*) этот калейдоскоп до поры не наскучит. Так что мы — немножечко творцы, когда откальваем, сами на себя изумляясь, какое-нибудь коленце. Плюс ко всему, я, грешным делом, думаю, что наши здешние выкрутасы как-то и на последующем вечном времяпрепровождении и местожительстве называются. Кто смел — тот и съел. Вдруг как раз сейчас — очередная развилка сюжета. Ну же, решайтесь. Следующее ответвление железной — исключительно железной — дороги может случиться очень нескоро, его может вообще не быть. Сейчас еще не поздно стать соавтором, подложить самонадеянному драмоделу свинью — и это зависит только от вас.

Деввица. Где-то уже было что-то подобное — бунт тростевых кукол...

Балагур. Всё здесь б/у. И наконец, говоря по-человечески, без ерничанья: я так одинок, я умоляю вас... Что вы так загадочно улыбаетесь?

Деввица. Не обращайтесь внимания. Просто мне на память пришла одна старинная баллада. (*Поет.*)

У виноградников Шабли
Кавалеры дам пленяли,
Под луной стихи читали,
А после все-таки...

Балагур (*резко обрывает ее*). Известная баллада. И спето с диким совершенством. Я тоже могу прочесть вам стишок. (*Читает с пафосом.*)

Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

Деввица (*порывисто*). Может быть... Это вы сочинили?

Балагур. Нет, какая разница — кто. Но расклад похожий, только фонтана недостает. (*Присоединяется к остальным.*)

Хозяйка (*Девице*). Вот, прелестное дитя, пять (что характерно!) ребят и спели вам о любви чуть охрипшими голосами. Не принимайте близко к сердцу или, говоря на вашем языке, — не берите в голову. Это у них возрастное: прощальный парад-алле. Так бывает. Я, скажем, считаю подругой всего прекрасного... А дело, быть может, — только в щитовидке.

Неудачник. Как-то мы бездарно здесь маемся...

Балагур. А то мы в других местах не бездарно маемся. Деввица. От скущищи мухи дохнут. Пряма Чехов какой-то. Интеллигент. Скорее Рубинштейн. Только пожиже.

Неудачник. Рубинштейн для бедных.

Интеллигент. Зато — сценично... и довольно цинично.

Неудачник. Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Прости, Господи, что я несу!

Балагур. Эту банальность я должен был сказать.

Неудачник. Но вам бы сошло с рук, а мне теперь будет стыдно неделю. (*Тоскливо оглядывает присутствующих.*) Может, мы все-таки, предпримем что-нибудь, чтобы малость взбодриться. А то какое-то дурацкое ожидание...

Интеллигент. Годо.

Балагур. Годо не Годо, а взбодриться и впрямь хорошо бы. Грянем, что ли, хором...

Хозяйка (*с готовностью*). Что грянем?

Балагур (*после минутного замешательства*). Да что угодно, хоть «Елочка, зажгись!».

Провинциальный родственник. Ура! Сыскалась-таки национальная идея!

Интеллигент. Берите выше: тут, похоже, дорога к храму забрезжила. Все (*кричат вразнобой*). Елочка, зажгись!

Балагур. Нет, так не годится. Рывкнуть — так уж рывкнуться, чтобы небу жарко стало. Три-четыре...

Все (*кричат уже гружно*). Елочка, зажгись!

Гаснет свет. В крошечной темноте какое-то топотанье, кряхтенье, голоса: «Пробки! Замыкание! Стремлянку дайте! Карманный фонарик!» Визг и смех Деввицы: «Ой, умру, щекотно!», «Ой, не все сразу!», «Кыш отсюда, животные!», «Ха-ха-ха!». Загорается свет. Все мужчины облепили Деввицу, она уже полураздета их совместными усилиями.

Хозяйка. Что-то у нас чуда не произошло.

Деввица. Почему? Чуть не свершилось.

1-й пьяный. Свет рановато дали.

Неловкая пауза. Деввица приводит себя в порядок. Слышна стрельба на улице.

Интеллигент. Ружья, так сказать, на сцене ни одного, а стрельбы-то, стрельбы-то! Непорядок — законами жанра манкируем, заветами Антон Палыча.

1-й пьяный (*голосом Нины Заречной*). Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы...

2-й пьяный (*голосом диктора Левитана*). Поздравляю вас с международным праздником — Днем мыловарения!

Все (*нестройным хором, как на параде*). Ура!

Балагур. Хозяйка, коли такая драматургия, ружьеца завалящего дома не найдется?

Хозяйка. Есть, как не быть, — отцовское: покойник охотой баловался.

2-й пьяный. Тот еще Нимрод был, сильный зверолов пред Господом.

Интеллигент. Идея! Русская рулетка! Раз соборное действие у нас не вытанцовывается, предлагаю — декадентские забавы. Играем в русскую рулетку.

Хозяйка. Принято, принято, принято!

Балагур. Любой каприз — за ваши деньги.

Хозяйка выносит двустволку. Все оживляются, передают друг другу оружие.

Деввица в шутку делится в 1-го пьяного.

1-й пьяный. Пиф-паф! (*Валится навзничь.*)

Хозяйка (*строго*). Не паясничайте. Уже через минуту-другую кто-то из нас может узнать главную тайну мироздания, предстать перед престолом как бы Всевышнего.

Интеллигент. Думаю, что женщин надо избавить от такого серьезного испытания.

Хозяйка (*с шутливым вызовом*). Не хотите ли вы этим сказать, что у нас, женщин, нет бессмертной души?

Интеллигент. Я имел в виду выстрел — сам процесс, не обижайтесь по пустякам!

Балагур (*погмигивая Девуце*). Обидеть девушку может всякий, а удовлетворить — далеко не всякий.

Девуца. Bravo, поручик!

2-й пьяный (*Балагуру*). Платон Каратаев, много говоришь — мало домой пишешь. Собирай народ до кучи. В последний раз! Только у нас! Но сперва неплохо бы по сто грамм на рыло для смелости.

Балагур. Золотые слова. И-мен-но! По сто пэздесят! Хозяйка!

Хозяйка. Я — та несчастная.

Балагур. Кто сказал, матросам пива не давать!?

1-й пьяный. Дело. И со свежими силами: огонь — пли!

1-й пьяный разливает всем.

2-й пьяный (*поднимая стакан*). Молча и не чокаясь.

Девуца. Кому-то на посошок.

Хозяйка. Тянем жребий!

Провинциальный родственник. Что касается стрельбищ, я пас. Со всей бы душой, но — пас. Я человек подневольный, командировочный, приехал в стольный град по запчасти; как говорится, собой не располагаю. Завод-гигант ждет шпинделей заподлицо, не то — владимирская непрерывка медным тазом кроется.

Неудачник. А я и безо всякой рулетки знаю наверняка, что пуля будет моею. А даже если напрямую не попадет, то рикошетом от чьей-нибудь садовой головы угодит мне в сердце. Так что — увольте: в моем случае это равносильно самоубийству. Куда целесообразней умереть так называемой *своей* смертью. Дня через девятьсот семьдесят три. В пять эдак с четвертью утра. От рака. Прямой кишки. В кого-нибудь из присутствующих выстрелил бы с удовольствием...

Хозяйка. К черту подробности.

Интеллигент. Ну, здравствуйте. Все, я вижу, как до дела дошло, — на попятный. За компанию, по поговорке, и жид повесился, а одному мне неохота. Умрешь, чего доброго, курам на смех. А тут не все еще очарования пережиты, так сказать, не все «сети соблазнов» с души упали... Смотришь на такую вот (*поворачивается к Девуце*) корпулентную молодлицу или, на худой конец, вот на такую (*кивает на Хозяйку*) «ягодку опять», и мечтается: а что как и «на мой закат печальный»?.. Нет, я, пожалуй, остерегусь.

1-й пьяный. Ну хоть бабахнем в форточку для остратки...

2-й пьяный. И разрядим заодно. Ружье, говорят, раз в год само стреляет.

Хозяйка. И не думайте беспокоиться, господа юнкера: оружие убийства не заряжено, да и лет сто как сломано. И вообще, что касается боеприпасов, в доме — шаром покати. Я даже не знаю, как они выглядят, эти ваши патроны.

Балагур. Стало быть, пальба откладывается до лучших времен. (*Вешает ружье на елку.*) Но карнавально, не мытьем так катаньем, подпустить не помешало бы.

Интеллигент. Пуркуа бы не па?

Хозяйка. Как бы карнавал! Бахтиниана! Все в круг! Чтоб не пропасть поодиночке! Очередная попытка доказать городу и миру, что мы еще о-го-го! 1-й пьяный. Но не последняя!

Интеллигент раз-другой вращает ручку граммофона. Раздается музыка Нино Рота из финальной сцены «8 1/2». Все образуют какое-то подобие хора. Некоторое время кружатся и приплясывают кто во что горазд. Хозяйка довольно топорно подражает телодвижениям Девы. 1-й пьяный приставляет себе батон хлеба к причинному месту, вроде карнавального фаллоса. Разрезившийся не в меру 2-й пьяный сзади подкрадывается к Неудачнику и сдергивает с него штаны. Тот остается в длинных черных трусах. Музыка умолкает.

Девы. Во дает!
Хозяйка. Дурак!
2-й пьяный. Ваш папа!
Хозяйка. Хороший человек!
2-й пьяный. Когда-то был!

Из-за буфета бодро выходит Призрак Хозяйкина отца. Он смотрится хрестоматийным художником: эспаньолка, бархатный берет, шелковый бант на шее; в руках — палитра и кисть на отлете.

Призрак. А вот и я, не к ночи будь помянут!
Хозяйка (вне себя). Отец! Покойник! Живописец! Зайка!
Провинциальный родственник. Вот это да!
Балагур. Кто это сделал, лорды?
1-й пьяный. Ну как там в преисподней?
Призрак. Всё путем.

Козла забьем или в буру играем.
Подобралась компания — что надо,
Ребята вроде вас. Но я пришел
Не языком чесать, а хлопнуть водки
И нанести решающий мазок
На песню лебединую свою.
Инсульт проклятый выбил кисть из рук,
Не то б я кой-кого заткнул за пояс...

Деловито наливает себе стакан водки, залпом выпивает, подходит к картине на стене, наотмашь бьет в середину полотна кистью, оставляя огромное ярко-желтое пятно.

2-й пьяный. Кукареку!
Призрак. Но чу! Петух кричит! Пора рвать когти!
Физкультпривет! До скорого свиданья!

Скрывается за буфетом, прихватив по дороге ружье с елки.

Долгая суеверная пауза.

Хозяйка (переходя на крик). Да что это в самом-то деле творится!
(Набрасывается на обоих Пьяных.) А ну — вон отсюда! Балаган развели!
Интеллигент (примирительно). Мальчишки — везде мальчишки.
1-й пьяный. Уж и словцом с покойником перекинуться нельзя!
2-й пьяный. Батя первый начал базар.
Хозяйка. Вон, я говорю, отсюда, чтоб духу вашего не было! Мне милицию вызвать?
Пьяные. Уходим-уходим, не кипятитесь. Но очень ненадолго. Так что

не прощаемся. (*Взявшись за руки, шествуют к дверям и горланят.*) Мы длинной вереницей идем за Синей Птицей, мы длинной вереницей идем за Синей Птицей.

Это пение какое-то время после ухода Пьяных доносится с лестницы.

Интеллигент. Что называется, по-английски.

Неудачник. Зато опаздывать на час с гаком — это, что называется, по-русски. Свинство, что называется.

Интеллигент. А был ли мальчик-то?

Хозяйка. Ну и вечерок выдался. Форменный фарс.

Неудачник. Ничего-ничего: так сейчас носят.

Девушка. А у меня весь этот дурдом большого доверия не вызывает; бред сивого мерина, неправдоподобно.

Балагур (*с ученым видом*). Какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенном на две половины, из коих одна занята людьми, будто бы невидимыми для тех, которые находятся на подмостках?!

Интеллигент. Где-то по большому счету мне не хватает катарсиса.

Провинциальный родственник. Этого добра у меня не густо, но, чтобы разрядить обстановку, я расскажу анекдот. Правда, вы его наверняка знаете. Раз встречаются на балу Екатерина II..

Балагур. Штирлиц...

Интеллигент. И Кьеркегор...

В незапертую дверь входит Автор. Он как-то подозрительно выглядит: тренировочные штаны с пузырями на коленях, шнурки волочатся по полу, кроличья шапка со спущенными ушами, чемоданчик в руке. Не раздеваясь, как есть, проходит в середину комнаты.

Хозяйка. Бродяжка, наконец-то!

Автор. Прошу, конечно, прощения. Но я даже не очень виноват. Малость припозднился по обыкновению, потом плутал — насилиу нашел, а после торчал перед подъездом, как дурак, — дверь заперта.

Хозяйка. Боже мой, код! Я не сказала ему код! Шестьсот шестьдесят шесть!

Интеллигент. У меня дежавю.

Автор. Спасибо еще: минуту назад два забулдыги удружили — вывалились из парадного, и я просочился, а то уже собирался восвояси.

Девушка (*глядя на Автора*). Ну и ну. Лох лохом. И одет... из-под пятницы — суббота.

Неудачник. Что вы хотите? Реноме гения — положение обязывает.

Интеллигент. Noblesse oblige.

Хозяйка (*с прыдыханием превосходства*). Как бы человеческая крапсочка: на самом деле, он — большой ребенок. (*Бьет в лагони.*) Всё хорошо, что хорошо кончается.

Интеллигент. End ist gut — alles gut.

Хозяйка. Приступаем незамедлительно. Или вам нужно освоиться?

Автор. Нет-нет, чем скорее, тем лучше, и — сразу домой подобру-поздорову. А то уже ум за разум заходит. (*Извлекает рукопись из чемоданчика.*)

Интеллигент (*понимающе*). Комплексы, фобии, obsessions...

Автор. Предлагаемый вашему вниманию опус — пьеса для чтения. (*Откашливается и садится вполоборота к действующим лицам и залу.*) «Чтение», значит, я приступаю.

Все участники сцены занимают места и принимают позы более или менее соответствующие тем, что были в самом начале пьесы.

Неудачник. Понятно, что чтение, название-то у сочинения имеется?

Автор. «Чтение» — так и называется.

Хозяйка. Предвкушаю удовольствие.

Интеллигент. Обнажение приема.

Неудачник. Чего я, спрашивается, приперся — мало мне своего ма-разма?

Провинциальный родственник (с нарочитым восхищением).
Умеют же, черти драповые, — даже название с подковыркой!

Балагур. Кина не надо (*погмигивает Девуце*) — свет гаси!

Девуца (*язвительно*). Смех за кадром.

На несколько секунд раздаётся «смех за кадром».

Автор (*читает*). Огромная мастерская покойного художника-академика, ныне принадлежащая его дочери, тоже художнице, тоже бездарной и гостеприимной. За круглым окном — зимняя темнота. Помещение освещается пятирожковой люстрой советских времен; один из пяти рожков, впрочем, разбит. Справа перед обшарпанным угловым диваном — шаткий столик с претензией; над ним самодельный лоскутный абажур. Слева — буфет, допотопная скамья чуть ли не из ЦПКиО им. Горького. Рядом — облезлая елка-перестарок, подчеркивающая лишний раз, что здесь живут не в календарном, а в своем, артистическом времени. Словом, всё как положено: по стенам одна-две иконы, хозяйкина мазня, отцовская мазня, какая-то ахинея из водопроводных труб и кранов. На табурете для пущего артистизма — граммофон с раструбом. В центре комнаты обеденный стол; на нем водка, вино, прохладительные напитки, закуска.

По комнате слоняются гости. Пялятся на стены и книжные полки, курят, делают заинтересованный вид. Царит атмосфера некоторой принужденности. Наконец, молчание становится тягостным.

Долгая пауза.

Балагур (*выходит на авансцену*). Милиционер родился. Может, «по маленькой, по маленькой, чем поят лошадей»?

Занавес.

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

ВОЗВРАЩЕНЕЦ

«Пейзаж и жанр»¹

Возвращение эмигранта — это позорная сдача.

Возвращение эмигранта (если не в запломбированном вагоне) — крах всей его жизни.

Возвращение в письменном виде дела не меняет. Это самообман или жест отчаяния. Конечно, мы думаем, что вернемся, когда взойдет она...

Но звезда пленительного счастья еще ни разу не вошла над нашей родиной.

В 1975 году, после отсидки и суда, меня выгнали из моей страны. Оказалось, что моя литература — это измышления, порочащие советский строй. Вполне может быть. Литература — всегда измышление, к любому строю враждебное. Следователь КГБ цинично сказал мне: «И никогда не узнаете, зачем вас посадили» Это была организованная кампания: тем или иным способом очень многие писатели, художники, философы, историки и другие интеллигенты были вытеснены за рубеж. Почти все мои друзья оказались на Западе. Возможно, когда-нибудь эта операция прояснится. А может, и нет.

Мы приехали в чужие края. Жизнь кончилась, началось житие.²

Эмигрантский хлеб горек, даже у нобелевских лауреатов. И хотя в чужой стране привыкаешь, осваиваешь другой язык, культуру, нравы, кухню и пейзажи, но ничто никогда не заменит родных мест и родного языка.

У эмигранта две задачи (или хотя бы одна из них): продолжить свое дело и сохранить достоинство. Одним это удалось, другим нет.

Первое время эмигрант надеется, что все переменится и он вернется домой. Белая эмиграция надеялась на реставрацию прежней, досоветской жизни. На что было надеяться нам? На возвращение брежневского «застоя» (как принято теперь у них выражаться)? Недолговечной хрущевской оттепели? Или, может, сталинских времен?

Возвращаться было некуда и незачем. Отрезанный ломоть к караваю не приставишь. Из жития не возвращаются. Что может эмигрант сообщить своему народу, вернувшись обратно? Оскорбительно хвастать, как ему было хорошо на том свете? Как кто-то сам ему чего-то говорил? Или плакаться на судьбу? Оброки и подати гнетут невыносимо, устрицы растут в цене... Учить соотечественников системе социальных отношений за чертой горизонта? Или привезти свои рукописи и глядеть, как твое добро растаскивают

¹ См. Лескова. (*Здесь и далее примечения автора.*)

² По слову Лескова.

Владимир Рафаилович Марамзин (род. в 1934 г.) — прозаик, автор книг для детей, сценарист, с 1975 г. в эмиграции, где опубликованы основные произведения: «История женитьбы Ивана Петровича» («Континент», № 2, 1975), «Блондин обоего цвета» (Ann Arbor, 1981), «Смешнее чем прежде» (Paris, 1979), «Тяни-толкай» (Ann Arbor, 1981). Совместно с А. Хвостенко издавал во Франции лит. журнал «Эхо» (1978—1986). «Возвращенец» — первое художественное произведение автора, публикующееся после более чем десятилетнего перерыва. Живет в Париже.

по частям с криком «бранзулетка!», прикрываясь лозунгом «все написанное по-русски принадлежит русской культуре»?

Воображаю Набокова, который вернулся бы где-то в начале 70-х и получил Ленинскую премию за «Аду» годом позже «Малой земли» Брежнева...

Эмигрант — существо нервное. Оно держит ухо на границе своей страны. Читает эмигрантские газеты, надеясь уловить между строчек, полных чудовищных опечаток. Проглядывает статьи о России в модных женских журналах. Жадно ловит любое эхо. Приглядывается к новым генсекам, свежепереименованным в президентов. Унюхивает веяния...

Из среды эмигрантов начинает вылупляться возвращенец.

Могу даже понять тех, кто обрадовался недавней отмене идеологии,¹ недальновидно решил, что победило его дело, и вломился обратно. Таких можно только пожалеть за недостаток ума. Внешние политические перемены им важнее всего на свете. Это возвращенцы-политики. Они даже не понимают, что победило ЧУЖОЕ дело. Таких там используют как индугенцию, которую можно разменять на доллары, а после выставят на посмешище и раздавят, проедут грязным колесом своей истории.

Есть возвращенцы за лаской и славой. Тут не издавали, не выставляли, не почитали — там их готовы отныне издавать, передавать, «озкранить». Человек слаб и падок. Не нам судить. Впрочем, чаще всего это были не эмигранты, а самоизгнанники, «климатические беженцы» (цитата). Их надо бы скорее назвать «наезжанцы», мало кто из них возвратился бесповоротно, у них в карманах шуршат вторые паспорта, в странах приема их ждут дома́ и квартиры, они балансируют между там и тут — летние харчи в родных пенатах, зимняя спячка в иностранных берлогах. Похоже, однако, что их пора кончается. Звание эмигранта перестает кормить. Владимир Емельянович Максимов рассказывал мне о графоманах, наводнивших московские редакции. Когда их рукописи отвергались, они были искренне поражены: «Вы разве не знаете, что я эмигрант?» Увы, эмигрант — не знак качества и доблести.

Были люди случайные, вынесенные за рубеж волной. О них все написано уже столетие назад («Шерамур, или Чрева-ради юродивый» Н. Лескова).

Мелькали возвращенцы половые. Не нашедшие тут своего огорода, безъязыкие, столкнувшиеся с мощным лесбиянским уклоном женского мира на Западе, они тосковали об идиллии тесно заполненных автобусов и с полупешота заводившихся знакомствах. Этих я тоже понимаю. Впрочем, и они скорей наезжанцы. Мне неизвестно ни одного случая окончательного полового возвращенца. Возможно, их распугала стремительная проститутизация всей страны.

Если у эмигранта не было ни своего дела, ни достоинства и если он не нашел себе теплого места на чужбине, то он мечтает вернуться, едва оттуда потянет хлебным духом. Это возвращение за выгодой, за куском пирога.

Об одном таком возвращенце я вынужден рассказать. И не хотелось бы, времени осталось немного, чтобы тратить на него перо. Но приходится, потому что это я его создал, я пустил его в обиход, я помог ему внедриться, а когда увидел результаты, было уже поздно. Моя вина.

Перед отъездом (1972) выгнанный из России Иосиф Бродский, вспоминая адреса, где могли быть его стихи (сам он практически ничего не хранил), познакомил меня с интеллигентной женщиной, бывшей женой своего друга. Действительно, стихов у нее оказалось немало, и мы подружились. После моего ареста она продолжала навещать мою тогдашнюю жену, помогала ей. Вскоре стал с ней появляться юноша, лет на десять ее моложе, с которым я познакомился по выходе из тюрьмы (если память мне не изменяет). Вежливый, даже подобострастный, услужливый в меру и не в меру, он делал все, чтобы завоевать наше доверие, да и действительно

¹ Абстракция, вроде правил игры в бисер, которая давно уже мешала хозяевам страны владеть нами без всякого удержу.

во многом помогал. Кажется, они уже подали заявление на отъезд по израильскому каналу, но собирались, как многие другие, в Штаты.

Этот молодой тогда человек, назовем его Былой, из-за нашей доверчивости и эмигрантской бедности на активных людей проделал тут головокружительный путь, на котором ему случалось совершать всякое, и даже (это не штамп) перешагивать через трупы, а ныне вернулся в Россию пожинать плоды. Его воспоминания под непонятным названием «Заметки аутсайдера» вышли в публикуемом им же самим околотературном издании.

Прежде всего, самоопределение — «аутсайдер». Аутсайдер — означает человек вне общества, одиночка, индивидуалист, которому никто не нужен, бесребреник. Назвать себя диссидентом он не посмел. Широко бытовавший в 70-е годы термин «нонконформист» тоже означает определенную духовную позицию. Аутсайдерами были хиппи, битники, тунеядцы, которые действительно выстегивались из общества. Как мы увидим, наш «аутсайдер» прекрасно приспособился не только к обществу, но и к государству, да еще не к одному, а, по моему неточному подсчету, не меньше чем к трем. Он обзавелся машинами, квартирами и женами там, где ему это нужно. Надо бы писать «Заметки приспособленца».

Будущий возвращенец появился в Париже вскоре после нашего приезда. Мы его встретили, приветили, накормили, оставили ночевать и повели знакомить со всеми, с кем мы уже подружились. Мы ему открыли Париж, как мы хотели бы сами, чтобы нам его открыли, — моя жена пыталась отблагодарить его за верность в трудное для нее время, когда я сидел. Я постарался помочь ему устроиться в эмигрантском Париже. Не раз помогал ему и Владимир Максимов. Не знаю, почему он пишет «после неудачного похода к Максиму», — может, он ожидал, что Максимов немедленно возьмет его в редакцию «Континента»? Это, по меньшей мере, смешно. При всем проявлении дружбы, при всем доверии ко мне Максимов не мог тут же найти ему место в своей укомплектованной редакции. Из воспоминаний возвращенца следует, что он уже тогда разъярился, т. е. был уверен в том, что я его немедленно внедрю в «Континент».

Надо разбираться в людях. Если в них не разбираешься, это твоя вина и ты несешь за это ответственность. Бараньи глаза энтузиаста навывкате, редкое отсутствие умственных способностей, которое он подтверждает в своих заметках, пронырливость (в Париже его, единственного из всех, кого я знаю, останавливала чуть не ежедневно полиция для проверки документов) должны были сразу же насторожить меня. Каюсь, я доверял его активности, его показной верности, разговорам о том, что мы можем сделать в Париже во славу русской культуры и словесности. Французская полиция оказалась прозорливей российских эмигрантов.

Одно из русских эмигрантских издательств искало в то время помощника. Ему был нужен активный и послушный русский человек, по возможности православный. Издатель говорил об этом с Максимовым, позвал меня к себе, долго и осторожно разговаривал о различных возможностях. Он нуждался в человеке безответном, самостоятельном и, по мере возможности, не слишком принципиальном. Мы рекомендовали ему «аутсайдера», который уже проявил себя в Париже руководящим и предприимчивым, идеальной тенью, готовой и способной копировать всех, кто так или иначе успел в этой жизни.

Нужно сказать, что где-то и когда-то он успел vykреститься, что само по себе хорошо для спасения души, особенно в те времена, когда церковь не была еще в такой моде, когда еще не осеяли себя принародно крестом с экранов телевизоров. Нормальное отношение к жизни не позволяет отличать крещеных от иноверцев. И не мне бы, полукровке, писать об этом. С другой стороны, надо бы различать, для какой цели люди крестились во Христа. Но уж чего невозможно вытерпеть от неофитов, так это поучений и наставлений, как надо верить. Возвращенец в своих воспоминаниях с презрением пишет о верующих, неспособных вы зубрить акафисты или объяснить порядок следования святых в иконостасе. Моя бабка, жена распяленного в Соловках деревенского священника, называла таких знатоков свечкодуями и сильно не любила.

Неофиту не пристало быть вероучителем. Трудно требовать вкуса, но

ждешь хотя бы разумного понимания, хотя бы нежелания выглядеть смешным. К сожалению, разумом Бог обделил¹.

Это крещение да проштудированные в России западные христианские журналы вместе с неумной услужливостью и лестью сделали свое дело. При нашем эмигрантском безлюдье издательство остро нуждалось в деятельном завхозе. Как получилось, что опытные издатели, вместо того чтобы назначить новичка заместителем (хотя бы и с широким кругом полномочий), возвели его сразу же в ранг директора? Разумеется, в их понимании директор — это просто администратор, он ничего не решает по сути, но для того, у кого нет ни ума, ни таланта, зато много «валентностей» (цитата из возвращенца), «директор» немедленно ударил в голову: жена «...открыв мне дверь, сказала: «Здравствуйте, господин директор», — по-видимому, на моей физиономии все было написано...» С этой-то физиономией директора он и пошел гулять по эмигрантскому Парижу.

Вскоре после его назначения покончил с собой прежний директор издательства, вытесненный «аутсайдером». Я не говорил об этом с Былоем, но никогда не слышал от него ни малейшего сожаления. А факт (трагедия) совершенно исключительный, и как жить с этим дальше, непонятно, да еще знатоку служб и акафистов, коленопреклоненному в первых рядах православной церкви. Даже если ты лишь косвенный виновник.

В заметках возвращенец пытается оправдаться, но самым постыдным образом. Он хочет доказать, что доведенный до отчаяния человек был ничтожеством, мешавшим развитию издательских дел. Разве убиенную дурнушку нужно меньше жалеть, чем красавицу? Разве это по христианству? В таком христианстве нужно, действительно, перевесить иконы и заново выучить «аутайдера» их распорядку. Чтобы вспомнил о раскаянии.

Что за персонаж встает в заметках перед изумленным российским читателем, не посвященным в тайны издательских активистов, в тайны иерархии шпионов на покое, благодушно занимающихся, в служебном порядке, раздачей ролей в русской культуре?

Читатель, переживающий вместе со своей страной неслыханный в истории эксперимент мистификации, театральное действие по перековке волка в ягненка, и имеющий своих хлопот. Полон рот, видит молодого человека, добровольно отправившегося в чужие края в поисках места под солнцем, без образования, без специальности, без языка. Этот человек, естественно, хочет жить и кушать, а значит, что-то делать и получать за это деньги.

У него в запасе только два качества: лесь и мимикрия. Лестил и услужал он до времени, пока не оперился. Подражать другим, имеющим что-то за душой, не прекращает и не собирается прекращать.

В эмиграции он вполне преуспел. Первым делом, по примеру многих интеллигентов, нацелился на переводы. Нет, переводить он никогда не научился, не зная, собственно, никаких языков, — по его же признанию в заметках возвращенца (позднее переводила его жена-биолог), но вскоре стал — рукастый — одной из лучших русских машинисток Парижа (хотя и на удивление безграмотной).

Затем мы видим нашего героя директором. Забота о хлебе насущном, о месте в чужой стране — «сознания не гложет». Жена пристроена в то же издательство, вечерами делает переводы, которые он удачно сбывает под своим именем. Доволен ли наш автор? Нет.

Когда ты не талантлив, но хочешь прославиться, тебя охватывает зуд издательства. Свербят ненасытные «валентности». Хочется подписаться возле чужого таланта. Около прозы, стихов, воспоминаний, исторических обзоров, песен.

Издатель имеет лишь одно право: право выбора. Он не может вскочить в авторский текст и слегка направить его в ту сторону, в какую ему пожелается. Он не должен резвиться за чужой счет. Автор заметок сам

¹ Мой близкий друг однажды встретил «аутайдера» в Риме. «Старик, я только что причастился!» — издаലെка закричал ему «аутсайдер». Мой друг смешался, не зная, что на это ответить. «Ну и как?» — спросил он наконец. «Колоссально!» — воскликнул будущий возвращенец.

подробно, откровенно и без стыда рассказывает свои проделки. Например, как по случаю смерти В. Набокова он взял кусок из чужих воспоминаний, «подчистил» его¹, заменил «местоимения» и тиснул в своем издании. У нормального человека такое признание не может не вызвать изумления. У литератора — просто ужас.

Редактор необходим каждому писателю. В советских условиях должность редактора была двойственной. С одной стороны, идеологическое сито (тяжкая для многих настоящих редакторов роль), с другой — подлинная работа с автором. Были разные варианты. Либо рукопись отклонялась, либо она отстаивалась, и начиналась работа. Даже цензурные придирки настоящий писатель может обойти с блеском. «Нос» Гоголя ничуть не проиграл от того, что встреча Ковалева с носом была перенесена из церкви в Гостиный двор. А Солженицын многое рассказал нам о редакторах в книге «Бодался теленок с дубом». Не рассказал он только одного: как, оказавшись на свободе, печатаясь без редакторских помех, начал он выдирать свою правку, сделанную по совету тонкого редактора А. Твардовского (и, несомненно, А. Берзер из «Нового мира»). И в большинстве случаев оказался не прав. А роман «В круге первом» и вовсе загубил².

Доброжелательный, умный и талантливый редактор необходим, но при условии, что он не трогает рукопись сам. Он советует, даже, возможно, настаивает, убеждает, однако последнее слово остается за автором, который почти всегда предлагает третье, неожиданное решение. Лишенные в молодости печати, мы были редакторами друг для друга. Опыт литобъединений, литературного окружения незаметно. Прекрасным редактором был руководитель нашего лито Виктор Семенович Бакинский. Замечательным редактором был мой друг Борис Борисович Вахтин. Если он морщился при чтении, ты мог быть уверен, что слово, фразу, кусок нужно передумать. «Подчищать» свои рукописи позволяли, как ни странно, лишь знаменитые советские писатели. Им было все равно.

Меня мало печатали в Советском Союзе. Но я не перестану с благодарностью вспоминать В. Панову, Д. Гранина, которым мою книгу давали на редактирование. Никогда не забуду редактора моих детгизовских книжек Н. Неуймину. Она ничего не исправляла своей рукой. Мы с ней спорили, убеждали друг друга, но если что-то менялось, то только мною.

Безграмотный, полуобразованный, самоуверенный, неточный в деталях — иногда случайно, а чаще намеренно (десятки примеров в «Заметках» — сужу хотя бы по тому вранью, что касается лично меня), возвращенец разгуливает в чужих рукописях, как в своем огороде. Не исключено, что при его участии были изданы некоторые ценные книги. Остановись, историк! Вспомни, что они могут быть «подчищены» или «подредактированы» в деталях.

Читатель, возможно, не знает, что авторское право столь же священно, что и право на жизнь. В его стране сейчас и то и другое не стоит ломаной полушки. Но издатель не может не уважать этого права. Он с ним работает поминутно. Но только не наш возвращенец.

Герой заметок рассказывает, как он одним махом поднял на ноги «возглавляемое» им издательство, выпустив песни русских бардов (о качестве этого издания лучше не говорить). Он даже называет сумму прибыли: во семьсот тысяч франков (в нынешних ценах ее нужно, по крайней мере, удвоить). Умалчивает он только об авторских гонорарах. Разумеется, несколько наиболее известным, живущим в Париже или наезжающим на Запад, он что-то заплатил, о чем проборматывает легкой скороговоркой. Но десятки других, далеких, подсоветских, возможно, так и не узнали о том, как поднялся будущий возвращенец на их беде.

Издавая журнал «Эхо» (на мои деньги, заработанные нелегким трудом), мы с Хвостенко гонораров не платили, и всем это было известно. Продажа и подписка покрывали едва 80% стоимости типографии — и то хорошо.

¹ «...мне пришлось несколько подчистить текст...» — пишет он сам.

² См. статью Л. Лосева в максимовском «Континенте», № 42, 1984.

(Остальные издания жили за счет дотаций, которых мы никогда не искали.) В тех редких случаях, когда какие-то вещи передавало радио, мы отдавали гонорар авторам.

«Аутсайдер» откровенно рассказал нам, что он не уважает авторское право — ни в отношении слова, ни в отношении порождаемого этим словом результата. Издательская деятельность нужна возвращенцу лишь для того, чтобы возвеличить себя и обеспечить себе безбедное проживание в разных странах.

Возвращенец нападает на всех лучших людей эмиграции. Будучи ярким приверженцем А. Солженицына, он стал непримиримым антисолженицынцем после того, как его выгнали из издательства, очень уважавшего этого замечательного писателя. То, что он пишет о Владимире Максимове, просто отвратительно — тем более, что тот уже не может ему ответить. Это был не только великий писатель, но и один из самых светлых людей нашей эмиграции. В то время не было никого, кому бы он так или иначе не помог (тому же возвращенцу, который никогда не примерил бы физиономии директора, кабы не Максимов). Полуграмотный графоман должен уважать большого писателя, который не только впускает его к себе, но и пытается устроить его дела. Так бывало во все времена. Стоит перечисть, какими словами описывает он «ссору» с Максимовым: «два безумствующих мужика»... Любезный, вас обманули: мужик там был только один. Другой, умелый угодник стареющих дам, живущий на чужие счета, без оглядки бегущий при первой угрозе его директорской физиономии, годами накапливающий желчь, чтобы вылить ее наконец в безопасности, на расстоянии, под защитой «крыши»... Это не мужик.

Нет ни одного человека, помогавшего возвращенцу в эмиграции, которого он не облил бы грязью в своих заметках: у того брюки сползают (видел бы ты, читатель, в то время недомытого «аутсайдера!»), тот смешон, тот пьет горькую, того он продает на весь мир, цитируя фразу, сказанную наедине, в трудную минуту и не для чужих ушей. Досталось всем: М. Агурскому, Ю. Алешковскому, В. Буковскому, Я. Виньковецкому, А. Гинзбургу, Н. Зернову, И. Иловойской, Э. Кузнецову, Б. Лосскому, В. Максиму, А. Некричу, Л. Нузбергу, И. Одоевцевой, о. А. Ребиндеру, А. Рутченко, А. Солженицыну, Г. Струве, Н. Струве, Б. Филиппову, В. Чалидзе, З. Шаховской, Е. Эткинду, даже французскому профессору Р. Герра, даже художнику О. Целкову, даже автору этих строк, по принципу — любое добро должно быть наказано. Даже Н. Горбаневскую, дольше всех его поддерживавшую, — и ту разделал.

Вся рота идет не в ногу. Вся рота пишет не то, вся рота издает не то и не так. Каюсь, я не читал книг издания нашего героя. Говорят, это нужные, исторические книги. Вполне вероятно. Но если вся рота не шагает, то кто шагает в ногу? Из записок следует одно: молодые историки «из-за бугра», «семь человек под общим псевдонимом»...

Для издания этих «семерых под общим псевдонимом» автор заметок роет землю и воду, многократно пересекая Атлантику, колеся по североамериканским штатам на автомобилях. Он организует интриги, ищет нужных людей, пробивается в сферы, опускается в низы, он негодует, мы чувствуем священный гнев, обиду, боль, ненависть. За что? Почему? Потому что разведывательное управление США не хочет давать «аутсайдеру» своих денег на издание «семерых под псевдонимом». Может, это хорошие ребята, но не хочет разведка тратить на них деньги! И заставить ее возвращенцу никак не удастся.

Разумеется, дотации на русские издания не всегда были самыми чистосердечными. Лучше всего было положение «Континента», финансируемого немецким издателем Шпрингером. Да и то все журналы, в том числе и «Континент», и наше «Эхо» частично раскупались американцами, и мы были довольны уже тем, что часть расходов погашается, журналы попадают в Россию, а за их содержание мы отвечаем сами.

Но я не способен понять нового Остапа Бендера, который негодует на то, что не может сколотить «Союз меча и орала», и поднимает всемирную идеологическую бурю из-за недодачи ему шпионских денег.

Удивляет еще одна деталь. Занимаясь издательством, а потом разъезжая

по миру в погоне за деньгами американской мадам Петуховой, возвращенец, как видно из его воспоминаний, ведет довольно широкий образ жизни. Не то что он совершает круизы на собственной яхте или покупает драгоценности у Картье. Но он постоянно назначает свидания за обедом или за ужином в рестораниках, кафе и барах, русифицированными названиями которых кокетливо пестрят заметки. Не задумываясь, бросается он за нужными людьми, сведениями, рукописями, за поддержкой и организацией интриг то в Италию, то в Лондон, то в Штаты. Читатель, которому покажется, что на Западе это ничего не стоит, страшно ошибется. Это-то и есть самое дорогое в здешней жизни: завтраки в забегаловках, деловые обеды, перелеты из одного полушария в другое.

На какие деньги?

Зная, как нищенски живет здесь издательский бизнес, даже если он и субсидируется из некоторых источников, я недоумеваю. Эти «источники» карман раскрывают с большой неохотой и щедростью не славятся. Возвращенец пробует объяснить, что автомобиль в Америке входит в стоимость билета. Но билет такой чего-то стоит, дорогой читатель, да и автомобиль надо кормить (бензин, масло, оплата автострад, стоянок, штрафы, от которых полностью не уберешься, и т. п.). Проведя много лет за рулем, я, например, больше не в состоянии иметь машину. Можно даже купить подержанную, не слишком дорого, но тем дороже ее содержать.

Я ни разу не был в Америке, хотя временами хорошо зарабатывал, — мне это не по карману. Откуда же у «аутсайдера» такие деньги, что он даже может позволить себе широкий жест — гордо отказаться от пособия по безработице (уж, наверное, не меньше полутора — двух тысяч долларов что ни месяц, и так в течение полутора лет). Пан не может стоять в очереди, как любой простой французский человек, это его унижает. Ни один эмигрант не отказался бы хоть всю оставшуюся жизнь проводить раз в месяц в любой очереди за такой законно полагающейся помощью, хоть, может, и честил бы при этом французские порядки на хорошем табуированном русском языке.

Помню, когда-то я с изумлением прочел в газете статью под названием «Почему я не модернист?». Я справился, кто же это такой «я», про которого мы должны знать, почему он не «модернист». Имя автора мне ничего не сказала. Одно из миллионов. Мне было все равно, модернист этот «я» или же консерватор.

Живший в XIX веке цензор А. Никитенко издал трехтомный дневник. Ему было что рассказать: среди прочего, он редактировал Гоголя, записал воспоминания А. П. Керн. Но начал он воспоминания со своей молодости, когда он был крепостным, вступившим в «Библейское общество», которое выкупило его из неволи и позволило подняться, занять эту должность и служить верой и правдой царю, отечеству и российской словесности.

Чтобы писать мемуары, нужно что-то собой представлять. Возвращенец должен был бы тоже начать свои заметки раньше или хотя бы объяснить читателю, кто он такой, откуда взялся и как и зачем попал к Маразмину, имевшему глупость и неосторожность, и т. д. (см. выше).

Пытаюсь представить, как приезжает этот, уже не столь молодой, умственно усталый, но по-прежнему рукодеятельный, быстроногий, автотоморизованный активист в новую Россию. Я вглядываюсь, но не вижу, не могу себе представить эту незнакомую мне страну дистрибуторов, дилеров, менеджеров, попов, освящающих новые здания госбезопасности, интернетовских сайтов, евроремонтов и секьюрити, где одни крыши едут, а другие устраивают разборки, где партий больше, чем идей, лакеи носят вина, а воры носят фрак — от Версаче.

Это только если не иметь воображения, может показаться, что возвращенцу легко, что его качают на руках и подбрасывают. Вручают новый орластый паспорт. Дают жильё. Пропитание. Билеты в Париж («аутсайдер» продолжает нас навещать!). Не хотите ли издать чего пожелаете? Или ключ от квартиры, где деньги лежат?

Нет, дорогой читатель, возвращение нужно отработать. И на самых жестких условиях. Даже Максим Горький отработывал. И вот если посмотреть

на «заметки» под этим углом, то становится страшно. Особенно мне. Страшно думать, что я оказался к этому причастен. Моя вина кругом.

В свое время Владимир Максимов, которого нам всем, а мне особо, так не хватает, рассказал мне, как входили советские войска в Прагу, по следам немцев. Известно, что в Праге перед войной была большая, культурно активная русская колония, которая, конечно же, не нравилась нашим чекистам. В семье не без уroda, и угрозами ли, подкупом, а то и по доброй воле были среди них завербованные. От большинства ничего не требовали до прихода советской армии. Тут их попросили лишь об одном: указать, по списку, где живут такие-то люди, с кем общаются, куда ходят, что делают их дети. Судьба этих людей известна: они и их семьи сгинули в сталинских лагерях.

Возможно, это чистое совпадение, но этот эпизод не выходит у меня из головы при чтении заметок. Они полны чудовищных подробностей, названы чуть ли не все видные люди эмиграции, их адреса и переезды, внутренние отношения, описаны все эмигрантские организации и издания, опять же с адресами, названы все иностранные организации, которые когда-либо занимались помощью эмигрантам, диссидентам и вообще русскими делами, их структура, отделения на местах, имена руководителей. Точно указана топография расселения русских эмигрантов в Вене, Париже и Нью-Йорке, запротоколено, кто, где и с кем парится в бане, настойчиво раскрываются псевдонимы — бери голыми руками.

Помню, в свое время один хороший человек, американец, занимавшийся отправкой книг в Россию, решил съездить туристом в СССР. Его там то ли напоили, то ли накачали наркотиками и, выпытав всего лишь адрес его конторы и, кажется, фамилию его начальника (что еще он мог сказать?), напечатали разгромную статью и вышвырнули из Москвы. Много лет после этого несчастного случая его продолжали тут мазать грязью все кому не лень. А что это по сравнению с заметками нашего возвращенца? Меня не оставляет мысль, что они сочинялись не случайно.

Воспоминаний о живых вообще не пишут, или просят их согласия на печать, или откладывают публикацию на десятки лет. Возвращенец пишет, как он передавал деньги (конечно же, американские) через дипломатов в Россию, называет передатчиков и адресатов (правда, один дипломат вроде уже умер — но ведь его служба, закрывавшее глаза начальство остались? правда, один диссидент уже уехал за границу — но, может, ему не понравилась бы эта болтливость «аутсайдера»?). Приблизительный в большинстве своих воспоминаний, такие деликатные подробности он приводит с высокой точностью.

Этот поток бесстыжей откровенности и наглой лжи есть не что иное, как открытое широковещательное доносительство под видом мемуаров. Будет что расстричь на десятки, сотни мелких подробностей, чтобы заполнить десятки и сотни личных (и неличных) дел. Вы спросите: кто это будет делать? Кому это нужно? Ведь, говорят, все переменялось?

Не переменялось, а перестроилось. Вслушайтесь: вам было сказано — перестройка! Честно и просто.

Сомнения есть всегда. Интеллигент и славится своим сомнением. Но заметки аутсайдера невозможно списать на недомыслие. Думать надо. Прежде чем. До того.

Говорят, на Западе не растут березы. Эмигранту положено тосковать по ним, родным, белостволым. «И березки, как девки босые, на прощанье мне машут листвою...» Это неправда. Это красивая легенда. Во Франции полным-полно берез. Возле Парижа есть целые березовые рощи. Березы машут по всей Европе.

Вот чего действительно нет на Западе — так это осин.

Иуде не на чем повеситься.

Декабрь 1998
Париж

СЕРГЕЙ НОСОВ

ХОЗЯЙКА ИСТОРИИ

Роман

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Фрагмент конфиденциальной беседы с Р. Хорном.
1 февраля 1980. По магнитофонной записи.

—... Сдвиг? Когда же он был замечен?

— В начале семидесятых. Тогда уже открыто заговорили о качественных изменениях в организации советской разведки. Скачок был очевиден. Иногда начинало казаться, что для русских в Америке уже не существует никаких тайн... Утечка информации шла повсеместно и по всем направлениям. Кроме того, обращала на себя внимание вызывающая уверенность, я скажу сильнее, самоуверенность советского руководства. Мы понимали, ваши концептуалисты получили новый, принципиально иной инструмент анализа. Нас постоянно опережали на один ход. Это касалось всего Запада в целом. С той же проблемой столкнулся Китай. У меня лично возникало ощущение, что сценарий мировой истории пишут в Кремле. *(Нервный смех. Пауза.)*

— Впечатляющая картина. *(Щелкает зажигалка. Пауза.)*

— Субъективное ощущение, но оно меня не покидает до сих пор. И, поверьте мне, у нас его разделяют многие. *(Пауза.)* Я продолжу?

— Пожалуйста.

— Скоро, впрочем, стало понятно, что традиционными методами разведки достигнуть таких успехов нельзя. В то же время поступила информация о проведении в вашей стране интенсивных исследований в области экстрасенсорных балансов. В 71-м году мы узнали о существовании в Москве Института устойчивых соответствий, или К-900. А в 72-м году была впервые названа фамилия Ковалевой. Мы недооценили значение этой информации, к тому же скоро потеряли источник. Лишь с февраля 74-го стали собираться сведения об Елене Ковалевой, более или менее достоверные. После Хельсинкского совещания мы искали возможность осуществить с ней непосредственный контакт, все попытки оказывались неудачными, но не сомневаясь, они будут продолжены.

— Когда и каким образом?

— Когда и каким образом, мне не известно.

Журнальный вариант.

/ Сергей Анатольевич Носов (род. в 1957 г.) — прозаик, драматург, автор книг прозы «Внизу под звездами» (СПб., 1990), «Памятник во всем виноватому» (СПб., 1994) и около десятка пьес («Берендей», «Дон Педро», «Джон Леннон, отец», «Времени вагон», «Путем Колумба» и др.). Живет в С.-Петербурге.

© Сергей Носов, 1999

— Известно ли вам что-нибудь об аналогичных исследованиях в Соединенных Штатах?

— Известно только то, что они проводятся. Примерно с середины 75-го. Уверен, результат поисков будет равен нулю.

— Почему вы так в этом уверены?

— На мой взгляд, здесь мы имеем... вернее, вы... вы имеете дело с очень индивидуальным и неповторимым явлением. Вам просто повезло. Примите поздравления.

— Спасибо. Господин Хорн, как давно, по вашему мнению, мы «имеем дело с этим индивидуальным и неповторимым явлением»?

— Я не знаю, что думают об этом в Центре. Но по моим оценкам, Елена Ковалева стала работать на вас в период между шестидневной войной на Ближнем Востоке и чехословацкими событиями. Я назову январь-февраль 68-го года. Возможно, я ошибаюсь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Секретный дневник Е. В. Ковалевой (май 1971 — июнь 1972)¹

16 мая. Юбилей. 1000 дней вместе. Говорит, сосчитал по календарю; допустим; я не проверяла, конечно, если так, то — пускай. Это много. Тысяча дней любви. А я подумала: совместной работы. Или службы, точнее сказать.

Белые розы. Букет. Шампанское, виноград.

Стала мнительной. Знаю, что неспроста. Так и спросила:

— Ты хочешь узнать что-то?

— Ну зачем же ты так? — даже как будто задет. Поцеловал. И все же: — Одно другому, — сказал, — не мешает.

В смысле работа — любви. Или любовь — работе.

Вышли на балкон. Выпили по бокалу. У меня было скверное настроение, думала, не готова.

Но он так на меня посмотрел и так улыбнулся, что все во мне перевернулось вдруг. Я сказала:

— Пошли.

Забавно. После — всегда забавно.

Страница готова. Пишется вроде. Значит, пошел. (Дневник.) С четвертой попытки. Первые три: все тетрадки — в огонь. Посмотрим, что дальше будет.

Ну-ну, красавица, изображай.

Сейчас мне кажется, я могла бы предсказать с точностью до — как обнимет — и далее... Но когда обнимал, волна в самом деле подкатывала, он знал, чего добивается... Нет, я сама торопила — давай же, давай, давай, спрашивай... — он забубнил — про какую-то встречу да еще и в Пекине, про секретную встречу, про конфиденциальную встречу, — я не хотела вдумываться чью, не хотела повторять за ним имена — этих чертовых китайцев, америкашек, но бубнил, бубнил свое, спрашивал, обнимая, придет ли тот — второй — Генри, ах, Генри, милый наш Генри, дружок — потому что от этого будто — от того, поедет ли он или нет — будет что-то зависеть. Гнать, держать, дышать, зависеть — ненавидеть и вертеть. Я сознательная. Я очень сознательная. Ну, ты не комплексуй, говорил, ты расслабься, расслабься, ведь я же люблю тебя, понимаешь люблю... Ненавижу это «расслабься». Расслаблялась — наверное. Если так называется — да. Он же лю-

¹ Публикуется с разрешения автора Дневника, данного 16.06.95 в Берне (Швейцария) автору данной сноски и всех последующих примечаний, а также оригинальных мемуаров, публикуемых во второй части данной работы. — М. Подпругин, общественный деятель.

бит, влюбленный. И я. Я — его. Чтобы крепче, просила. И хрустнули косточки. Еще, еще!.. А потом — когда понеслось — там — там — там — там лагуна, пробел, ничего не помню. Кричала. Не владела собой. Не могла не кричать. Все услышал, все, что хотел. Был испуг под конец — о соседях, как раньше — мелькнуло — когда в стену стучат, — но какое же тут общежитие, пора и привыкнуть — приходила в себя, — когда нет никого за стеной, никого кроме нас нет на свете нигде и никто не услышит. Уста.

И вот, открыв глаза, в потолок смотрю. Он же сразу — влюбленный! — бежит к телефону — в прихожую. Шлеп, шлеп — босиком по линолеуму.

— Добрый вечер, Евгений Евгеньевич, — и вполголоса, тихо: — информация полностью подтвердилась... Да, придет... Да, абсолютно точно... В середине июля *... Уверяю вас, да... Четвертый сценарий...

Голенький стоял, без халата. Думал, я не услышу. Голенький и любимый. Дурачок.

* Речь идет о подготовке секретного посещения Китая помощником президента США по делам государственной безопасности Генри Киссинджером и его предстоящей встречи с премьером Гос. Совета КНР Чжоу Эньлаем — поворотном событии в новейшей истории американо-китайских отношений. Таким образом, Е. В. Ковалева не только подтвердила информацию, полученную агентурным путем, но и указала на конкретные сроки визита. Действительно, Г. Киссинджер негласно находился в Пекине с 9 по 11 июля, что и было вынужденно подтверждено гос. департаментом 16 июля. Своевременная информация, полученная через Е. В. Ковалеву, оценивалась, как «крайне важная» (по шкале, принятой в Отделе, — более 40 баллов).

25 мая. 1001 день. 1001 ночь. — Это число мне больше нравится. Чем тысяча.

Тысяча и одна ночь — в одной постели.

Не каждая — но все-таки...

Все-таки в одной!

Удивительно. Не единого пропуска!.. нет, не вспомнить... Нас даже в командировки посылали вместе — как тогда, в декабре, в Серпухов! *... И когда я ложилась в клинику на обследование — дважды — его тоже укладывали со мной! В отдельной палате, в двуспальной кровати... — даже стихами выходит... Фантастика! Вот за что надо выпить, Володька — за то, что без пропусков!.. под одним одеялом!..

Ладно спи, дорогой. А я пободрствую и тоже лягу. Зря кофе пила.

Тысяча и одна ночь — пускай не каждая — но сказок Шехерезады!

* В Институт физики высоких энергий для уточнения некоторых технических деталей запуска новой жидководородной пузырьковой камеры.

30 мая.

Хорошо бы устроить ремонт. Переклеить обои в мужниной комнате. Побелить потолок на кухне. Рамы покрасить.

Весь день скучала. Читала какой-то глупейший детектив, уже позабыла чей. А сходить посмотреть в другую комнату — лень.

Володька обещал к семи. Он у нас теперь аналитик.*

* Успех январской миссии кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Ш. Р. Рашидова в республике Чили обусловил активное привлечение В. Ю. Волкова к анализу получаемой им через жену информации. До этого работа В. Ю. Волкова приравнивалась к оперативной.

3 июня.

На дачу приехали после обеда. Когда свернули с шоссе, я только тогда и обнаружила, кто едет за нами. Володя сидел за рулем, я сказала: «Смотри...» — он улыбнулся: «А ты как думала».

Сопровождали нас только до первого поста, там они остановились, и далее, через бор, мы добирались одни, без охраны; причем милиционер у шлагбаума отдал честь Володе (а может быть, даже мне — я рядом сидела...); и документов никто не спрашивал.

Е. Е. вышел сам на дорогу — встречать; открывал ворота; я почему-то ждала, что будет он при лампадах, ничего подобного — обычный тренировочный костюм, наш, не импортный, трикотажный, и штанины засучены до колен — такой дедушка-садовод. Меня он расцеловал, похвалил прическу, тут же появился пудель по имени Риф, темно-рыжий, лизучий, и, конечно, похожий на — но не хозяина, а хозяйку; та со своей стороны на генеральшу совсем не похожа — маленькая, вертлявая, лохматая. Представилась просто: Лариса.

Сразу же повели нас в усадьбу — обедать. Усадьба большая, солидная. Ели крошку на веранде, за столом сидели еще некоторые, Володя шутил, хохмил, анекдоты рассказывал. Е. Е. же рассказывал про огурцы со своего огорода, обещал нам показать, как растут. Угощал «Посольской», я не пила. Еще о живописи говорили, хвалили Илью Глазунова за смелость, он первый, кто решился проиллюстрировать «Яму» Куприна. Лариса меня тихо спросила: «Вам нравится «Яма?» Я сказала: «Не очень».

Почему мне должна нравиться «Яма»?

После обеда Володя всем объявил, что не успокоится, пока не поймает четырех карасей и пошел с удочкой на пруд. А меня Лариса повела смотреть достопримечательности. Пруд, беседка, оранжерея, грядки, на которых Е. Е. выращивает кабачки и огурцы хваленые, розалий... Розы разных сортов. А еще какие-то невероятно редкие тюльпаны — по одному — один фиолетовый тюльпан, другой черный. «Вы смотрели „Черный тюльпан?“» — «Два раза, с Аленом Делонем». — «С Жераром Филиппом». — По-моему, с Аленом Делонем*, но я не стала спорить. «Вот это дерево туя», — показала на нечто пирамидальное. «А это муж мой утверждает, что кедр, а на самом деле стелющаяся сосна, выше, чем по плечо не вырастает, вширь растет, — и добавила — дикобраз». Иголки, действительно, длинные, длиннее пальцев. Мы подошли к маленькой, довольно симпатичной елочке. «Голубая, — похвасталась генеральша, — таких больше нигде нет, только на Красной площади, у Мавзолея». Оказывается возраст такой елочки определяется по числу ответвлений; на каждой ветке от ствола было по четыре, я сказала: «Молоденькая». — А генеральша спросила, догадываюсь ли я откуда. Я не догадывалась. «Вот оттуда как раз, с Красной площади, муж сорвал шишку у Мавзолея четыре года назад и семечко посадил. Только не говорите никому», — она засмеялась доверительно, как бы и меня приглашая быть откровенной. Я так поняла.

Зашли в оранжерею. Там росли среди овощей вполне заурядных еще и гвоздики, особенно много белых. «Ну-ка, как называется, должны знать.., вот эта...». — Показывала на белую с красным одним лепестком: «Редкость!» — Я честно призналась: «Не знаю, а как?» — «Грешница». — «Почему грешница?» — «А догадайтесь». Глупо, но я покраснела. Наверное, потому что подошел Е. Е. Определенно, я дура.

Володя к этому времени поймал карасика, но генерал предложил другое: отправиться им вдвоем на Дальнее озеро — в ночь — за раками. Меня спросил:

— Отпускаешь?

Мне-то что. Пусть едет.

Я понимала, им надо поговорить, и чтобы никто не мешал.

Вообще-то здесь много народу — не то родственники, не то подчиненные. Меня знакомили, но я, по своему обыкновению, забывала имена. К вечеру большинство подевалось куда-то — уехали, что ли.

Одного Е. Е. послал при мне за шишками, за сосновыми — к самовару (сразу за домом сосновый бор).

Пили чай с вареньем. Гуляли. Лариса рассказывала мне, каким был Е. Е. молодцом — лет восемь назад. Хвалила Володю.

Генерал увез его, когда стемнело. Сам сел за руль. Володе выдали сапоги — ботфорты, взяли бредень с собой.

Около десяти завел со мной разговор некто А. Б.**, человек лет сорока пяти, с морщинистым лицом и чересчур тонкими губами, настолько не по мужски тонкими, что их как бы и не было. Он мне сразу не понравился. Врач. Будет меня курировать, именно так и сказал: «курировать». Психолог

он или гинеколог, я так и не поняла; просил быть с ним до предела открытой, ничего не стесняться. «Тогда у вас не будет проблем никогда». — «У меня и нет». — «У всех есть, а у вас не будет». — Он задал несколько вопросов, до крайности неуместных. В конце концов, мы на лоне природы, это же не кабинет. «Ничего, ничего, потом легче пойдет». Дал книжицу почитать: «Пока мужа нет». (Пошутил, видите ли.) Идиот. Я поднялась наверх.

Комната моя на втором этаже, окна в сад. Ночь темна, где-то далеко лает собака. Без Володьки мне одиноко. И непривычно. Не по себе. Книга называется (очень мило) «Составляющие оргазма», на титуле гриф «Для служебного пользования». Он ее сам (А. Б.) написал. Дочитала до половины. Неинтересно. Скучно, наукообразно, с претензией. Очень неинтересно.

Все. Хватит писать. Поздно. До завтра.

Почитаю еще чуть-чуть.

* С Жераром Филиппом.

** Александр Борисович Шимский (1924 — 1988) — сексопатолог.

4 июня.

Раков живыми варят. Бросают их в кипяток, грязно-зеленых, они там и краснеют. В кипятке. Шевелясь. Зрелище не из приятных. Но вкусно. Других впечатлений ярче не было.

Доехали хорошо.

Был разговор перед отъездом. Накатывали. Уже когда один на один, я генералу сказала: никаких там А. Б., до свидания. Он сначала оспаривал. Говорил, что лучший специалист, куча работ* и пр., просил присмотреться, дескать, уладится. Я сказала категорически: нет. Он мне не понравился. Генерал попыттел-попыттел и в конце концов согласился. Его проблемы. На прощание расцеловал. А доехали весело, с ветерком. Володька вел замечательно.

* Главным образом, о сексуальных перверзиях. Автор фундаментального секретного труда о заместительных способах сексуального влечения.

11 июня.

Все в порядке, любимый. Ты не знал, что я дока в космонавтике? Ага, удивился! Я тоже.

Хотя сейчас ни за что не скажу, чем апогей отличается от перигея. И вообще, дорогой — не люблю цифры. Еще со школы не любила. С начальной.*

Завтра, значит, получка. Принесешь косхалвы?

Спит. Не слышит. Ему и так сладко.

* Тем не менее цифровая информация, получаемая через Е. В. Ковалеву, отличалась исключительной достоверностью. В частности, в отмеченный день были предсказаны параметры полета, включая элементы начальной орбиты, первого американского спутника-фоторазведчика LAST, представлявшего собой крупногабаритную платформу для наблюдения с малой высоты. Примечательно, что спутник-шпион был выведен на орбиту только 15 июня.

13 июня.

Восточные сладости. А правильной — сласти. * Читала Шекспира.

* Строго говоря, Е. В. Ковалевой не рекомендовалось злоупотреблять ни сладким, ни острым. Вообще, формированием ее стола занималась группа специалистов. Супружеская чета находилась на так называемом спецнабжении. Продуктовые наборы привозили раз в неделю, по вторникам. Но никакой халвы в них (насколько это известно автору примечаний) не было.

15 июня.

Обрадовал. — Я должна вступить в партию. Так считает его руководство. И вообще, решение «по мне» уже принято.

Я их понимаю, я должна быть идейная. Но разве я не идейная? По-моему, очень, очень идейная.

Бубнил про карьеру. Интересно, какую же карьеру ты мне желаешь, Володя? Не смог объяснить.

— В жизни, знаешь, многое может произойти.

Знаю, Володя. А впрочем, как хочешь, как надо.

Дал Устав. Сказал, что могу не читать. Если спросят — про демократический централизм. Не более.

Ну это я выучу. — Слова-то какие — карьера!

16 июня.

Мы нередко ссоримся. Из-за пустяков. Пожалуй, он серьезно рискует, нарушает какую-нибудь инструкцию, — вряд ли ему дозволительно меня расстраивать. А я... я стерва. Я пользуюсь служебным положением. Пусть сам подойдет. И подходит. Ласковый, виноватый... Тут моя стервозность вся иссякает. Сразу прощаю. Отходчива. Сразу. Люблю. Любимого.

18 июня.

Вообще-то, если называть вещи своими именами, то я, конечно, просто публичная женщина. И если подобрать нужное слово, то это, конечно, эксплуатация. Сладкая. Сладчайшая. Потому что с ним. И только — с ним.

19 июня.

Было два раза. Один — вечером, около восьми. Другой — в два часа ночи.

Опять не высплусь. — Что-то сельскохозяйственное.*

* «Сельскохозяйственное» — во время ночного сеанса. Тогда уточнялся прогноз урожайности и сбора пшеницы в США. По отношению к предыдущему, неурожайному году (1970) предсказанный Е. В. Ковалевой рост сбора пшеницы должен был составить более 7300 тысяч тонн (согласно позднему официальному сообщению министерства сельского хозяйства США — 7331 тысяча тонн). Шестью часами ранее на вечернем сеансе были зафиксированы данные, свидетельствующие о существенном сокращении американского экспорта меди и алюминия. Информация этого дня, вернее, ночи, полученная через Е. В. Ковалеву, оценивалась, как дежурная (по шкале, принятой в Отделе, — до 16 баллов).

21 июня.

Иногда мне кажется, что я живу не с любимым мужем, а с целым Отделом — с таким вот неусыпным и ненасытным существом, которое само ни на что не способно и которому вечно мало. Многоголовая гидра с оттопыренными ушами и вытаращенными глазами — вот мой любовник. Я не я, я не принадлежу себе, не слышу себя, я захвачена волной сумасшедшего восторга, а он, а оно, ощетинившись, протоколирует — протоколирует! — торопливо и возбужденно — стрекоча самописцами. И я знать не знаю об этом и знать не хочу. Все-таки я извращенка. Счастливая извращенка.

25 июня.

Ибо: я, во-первых, порочная, порочная от природы (знаю точно теперь), и, во-вторых — растормошенная. — Черт! Как они меня растормошили! Мало, что не стесняюсь, но жду и хочу. Идиотка.

2 июля.

Принимали меня на третьем этаже, в помещении парткома. Подвели, открыли дверь, впустили — несколько человек за длинным столом. Зачитывают мое заявление. Я молчу. Зачитывают рекомендации. Сам генерал, оказывается, рекомендовал (я и не знала). Молчу. Встает кто-то из отдела, говорит, что я «достойна во всех отношениях» и «в виду особых заслуг» следовало бы принять без кандидатского стажа.* «Ну, есть Устав у нас, — отвечает председательствующий, — торопиться некуда. А давайте-ка я вам вопрос задам, Елена Викторовна». — И задает:

— Что такое демократический централизм?

Отвечаю:

— Это выборность снизу доверху и отчетность сверху донизу.

Все. Опять молчу. Они ждут.

— А еще?

Один — краснощекий такой — подсказывает **:

— Подчинение меньшинства...

— Большинству, — продолжаю.

Общий восторг. Голосуют «за». Единогласно! — Меня все поздравляют.

* Автор примечаний, которому довелось присутствовать на описываемом собрании, не помнит, чтобы поднимался вопрос о кандидатском стаже.

** Это был я (автор примечаний). Есть в протоколе.

4 июля. День независимости США.

Пишу американской шариковой ручкой, подарок генерала: колпачок — в звездочку, остальное — в полоску. Вся светится.

7 июля.

Итак, я не должна путать страны. Лесото с Лаосом. Бурунди с Брунеем. Бахрейн с Барбадосом... Нет, это интересно — я могу подолгу рассматривать карты, изучать морские пути... Со столицами хуже, конечно... Какая-нибудь До́ха (или Доха́? — атласы хоть и служебные, а ударений нет)... где-то в Катаре, который вот-вот получит долгожданную независимость...

С политиками еще хуже. Бен Али ат-Тани, катарский эмир. Еле запомнила. Не знаю, может, это шутка Володина, только он утверждает, будто я ему предрекла скорое свержение — Бен Али ат-Тани этому.* Не знаю, не помню. Могла ли такое? бен Али ат-Тани... Если так.. Аллах с тобой, бен Али ат-Тани, 560 миллионов — или сколько же там? — забыла! — тонн этой нефти.

Бен Али ат-Тани.

Каррисоса.**

Муньянеза.***

Лучше борщ приготовлю. Зачем не идешь?

* Действительно, в феврале 1972 г. А. Бен Али ат-Тани будет свергнут своим родственником Х. бен Хамадом ат-Тани. Последний, став эмиром, присвоит себе вдобавок портфели премьер-министра и министра финансов и нефти. Достоин сожаления, что в то время, когда бельгийская «Бельджиеной» заключала соглашение о предоставлении ей концессии на значительную часть территориальных вод и континентального шельфа, работа через Е. В. Ковалеву по Катару практически не велась. Отмеченная информация была получена попутно, непреднамеренно, в виде случайной флуктуации и оценена непростоительно низко — всего 6 баллов по шкале, принятой в Отделе.

** А. Васкес Каррисоса — в то время министр иностранных дел Колумбии.

*** О. Муньянеза — тогдашний министр международного сотрудничества республики Руанда.

10 июля.

... Возили к себе. Подключали проводки, смотрели приборы...

— Елена Викторовна, на что жалуетесь?

Отвечала:

— На скуку.

11 июля.

Володька пришел раздраженный.

— Знай что и кому говоришь.

Ему, оказывается, был нагоняй за то, что жена скучает. Допросили с пристрастием. Выяснили, что в театр не ходит (и жену соответственно не водит) и даже не знает, где находится театр Ермоловой.

Теперь он обязан обсуждать со мной прочитанные книги и не пропустить в конце года Расула Гамзатова, чья повесть* появится в «Новом мире».

Мне стало очень весело. Он был такой удрученный. Хочешь, я тебя люблю? Только — без! (Несанкционированно!)

И полюбила. Не все же для них.

И было ему хорошо, а мне нормально.

Я почему-то не. — Тревожный симптом.**

* «Мой Дагестан».

** Тревога понятна. Любая самодеятельность могла привести к утрате Е.В. Ковалевой ее исключительных способностей. По глубоко личному убеждению автора примечаний, В.Ю. Волков в данной ситуации вел себя крайне деструктивно и безответственно (что, конечно, не уменьшает ответственности самой Е. В. Ковалевой). Будучи лицом уполномоченным, В. Ю. Волков не имел ни малейшего права разрушать поведенческий стереотип, утвердившийся в серии удачных опытов супружеского сотрудничества и утвержденный, кстати сказать, руководством Отдела.

17 июля.

Бывает, хочется топнуть ногой: хватит! уходи •тсюда!.. Сломать что-нибудь, разбить!.. А иногда — нежность необыкновенная. Хуже кошки. Люблю, люблю до безумия.

С другим не стала бы, не смогла бы. С другим бы — не получилось.*

* Преувеличение. Автор примечаний, как это будет видно из нижеприводимого, доказал противное.

24 июля.

Меня хотят привлечь к исследовательской работе — в качестве консультанта. Или инструктора.

— Извините, — сказала я, — но для меня это слишком личное, разве вы не понимаете?..

Нет, они как раз понимают. По-своему. Обещают быть деликатными и тревожить лишь в исключительных случаях. Как в данном. А в данном случае у них набор. Формируется группа. Из девочек.

Ну что ж, насколько я понимаю, опять будут искать вроде меня.

Хорошо, если найдут. Так ведь не найдут — уверена.

Очень мне это не нравится. Отказываюсь, но они нажимают. Не знаю, как отвертеться.

Только что. — Спросил, что я пишу. (Проснулся.) Ответила, что конспект. «Как нам реорганизовать Рабкрин».*

— Охота тебе, — сказал и уснул.

Ставь точку.

* Подготовка якобы к ленинскому зачету.

1 августа.

А все-таки наша квартира напоминает бордель. Надо все поменять, переставить...

3 августа.

— Что же вы, Елена Викторовна, сны нам свои не рассказываете?

Вот гад, думаю, опять заложил.

— Ой, — говорю, — такая ерунда, даже повторять стыдно.

Дурочкой прикинулась.

Нет — не пройдет — хотят послушать.

— Да я позабыла уже.

Нет — не пройдет — надо вспомнить.

— И никаких деталей не опускайте.

Пришлось рассказывать. — Слушали очень внимательно. Задавали вопросы. Идиоткой себя ощущала. Да что же это такое в самом деле! Мне уже и сны мои собственные не принадлежат?

Вечером дома устроила Володке нагоняй. Сказала, что больше никогда ничего не буду рассказывать. Если такой. Он дурачился, извинялся. Потом полез со своим. * На него даже сердиться нельзя. Не могу сердиться.

Люблю.

А сон был вот каким. После дежурной маразмни, которая уже к моменту допроса,** к счастью, забылась — так что, вся экспозиция восстано-

лению не подлежит, — пригрезилось мне нечто гадкое, причем предельно натуралистично. Внезапно ощущаю у себя под языком какое-то неудобство: что-то инородное там, вроде волосины — мешает. Начинаю языком ворочать — никак не подхватить. Запускаю пальцы: нашла, зажала, тащить начинаю — вытаскивать. А эта дрянь — вроде волосины — вылезает у меня из живого, из-под языка (из-под языка — справа). И я ее тащу, тащу, тащу, а она утолщается, твердеет, становится как леска рыболовная и ей конца нет, — и вдруг обрывается. Я в ужасе. Что это? И тут кто-то из Отдела, кажется, Веденеев (вот лучше пускай его допросят,** а я бы послушала!..) говорит с умным видом: «Ничего страшного. Это шизофренический штифт. Только надо было с корнем выгащить». И я настолько потрясена, что запоминаю, как это называется — шизофренический штифт — почему штифт? — и сама повторяю: штифт, штифт, штифт, — и хочу потом в словаре посмотреть, что же это такое — штифт, да еще шизофренический? И тут я ощущаю, что слева под языком у меня то же самое. И опять начинаю вытаскивать. И тут... Господи!.. Все, все, хватит. Не буду больше писать.**** Дневник идиотки. Дневник идиотки.

Шизофреничка. Параноик. Все! Шандец.

Володька сказал, что это имеет отношение к моему здоровью, потому и доложил по начальству. («Проговорился») Но не имеет к политике. И на том спасибо. Мой язык и все мое остальное суть собственность государства.

* В целом, В. Ю. Волков придерживался графика. В этот вечер им была получена через Е.В. Ковалеву дополнительная информация о динамике добычи золота в ЮАР (наряду с добычей платины, с хромитами и марганцевой рудой — первое место в капиталистическом мире).

** Имеется в виду собеседование: отчет Е.В. Ковалевой о виденном ею сне.

*** Так и случилось. Факт, свидетельствующий о всей серьезности подхода руководства Программы к изучению феномена Е. В. Ковалевой. Впрочем, как свидетельствует протокол собеседования, майор Веденеев, будучи персонажем сна Е. В. Ковалевой, в ночь на 1 августа 1971 года «не испытывал никаких особых ощущений» и по существу вопроса не смог ответить «сколько бы то ни было вразумительно».

**** Автор настоящих примечаний, естественно, знаком с изложением сна Е.В. Ковалевой в полном объеме, однако чувство меры и вкуса подсказывает ему воздержаться от цитирования соответствующего отчета и ограничиться в своих комментариях данным пунктом.

4 августа.

Солнечно. Радостно. Хочется петь. Хожу по квартире, как блаженная — улыбаюсь. Босиком.

Уже трижды звонил, спрашивал: как?

— Володька, я тебя сильно-сильно люблю. (На третий сказала.)

Он ответил:

— Вот и хорошо.

И хорошо: пусть они знают (те, кто слушают).

А сны дурные мне снятся редко (к слову сказать). Больше — свежие, безмятежные.

Иногда дети снятся. Просто ребенок. Мой. Один. Я знаю, что мой.

Но для них эта тема слишком болезненная. Не надо дразнить гусей. Молчу.

7 августа.

Читала Юлиана Семенова* — от скуки. Надо что-нибудь посерьезнее. Про дельфийского оракула. Про Пифию. Про египетских жрецов и пр. Очень любопытно про предсказания по внутренностям птиц, не помню, как называется.**

* Автор политических бестселлеров, книг про разведчиков.

** Гаруспиция.

15 августа.

Я не знаю, чему его там учили по линии психологии, но он со мной делает все, что хочет. Я целиком принадлежу ему. Целиком подчиняюсь ему.

Я управляема им. Я его раба. Я хочу быть рабой. Рабыней. Я счастлива быть рабыней. Я счастлива, и боюсь потерять.*

* Трудно сказать, что же боится потерять Е. В. Ковалева. Душа женщины, как говорится, потемки. Душа Е. В. Ковалевой — потемки вдвойне. — Замечание (и примечание), выстраданное личным опытом.

7 сентября.

Крайне любопытное, невероятное и, если подумать, все же закономерное происшествие. Я уже отошла, успокоилась. Было над чем подумать.

Итак, по порядку.

Я поздно проснулась. Около одиннадцати. Разбудил телефон. Володька: он, по-видимому, сегодня задержится, его загружают делами. В начале второго еще звонок. Теперь генерал. Спрашивает, как мое настроение, не слушаю ли я и т. п. Просит через десять минут выйти на улицу, он будет на машине около нашего подъезда.

Выхожу. Стоит «Волга». Вижу: сидит сам за рулем. Глазам не верю. Сам! Не зная, что и подумать, сажусь в машину — приглашаемая. Мерси. Видите ли, он меня хочет свозить на Ленинские горы — показать Москву, словно я этой Москвы никогда не видела.

Ну, едем. На Ленинские. Разговариваем. О чем говорим? О погоде. А погода и верно — блеск! Бабье лето, тепло, солнышко сияет, генерал мой вдруг начинает мурлыкать: «Бабье лето, бабье лето...» — из репертуара Высоцкого. Я уже на него начинаю коситься: не подшофе ли? Что-то слишком возбужден как будто. Или что-нибудь, может, случилось...

Приезжаем. Остановились. Но из машины так и не вышли. Посмотреть на Москву...

Потому что товарищ генерал, как только остановил машину, взял и положил, недолго думая (хотя, может, и долго — не знаю), свою руку на мое колено. И сказал томным голосом:

— Леночка...

Я оцепенела от неожиданности.

Вряд ли я оцепенела поощряюще, но он не стал терять зря время и, воспользовавшись моим оцепенением, сообщил своей ладони известного рода динамику.

Тут уже я пришла в себя и твердым движением отстранила его дерзкую руку.

— Евгений Евгеньевич! Как вам не совестно! И еще в рабочее время! — сказала я первое, что пришло мне в голову, и, конечно же, не самое уместное и не самое удачное.

Он тут же ухватился за «рабочее время», как за соломинку утопающий.

— Леночка, вы только скажите... я готов в любое время... я готов, как вы скажете...

— Немедленно отвезите меня домой!

Провинившаяся ладонь уже спряталась куда-то под мышку, сам он съехал, как подросток нашкодивший.

И тут я слышу примерно такую речь:

— А вам бы, Елена Викторовна, было бы приятнее... если бы я не по любви, не по влечению... а по долгу службы?.. приятнее, да?.. Ну а если я как раз при исполнении?.. что вы скажете?.. нет?.. То, что любите мужа, это мне даже очень известно... и вашей верностью я восторгаюсь... ну, а если подумайте сами, если такие вопросы имеются... такой, понимаете, важности... что их надо не так, а вот так, по-особому... на самом высоком, понимаете, уровне... на вашем, понимаете, и на моем?.. Вы ответьте, Елена Викторовна, я вам не нравлюсь?

— Сами не слышите, что говорите, — сказала я строго. — Немедленно отвезите меня домой!

Он завел машину.

Повез.

Сначала что-то еще лепетал несурзкое, но, так как я сурово молчала, в итоге тоже умолк.

Уже около дома сказал:

— Елена Викторовна, нам с вами вместе работать. Ответьте, вы не сердитесь на меня?

Я ответила:

— Нет.

И пожелала:

— Всего доброго.

На том и расстались.

Сейчас девять. Начинаются новости. Володьки еще нет. Его хорошо загрузили. Bravo, товарищ генерал. С большим запасом. Вы мне начинаете нравиться. Нет, я не сержусь. Даже как-то смешно. Не волнуйтесь, мужу не скажу ни слова. Не хочу вешать на него ваши проблемы.*

* Прототип героя приведенного сочинения (именно сочинения, потому что фактография здесь демонстративно принесена в жертву художественности) обладал, как и любой другой нормальный человек, достоинствами и недостатками. Автор настоящих примечаний хорошо осведомлен и о тех и о других. Но какими бы ни были и те и другие, несомненно одно: прототип категорически не представлял собой карикатуру, он всегда придерживался жесткой самодисциплины, что справедливо давало ему неоспоримое право быть требовательным к подчиненным, никогда не мямлил, не бубнил, а, напротив, владел языком членораздельно, короче, был далек от субъекта, изображенного Е.В. Ковалевой. Подвело ли чувство стиля Е.В. Ковалеву? Да, подвело. Автор настоящих примечаний не принадлежит к категории литературоведов, хотя и ценит литературу и знает, и любит, и сам владеет пером. Но даже ему, не литературоведу, человеку, занятому иным делом, бросается в глаза легкомысленная торопливость изложения комментируемого текста, шаблонность в изображении конкретного, в действительности достаточно сложного человеческого характера, грубая тенденциозность в описании житейской ситуации, в общем-то и не стоящей никакого внимания.

24 сентября.

Была обзорная лекция о положении на Африканском континенте. По закрытым источникам. Володя, когда ему вечером пересказывала, спросил, говорили ли нам что-нибудь про людоедов. Нет, не говорили. Я думала, он опять шутит.

— И про президента Центральной Африканской Республики * ничего не сказали?

— Ничего не сказали.

— Вот, — сказал на это Володька — мы ему центр материнства подарить хотим **, а ведь он младенцев этих сам ест.

— Как ест? — спросила я.

— Тебе лучше знать. Как ест.

Гадость какая.

Детей!..

* Генерал Ж. Б. Бокасса — президент ЦАР с 1966 года. Он же — министр национальной обороны, гражданской и военной авиации, а также министр-хранитель печати.

** Процедура передачи в дар указанного центра состоится в июле 1972 года.

*** О специфических вкусах Ж. Б. Бокассы наш МИД, благодаря Е. В. Ковалевой, имел представление еще в октябре 1970 года, т. е. задолго до того, как сведения о людоедстве президента Бокассы стали достоянием западных средств массовой информации. Примечательно, что удручающее беспомыслие, столь рельефно выраженное Е. В. Ковалевой в тексте данной дневниковой записи, говорит само за себя и свидетельствует об исключительном значении фактора бессознательного в проявлениях ее необыкновенных сексуальных реакций, собственно и определяющих структуру феномена.

26 сентября.

Редкое явление в нашем доме — гость. Наконец, добралась до меня Галка-Моргалка, с которой мы не встречались лет, наверное, шесть. Такая же большеротая, глазастая, но на шее морщины. Стареем.

Старшему ее уже одиннадцать лет, показывала фотографии. Кавалер. Серьезный такой. А младшему пять. Я, как взглянула, так и ахнула: ямочки на щечках. Стоит в шубешнике, в валенках (зима!), ушанка набок, круглолицый, глазщи огромные и — ямочки на щечках. Зовут Рома. Роман...

Прилетела на конференцию — по своим полимерам. Уже три дня здесь. В ночь улетает.

— Что же ты раньше-то не зашла?

Говорит, некогда.

Все такая же впечатлительная. Поражается всему. Пост внизу ее ошарашил. Ну и квартира сама, и мебель, и пр. Муж, объясняю (как мне и должно объяснять в таких случаях), работает советником в министерстве внешней торговли. Сказала уважительно: «Ух ты!» — «внешняя торговля» всегда действует безотказно.

— Ну а ты-то чем занимаешься?

А чем я занимаюсь?

— Да так, помогаю мужу.

— Советами?

Почти в точку. Советами.

А она по-прежнему со своим Новожилом. Он у них инженер. Зарплата у него аж 170.

А моего она просто боится. Большой начальник. С брюшком. И с министерским портфелем. Увидев фотографию, очень удивилась:

— Да он что у тебя, спортсмен?

— Есть немного. Спортсмен. Когда-то бегал на лыжах.

— А теперь?

— А теперь... — чуть не сказала: «спортивная акробатика». Но сказала: — Дзюдо.

Что тоже недалеко от истины.

За дзюдо еще больше зауважала. Поражена холодильником, его содержимым. Я с дуру ляпнула какую-то пошлость, что, мол, не это главное в жизни. Она: «И это тоже». В смысле: для кого как. А я, значит, устроилась.

Выпили мы коньячку чуть-чуть, потом еще по чуть-чуть. Поболтали. Вспомнили, что еще помнили. И кого. Еще по чуть-чуть. Посмеялись, поплакали.

Знаю, что нельзя показывать спальню — не удержалась. Ну, тут просто — шок.

— А потолок зеркальный зачем?

— Муж, — отвечаю, — придумал.

— Для тебя?

— Для нас. Только ты не говори никому, хорошо? Понимаешь, излишества.

Она — с уважением:

— Никому не скажу.

И тут увидела шар тот дурацкий.

— Это что?

— Так подарок... Римские штучки.

— Зачем?

— Медный... Прохладный...

— И что?

— Ничего. Когда муж утомляется... разгоряченный... ну, или я... можно руку на него положить...

— Для чего?

Елки зеленые! «Для чего, для чего!» Для комфорту.

28 сентября.

Выходной до тридцатого. Спасибо природе. Злюсь. Ворчу. Наговорила грубостей. — Теперь каюсь. Была не права. Ничего. Поймет. Должен сам понимать. Он понимает.

1 ноября.

Стукнуло в голову: как правильно — «дитя» или «дитё»? У Ожегова «дитё» нет. «Дитя» есть.*

* В именительном и винительном падежах единственного числа надо употребить дитя. Более того, согласно «Грамматическому словарю» А. А. Зализняка, в родительном, дательном и предложном падежах единственного числа допустима устаревшая форма дитя, а в творительном — дитятей. Однако формы эти никогда не употребляются в отношении выражения вроде «дитя улицы» или «дитя века», т. е. в значении «представитель»

ства чего-либо», ибо единственная область их приложений — это исключительно по отношению к лицу, которое иначе мы так и называем: ребенок.

3 ноября.

Видела Веденева. Едва узнала. Из него все соки высосали. И я знаю как. Сказала: «Не стори на работе».

5 ноября.

У него было хорошее настроение. А я испортила. Решила спросить в лоб. За ужином.

— Слушай, — сказала, — а не завести ли нам малыша?

Немая сцена. Окаменел с вилкой в руке. Столбняк.

— Что же, тебе это кажется чем-то противоестественным?

Зашевелился. Я была совершенно спокойна, но тут он меня стал — настолько сам занервничал — стал меня успокаивать.

Заговорил о наших обязательствах и обязанностях, о сложном международном положении, о происках идеологических врагов и о том, что война во Вьетнаме еще не окончена, и о том, что мы молоды еще и способны вполне потерпеть и не надо спешить, и что те же американцы, например, вообще, рожают, когда им под сорок, и это у них в порядке вещей, потому что думают о существенном — о карьере и всем таком.

Демагогия, ему не свойственная.

— О какой карьере, Володя? Какую ты мне все карьеру желаешь?

Нет, он хотел совсем о другом. Просто всемоу свое время, а мы не готовы. «Мы» — это все, я так понимаю, прогрессивное человечество, или, по крайней мере, наш Отдел во главе с генералом.

— Володя, а ведь ты пошлости говоришь. Тебе не идет.

Приумолк. Сообразил, что не очень красиво.

— Извини.

Извинила.

— Я ведь тоже не могу ишачить до старости. Как думаешь?

Ему не понравилось «ишачить». И «до старости» — тоже. Как же можно ишачить, если это любовь? И не до старости, а до гробовой доски.

Вот как? О любви заговорил. Любишь — не любишь. Оказалось, что любишь. Ну а если любишь, какие проблемы? Все образуется. Надо лишь подождать. Чуть-чуть.

Он меня взял на руки и стал кружить по комнате, мурлыча, словно я маленькая-маленькая, а он большой-большой. И как будто это потолок вращался вместе с люстрой, а не мы, а мы, в конце концов, рухнули на ложе любви, на рабочее наше место, я и расплакалась.

Соображения же у нас (у него) такого рода. Ребенок — это очень хорошо. А два еще лучше. Но год-полтора придется все-таки «поишачить» (он сказал «в свое удовольствие»). А там и свобода не за горами — или отпуск тебе декретный, или пенсия вождеденная*. Войны за эти два года как будто не предвидится, зато предвидится новая смена — подрастет, воспитается, натренируется. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!** Слабо верится, впрочем. Видела я этих девочек. Да он и сам не верит. Больше надежда на Всеевропейское совещание. *** Глав государств. Соберутся же они когда-нибудь. Должно ж оно состояться. Состоится и все изменится в мире. Во всем мире и в нашей жизни.

Словом — надо стараться.

Стараемся. ****

* Трудно понять, на какую пенсию рассчитывала Е. В. Ковалева.

** Из Пушкина.

*** Хельсинское совещание глав государств Европы, а также США и Канады, состоялось в 1975 году — уже в бытность супружеского сотрудничества Е.В. Ковалевой с автором настоящих примечаний. Подробности в третьей части данной книги.

**** Последнее слово написано карандашом. Известно, что в ночь на шестое ноября В.Ю Волков, уточняя долгосрочный прогноз погоды в СССР, получил через Е.В. Ковалеву ценные данные о масштабах тяжелой засухи, которая поразит обширные районы страны летом 1972 года и соответствующим образом отразится на уменьшении объема

валовой сельскохозяйственной продукции. Похоже, супруги, действительно, «постарались»: был допущен эксцесс, и, надо на сей раз отдать должное В.Ю. Волкову, в полном соответствии с Инструкцией проведения повторных актов. Правда, значение в результате этого вновь полученной информации, согласно протоколам, хранящимся в архивах Отдела, невелико. Предсказывался резкий рост добычи газа в Западной Европе, что и без Е.В. Ковалевой ни для кого не являлось тайной в виду очевидной интенсификации разработок месторождений в Северном море. По шкале, принятой в Отделе, эта информация даже не оценивалась.

В ночь на 8 ноября.

Вчерашний вечер. Выход в люди. После демонстрации пошли к Веденееву. Посторонних не было, хотя я и не всех знала. Вед рассказывал анекдоты весь вечер. Володька хохмил без конца — был в ударе.

Веденеева подруга испекла пирог. Ее зовут Клара. Удивительно, что его хватает еще на Клару.* (Веденеева.)

Или не хватает — что ближе к истине.

— У Миши такая работа, мы с ним совсем не общаемся.**

И смотрит на меня, будто я с ним «общаюсь». (Они думают, что я очень «общительная».)

Я боялась, что будут как раз те, с кем он «общается» — из их бригады. Кажется, у них ничего не выходит. И не выйдет, я же сразу сказала. Теперь, когда спросила его, как успехи, он ответил: много работы. *** Худой — смотреть страшно.**** Говорю: не сгори на работе. Помни о Кларе. Смеюсь. И он — жутко безраздочно.

За дефицитом женщин танцы, к счастью, не удались.

Мужики назююкались — одни больше, другие меньше. Володька меньше других, но достаточно. Уж не ушел ли ты в отпуск, дорогой?

Тосты. Один был за Елену Прекрасную. Спасибо. Это дежурный. Другой — этот произнес капитан из новеньких — за генерала. На полном серьезе.

Все приумолкли. Настолько некстати. Володя протянул:

— Уууууу!

А потом добавил:

— И за партию с правительством.

Он со мной совсем разглумился, со мной ему все позволено.

— Раз налито — надо пить.

Ко мне весь вечер приставал с разговорами — коренастенький такой, приплюснутый, все время забываю фамилию, — а ведь, кстати же, лошадиную! Или нет? Ну да! Вот залез в голову, буду теперь вспоминать. (А Владимир Юрьевич наш спит себе мертвецким сном, завтра головка начнет бобо. Третий час ночи, и мне пора, допишу и лягу, только спать не хочется, вот и пишу, пишу, пишу...)

Тот — отвлеклась — коренастенький (и розовощекий), тот приставучий, все мне порывался объяснить, какой он уникал в сексуальном смысле. ***** В общем — финиш. Володька с кем-то лясы точил на балконе. Я сразу сказала, мне не интересно, но тому уже не остановиться было, я спросила: а вы не маньяк? — он и глазом не моргнул, так его и несло. Или маньяк, или с проблемами.*****

Потом с ним произошел казус, уже на кухне — когда они еще приняты. Я уже о машине думала, вхожу, а там тот приставучий о каком-то немце рассказывает, то есть известно о каком: о начальнике всей их немецкой разведки *****, будто он выпустил мемуары и будто там говорится о Бормане, что тот был нашим шпионом, второй человек после Гитлера! ***** И что он у нас умер после войны и у нас похоронен. Дескать, до чего дошла наглость западных инсинуаторов. Так тот рассказывал. *****

Володя слушал-слушал, а потом говорит как ни в чем не бывало:

— Я знаю.

Тот так и осекся.

— Что ты знаешь?

— Про Бормана.

— Что — про Бормана?

— Ну что был нашим агентом.

Это он подразнить хотел.

— Да ты что!.. Откуда ты знаешь? — а у самого глаза на лоб.

— Откуда я знаю, — отвечает Володька. — Откуда же еще? — и как бы язык прикусил, артист: как бы в моем присутствии.

Я сначала не поняла, на что он намекает, а тот сразу понял.

— Врешь, — говорит и на меня смотрит.

— Я тебе ничего не говорил, — отвечает Володя. — Забудь.

Но тот уже ко мне:

— Елена Викторовна, это правда?

Я даже растерялась.

— Правда, что Борман был наш?

— Вы, — спрашиваю, — серьезно?

— Молчи! — приказывает Володька. — Нельзя! — а сам, вижу, вот-вот расхохочется.

— Елена Викторовна, скажите, что он врёт. Я никому не скажу, вы только скажите, да или нет, правда или неправда?

Вот ведь какой деревянный!

— Пожалуйста, да или нет, был или не был?

Я повернулась и ушла в комнату. ***** Удивительный пенёк. *****

Когда назад в машине ехали, Володька все веселился — передразнивал: «Елена Викторовна, правда или неправда, был или не был?»

Жеребцов, кажется. Или что-то похожее. Кобылин? *****

* С середины 1971 года майор М. М. Веденеев, подобно автору настоящих примечаний, привлекался к довольно трудоемким экспериментам по инициированию определенных сексуальных реакций в рамках тренинга лиц, прошедших особый отбор. Упомянутая Клара к числу этих лиц не принадлежала. Неудивительно, что знакомство ее с М. М. Веденеевым, к слову сказать, вдовцом, было краткосрочным и малопродуктивным в отношении полезного опыта.

** Работа инициатора-исполнителя, действительно, была изнуряющей, однако невозможно представить, чтобы опытный М. М. Веденеев жаловался постороннему по сути человеку на тяготы секретной службы или, еще хуже, посвящал его в те или иные подробности. Вряд ли приведенная реплика Клары содержит какой-либо подтекст. Похоже, Е.В. Ковалева слышит то, что хочет услышать.

*** Подробнее — см. часть 2, глава 3. Там же даны характеристики наших партнеров.

**** С июля по октябрь 1971 года М. М. Веденеев похудел на 3 кг. Для сравнения — автор настоящих комментариев с августа 1971 по февраль 1972-го потерял в весе 6,450 кг.

***** Если это ирония, то не слишком уместная. Я рассматривал нашу беседу как развлекательную, отчасти как просветительскую.

***** Не то и не другое. Прочитавший «Мои мемуары» во всем разберется сам.

***** Рейнхард Гален — шеф тайной службы ФРГ. Руководил немецкой разведкой на протяжении 25 лет. За 4 года до описываемого разговора ушел на пенсию.

***** Отрывки из воспоминаний Р. Галена охотно публиковал «Шпигель». Вот фрагмент, непосредственно посвященный М. Борману: «Мартин Борман в качестве высокопоставленного информатора и консультанта Советов работал на противника еще в начале русского похода... Из двух достоверных информации мне стало известно в 50-х годах, что Мартин Борман, отлично законспирированный, жил в Советском Союзе, где и умер». Мемуары Р. Галена нельзя признать достоверными.

***** «Тот» рассказывал не «так», а лучше и выразительнее.

***** Малозначительный разговор о Мартине Бормане, действительно, имел место, но был при том выдержанным в совершенно иной тональности. Обычное обсуждение трибунальной проблемы, к тому же не представляющей ни малейшего практического интереса! Изложив свои взгляды по существу вопроса, я всего лишь поинтересовался мнением собеседников. Ну и что же в этом особенного? Я бы не стал ни при каких обстоятельствах допытываться у Е.В. Ковалевой конфиденциальной информации, хотя бы уже потому, что все, сопряженное с ее исключительным даром, жестко ограждалось от праздного любопытства достаточно суровыми режимными предписаниями. Да и был ли повод для любопытства? Ни малейшего повода! Увы, многие «шуточки» В. Ю. Волкова более свидетельствовали об его безответственности, чем о наличии здорового чувства юмора, и мне искренне жаль, что Е.В. Ковалева позволяла себе поддаваться далеко не всегда положительному влиянию своего зазнавшегося супруга.

***** Одно скажу: первое впечатление нередко бывает обманчивым.

***** Нет, Елена Викторовна, у меня другая фамилия. Скоро вы узнаете — какая. Поговорим об этом во 2-й части.

26 ноября.

Жена Спартака была пророчицей. Дионисийское вдохновение. В экстазе она предсказывала мужу всевозможные победы. Спартака приводят в Рим продавать в рабство. Ему снится, как холодная змея обвивает его лицо. (Володьке приснилось недавно, что он в водолазном шлеме.) Предсказание жены Спартака: великое могущество и грозный конец.

Я — воздерживаюсь. Хотя он и просит.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?»*

Не скажу. Не узнаешь. Нельзя. Табу. **

* Пушкин.

** Автор примечаний рекомендует читателю обратить особое внимание на данную дневниковую запись.

27 ноября.

Еще о женах. Жены других вождей рабов (например, Евна и Сальвия) тоже пророчествовали. А их героические мужья этим пользовались. Пропаганда идей и тому подобное. Муж и жена — одна сатана.

3 декабря.

Примчался как угорелый. Опять с цветами. Значит, что-то серьезное. Плонулся на колени, схватил меня за ноги, обнимает. Целует. Дерзит. Я — обреченно:

— Ну?

— Лена, Леночка, Ленулечка моя дорогая... — и так сжал крепко (а я ведь с тряпкой стояла, готовилась пыль вытереть на книжных полках), что вскрикнула даже.

— Так и есть. Пакистан все-таки напал на Индию.* Напакостил.

А у самого глаза сверкают.

— Что же хорошего, — говорю. — Ведь люди гибнут.

— Дурочка! Американцы в растерянности! Вот увидишь, они влипнут вместе с китайцами!**

— Чихать на американцев!

И еще раз (как бы сопротивляюсь, что ли?):

— Чихать на американцев!

Но тут он меня хватать — ловким своим приемом — и я уже у него на руках. И ах! ах! — и на ложе, на нашем. На нашем ложе страстей. Одетая. (Смех!)

Больше ничего не помню. (Раздетая.)

Нет, помню, конечно: про бенгалцев да про их Восточный этот Пакистан, да про любовь, про любовь, про любовь... Бу-бу-бу. Ну и про Киссинджера, как всегда. Про секретное заседание.***

Ворковал — целовал. Целовал — ворковал. А я слушала. Но только в начале.

Выскочила пружина у тахты.

Вот так. Потом заметили.

Жутко было как хорошо. — Ой-йой-йой. — Как хорошо!

* В этот день военно-воздушные силы Пакистана совершили привитивные налеты на Индию, чем лишь ускорили вторжение индийских войск на восточные пакистанские территории, населенные бенгальцами и с неизбежной исторической необходимостью отторгаемые от Пакистана.

** То, что Пекин и Вашингтон выступят на стороне Исламабада, сомнений не вызвало. На данный момент наших аналитиков интересовала степень этой поддержки.

*** Имеется в виду заседание Вашингтонской специальной группы действия, начавшееся в 11 часов в Оперативном центре Белого Дома под председательством Генри Киссинджера (в 19 часов по московскому времени). Таким образом, уже в день конфликта мы получили, благодаря «прямому включению» Е.В. Ковалевой, ценную информацию о ближайших планах США, в частности, по линии ООН, что во многом определило характер соответствующих советских инициатив в самые кризисные моменты стремительно разгорающейся войны. Аналогичные «включения» на протяжении после-

дующих десяти дней — вплоть до начала циклических изменений в организме прорицательницы — производились трижды (что, к сожалению, не нашло отражения в Дневнике Е.В. Ковалевой). Результаты превзошли все ожидания. Невольно показав козыри, американцы, и верно, запутались. Лишь в середине декабря они почувствуют что-то неладное. Но поздно, будет слишком поздно! Проамерикански настроенные западнопакистанские войска поспешно капитулируют.

4 декабря.

Еще я не чуткая. Нечуткий человек. При моей-то чувствительности, чувственности... Чувственна до бесчувствия. И — увы! Плохо. Плохо. Стыдись. Или все из-за расстояний опять? Эта Бангладеш где? По ту сторону Гималаев или по эту? Даже толком не знаю где. И знать не хочу. И не трогает. А были бомбежки. Совсем не трогает. Много жертв...

Умом то есть — да. А чувствами не сочувствую. Вот то, что тахта никуда не годится, это, конечно, предмет для переживаний.

А причастна, причастна...

6 декабря.

Увезли на занятия. После обычной политинформации для всего состава мне уже разъяснили в индивидуальном порядке, что же там у них происходит. Бенгальцев 70 миллионов, как оказалось. Немало. Я и не думала. Путано все.

Муджибур Рахман * — если верно запомнила. Сидит в тюрьме. Того гляди казнят. Показывали фотографию. Герой. «Наш друг».

Ну а я чем помочь могу? Дату казни узнаете? Вы же не этого хотите?

Любовь и смерть. Роковое. Не люблю этого.

Любовь — моя. Смерть — его. Не люблю. Просила не включать в график.**

* Шейх Муджибур Рахман — харизматический лидер бенгальцев.

** Тем не менее М. Рахман будет спасен охранником. В марте 1972 года, будучи уже премьер-министром Бангладеш, он посетит СССР и встретится с Л. И. Брежневым.

17 декабря.

Весь день в голове: «мухти бахини», «мухти бахини»...

* Вооруженные отряды «мухти бахини» совместно с индийскими войсками 17 декабря вступили в Дакку. День капитуляции западнопакистанских войск. Накануне через Е.В. Ковалеву была получена оперативная информация о ближайших демаршах США и Китая.

19 декабря.

Узнала сегодня: он взял социалистические обязательства на 1972 год.

— Это анекдот?

— Леночка, ну не бери в голову, там нет ничего про тебя.

— А про кого?

— Ни про кого. Просто так. Обобщенно.

Говорит — для профформы. Ну-ну. Уж не захотел ли ты, дорогой, стать ударником?

20 декабря.

Днем читала Толстого. — Ударник пришел после одиннадцати. И пахнет духами... По природе вещей — три дня выходных.

25 декабря.

Можно поздравить американцев: они получили «серьезное предупреждение» — 497-е. Китайское. Не надо летать над чужой территорией.

30 декабря.

Закатила сцену мужу. Без повода. Повод был в том *, что не хотела идти в Отдел, а всех собирал генерал, чтобы поздравить с Новым годом. Я заупрямилась, Володька настаивал, я психанула, и он тоже психанул. Вот и поговорили. С этого началось утро.

Потом за нами прислали машину, и мы, конечно, вместе поехали. Водитель по дороге подлизывался самым откровенным образом, но я отвернулась к окну и была как в броне. Хотя, конечно, понимала, что на людях так не смогу и не буду, а буду как будто ни в чем не бывало. В силу своей отходчивости.

Так и случилось.

Был стол. Была елка. По рукам пустили ведомость — расписаться: давали премию. Настроение сразу улучшилось.

К чести генерала, говорил он меньше обычного. Всех сильно хвалил и утверждал, что «гордится». Потом выступал из ЦК. Гость. Подводил итоги года. Подтверждал приоритеты. Сказал что нами очень довольны и что общеевропейское совещание, возможно, состоится уже в новом году.** При этом посмотрел на меня и на Волкова. Не имеем ли мы что-нибудь против — так наверное? Лично я не имела.

Основная проблема, говорил, это сближение американцев с Китаем. Ну а что до войны во Вьетнаме, с этим теперь уже все ясно. Сегодня, кстати, сбили 19-й самолет *** — за пять дней. Вот и Норвегия недовольна, а член НАТО. Очень перспективно сближение с ФРГ. И вообще, западный мир — на пути больших экономических потрясений, первые толчки уже зафиксированы.

Выпили. Сначала за старый — успешный, потом за новый — который будет еще лучше. Потом — за Анджелу Дэвис. Потом — «за нашу Анджелу Дэвис». За меня то есть. Я пыталась протестовать. При чем здесь Анджела Дэвис? Я что — в тюрьме?

Нет, мы обе символизируем. Приятно что-нибудь символизировать.

Я не расистка, но эту Анджелу Дэвис терпеть не могу. Сама не знаю, что меня в ней так раздражает. Не прическа же? Не завидую же я ее волосам, в самом деле? и тому, что за ними можно там так ухаживать — за прической? В тюрьме! Бог с ней, с Анджелой Дэвис, надо будет — поможем.

Потом была беспроигрышная лотерея. Водилька вытасил репродукцию «Данаи», в гипсовой рамочке, а я фен для сушки волос. «Данаю» он тут же обменял на комнатный градусник — веденеевский выигрыш. Протест генерала — судьбу обманываете! — оказался проигнорированным.

Потом, когда разбрелись, ко мне подошел тот из ЦК — с генералом — и протянул руку:

— Вот вы какая.

Наговорил комплиментов — корявых, неуклюжих, но все-таки. Оказываете, мне есть подарок. Персональный.

— От кого — не спрашивайте. Не важно. Мы поручили вашему супругу, он завтра преподнесет. Вам так будет приятнее.

Весьма тронута. Что-то, по-видимому, спортивное.

— Наши атлеты... в Саппоро вам понравится... А что за подарок — сюрприз...

И вдруг без перехода:

— У вас какой размер?

Оперативно и браво генерал за меня ответил — какой. Проявил осведомленность. Из ЦК удивился:

— Правда?

Я пожалала плечами. Спросила:

— Лыжный костюм?

— Увидите. Только одна просьба. Не появляйтесь в этом на людях до третьего февраля, хорошо?

Где ж я могу появиться на людях? Так я часто на людях появляюсь!.. Дома спросила мужа, что за подарок. Говорит, не знает. Сам не знает. Пока.

Завтра узнаем.

И еще. Велено слушать новогоднее поздравление Подгорного. «Будет про нас». Про нас — про всех нас? или про меня лично?

* Последние шесть слов хорошо иллюстрируют так называемую женскую логику. Так был повод или не был? — спросит читатель. Автор настоящих примечаний не однажды задавал Е. В. Ковалевой аналогичные вопросы в пору своего брака с последней.

** Чересчур оптимистический прогноз. Напомни еще раз: Общевропейское совещание по вопросам безопасности и сотрудничества состоялось в 1975 году. Как следует из вышеприведенного (см. запись от 5. 11. 71), именно с этим событием Е. В. Ковалева связывала возможность позволить себе деторождение. О нереалистичности такого подхода автор настоящих примечаний расскажет в своем месте.

*** 3427-й американский самолет, сбитый с начала войны, и, действительно, 19-й с момента возобновления массированных бомбардировок 26 декабря.

2 января.

Я обыкновенная баба. Как все. И купить меня проще простого.

Вчера. Днем.

Выключила душ, встала на коврик, вытираюсь не спеша полотенцем. И тут он входит. Я не сразу даже поняла, что в руках у него.

Хотела:

— Выйди! — сказать. Ударнику.

А у него — шуба. Олимпийская.

— Вот тебе вместо халата.

Белая, меховая, с пушистым воротником. С ума сойти. И накидывает мне на мокрые плечи.

— От партии и правительства.

— Ой, — говорю, обомлев.

Вот тебе и ой. Ну и что взять с такой?

То-то, Лена.

О чем он там нашептывал — о Южном Китае или о Ближнем Востоке * — ничего не помню. С ума сойти.

Волны. Волны.

Новый год вдвоем встретили. Было очень хорошо. А что до Подгорного, он не сказал ничего. Разве что сказал про разрядку. И опять. Опять — в шубе.

Сейчас час — первого дня Нового года. Володька все еще спит. Завтрак готов. Меня зарядили как будто. Что же это такое со мною? Может, она пропитана чем-нибудь?

Висит на вешалке. Буду будить. Не буду будить. Хватит. Боюсь. Не пиши. Себе говорю.

Надень.

Разденься только.

* О Ближнем Востоке. Ценность информации 16 баллов.

3 января.

Иногда жалко америкашек даже становится. Ведь они ничего не знают, что знают о них. Ничего — о нашей любви.

5 января.

Сначала скучная лекция о валютном кризисе в США. Потом психотерапевтическая беседа по итогам последнего тестирования. Проблема самооценки личности (моей, разумеется). Внутренняя свобода. Внутренняя дисциплина. Чистота ощущений. И вдруг:

— А почему бы вам не завести дневник?

Я насторожилась.

— Какой дневник?

— Интимный дневник.

— Кому понадобился мой интимный дневник?

— Ну зачем же — «понадобился»? Дневник пишется для себя. Чтобы разобраться в себе самой и не стать рабыней собственных комплексов. Неужели у вас нет потребности в дневнике? При ваших-то переживаниях?.. при их-то интенсивности?..

— Нет, — отвечаю. — У меня нет такой потребности.

Сама напряжена. Не проверка ли? Неужели что-то узнали?

Мне объяснили — с их психотерапевтических позиций — чем он для меня хорош. Интимный дневник.

— А как же, — спрашиваю, — режим? Как же «болтун находка для шпиона»?

— Елена Викторовна, вам ли объяснять, как можно, а как нельзя?

— Ну, нельзя это понятно как. А можно? В специально прошитой тетради с пронумерованными страницами? И на каждой странице — подпись начальника режимной группы?

— Зато неприкосновенность будет гарантирована. Никто кроме вас не прочтет.

— Так уж и не прочтет?

— У вас будет собственный секретный чемоданчик. Своя печать. Будете получать и сдавать под расписку. Опечатанный.

— А писать буду прямо в отделе?

— А почему бы и нет? У вас будет своя комнатка, свой стол. Сидите и пишете. А сжечь захотите — пожалуйста. Спишем. По акту. В установленном порядке.

— Извините, я так не хочу.

— А как же вы хотите?

— Никак.

Больше не настаивали. К чему такой разговор? О дневнике никто не знает. Даже Володька.

9 января.

Разговаривала с генералом. Спрашивал меня о Конфуции. По-моему, он волнуется. Вдохновляя:

— Читайте, читайте. «Речные заводы»*...

Я с ним подчеркнуто любезна. — «Старые друзья». Не подумал бы, что кокетничаю.

Нет, не подумает. Знаем, товарищ генерал, ваши «речные заводы». **

* «Речные заводы» — средневековый китайский роман. Рекомендован к чтению в связи с приближающимся визитом Никсона в КНР.

** Похоже, «речные заводы» становятся для Е.В. Ковалевой символом нескромных притязаний в дуге ее интерпретации соответствующего эпизода своей биографии (см. дневниковую запись от 7.09.71). Однако внимание знатока мировой истории остановит другое: удивительная проникательность генерала. Не обладал ли он сам даром предвидения? Теперь, с позиции прожитых лет, провиденциальный смысл рекомендации читать «Речные заводы» становится очевидным. Критика средневекового романа «Речные заводы» под лозунгом «борьбы с капитулянтством» захлестнет Китай осенью 1975 года и, обретя масштаб общенациональной кампании, выведет страну на новый этап культурной революции.

10 января.

Вот она, свобода: пишу без разрешения.

Этим и ограничусь — сегодня ничего не было.

26 января.

Генерал боится, что я увлекусь телевизором. Т. е. отвлекусь от Китая. От Никсона. * (Я ведь «такая эмоциональная»!)

— До вашего Китая с Никсоном еще три недели. **

— Зато какие, — сказал генерал.

Я его успокоила.

— Мы с Никсоном будем смотреть одни и те же передачи. Уж он-то своих американцев не пропустит. Там их, знаете, сколько? ***

— И Киссинджер, — сказал генерал. — Он тоже будет смотреть.

Спросил, что я думаю о нашей хоккейной сборной. Думаю, что будет золото. И он того же мнения.

Серебряные медали наверняка чехи получат. Будут грубо играть. Генерал болеет против. Он больше за финнов и шведов. Шведы, наверное, бронзу возьмут. **** Американцы тоже могут войти в четвертку.

Просил обратить внимания на Родину. ***** «Наша надежда». Вспомнил о сувенире:

— Что же это я вручить вам забываю... Держите. На память о событиях в Бангладеш.

Первая бангладешская марка.***** Изображен тот самый Муджибур Рахман — в очках. Лоб открыт, большой нос. Темные с проседью волосы, усы.

— Вашими молитвами, может, только и выжил, Елена Викторовна.

Я хотела на счет молитв, но промолчала, сдержалась. И потом, в судьбе Муджибура лично я, насколько помню, участия не принимала. Он сам.

Насколько помню и насколько способна отдавать отчет себе — хоть в чем-то.

* Намеченная телетрансляция зимней Олимпиады могла вызвать у Е. В. Ковалевой стрессовые перегрузки, крайне нежелательные в канун визита Р. Никсона в Китай.

** Неточность. Двадцать шесть дней.

*** В американскую сборную входило 123 спортсмена (тогда как в советскую — 107).

**** И снова отмечаю пронизательность генерала. Ирина Роднина — олимпийское золото в Саппоро в парном катании (с Улановым).

***** Выпуск первых почтовых марок Восточной Бенгалии (серия из 8 штук) был приурочен к празднованию 17 января одного полного месяца со дня прекращения военных действий на Индостанском полуострове.

29 января.

Занятия на дому. Приходил Т.Т., китаевед (с лицом гипертоника), седой — из отставных. Автор каких-то статей о Китае — под псевдонимом. И как мне рекомендовали, большой знаток Востока.

То, что знаток, — никаких сомнений. Умеет писать иероглифами. Показывал. Удивительно разговорчив. У него задача такая — пропитать меня китайским духом.

Сколько-то лет жил в Пекине. Жил и служил

Рассказывал, как ловил черепах на удочку. Рыбак. Но я предупреждена: он и приврать может. А говорит интересно — слушаешься.

Я ведь о Китае ничего не знаю. А кто знает? Володька не знает. И Никсон не знает, и Киссинджер.

Никсон боится Китая — еще больше, чем мы. И уважает — с испугу.

Еще бы не бояться! Что же это за страна такая, где яйца обмазывают глиной и месяцами выдерживают в земле? Где продают их, яйца, на вес, а не поштучно?.. Где едят собак, и хуже того, крыс, и хуже того, крысиных зародышей, гадость какая, в особом соусе?!. * И называют все эти кушанья красивыми поэтическими именами?!. Что такое жареный бамбук? Он ел. Что такое трепанг? Он ел. Почему они пренебрегают мясом? И что это за рыба, если она сладкая?

А суп из ласточкина гнезда? А консервированные скорпионы?

Он говорит, что если съест скорпиона, не будут досаждать комары.**

Спасибо. Увольте.

Я, конечно, уважаю чужие вкусы и по любознательности своей сама бы попробовала какой-нибудь кислый бульон, прозрачный, как стекло, и без единого колечка жира, и все-таки от народа, соорудившую такую фантастическую стену на тысячи километров и еще недавно считавшего за благо всем женщинам поголовно уродовать ноги, — вот уж не знаю, что от него ожидать.

А Никсон опростоволосится. Мы его раскусим.

* Не разделяя неожиданно громкий пафос Е. В. Ковалевой в целом, автор настоящих комментариев все-таки его разделяет по целому ряду пунктов (в частности, в вопросе «о зародышах»), что обусловлено не только сочувствием к женской эмоциональности, но и в первую голову закономерной психологией просвещенного европейца. Кроме того он выражает искреннюю признательность Андрею Кабанникову, собственному корреспонденту газеты «Комсомольская правда» в Пекине, за великолепную статью об особенностях китайской кухни (субботний выпуск КП 20 (21271), 2—9 февраля 1996 г.). Из данного источника следует, что в провинции Гуйчжоу, действительно, считается за деликатес оригинальное блюдо, называемое «Три писка» и состоящее из живых крысиных эмбрионов. Итак, цитата: «Живые крысиные эмбрионы перед тем, как оказаться в желудке местного гурмана, — сообщает осведомленный журналист, — пьшат три раза: когда их берут палочками, когда окунают в острейший соус и, наконец, когда кладут в рот». Каково?

** Сомнительно.

3 февраля.

Видела открытие Олимпиады.* Ничего. Зрелищно. Был парад, Греки шли первыми. Можно подумать, они древние греки. Далее по алфавиту. Смотрела, кто как одет. Самое интересное.

Австрийцы — в чем-то тиро́льском таком. А бельгийцы шли в шапках, почти как у нас — в ушанках, и сапогах довольно симпатичных, кажется, на меху. Испанцы — в испанском (в пончо, нет?). Французы были в черном — во всем! — черные брюки и черные, ниже колен, пальто, и ботинки, тоже черные — почти как шпионы — все строго, даже слишком строго. Восточные немцы в меховых поддегунчиках были. Наверное, это очень изящно, только с нашими не сравнить. Шубы с воротниками — у нас. Мне захотелось тут же надеть. Мою.

Японский арбитр давал торжественную клятву судить честно. Сегодня же японцы проиграли чехам — 2 : 8. Что и требовалось доказать.

* По телевизору.

4 февраля.

Американцы обыграли канадцев. 5 : 3. — Никсон будет доволен.

5 февраля.

А я и не знала. Рассматривался вопрос о целесообразности нашей разлуки. До месяца. (До месяца до Никсона. *) «После разлуки не ведаешь скуки». ** Ну, допустим, со мной Володька скуки никогда не ведает. А я если и скучаю — так просто скучаю.

С ним советовались. Он вежливо доказал «нецелесообразность». Жаль, меня не спросили.

* То есть до ожидаемого визита Никсона в КНР.

** Сотрудники Отдела, чья напряженная деятельность часто подразумевала необходимость решительной психологической разгрузки, охотно обращались к устному творчеству. Так, по затронутой теме, из множества афоризмов, бытовавших в среде инициаторов-испытателей, к числу которых с августа 1971 г. принадлежал автор настоящих комментариев (см. часть 2), особо отличались популярностью, как ему теперь вспоминается, нижеприводимые перлы узко профессионального фольклора: «Разлука для жажды, чтоб в день дважды»; «Сладкие штуки после горькой разлуки»; «После разлуки мужик при бамбуке».

Не от словосочетания ли «при бамбуке» происходят «прибамбасы», иная этимология которых, приводимая в «Словаре московского арга» В. С. Елистратовым (М., 1994), выглядит кудей?

6 февраля.

Примерно раз в 200 лет Хуанхэ меняет русло.* Потрясающе! Десятки миллионов людей терпят бедствие и что-то там роют, строят, возводят. Каждый раз заново.

При этом в Пекинской опере женщины играют мужчин, а в Шаосинской опере, наоборот: мужчин — женщины. **

Я Китая боюсь.***

* Как удалось установить автору настоящих комментариев, крупнейшее перемещение Хуанхэ в завершающемся тысячелетии имело быть в 1494 году, после чего строптивая река весь XVI век металась из стороны в сторону, не находя себе русла и заливая тысячи и тысячи квадратных километров плодородной равнины. Это не может не впечатлять, прошу верить на слово. Интересно, что другое достаточно грандиозное смещение русла Хуанхэ произошло сравнительно недавно, всего за 2 (два) года до рождения автора настоящих комментариев, тогда, утверждая источники, прорвало дамбу.

** В данном случае ничего удивительного. Такова китайская традиция. Лицо, изучающее литературу о вокальном искусстве Китая серьезно и вдумчиво, а вовсе не ограничивающее свой кругозор устными преданиями информаторов, какими бы ни были продолжительными и увлекательными их командировки, никогда не подойдет к предмету своего рассмотрения с обыкновенной школярской линейкой. Уместно отметить также, что Пекинская опера старше Шаосинской почти на 60 лет. Впрочем, для 1972 года комментируемое замечание Е.В. Ковалевой об актерской игре в классической китайской опере представляется несколько архаичным в виду актуального торжества разрушительных установок пресловутой культурной революции.

*** Признание, которому не следует доверять. Тем более, что в обязанности куратора не входило пугать Е.В. Ковалеву. Надо подчеркнуть со всей определенностью: не только Китаеведение, но и политология, геополитика, политическая экономика в целом и в частности социализма, не говоря уже о семиотике восточной культуры, этнографии, этнопсихологии и этносексологии, равно как и других областей человеческого знания, мало, слишком мало (что, кстати, видно из Дневника) интересовали Е.В. Ковалеву.

8 февраля.

Пришел Т.Т. Стал за чаем рассказывать про китайскую философию. Чем интересен Конфуций и чем он не угодил нынешнему китайскому руководству.* Неожиданно прервал сам себя:

— А почему вы меня не спрашиваете ни о чем? Вам же надо про что? Про любовь. Про это... про секс. В том смысле. Китайский эрос...

— Мне все интересно, — отвечаю уклончиво.

Он перешел к эросу. Как все такое следует у них из их философии Дао. «Тайна облака и дождя». — Я должна знать об этом.

— Да откуда же мне?

Стал охотно рассказывать о девяти настроениях женщины. Смутился на четвертом. Перескочил на шестое. Опять смутился.

— А знаете, у китайской женщины какое самое интимное место?

— Догадываюсь.

— А вот и нет. Щиколотка! **

— А у мужчин?

Пожимает плечами.

— У мужчин, понимаете, у них везде одинаково...

Повеселела. Слушаю, что еще скажет.

— Вы себе и представить не можете, как у них все там в Китае продумано... в этом деле. Особенно в древности было... Вплоть до подушечек. Такие рогатые подушечки... Запишите, как называются.

— Я запомню.

— Нет, нет, запишите.

И диктует:

— Чу-ех-чен.

Я записала.

— И потом, у них нет ни одной фригидной женщины, такая страна. *** Они и не знают, что такое фригидность. По крайней мере, мне не попадались фригидные...

— О, — говорю с уважением, — у вас большой жизненный опыт.

— Еще бы. У меня китайнок больше, чем европейек, было. В два раза. — Задумался, проверил, пересчитал. — Один к двум, если точно.

— Красивые? — спрашиваю.

— А как же! Китайки все, как одна... они все красивые...

Видю: краснеет эксперт мой по китайской любви, так смутился — как мальчик.

— Вы варенье берите, вишневое.

Берет.

— Ну там у нас в Пекине с этим строго было, по правде говоря... По правде говоря, всего две... Две китайки... Причем здешние, здесь... Одна в Комсомольске-на-Амуре в шестьдесят первом году... А другая под Благовещенском... в шестьдесят третьем...

Прочитав разочарование в моих глазах, добавляет:

— Но и этого много. Больше чем достаточно. Китайки везде китайки.

— А сколько же тогда, — вмешиваюсь беспардонно в личную жизнь, — у вас европейек было?.. если один к двум?.. Одна?

— Ну, я, знаете, вообще-то однолюб. Сорок лет с Еленой Ефимовной живу, ваша тетка, к слову сказать...

— А до Елены Ефимовны никого не было? — совсем уж я обнаглела, так он заинтересовал меня своей арифметикой.

— Ну, знаете, в семье не без урода... Я ж когда еще с Еленой Ефимовной-то затевал?.. Когда курсантом был, тогда еще... Она и про китайнок ничего не знает. А! Пусть. Теперь что говорить!..

Забавный дедуся. Выпили мы с ним коньячку. Он — с большим удовольствием.

* В полной мере отмеченная здесь неуютность проявит себя в конце 1974 года, когда в КНР начнется крупномасштабная кампания «критики Линь Бяо и Конфуция».

** Сомнительно.

*** Сомнительно.

11 февраля.

Наши наверняка выиграют эстафету. *

* Лыжную. Среди женщин. 15 км (5 х 3) за 48.46.15.

12 февраля.

Если восстанавливать с нюансами, то будет примерно так.

— Ленок, ты меня любишь?

— Люблю.

— А партию и правительство?

— И партию люблю. И правительство.

— Но не так как меня?

— Тебя больше.

— А я ведь тебе намекаю.

— Ну? Я слушаю. Что?

— Видишь ли, радость моя, солнце мое, там им очень кому-то хочется узнать, как завтра сыграют наши с чехами, понимаешь? Счет. Хотя бы раскладку шайб.

— А зачем? Им же будет смотреть не интересно.

— В общем да. Но все-таки...

— Подожди... Но ведь у нас в любом случае золото! С нами все ясно.

— А у кого серебро? У кого бронза?.. Чехи могут совсем пролететь. Ты не знаешь, как я сильно тебя люблю. Чехи могут не войти даже в тройку.

— Чехи что-то плохо играют...

— Ты сегодня такая красивая...

— Там не все ясно, у чехов...

— Вот, вот...

Боже, какой у него обворожительный бархатный * голос!.. И произносит, начнешь вспоминать, казалось бы, слова какие-то пустые, совсем заезженные, никчемные **, слушаешь, слушаешь, и уже сама не своя... Да кто ж тебя научил так, Володька?..*** Сколько вместе живем, а все не могу привыкнуть. И замечательно, что не могу. Не хочу привыкать. Не буду привыкать. Никогда не привыкну.

И не знаю и знать не хочу, потакаю чьему я капризу — с такой легкостью и с такой радостью кидаясь в костер... В схватку кидаясь... В бездну... Дура! Пустые, пустые слова! Заезженные, никчемные, неправильные слова!.. Не пиши, о чем не умеешь!

Говорят, Л. И. **** страшный болельщик. — Допустим. — Я потом спросила Володьку (прижимаясь к плечу):

— Ну так кто же выиграет, скажешь?

— А ты знаешь сама — наши.

Поцеловал — устало.*****

— А счет?

— А счет не скажу.

И не сказал. ***** Да я и не допытывалась.

* Менее всего голос В. Ю. Волкова был бархатным. Автор настоящих комментариев хорошо помнит рассматриваемый голос и готов настаивать на следующих эпитетах: «деланный», «маслянистый», «тягучий».

** Над подбором «никчемных» слов и особенно их порядком работала группа специалистов, причем рекомендации ученых учитывали последние достижения в области психолингвистики. Другой вопрос, насколько ответственно сам В. Ю. Волков следовал этим рекомендациям.

*** Риторический вопрос. Нашлись, кому научить.

**** Леонид Ильич Брежнев? Не велики ли амбиции? Похоже никаких «левых» за-

казчиков рангом ниже Генерального секретаря ЦК КПСС Е.В. Ковалева для себя просто не мыслила. Спрашивается: а чем были бы хуже такие именитые и влиятельные болельщики, как, например, М.А. Суслов и А.Я. Пельше? Не тем ли только, что один отвечал «всего лишь» за идеологию, а другой возглавлял «всего лишь» Комитет народного контроля? Нет, бросать на кого-либо тень подозрений в серьезном злоупотреблении служебным положением не входит в задачу автора настоящих комментариев, — приводя чисто условные примеры, он всего лишь изучает удивительный феномен так называемой женской логики. И только. Однако правомерен вопрос: разве наши чехословацкие товарищи меньше переживали за свою национальную сборную, чем мы за свою? Почему-то об этом Е. В. Ковалева не говорит ни слова. Между тем известно, что Густав Гусак, их коммунистический лидер тех лет и фанатичный поклонник хоккея, несомненно интересовавшийся спортивными прогнозами, часами беседовал кое с кем из наших руководителей, почему-то так к стати приехавших в Прагу на совещание Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского договора, и не когда-нибудь, а как раз (это ли не совпадение?) перед самым открытием зимней Олимпиады в Саппоро! С кем именно беседовал Г. Гусак, ответят историки... Впрочем, я не настаиваю на определенной версии. Может быть, все не так сложно.

**** Трудно представить «усталый» поцелуй.

***** Что касается автора настоящих комментариев, то, в отличие от В. Ю. Волкова, он считает правильным сообщить счет именно здесь. Наши выиграли — 5 : 2.

13 февраля.

Наши выиграли! 5 : 2 !

Я визжала, как ненормальная. Первым забил Блинов на шестой минуте, потом Михайлов чуть-чуть не забил. Потом атаковали чехи... Штятся — Холик — Недомански... Третьяк стоял на воротах отлично. Володька вскакивал с дивана, кричал, бил себя по коленям, выбегал на балкон поостыть, хотя знал, какой будет счет, а я не знала, но знала, что выиграем! и тоже кричала! Особенно во втором на нас навалились, но тут Фирсов совершил просто чудо, ударил едва ли не с середины поля и попал в плечо Дзурилле — шайба кверху взлетела, кувыркаясь — три раза показывали — незабываемо! — и медленно скатилась по спине растерявшегося вратаря прямо ему в ворота! — Дзуриллу они заменили Холечком, и напрасно, тот Дзурилла лучше играл. Чехи забили только две — Мартинец, Черны. И пять пропустили. Пять! Неужели я все это знала — что пять?.. Драка была. Теперь у них даже бронзы не будет. Четвертое!

А на втором американцы — никто не ожидал такого.

Пусть Никсон порадуется.

Зря, зря нас не взяли. Мы бы там были полезны.

14 февраля.

Ну так вот, как же быть с предопределенностью? — его волнует.

Мне такие разговоры не нравятся. Помню, он мне сказал однажды, что многое бы отдал, чтобы узнать дату своей смерти. Я спросила:

— С точностью до дня?

— Нет. Хотя бы до года.

— Фигушки, дорогой. Не дождешься.

15 февраля.

Учусь есть палочками. Это не трудно. Уже получается.

16 февраля.

Пришел с работы в приподнятом настроении. Вчера американцы отменили ограничения в торговле с Китаем. Что-то насвистывает. Предвкушает.

17 февраля.

Утром Володька принял спецобъект, а вечером повез мне показывать. Посмотрела на Храм Любви, или Павильон Страсти.

Ничего. Впечатляет. Я там буду хозяйкой до конца февраля. Хозяйкой истории.

Все в шелках. На окнах занавески шелковые, на постели шелковое покрывало, и на стенах — шелк, а на шелке — картинки, а на картинках — на некоторых * просто даже не знаю, из какого музея их раздобыли.

А постель низкая-низкая и широкая-широкая — восточная постель, ки-

тайская, все по канону — что длина, что ширина — а в изголовье ваза стоит, чтобы не перепутали направление, потому что зимой, оказывается, полагается головой на север.

На круглом столике лежит веер. На невысокой скамеечке стоит бронзовый сосуд, похожий на кувшин, как бы кафельница — для окуривания.

Тут же медные блюда для фруктов, но фруктов пока что нет — не принесли. Зеркала. Деревянный дракон повис над дверью.

Мы прошли в другую комнату. Тут уже было не так интересно. Дань современности. Уголок. Красный, по-нашему.

Красной скатертью накрытый стол — вот и все, что из мебели — на трон любви совсем не похожий. Нет, не трон — не трон любви. Далеко не трон. Стол как стол. И на нем графин. На стене портрет председателя Мао.

— Мне не нравится здесь. Я здесь не хочу.

Подошла к окну. Снег во дворе. Возле будки ходит охранник. Нас охраняет.

— Будем там, где ты хочешь.

Вернулась назад. Где дракон и где шелк, и где пурпура цвет.

— Да. Вот здесь.

Легла на кровать. Зазвонил телефон — в коридоре. Он вышел.

А перина — пуховая — утонула в ней вся. Слышу Володьку:

— Это я, да, мы здесь. Нет, вполне, даже очень. Вполне.

Распласталась. Раскинулась. Задыхалась свободно. Вот сейчас я тебя возвращу. Подожди.

— Понимаю, товарищ генерал. Нет, ну что вы. Мы не торопимся, нет...

Трубку как будто рукой закрывает.

— Ну, конечно, потерпим. Да нет, мы подождем. Нет, я все понимаю.

Ну, что вы, мы же не дети...

Вот он, значит, о чем. А я как дура.

Села. Сижу на кровати.

Увы.

Он трубку повесил. Вошел.

— Тебе привет. Завтра привезут благовония.

— Интересно, а где тут подслушивающие устройства** ? — под ковер заглянула, смотрю.

— Перестань. Это нас не должно волновать. Не думай ни о чем постороннем. Будешь думать только обо мне, и все будет у нас отлично. Обо мне думай. А я все сам знаю. Все.

И вдруг — с испугом:

— Что это? — показал на рогатую подушку.

— Мой император, вот и не знаешь?

— Что я не знаю?

— То чуехчен.

— Как ты сказала? Точу е хчен?

— Чу-ех-чен, — повторила я по слогам.

— Понятно, — сообразил Володька.

* Так в тексте.

** Правильнее сказать не «подслушивающие», а «прослушивающие».

18 февраля.

Уже поздно: одиннадцать. Он еще на работе. Все-таки нас решили разлучить напоследок — счет когда пошел на часы. Не мытьем, так катаньем. Дураки.

Час назад позвонил. Повелел спать лечь и увидеть сон про него. Мой император! Слушаюсь и повинуюсь! — Я увижу тебя, мой император, в форме офицера ВВС США.

Ты меня любишь, мой император?

И я тебя — очень!

Линь дунь.*

* Последние два слова абсолютная абракадабра, ничего не значащая стилизация. Образец юмора Е.В. Ковалевой.

20 февраля.

Ни пуха, ни пера, любовь моя!

Гуам. *

* На тихоокеанском острове Гуам размещалась американская военная база. Место остановки президента Никсона на пути в Пекин. В этот день Е. В. Ковалева и В. Ю. Волков приступили к интенсивным исследованиям тайной дипломатии США и КНР одного из драматичнейших этапов новейшей истории.

К сожалению, большая часть интимного Дневника Е.В. Ковалевой, относящаяся к так называемой китайской неделе, была уничтожена ею самой. Автор настоящих комментариев располагает несколькими отрывочными бессвязными записями, из числа которых достойными публикации находит следующие.

1. Америка, Америка.

Возможно, неточное название марша «Прекрасная Америка», исполненного 21. 02 в Пекинском аэропорту во время встречи американской делегации премьером Гос. Совета КНР Чжоу Эньлаем.

2. Тонкие ломтики.

Запись, по-видимому, относящаяся к одному из двух банкетов: либо к предельно торжественному 21.02 в Доме народных собраний, на котором президент Никсон признался, что «творимое нами здесь может изменить мир» и к тому же процитировал стихи Мао Дзедуна, либо, что вероятнее, к более сдержанному банкету 25.02, в отличие от первого протекавшему в закрытой обстановке и не транслируемому в США по каналам спутниковой связи. Впрочем, возможно, это запись кулинарно-бытового характера, не исключено — эротического.

3. Цикада на дереве в ночь длинной луны.

Несомненно указание на какой-то эротический прием, к сожалению, до конца не проясненный автором настоящего комментария. Примечательно, что в бытность его брака с Е.В. Ковалевой ни тот, ни другой в повседневной супружеской практике китайскими эвфемизмами не пользовались.

4. Среда.

Лишь таким образом, без каких-либо поясняющих записей отмечено 23 февраля 1972 года, действительно среда, причем праздник, широко отмечавшийся в СССР, как День Красной Армии. Насколько известно автору настоящих комментариев, оба супруга в этот праздничный день выпили с разрешения руководства Программы некоторое заранее установленное количество рисовой водки. 23 февраля состоялась важнейшая, третья по счету, конфиденциальная встреча Никсона с Чжоу Эньлаем, а также велась в обстановке чрезвычайной секретности переговоры госсекретаря Ч. Роджерса с министром иностранных дел Цзи Пэнфемом. Информация, полученная через Е.В. Ковалеву, и в том и в другом случае оценивалась 42 баллами по шкале, принятой в Отделе, и имела для судеб страны стратегическое значение.

5. Юню.

Возможно, имя неустановленного лица китайской национальности. Более вероятно Юн-Ю — древнекитайский термин, обозначающий сексуальный союз. Владение Е.В. Ковалевой терминологией китайской философии было, мягко говоря, неудовлетворительным. Но может быть, юню — эвфемизм, форма русского самостоятельного глагола юнить? «Я тебя юню». — «Ты меня юнишь?» — «Юню».

6. Л.

Расшифровке не поддается.

7. Бывает.

Темная запись, вряд ли характеризующая В.Ю. Волкова с сильной стороны, по крайней мере, в каком-то конкретном эпизоде (что, впрочем, не умаляет его заслуг в дни и ночи китайской недели).

8. Р З В Л Т.

Не Рузвельт ли, Франклин Делано, американский президент в 1933 — 1945 годы? Возможно, занесено по недоразумению.

9. Цвет нефрита, источник.

Запись, на первый взгляд, эротического характера, особенно если учесть распространенные в Китае выражения типа «нефритовый стержень», «нефритовые ворота» и т. п. Вместе с тем, как любезно сообщил автору комментарий китаевед Н.В. Петров (за

что, в соответствии с представившейся возможностью, ему выражается глубокая благодарность), нефритовый источник — это одна из достопримечательностей Ханчжоу. Как раз 25 февраля, в субботу, Никсон и Чжоу Эньлай посетили Ханчжоу для отдыха.

10. КИНГ КОНГ

ПИНГ ПОНГ

КОНГ КИНГ

ПОНГ ПИНГ

Загадочная запись, несомненно исполненная глубокого эротизма и, кроме того, побуждающая в контексте развития американско-китайских отношений к дополнительным ассоциациям. Кинг Конг — гигантская человекообразная обезьяна, будто бы обитающая в джунглях Индокитая, похотливый самец, похищающий девушек, продукт необузданной фантазии голливудских ремесленников. Что же до происхождения названия популярной спортивной игры пинг-понг, то вопреки широко распространенному заблуждению оно, бесспорно, не китайское, а, наоборот, английское, хотя именно китайским внешнеполитическим инициативам обязано опять-таки, видимо, английское по происхождению словосочетание «пинг-понговая дипломатия». Имеется в виду серия своеобразных жестов доброй воли, начало которой было положено пекинской стороной нежданым приглашением в апреле 1971 года американских спортсменов для участия «в дружеских матчах» в настольный теннис. Скажем более, название «пинг-понг» есть не что иное, как звукоподражание, точнее, подражание характерному звуку прыгающего по деревянному столу легкого полого шарика — факт, между прочим, отмеченный в соответствующей статье Большой Советской Энциклопедии. С другой стороны, сознательное подражание крику птицы, например, перепелки («Хун, хун, хун!») или пятнистого голубя («Шан, шан!»), по свидетельству некоторых исследователей тайных учений Востока, дает возможность непредубежденной жрице экстаза «направлять любовные виды энергии по значимому пути». (См. Ник Дуглас, Пенни Слингер, «Алхимия экстаза», СПб., ИЧП «Белый кролик» совместно с издательством «Петербург — XXI век» и АОЗТ «Лик». 1995. С. 247.)

11. Скучновато.

Констатация.

12. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л.

Расшифровке не поддается.

13. Всегда согладатай.

Темное место. Не находит ли здесь уникальная деятельность Е.В. Ковалевой причудливое соотношение с традицией изображения постороннего наблюдателя на классической китайской эротической миниатюре, характерные образцы которой, как видно из Дневника, украшали стены спецобъекта, изысканно оборудованного для рассматриваемых исследований?

14. E + B = A.

Свидетельство о досадном инфантилизме Е. В. Ковалевой.

15. И я хочу в Ханчжоу.

Естественное стремление. Ханчжоу — курортный город.

16. Устала.

Констатация.

17. Спать!

Потребность утомленного человека, пожалуй, не нуждающаяся в особом комментировании.

28 февраля.

Благодарили. Спросили, чего я хочу. Хотела сказать — ребенка. Но не сказала. Сказала: «Выспаться».

1 марта.

Встала после одиннадцати. Потом — в Отдел. Обсуждалось коммюнике. Ничего даже слышать не желаю ни о какой гегемонии.*

Опять благодарности. Корзину роз подарили. Как балерине. Кстати, о балете. Иду завтра в Большой. С Володей. Он терпеть не может балет. На «Дон Кихота»** идем. Пусть просвещается.

«Отдыхать». Но и не только. Задание! Вот какие мы нарасхват...

Там будет некто с высокой энергетикой. Гость. С необыкновенно высокой. К тому же высокопоставленный. А кто такой — пока секрет. Заинтриговали, одним словом.

В антракте меня к нему подведут, рядом поставят и представят как видного борца за мир и равноправие женщин. Далее, по идее, он должен будет пожать мне руку, а я при этом что-то почувствовать. Тут меня и отведут в особую комнатку, где я быстренько расскажу нашим специалистам о своих необыкновенных ощущениях. Услышу ли гром, увижу ли молнию, вспомню ли детство, похолодеют ли ноги...*** А муж мой будет в зале сидеть и ждать с нетерпением. Надеюсь, градусник мне ставить не будут.

Надоели опыты. Бред. Параспсихология. Балета хочется.

Без пяти двенадцать. Спать. Спать.

* Американо-китайское коммюнике, опубликованное 28.02, было выдержано в самых общих выражениях. Ни одна из сторон не должна добиваться гегемонии.

** Музыку к балету «Дон Кихот» написал замечательный российский композитор, скрипач и дирижер Людвиг Минкус. Им также написан менее известный балет «Фиаметта, или Торжество любви».

*** На молнии и холодные ноги никто не надеялся. Это уже гротеск. К сожалению, свою работу в Отделе Е. В. Ковалева порой воспринимала, как нелепое изобретение некоего пародиста. В пору ее продуктивного брака с автором настоящих комментариев (о чем будет ниже) легкомыслие Е. В. Ковалевой в отношении собственного дара нередко омрачало самые незабываемые минуты пишущего эти строки.

2 марта.

Не держу руку на пульсе времени, а то бы уже вчера поняла. Муджибур Рахман, шейх — вот мой харизматик. А я еще утром гадала, чьи это флаги вывешены?*

Нет, мне от него никуда не деться — достал, прилетел. Скоро ночью приснится мне этот шейх, и буду я излагать свой провидческий сон в форме объяснительной записки.

Днем с ним встретился Брежнев. Балет — вечером.

Володька не хотел идти, ворчал. А я была наэлектризована, как ненормальная. Надела олимпийскую шубу.

К служебному входу подвезли, там уже было все оцеплено, нас пропустили по «вездеходу». Встретили генерала на лестнице, он загадочно улыбался.

Генерал сидел в партере, нам же досталась ложа во втором ярусе. Ну а шейх вместе с Косыгиным и Громыко, естественно, в центральной, в правительственной. Там еще был Полянский.

Исполнили гимны — бангладешский и наш. С этого и началось. Подняли занавес.

Мне спектакль понравился. Правда, Володька крутился все первое действие — не то от скуки, не то от ревности. Я иногда поглядывала на шейха, он смотрел очень внимательно. Еще бы, поди, в Бангладеш у них нет балета. Или есть? **

Что сказать о Муджибуре Рахмане? Роста он невысокого, черноволосый, в очках, театрального бинокля что-то я у него не припомню, может, не дали, чтобы не напоминать о слабом зрении? А может, не полагается по протоколу. Приятное открытое лицо, на той марке он выглядел посуровее. Не знаю, как на счет энергетики, на расстоянии не очень чувствовалось, но все же в этом есть что-то такое, когда недалеко от тебя сидит человек, еще недавно приговоренный к расстрелу и уже многими считавшийся расстрелянным.

Наступил антракт. За мной пришли. Володька пожелал ни пуха, ни пера. Я к черту послала. Повели меня в гостиную за центральной ложей. Вижу Косыгина, вижу Рахмана. Беседуют. Громыко ко мне подошел:

— А... это вы?

И подводит меня к шейху как ни в чем не бывало. Я даже не поняла, что он сказал. Догадываюсь, что как будто знакомит.

Сама не знаю, кто он, гость: «товарищ» или «ваше превосходительство»? Мы еще по дороге с Володькой спорили, есть ли у него гарем.*** Он же

шейх, мусульманин. А если шейх, почему тогда премьер-министр? Да еще и лидер крупнейшей партии? ****

А он берет и целует мне руку. И лицом светится. Поцеловать руку — это посильнее, чем просто пожать. Я тронута. Но сказать, что меня током ударило, будет преувеличением.

— Господин премьер-министр находит спектакль великолепным, — сообщает переводчик специально для меня предназначенное.

Не за балерину ли они меня принимают?

— Я счастлива, что нашему высокому гостю понравился русский балет.

В ответ — любезная улыбка.

Вот и вся встреча. Меня уже вывели.

— Ну как?

— Никак.

— Совсем никак?

— Абсолютно.

— Нет, подождите. Что-нибудь да было...

Я решительно направляюсь в сторону нашей ложи. Догоняет генерал:

— Ну как?

— Абсолютно никак.

Меня злость берет. Почему это их Муджибура Рахман с высокой энергией, а наш Косыгин — с простой, с невысокой? Или тот же Громыко, он в молодости ого-го красавцем был, я видела фотографию, это он сейчас так скукожился!.. Почему же Рахман Муджибура?.. А не Громыко? А не Косыгин? Не Фидель Кастро, в конце концов, с которым меня так и не познакомили?!

Села на место. Тут уже мой:

— Ну как?

— Ты лучше, — ответила я.

Стал свет меркнуть. Музыка объяла нас. Больше он не вертелся.

Я смотрела балет до злости веселая.*****

* Шейх Муджибура Рахман, премьер-министр недавно провозглашенной Народной Республики Бангладеш, в сопровождении министра иностранных дел М.А. Самада прибыл в Москву с официальным визитом 2 марта 1972 года. В тот же день высокопоставленные гости были приняты Л.И. Брежневым и Н.В. Подгорным.

** Нет.

*** По мнению автора комментариев, не было.

**** Будучи председателем Народной лиги, крупнейшей партии Бангладеш, Муджибура Рахман надежно поддерживался мелкой и средней буржуазией, учащейся молодежью, крестьянами, ремесленниками и значительной частью рабочих.

***** Е. В. Ковалева еще не знает самого главного. В августе 1975-го Муджибура Рахман и вся его семья будут убиты во время государственного переворота.

8 марта.

Напугал. Слово за слово, о смерти заговорили. (Ночью — в постели.) И вдруг спрашивает:

— А ты бы могла представить меня в гробу?

Я встала и включила свет.

— Слушай! И не пытайся! Будешь приставать — напишу рапорт.*

Смеялся.**

* Если бы так!

** Глупый, неуместный, необдуманный смех!

1 июня.

— Володя, ты слишком любопытный.

Действительно, зачем ему это надо? Чтобы посмотреть смерти в лицо? Но ведь это глупо, по-моему.

— Да нет, я не хочу когда. Зачем же тебя расстраивать?.. Но хотя бы отчего? От пули? От болезни? Или попаду под трамвай? Тебе-то самой не интересно разве?

— Нет. Нисколько.

— А мне так да. (Обнимая.)
— В другой раз, — говорю.
— Завтра? — на ухо (нежно).
Вкрадчивый ты мой... Я сказала:
— Отстань.

2 июня.

Костя * рассказывал, как он сдавал науч. коммунизм. Ему достался билет «Основные функции семьи при социализме». — «Вы женаты?» — спросил экзаменатор. «Да, женат». — «Очень хорошо. Отвечайте». — «Основная функция семьи при социализме, — ответил Костя, — как и при капитализме, это деторождение». Экзаменатор был стар, сед, он много пережил на своем веку, много наслушался, он устал и не хотел думать ни о капитализме, ни о социализме, ни о коммунизме научном (почему-то я таким вижу этого экзаменатора), он только спросил: «У вас есть дети?» «Нет», — ответил Костя. «Тогда — четыре».

Я счастлива. Я счастлива на «четверочку».

Но я счастлива. На «четверочку». Но я счастлива!

До полного счастья — тебе — не хватает... Да, не хватает.

Если есть в природе «полное счастье», то не «полное» — счастье ли это?

Но я счастлива, счастлива, счастлива!

На «четверочку». **

* К. М. Солдатенков — двоюродный брат В. Ю. Волкова, студент.

** Последняя запись Е.В. Ковалевой тех незабываемых лет. Казалось бы, ничто еще не предвещает худого. Нет, предвещает! И предвещает давно! Автор настоящих комментариев по мере сил отмечал предвещения. А теперь с горечью отмечает итог.

Через час-другой,
максимум третий,
его будущая супруга
сделается, наконец, вдовой,
ибо Волков Владимир Юрьевич,
в эту ночь снедаемый необузданным любопытством
относительно собственной
и, как теперь мы заметим, незавидной судьбы,
неприменно скончается,
то есть умрет,
в нарушение всех графиков и инструкций
в объятиях Е.В. Ковалевой.
Последнюю страницу очередной далеко еще не последней главы нашей
необыкновенной истории можем справедливо считать перевернутой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

М. ПОДПРУГИН

Избранные страницы «Моих мемуаров» (в их рассекреченной части)¹

Интеллект и либидо — гремучая смесь.
М. П-н

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы не были друзьями с В. Ю. Волковым. У нас были, особенно в последний год его жизни, довольно напряженные отношения. В то время я

¹ Убежден, недалек день, когда «Мои мемуары» будут опубликованы полностью, без купюр.

еще не получил допуск к основному фонду фонограмм, но и по записям неинформационных выкриков Е. В. Ковалевой, которые мне приходилось по долгу службы систематизировать, я иногда легко улавливал признаки недобросовестности ее партнера, не сказать сильнее — халатности. На дружеские замечания В. Ю. Волков реагировал крайне болезненно, говорил мне, что я вмешиваюсь не в свое дело, превышаю компетенцию и т. п. Он сам провоцировал меня обращаться к начальству: «Пиши докладную!» — а когда я и вправду писал, не стеснялся угрожать мне за мою приверженность истине самым банальным и неллицеприятным применением своей физической силы, при том, что моей она уступала значительно. Советов он не терпел, не выносил критики. У него прогрессировала «звездная болезнь». Он воображал себя незаменимой личностью. Высокомерие его по отношению к товарищам по работе достигало угрожающего объема. <...>

Став монополистом исключительного дара Е. В. Ковалевой, он ощущал себя хозяином положения. <...>

Не хочу каламбурить, но, пользуясь мягкотелостью жены, он больше думал о теле, чем о деле. Здесь даже трудно установить, кто кому потакал. Меня удивляла позиция руководства, закрывающего глаза на очевидное. Мы все небезгрешны, и я, может быть, больше многих, но ведь тут — тут случай особый, надбытовой. Они сознательно нарушали график, а вместе с ним и дисциплину половых отправок. Несанкционированные и самодеятельные, те лишь вели неизбежно к трагедии.

На похоронах я не был. Был в Евпатории. <...> Тягостное впечатление, рассказывают, оставила гражданская панихида. <...>

Несмотря на то, что за вдовой наблюдали психологи, с ней произошел припадок. Она упала на гроб и забилась в истерике. Этого никто не ожидал, те же психологи накануне прогнозировали относительно умеренную поглощенность образом умершего. Приводили в чувство с трудом. Она не позволяла сделать себе укол, отказывалась от медикаментозного вмешательства и даже выбила, говорят, стакан живительной воды из рук подносившего. Яростная враждебность Е. В. Ковалевой к окружающим всех озадачила. Никто не знал, как такой факт отразится на ее исключительном даре. И будет ли в принципе исключительный дар Е. В. Ковалевой достоянием государства. <...> Черная полоса наступала зримо, отчетливо. Перспективы пугали. Было смешно думать на тех похоронах о преемнике. Никто обо мне и не думал.

Когда через несколько месяцев, почти год, я по поручению руководства Программы выводил Е. В. Ковалеву, спасая общее дело, из глубокой долгосрочной депрессии, меня поразила необычно тяжелая клиника горя этой незаурядной, но скажу честно, нередко и безалаберной женщины.

Но прежде я должен рассказать о себе самом и о моей работе в Отделе — в более для него счастливые время.

ГЛАВА ВТОРАЯ

За год до волковской трагедии в моей жизни произошло знаменательное событие — из рафинированных теоретиков Отдела я перешел в разряд лиц практикующих. Это означало признание моих объективных качеств, благодарю судьбу — своевременное.

Что же я собой представлял?

Был молод, абсолютно здоров, уверен в собственных силах. Обладал незаурядной мышечной системой и жгучим, по оценке заинтересованных лиц, отмечавшим также мой темперамент, взглядом. Моя спортивная внешность никого не обманывала. Сон у меня был образцовый, моторика — отменная. Брился я дважды в день — утром и перед сном, и моя широкая грудь была изрядно волосатой. (Однако, почему же в прошедшем времени? Была и осталась!)

Ради объективности следовало бы все-таки признать за собой что-нибудь характерно ущербное — близорукость, гнилые зубы, заикание, — но при всем моем уважении к читателю я не могу припомнить у себя ни одного физического недостатка; не считать же таковым несколько короткие по

сравнению с туловищем ноги <...> (я никого не намерен смущать подробностями, но без них невозможно представить мою необычную роль в реализации самых смелых проектов).

Итак, скажем прямо, в любовных схватках я не знал поражений, но в семейной жизни, увы, потерпел неудачу. <...>

В июне 1971 года сразу после лиссабонской сессии НАТО меня вызывают на собеседование. Сначала разговор идет о конкретных результатах моих непосредственных исследований, — я обрабатывал нехарактерные оргазмические флуктуации в неинформативном поле по фонограммам неосновного фонда, — но скоро убеждаюсь, что не это интересует опрашиваемых. Моя частная жизнь — вот что составляет предмет их любопытства. Осведомленность руководства Программы в этой области меня поражает. <...> «А как же ваша супруга?» — спрашивает полковник М. Л. Бойко, нахмутив для наглядности брови. Вопрос риторический, он осведомлен и без моих ответов. Тем не менее я все признаю и во всем признаюсь, объясняя характер моих поступков высоким уровнем моей половой конституции. Иными словами, объективным фактором; и мне кажется, субъективно они меня понимают. <...>

Это необычное собеседование завершилось тем же, чем завершается любое себя уважающее собрание, — орг. выводами. <...> Во-первых, мне предписывалось оформить в официальном порядке развод с женой, дабы больше не вводить никого в заблуждение. «И не мучить женщину», — добавил нектари от себя полковник. А во-вторых (что главное), мне предлагалась новая область приложения моих интеллектуальных, но еще больше физических усилий.

Шел поиск аналогов исключительному дару Е. В. Ковалевой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Итак, шел активный поиск аналогов исключительного дара Е. В. Ковалевой. Горжусь, в этой партии мне досталась не последняя скрипка. Тема меня увлекла. Одиннадцать месяцев я не знал отдыха. <...>

Все эксперименты проводились в специально оборудованных лабораториях. Первая по значимости, не столько обусловленной техническим оснащением, сколько близостью к начальству, находилась в Главном корпусе, в глубоком подвале, отчего называлась «нижней». Другая — «пригородная» или «верхняя» — на подмосковной даче, действительно, вверх по реке Клязьма, недалеко от усадьбы знаменитого театрального режиссера К. С. Станиславского, настоящая фамилия которого, к слову добавить, Алексеев (что знают немногие). Его отец был промышленником, фабрикантом, обладателем огромного капитала. Третья лаборатория — «южная» — была в Евпатории. <...>

Что же мне сказать еще о наших объектах?

Как персона противоположного пола, могу смело утверждать, что у них были все основания представлять для нас не только научный интерес, но и вполне человеческий, гуманитарный, иными словами, просто личный в отношении той или иной персоналии.

Сотрудничать с ними доставляло одно удовольствие. Работали весело, спорю, с огоньком. <...>

Кажется, чувством юмора никто обделен тоже не был. Помню, как все вместе подтрунивали над радиофизиками, доведшими до ума искусственный фаллос, агентурным путем добытый из Сент-Луисского Института биологии размножения. <...>

Меня часто спрашивают о зарработке. Наши сотрудницы получали неплохо. Правда, тут был дисбаланс. Разве не курьезно? — оплата у них сдельно-почасовая, тогда как мы, исполнители, все на окладе, в лучшем случае с квартальной премией?! И это при нашем ненормированном рабочем дне!

Но все равно никто не жаловался. Повторяю, работали увлеченно.

Никогда я так много не ел черной икры. Вместе с партнершей примерно

за час до эксперимента мы обязательно съедали по бутерброду. За полчаса — еще по одному, причем мне полагалась добавка. Я уже не говорю о стерляди, о севрюге, об осетре... А семга восьмипроцентной жирности?! А каспийский лосось зимнего улова?! А миноги, миноги!.. Интересно, что миноги, оказывается, строго говоря, не есть рыба. Они рыбообразные и, не имея скелета, составляют класс круглоротых. Конечно, для восстановления сил, или научно сказать, для сокращения рефракторного периода лучше всего невиские миноги. Волжские и тихоокеанские им немного проигрывают. Нельзя также забывать, что миноги занесены в «Красную Книгу», это обязательство следует подчеркнуть особо.

Я ничего не сказал о фруктах.

Пребывая в блаженной уверенности, что работают на благо исключительно медицины, и не забывая о конкурсе, заслуженно выдержанном, наши партнерши заметно переоценивали свои способности. А зря. Как бы ни увлекались они нашими опытами, как бы ни вдохновляли их возможности исполнителей, какие бы ни брали они на себя в связи с этим повышенные обязательства, мы все-таки ожидали от них большего. И значительно большего ожидало от всех нас руководство Программы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В середине мая 1972 года после недельной вынужденной абстиненции, вызванной командировкой в Евпаторию для проверки готовности Южной лаборатории к летнему сезону, я, слегка отдохнувший, возвратился в Москву.

Думал снова уйти с головой в работу.

Похоже, однако, моему энтузиазму был положен предел. Что-то на службе случилось. Что-то произошло нехорошее. <...>

Был понедельник, но все исследования отменялись в виду профилактической проверки оборудования. Такого по понедельникам никогда не было.

Сослуживцы встретили меня на редкость сдержанно, — разговор не клеился, рассказ мой слушался без внимания или не слушался вовсе, и по некоторым проявлениям групповой тревоги, я понял, что проверка, пожалуй, угрожает не приборам, а нам. <...>

Рабочий день худо-бедно прошел. Майор Веденеёв предложил подкинуть до дома. <...>

22 мая президент США Ричард Никсон должен был прилететь в Москву. <...> Москва готовилась к встрече. <...> Никакими «представителями общественности» — с флажками или без — наш Отдел, понятно, не занимался. У нас были свои задачи.

— А ведь будут проблемы, — произнес Веденеёв.

<...> Он вез меня дальним, слишком дальним путем, значит, хотел сказать что-то очень и очень важное.

Вот уже больше недели по Москве распространялся нехороший слух о готовящемся покушении на Ричарда Никсона. Пожалуй, я написал не вполне удачную фразу. Слово «покушение» для данного случая излишне содержательно. Но и глагол «распространялся», признаю, не очень уместен. Как и само слово «слух»... Качественно это было нечто иное. Возникая в каждой отдельно взятой голове, оно складывалось в общее мнение представителей всех социальных слоев. «А что если вдруг?» — думалось многим само собой и не в последнюю очередь представителям наших структур, включая майора Веденеёва и не исключая меня, хотя, с другой стороны, кому как ни нам с майором отлично известно, что само собой никогда и ничего не думается? <...>

Может быть, источник опасности, действительно, обнаружен, локализован и взят под строгий контроль?.. Кто знает, не тянутся ли тогда нити заговора в недра нашей системы? <...> Не сообщила ли Е. В. Ковалева чего-нибудь экстраординарного? — думали мы и почти скороговорочно задавались

трудновразумительным для посторонних вопросом: не напророчествовала ли? — и вопрос не был праздным. То, что с января В. Ю. Волков проработывал через жену американскую тему, мы знали наверняка. Иного и быть не могло: в США лихорадочно готовились к новым выборам.

Я вышел вон из машины.

Был чудесный майский вечер. Пахло тополиными почками. Дул ветерок. Влюбленные парочки сидели на скамейках. Над всей Москвой безоблачное небо! Скоро зацветет сирень.

Я смело вошел в парадную. Было без пятнадцати восемь. Нажал кнопку лифта. Не сомневаюсь, в этот момент и раздался выстрел. Он упал.

Свершилось оно, покушение! Но не у нас, а в Америке! И не на Никсона. А на его ближайшего конкурента из лагеря демократов.

Дж. Уоллес, губернатор штата Алабама, тяжело раненный террористом, выбыл из предвыборной борьбы, освободив Никсону путь к победе.

Так вот на что указывала Е. В. Ковалева!

Ответственные за безопасность московской встречи смогут вздохнуть полной грудью! А мы? — ответственные за другое?

О случившемся я узнал перед сном, когда поймал «Голос Америки».

Меры предосторожности уже были приняты мною. Я счел благоразумным, придя домой, сжечь все письма ко мне моей бывшей жены, их было одиннадцать. И хотя они не имели никакого отношения к предстоящему приезду Ричарда Никсона, это не было целиком лишено смысла. Ибо утром, действительно, началась проверка. Меня вызвали к начальству. В нашем Отделе, как оказалось, произошло ЧП.

ГЛАВА ПЯТАЯ <...>

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но вернемся в май 72-го.

Итак, у нас произошло ЧП. К Никсону оно имело то отношение, что было приурочено к его визиту. Не более. Но и не менее. Лучшего момента для провокации придумать было невозможно.

Кто-то — кто, так и осталось не установленным — написал гнусный донос на сотрудников нашего подразделения и отправил его по каналам обычной (!) почтовой связи в адрес ни много ни мало председателя комитета. В этом отвратительном доносе клеветнически утверждалось, что в структурах, вверенных его руководству, успешно функционирует публичный дом, будто бы специально организованный группой кадровых офицеров для уголения своей похоти. Давались характеристики по персоналиям. Я видел этот гадкий документ. Применительно ко мне неизвестный доброжелатель употребил слово «похоть» с эпитетом «необузданная». <...>

На некоторое время Отдел погрузился в атмосферу невыносимой подозрительности. Многие подозревали многих.

Лично я грешил против В. Ю. Волкова. На мой взгляд, он, как монополист исключительного дара, каковым являлся дар Е. В. Ковалевой, был менее других заинтересован в успехе наших исследований. Позже, когда Елена Викторовна стала моей женой, мы эту деликатную тему обсуждали с ней неоднократно, — она всегда защищала своего покойного мужа, нередко аргументированно, но чаще посредством эмоций. <...>

Я ведь тоже побывал в числе подозреваемых.

Да, да, смешно сказать — я! я! — был подозреваем в совершении этой омерзительной гнусности! <...>

Провокатор добился, чего хотел: уникальные исследования надежно блокировались. Осталось подводить итоги. <...> Что ж, они не были утешительными. <...> Е. В. Ковалева по-прежнему оставалась уникалом. <...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

<...> Два слова о ФРГ. Стабильностью ситуация там не отличалась. Договор с нами их бундестаг ратифицировал с перевесом только в один голос. Восточная политика канцлера Вилли Брандта находилась под постоянной угрозой, и наш человек в его окружении с выходом Е. В. из игры начинал проявлять заметные признаки беспокойства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

<...> Засекретить тему «секс» у правительства, позволю себе заявление, было еще больше основательных причин, чем, допустим, тему «новый стратегический бомбардировщик». Ибо именно по этому, по секс-направлению <...> мы имели прорыв, грандиозный прорыв! <...>

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

<...> В конце ноября 1972 года, с началом многосторонних консультаций по созыву Общеввропейского совещания в Хельсинки, автор настоящих воспоминаний, каким я являюсь, был наконец утвержден в роли первого кандидата на место покойного мужа Е. В. Ковалевой. Но даже с учетом ее крайней зависимости от умершего он, то есть я, не мог предположить тогда, что до решающей встречи придется ждать еще несколько месяцев. <...>

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

<...> В полном соответствии с моими предчувствиями вызван я был в связи с Е. В. Ковалевой. К общей радости посвященных лиц, она выходила из кризиса, признаки чего один за другим фиксировались опытными наблюдателями. <...>

Итак, мне надлежало досконально изучить вкусы и пристрастия Е. В. Ковалевой на март-апрель 1973 года. Недостатка в информации я не испытывал. Так, например, я располагал списком книг, подвергнутых чтению Е. В. Ковалевой с сентября месяца. С удовольствием отметил я, что моя будущая партнерша увлеклась поэзией, причем классической (XIX век), отчасти переводной.

Образ текущих мыслей Е. В. Ковалевой в их постепенном развитии становился мне все более и более понятным. Я знал ее мнения, высказанные в слух по тем или иным предметам, порой весьма критические. Но двойным интересом отзывались во мне ее позитивные оценки чего бы то ни было. <...> Е. В. Ковалева проявляла, быть может, еще робко и незаметно для себя самой, но, конечно, зримо для нас, неоспоримые признаки общительности. <...> Пора было действовать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мое сближение с Е. В. Ковалевой намечалось на май 1973 года и приурочивалось к ее поездке в Крым в качестве гостя своей тетки.

Антонина Игнатьевна, так звали тетку Е. В. Ковалевой, была пенсионеркой. В прошлом она заведовала хозяйственной частью одного из ялтинских домов культуры и отличалась, по нашим сведениям, изрядной энергичностью, предприимчивостью и приверженностью к табакокурению. Однако с осени 1969 года в виду сахарного диабета вела малоподвижный образ жизни. На ее неоднократные и настойчивые приглашения погостить в Ялту Е. В. Ковалева отвечала неопределенными обещаниями (после гибели Ю. В. Волкова частота их переписки составляла примерно письмо в месяц).

Решение было принято в апреле. Е. В. Ковалева приобрела билет на самолет в Симферополь и за пять дней до вылета дала телеграмму Антонине Игнатьевне:

ПРИЛЕТАЮ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ВСТРЕЧАТЬ НЕ НАДО ЦЕЛУЮ ЛЕНА.

<...> В свой срок телеграмма, спешу удивить читателя, до адресата не дошла. Задержка составила те же пять дней — время, более чем достаточное для изоляции крымской тетушки. Сработано четко.

В день вылета Елена Викторовна сильно волновалась, дважды переупаковывала вещи, особенно ее беспокоила коробка шоколадных конфет, которую она взяла тетке в подарок. Такси вызвала заблаговременно. За рулем сидел наш человек. Он повез Е. В. Ковалеву, и по дороге в Шереметьево, к испугу пассажирки, заглох двигатель. Машина остановилась. Водитель открыл капот и приступил к имитации ремонта системы зажигания. Пассажирка поглядывала на часы. «Успеем», — успокаивал ее водитель. <...>

В итоге они опоздали.

— Регистрация закончена, — услышала Е. В. Ковалева от очаровательной, на мой вкус, блондинки, удивительно музыкальные пальцы которой даже в столь ответственный момент закономерно питали мои изящные ассоциации.

— Как закончена?! — вскричала Елена Викторовна. — Еще же десять минут!..

— Регистрация прекращается за полчаса, — медленно проговорила блондинка очень приятным голосом — неожиданно низким, ровным, тембр легко запоминается.

— Ну, пожалуйста, — взмолилась Е. В. Ковалева, — еще можно успеть...

Напрасно, напрасно... Тщетный труд!

— Нет, — сказала блондинка. — Нельзя.

Рядом с ней стояли трое, как принято говорить, в партикулярном. Что до милиционера, то он отошел на второй план. Девушка то и дело поглядывала на аэрофлотского начальника, который был на всякий случай тоже тут рядом и ждал, когда в игру вступлю я. Я сделал это так:

— Елена Викторовна! Вы ли это? Вот уж не ожидал вас увидеть!..

— Ой... вы, вы... — залепетала Е. В. Ковалева, она забыла мое имя-отчество, мы были знакомы едва-едва (не исключаю, что я был принят в тот миг за кого-то другого). — Я опоздала на регистрацию!.. Из-за такси!.. — на глазах ее появились горькие слезы.

— Спокойно, Елена Викторовна, спокойно. Я тоже лечу этим рейсом и, как видите, не плачу.

Я не только не плакал, но еще и улыбался обворожительно.

— Самолет улетает!.. — услышал я всхлип.

— Не улетит! — сказал я галантно.

Я взмахнул «корочками».

— Пожалуйста, будьте любезны, оформите побыстрее, эта женщина вместе со мной.

<...> Через минуту мы уже шли там, где ходить не положено. Я сам нес ее сумки. Мне ничего не стоило организовать автобус до самолета, но двумя днями ранее при обсуждении плана мы решили остановиться на пешем проходе — для пущего напряжения сил.

— Не бегите. Сломаете каблук. У вас очаровательные туфли. Они вам очень идут.

— Смотрите! Он отъезжает!

Трап действительно отъезжал. Посадка закончилась.

Бедная Елена Викторовна! Она и ведать не ведала, что без нее (и меня, естественно) самолет никуда не взлетит и будет ждать нас хоть до второго пришествия.

Я поставил сумку на асфальт, указал рукой повелительно водителю трапа на место его!.. И он послушно повел свой трап к самолету.

Еще минута — и мы стоим возле двери, однако закрытой. Я стучу кулаком. Дверь открывается.

Вы просто волшебник, — шепчет мне запыхавшаяся Елена Викторовна.
 — Нет, это вы, вы волшебница! — спешу закрепить достигнутый мною успех. Тут нельзя перегибать палку. Тут необходимо соблюсти меру. Я замолкаю, входя.
 Стюардесса нас не торопит.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мы сидели в разных салонах. Необходимо было дать время Елене Викторовне, чтобы она оправилась после первого потрясения и глубоко прочувствовала мою роль в удачном исходе, позволю себе игру слов — в отлете.

Примерно над широтой Воронежа я отправился в туалет — с единственной целью пройти мимо Е. В. Ковалевой. Она глядела в иллюминатор с выражением на лице неизреченной грусти.

На обратном пути я не преминул изумиться:

— Елена Викторовна, никак в одиночестве?.. И не скучно?

Вымученная улыбка была мне ответом.

— Разрешите присесть?

— Конечно.

Я сел рядом с ней.

— Значит, в Крым летите, — начал я разговор. — Не рановато ли? Море еще не прогрелось, а?

— Я в гости, — ответила мне Е. В. Ковалева.

— Ну, тогда разумеется. Тогда конечно. А вот меня на конференцию пригласили. И не хочется, а надо лететь.

Елена Викторовна не обнаружила любопытства, я продолжал:

— Римский клуб, глобальные проблемы... Больше не могу сказать, не имею права... Да вы и сами помните «Пределы роста», Джона Форрестора? Нет?.. Словом, попросили выступить, рассказать о новых тенденциях в футурологии...

Я замолчал. Е. В. Ковалева упрямо ни чем не заинтересовывалась.

— А ведь вы меня так и не узнали, сознайтесь, Елена Викторовна.

— Нет, почему же? Мы встречались и не один раз.

Уверенности в ее голосе я не почувствовал. Пришлось призвать Мнемозину на помощь:

— Я вас в партию принимал, помните?

— Ааа, — невразумительно произнесла Е. В. Ковалева.

— А другой раз — у Веденева. Вы тогда еще говорили о Бормане.

Она не сразу спросила:

— О каком?

— Что «о каком»?

— О каком Бормане?

— О Мартине Бормане, рейхсляйтере, руководителе партийной канцелярии, секретаре фюрера.

Опять долгая пауза.

— И что же я могла сказать о Бормане?

— Что он был советским разведчиком.

— Вы меня с кем-то перепутали.

О, нет, я ее ни с кем не перепутал.

— Вас перепутать невозможно ни с кем.

И все же, справедливости ради, следует признать, что о Бормане в тот вечер, действительно, говорила не она, а ее покойный супруг В. Ю. Волков.

— Я хорошо знал вашего мужа, — сказал я мягким голосом. — Мы с Володей вместе работали. Над одной темой, знаете ли.

Она отвернулась к иллюминатору.

— Елена Викторовна, зря вы бросили нас, без вас как-то скучно теперь, невесело... Жаль, не знал, что встречу вас, а то обязательно приветы передал бы... Так ведь мы и так вас каждый день вспоминаем... Так что можно сказать, привет от каждого!

Если бы она не отвернулась к иллюминатору, я бы сказал, что взгляд ее потускнел. Уверен, так с ним и случилось.

Я решил не педалировать щекотливую тему. Спросил про облака: что они ей напоминают? Она ответила, что льды в Антарктиде. Я согласился.

Поблагодарив за беседу, возвратился к себе.

Меня встречали на черной «Волге». Так и было задумано. Елена Викторовна хотела по своей необыкновенной скромности воспользоваться общественным транспортом — из Симферополя в Ялту уже тогда ходили троллейбусы <...>, но я, который нес ее сумку, решительно запротестовал:

— Этому не бывать, Елена Викторовна! Я вам вылететь помог, я вас и до дома доставлю!

Мы помчались, игнорируя светофоры.

Всю дорогу она молчала. И хотя делала вид, что ее не касается, однако не могла не услышать, как я беседовал с представителем якобы оргкомитета конференции, встретившим меня в аэропорту. Роль встречающего заключалась в демонстрации — и по возможности исподволь, ненавязчиво — глубокого уважения ко мне коллег по работе, формировании в сознании Е. В. Ковалевой моего истинного образа и подчеркивании моих тех или иных достоинств. Должен отметить, встречающая сторона подготовилась основательно. Профессиональный разговор о проблемах Римского клуба время от времени и как бы невзначай прерывался к месту вспоминаемыми приветами, благодарностями и пожеланиями, будто бы передаваемыми мне всевозможными должностными лицами.

Мой собеседник интересовался некоторыми проблемами планетарного характера, в частности, перспективами депопуляции населения в развитых капиталистических странах, но у меня не было необходимости отвечать пространно, поскольку поставленные вопросы уже сами по себе содержали достаточно лестные по отношению ко мне дефиниции. Был момент, когда я даже прервал его:

— Ну что вы, Олег Александрович, полно вам! Елена Викторовна, не обращайте внимания.

Тень доброжелательной улыбки была замечена на лице Е. В. Ковалевой.

Долго ли коротко ли мы наконец доехали. Любезный Олег Александрович нашел необходимым упредить порыв галантности с моей стороны и сам понес тяжелые сумки Е. В. Ковалевой. Благодарная, она с нами прощалась около калитки. <...>

— Смотрите, — обнаружил Олег Александрович. — А ведь здесь замок!

— Ушла в магазин, должно быть, — простодушно ответила Е. В. Ковалева. Мы выжидательно молчали.

Елена Викторовна вдруг встрепенулась.

— Ничего, ничего, я подожду. Спасибо вам огромное. До свидания.

— Никаких «до свиданий»! — громко и решительно выступил я. — Я никуда не уеду отсюда, пока не разберусь в данной обстановке!

Неподалеку двое рабочих — наши ребята — копали канаву.

— Земляки, — обратился я к землекопам, — вы не знаете, куда и когда удалилась хозяйка?

— Два дня, как уехала. Или три, — ответил один, сознательно демонстрируя мнимую небрежность памяти, обусловленную требованиями правдоподобия.

— Так все-таки два или три?

— Три!

— И куда же?

— В Болгарию, кажется, — сказал другой, — отдыхать по путевке, кажется.

Больно было смотреть на растерявшуюся Е. В. Ковалеву.

— Зачем, — лепетала она, — зачем ей Болгария, когда Крым?.. Она ведь из дома почти не выходит!.. И потом ведь я телеграмму давала... пять дней назад!.. Она бы ответила...

— Значит, не дошла, — произнес я горькую правду.

— Почему не дошла?

— Елена Викторовна, дорогая, вы разве не знаете, как работает наша почта?

— И телеграф, — добавил от себя Олег Александрович.

Землекопы невесело и почти беззвучно смеялись. Это был не смех радости, но смех печали.

— Почта... телеграф... — повторяли они, сочувствуя и соболезнуя.

Вышла на улицу не предусмотренная сценарием теткина соседка, женщина на вид пятидесяти пяти лет, среднего роста, полная, круглолицая, без особых примет. Невольно нам подыгрывая, она сообщила некоторые подробности. Мы узнали, как по-детски непосредственно радовалась, тронутая вниманием своего профсоюза тетка Е. В. Ковалева, — ведь путевку она получила как ветеран клубного движения.

— Пусть за границей отдохнет. Хоть раз в жизни, — сказала соседка.

— Как же мне быть? — едва не плача спросила Е. В. Ковалева.

— Придется отвезти вас в гостиницу, — сказал я.

— Зачем тебе гостиница? — воскликнула на сей раз явно не к месту теткина соседка. — Сними угол у кого хошь! Дешевле будет!

— Там, наверное, и мест нет, — пошла было на поводу у нее моя будущая партнерша.

Я был вынужден раскрыть козыри прежде, чем предусматривалось планировать:

— Вас не должно все это смущать, Елена Викторовна. Я вас оформлю. Как участницу конференции. Номера забронированы с запасом.

— Да хоть у меня угол сними, — не унималась теткина соседка, совершенно не понимая значения произнесенных мною слов. — Я больше рубля не беру. Зачем гостиница? С ума сошла!

— Ни в коем случае, Елена Викторовна, — тихо произнес Олег Александрович. — Имейте благоразумие. Чужой человек — опасно!

— Не беспокойтесь, все будет хорошо, — сказал я ласково. — Вас... Вас, Елена Викторовна, мы в беде никогда не оставим.

Она еще сомневалась.

— Идемте, идемте, — я повел Е. В. Ковалеву к машине, прочь от соседки.

И тут мы увидели почтальона. На его почти театральное появление именно в этот момент рассчитывать не приходилось, но раз он в самом деле нес телеграмму, было бы странно не воспользоваться ситуацией: напрасно почтальон уверял нас, что телеграмма пришла только что, двадцать минут назад — мы заставили его выслушать все, что думаем о нашей почте и телеграфе. <...> Но вернемся к Е. В. Ковалева.

В тот день ее ждало еще одно испытание — жестокое и тяжелое, но в смысле закрепления моего престижа крайне необходимое. Ей предстояло перенести новый, еще более сильный стресс. Уже в холле гостиницы возле окошечка администратора обнаружилось — причем для Е. В. Ковалева абсолютно неожиданно — что деньги ее и документы, а также фотография покойного мужа бесследно пропали. «Наверное, в аэропорту...» — только и могла сказать убитая горем Елена Викторовна, бессмысленно вглядываясь в пустую сумочку. «Что ж, беда одна не приходит», — сказал я, смягчая драматизм ситуации в меру оптимистической улыбкой.

Конечно, я устроил ее без документов. А потом сам отвел в ближайшее отделение милиции, где своими устами продиктовал заявление. Кроме того, на выходе из участка я клятвенно пообещал Елене Викторовне заставить милицию найти воров незамедлительно.

Стоит ли удивляться, что уже к вечеру все было «найдено». Все — кроме фотографии покойного мужа.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром я принес Елене Викторовне кипятивник. Жаль, если это емкое русское слово при переводе на другие языки утратит хотя бы толику своего истинного значения. Вещь эта в гостиничном быту совершенно незаменимая.

Объясню специально для западного читателя: в то время кипятильницы были в так называемом дефиците, то есть их приобретение через торговую сеть сопрягалось для обычного покупателя с определенными трудностями.

Увидев кипятильник, Е. В. Ковалева, кипятильником не обладавшая, несказанно обрадовалась.

Она уже приняла душ и даже была одета, несмотря на столь ранний час, и я не погрешу против истины, если скажу, что по сравнению с тем, что было вчера, сегодня было все по-другому. Ибо сон исцеляет, особенно крепкий.

В общем, опуская детали, она, справедливо сказать, в целом похорошела.

Платье на ней было бежевое. Приталенное.

Так вот, увидев кипятильник, Елена Викторовна воскликнула:

— Слушайте! Вы же мой ангел-хранитель!

Мне понравилась приподнятость ее настроения.

Я не упустил момента опустить отчество:

— Елена! — произнес я как можно ласковее, — Елена... Вы правы, я ангел! Пожалуйста! Не лишайте меня возможности и впредь оставаться таким — вашим ангелом, вашим хранителем!

Не берусь утверждать, что в глазах ее вспыхнула страсть, но посмотрела она на меня как-то по-новому.

— А почему вы не на конференции? — спросила Елена.

— Я вам надоел?

— Нет, что вы! Я просто так спросила.

— Не буду злоупотреблять гостеприимством, Елена. Я удаляюсь.

— Да нет же, нет. Мне очень приятно.

— Надеюсь, мы еще увидимся...

— Подождите, а чай?

— Чай? От чайку бы, конечно, не отказался, — сделал я тактический ход, — но не могу, Через сорок минут, ваша правда, у меня доклад на пленарном заседании. Отчитаюсь и мигом к вам. А пока, — я достал из кармана брюк (нужно ли уточнять, что я был в брюках?) «Путеводитель по Ялте и ее окрестностям» — прочтите. Рекомендую. Я покажу вам то, чего нет в этой книге.

Да, в грязь лицом я не ударил. Я сдержал свое слово. Я был в тот день Вергилием Е. В. Ковалевой по Ялте и ее окрестностям. Уверен, объяснить, кто такой был Вергилий, необходимости нет. Непосвященных отсылаю к Данте.

Итак, сразу же после обеда (отобедали мы в ресторане «Ялта» — таково было мое жесткое требование) мы осмотрели Воронцовский дворец, одну из прекрасных крымских жемчужин. Потом отправились в музей Антона Павловича Чехова, любимого (из классиков) писателя Елены. Там я рассказывал моей хорошеющей на глазах спутнице о посещении А. П. Чехова известным театральным деятелем В. И. Немировичем-Данченко, задавшимся целью убедить автора «Чайки» дать разрешение на повторную постановку указанной пьесы. Первая постановка на Александринской сцене, к сожалению, оказалась провальной.

Ближе к вечеру мы посетили закрытую для посторонних сейсмическую станцию, где моя спутница смогла познакомиться на месте с принципом действия сейсмографа и где нас, на что я, признаться, даже не рассчитывал еще и накормили вполне сносным ужином. Мы пили «Массандру», после бокала вина Елена чуть-чуть опьянела и похорошела еще больше. А я про себя порадовался моему безотказному либидо, теперь уже без сомнений распространявшемуся и на этот объект.

Был чудный вечер. Это было у моря. Мы стояли на набережной, где лазурную пену выбрасывали к ногам волны, и старинные городские экипажи представлялись мысленному взору, и вспоминался почему-то Шопен.

Вечнозеленые кипарисы были стройными, как всегда, и тянулись к небу с той, быть может, поправкой, что не совсем представлялись все же зелеными в виду обвьявшей их темноты. Строго говоря, аналогичное замечание справедливо отнести и к пене волн — лазурной, как поспешил назвать ее

мой бойкий язык, погрешив чуть-чуть против истины. Однако спросим себя, хорошо ли быть буквоедами? Тот, кто побывал хотя бы раз в Крыму, поймет меня. Поймет и простит мне невольный мой поэтизм.

Ощущая согласованность миропорядка, мы тихо наблюдали закат.

Где-то далеко прокричала неведомая птица, словно порвалась струна.

Дохнуло свежестью.

— «Дохнуло свежестью, — произнес я задумчиво. — Дневной свершив дозор, упал на Чатырдаг светильник мироздания...»

— Что это? — насторожилась Елена. — Что-то знакомое.

— Адам Мицкевич, — сказал я негромко.

— Вы знаете наизусть из Адама Мицкевича?

Вместо ответа я продолжил цитату:

— «Разбился, пьет поток пурпурного сиянья — И гаснет. Вдаль мы посылаем взор».

Удивлению Елены предела не было.

— «Крымские сонеты», — пояснил я и улыбнулся, — Мицкевич — любимый мой польский поэт.

— Как странно... как странно... — взволнованно повторяла Елена.

— Вы находите странным... но что?

— Я совсем недавно тоже читала сонеты Мицкевича. Крымские... Брала в библиотеке...

— О! — как бы теперь уже я удивился услышанному. — И в чьих же, позвольте спросить, переводах?

Елена молчала. Она не помнила в чьих.

— Дмитриева? Козлова? Бенедиктова? Медведева? Бальмонта?

Она округлила глаза, да простится мне образность.

— Может быть, Бунина? — не унимался я. — Соловьева? Ходасевича? Доброхотова?

— Кого-то из современных, — робко произнесла Елена.

— Не Вильгельма ли Вениаминовича Левика случаем? — спросил я, прищурясь.

— Да, кажется, так.

— Хороший переводчик, — похвалил я, удовлетворенный ходом беседы. — Он переводил Шекспира, Петрарку, Ронсара, Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Шелли, Ленау, Бодлера, Верлена, Рембо.

Я замолчал.

Волны бились о берег. Море смеялось.

Елена вдохнула воздух всей грудью. Высокая грудь.

— Боже! Откуда вы это все знаете?

— А вы разве не знаете, где я работаю?

Сильный, но рискованный ход. Говорить опять о работе — не рано ли? Не преждевременно ли?

— Наверное, в библиотеке, — пошутила Елена.

Оценив шутку, я решил ответить добродушным и неподдельным хохотом.

— Какой-то вы странный однако...

— Однако вернемся к Мицкевичу. А ну-ка, Элен, попробуйте вспомнить, кому посвящены «Крымские сонеты»?

— Ну и кому?

— Нет, вы вспомните сами. У вас великолепная память. Я знаю.

Разговор вступал в критическую фазу. От того, буду ли я понят правильно, зависело все.

— «Моим друзьям по путешествию»... Кажется так? — сказала Елена, не совсем уверенная в точности своего ответа.

— Почти так. Точнее: «Товарищам путешествия по Крыму», — поправил я собеседницу. — И кто же были они, эти товарищи? — я взял Елену за руку, за левую.

— Это экзамен? — спросила Леночка, руки не убирая.

— Не знаете.

— Ну, не знаю.

— Тогда слушайте, что я вам скажу!

И я сказал все как есть. Как было. Как было и быть должно.

— Иван Осипович Витт, генерал, имевший тайное задание по обеспечению государственной безопасности на юге России, его помощник, известный в узких кругах секретный сотрудник Бошняк, выдававший себя (и вполне профессионально) за собирателя бабочек, но главное — очаровательная соратница генерала во всех его наисекретнейших предприятиях и больше того — любовница! — любовница! — повторил я, — пылкая, страстная, безудержная — Каролина Собаньская — вот, кто были друзьями в путешествии по Крыму ни о чем не догадывающегося Адама Мицкевича!

Держа ее за руку, я чувствовал пульс ее. Биение ускорялось. Шум прибоя — kloкочущий, грубый — не мог заглушить ударов сердца Елены.

— Каролина... — произнесла Елена, припоминая, — Каролина, как вы сказали?..

— Собаньская. Пройдут годы, ей стукнет пятьдесят шесть, когда она выйдет замуж за человека четырнадцатью годами моложе ее, француза, и тот посвятит ей тоже сонеты, как и Мицкевич, и даже через двадцать лет продолжит воспевать в своих пылких стихах — по сути старуху! Что же сказать о молодой Каролине Собаньской? — об ее неизменной красоте в пору сотрудничества ее с тогдашними российскими спецслужбами? Чувственная, неумная, сластолюбивая Каролина! Как манят чресла твои! Твоя белая грудь!.. Это она, помнишь, Елена, это она свела с ума Пушкина! Помнишь? «Я вас любил; любовь еще, быть может, в душе моей...» Это ей, ей!.. Он обладал ею! А Мицкевич? И он тоже!.. «Я хочу целовать, целовать, целовать...» Вот как писал Мицкевич! Целовать — иступленно!.. И я понимаю его. Потому что я видел портрет Каролины, Елена. И она похожа на вас!

— Ах! — вырвалось у Елены.

Я схватил ее другую руку — правую — и крепко сжал.

— Елена, Леночка, будь моим товарищем в путешествии по Крыму! У меня катер! Хочешь — яхту! У меня сумасшедшие связи! Мы отправляемся завтра же, завтра!

Зачем она сказала про конференцию? Это так неуместно!

— К черту, — зарычал я, — конференцию! Боишься качки, поедем автомобилем! В горы! К Чатырдагу!

И опустив руки ее, я схватил за плечи ее и впился губами своими, словно вампир, в ее губы!

На какое-то мгновение ей показалось, что она теряет сознание. Но это было не так. Напротив, чувства, доселе дремавшие в истерзанной горем душе ее, воспламенились каскадом. Сон о собственном теле рассыпался в одночасье, и она опять ощутила себя по-настоящему женщиной.

Открытие было таким неожиданным, что она не заметила даже, как он — говорю об авторе этого текста — неловким, но решительным и уж во всяком случае простительным вывертом дерзких пальцев вырвал с корнем перламутровую пуговицу со спины на ее платье. О, нет, он владел собой, как никогда. Сегодня он сам положил предел своей страсти — ибо он обладал волей.

Его крепкие объятия не сковывали ее, но пленяли, и через этот сладостный плен ей указан был путь к настоящей свободе.

Поцелуй — яростный, шальной, агрессивный — грозил поглотить ее всю без остатка, захватить, растворить, аннексировать все ее существо, и, словно испугавшись открывшейся бездны, она отпрянула прочь, возбужденная, наступив на горло собственной песне, и, закрыв ладонями лицо, остановилась как вкопанная, слушая горячее дыхание автора повествования.

Так — закрыв ладонями лицо — она неподвижно стояла целых восемнадцать секунд, не умея охватить воспаленным сознанием бешеную круговерть ощущений.

И вдруг побежала. Она побежала по парку Ореанда в сторону одноименной гостиницы.

Я не стал преследовать ее. Я знал, это — от нервов. Я разбудил в ней чувственность. Все складывалось, как нельзя, хорошо.

Оставалось только подумать о себе самом — разве я не человек тоже?

Я сделал это под кипарисом, глядя на кипящее море.
Удовлетворенный собой и довольный ее возможностями, я шел по парку и был спокоен за наше будущее.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

<...> Не понимаю скромников, которые скрывают свой интеллект. Я не из их числа.

Политология, сексопатология и общая сексология, курортология, психология, фразеология, юриспруденция, литература, классический балет — вот сильно урезанный список моих увлечений.

Интеллект и либидо — это гремучая смесь. <...>

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Дневниковые записи Е.В. Ковалевой (1975—1983)

1975 год.

То, что между нами, — условились называть любовью (начальники).

Велено любить и терпеть Подпругина.

Как это могло получиться? Почему я с ним? Не знаю.

Скоро Новый год.

Старый был так — ватный какой-то. Был словно не был. А был.

Подпругин моется в ванной, это надолго. Он отмокает часами. Привычка.

Сижу и пишу. — Вот сиди и пиши. Пиши дневник, тебе говорят. Заставляю — себя.

Разучилась, наверное. И бросала, бросала — а бралась много раз. И брошу опять.

Тусклый год. Скучный. Ватный. Слепой. Интенсивная жизнь, говорят. Наградили медалью меня в феврале. (Подводим итоги.)

После Хельсинки повысили в должности, но до сих пор скрывают от меня, как она называется. Недоверие.

А главный итог: любовь. Подпругина любить велено. Так и делаем. Я его. Он меня. В силу особых обстоятельств и в интересах государственной безопасности.

Научилась в окно смотреть, ничего не делая. Опыт, приходящий с возрастом.

Это почетно: домашний арест.

Только возят в Отдел иногда.

У Фроси гардеробской отобрали котят, тоже дикость. У нее завелся друг — единственный субъект, проникающий в Отдел без пропуска. Бачковой — от мусорного бачка. Непрезентабельный, с голодными глазами. Привела, показала, где кормят — заветное блюдечко в углу за вешалками. Мы еще умилялись: килькой делится. Тебе половина, и мне половина. А потом без котят лежала на боку часами, в глубокой прострации, ноги вытянуты, глаза открыты. Не ела, не пила. Он лег рядом, я сама видела, и положил ей лапу на шею, обнял как будто. Совсем как люди. Он жалел ее, кот. Я никогда не думала, что коты так умеют — жалеть. Вот тебе и коты. А мы: кот, кот! Сделал дело, гуляй смело...

Со мной ласковы. Меня берегут.

А что Подругин?.. Он ревнив — даже при моей изоляции. У него тяжелый характер, с ним трудно. Самоуверен, сварлив, зануден. Любит красивую фразу. Позер. Он похотлив, как античный осел. И упрям. У него пахнет изо рта, особенно утром.

(Как автор примечаний, личность которого затрагивается здесь самым непосредственным образом, более не чувствую себя в праве продолжать медлить с необходимым комментарием. В архивах Отдела хранится не одна моя характеристика, я выдержал множество переаттестаций и медицинских комиссий, проходил многоуровневое тестирование. Надо ли говорить, что объективный мой портрет, составленный специалистами, радикально не совпадает с крайне субъективным портретом-карикатурой, предложенным Е. В. Ковалевой? Обстоятельства личной заинтересованности (в смысле моей заинтересованности в истине) обязывают меня и в дальнейшем помнить о своевременности комментария и его уместности непосредственно в комментируемом тексте. — *Мое примечание.*)¹

Ужаснее всего, что он все знает на свете. Никогда не признается, что не знает чего-то. Все знает. А пуще всего мои дни по лунному календарю. Ритмы. И чего я хочу. И чего не хочу. И что мне надо. И что мне не надо.

Вот, наверно, уронил мыло. Чертыхается, злится. Мыло виновато, что скользкое.

(Надо ли комментировать? — *Мое примечание.*)

«Союз» — «Аполлон». Еще одна галочка. Забавно. Американцы даже не догадываются, как мы о них заботимся.

(За неделю до запуска кораблей «Союз» и «Аполлон» у некоторых членов Политбюро возникли сомнения в правильности конструкторского решения установленного на «Аполлоне» специального стыковочного блока — шлюзовой камеры со сменной атмосферой, а также американского приемопередатчика, установленного на «Союзе». Я получил задание срочно подтвердить через Е. В. Ковалеву надежность этих устройств. Задача была решена в течение двух семестров. Исторический запуск космических кораблей осуществился в намеченный срок. — *Мое примечание.*)

Конец июля мы провели за границей — в Хельсинки. Чудовищная поездка. Дурной сон. Тридцать с лишним глав государств в одном месте и в одно время.

Но я их не видела — никого. Даже по телевизору. Некогда было смотреть. Я вообще ничего не видела. Помню только флаги на площади в окне автомобиля и эти до ужаса чужие комнаты со встроенными шкафами, нам принадлежал этаж, я, по обыкновению, ходила босиком и запомнилось почему-то, как пол ужасно скрипит — не был ли пропитан чем?

Где же мы были? В гостинице? В посольстве? В частном доме? Спрашивала. Без ответа. Вот тайна тайн. Да нет, я не копаю. Нельзя, так нельзя.

(Теперь можно. Дом принадлежал Тойво Антикайнену, коммерсанту. — *Мое примечание.*)

За четыре дня этого сумасшествия всего лишь дважды спустилась на этаж ниже. Оба раза меня любезно останавливал охранник. Наш человек. А началось, когда Брежнев приехал. А приехал он следом за нами, раньше других, за три дня до подписания акта. Подругин вошел и сказал:

— Он встречается с Тито.

И скинул халат.

Мне часто снится Володька. Во сне он мне не верит, что вышла я за Подругина. Я сама не верю — себе — и во сне, и наяву.

Вот. Кричит. Просит потереть спину. Не пойду. Не хочу. Боюсь.

Сегодня разоблачаем шпиона. Надо идти.

¹ Надеюсь, читатель уже подружился достаточно крепко со мной. Обличенный доверием, не самый последний участник событий, я не буду обманывать ожиданий своих новых друзей-кинолюбцов. Обещаю, что голос мой будет звучать и своевременно и полноценно. Мне есть, что сказать. Примитивными нотками, вроде вот этой, ныне, надеюсь, читаемой кем-то, обойтись уже не смогу. Не тот материал и не та ситуация. В скобках и сразу — мой новый прием. — *Подругин.*

1976 год. Дни в Завидово.

— Вы из персонала? — спросили Подпругина (в столовой).

— Из какого персонала?

— Из обслуживающего...

Он чуть не поперхнулся компотом. Сухо ответил «нет» и, конечно, обиделся. А мне очень понравилось. Персонал.

— Ну что, персонал, — подтрунивала над ним в номере, — как дальше жить будем, персонал обслуживающий?

— Ну зачем ты, Элен? — обиженно бубнил Подпругин, заметно воспаляясь и не забывая вместе с тем о кипрской проблеме.

(Ошибка. В тот раз проблему раздела Кипра я не исследовал. — *Мое примечание.*)

Иногда он бывает трогателен.

Здесь хорошо. Чистый воздух. Природа. Но скучно. Выйти нельзя за забор — охраняют. Охраняемый санаторий. С улучшенным питанием. Да и куда мне идти? На озера? Нельзя. Украдут. Ей-ей, украдут.

Подпругин тоже скучает, но его, по крайней мере, увозят с утра пораньше — где-то накачивают.

(Инструктируют. — *Мое примечание.*)

Возвращают к обеду. А еще лучше — к ужину. Без него веселее.

А на меня и внимания никто не обращает, хожу себе туда-сюда, принимают за чью-то родственницу.

Подпругину я тоже надоела. Он бы рад пообщаться с кем-нибудь, да здесь народ не очень общительный. Даже стенографистки. <...>

Сегодня суббота. Вчера вечером наконец привезли Л. И.

Я вышла пособирать шишек, — новое занятие нашла, мастерю из шишек и спичек всяких зверюшек, — и тут как раз подъехала «Чайка». Видела, как вылезал из машины с трудом. А пошел ногами дальше легко.

Вспомнила о «Ролс-Ройсе», о том, подаренном английской королевой. Почему-то не на нем.

С ним шли двое молодых, но на охранников не похожие. Нюанс: я шишку отбросила в сторону. Уж не по стойке ли смиренно хотела встать? А что? Я не одна оказалась вне дома, и все с ним здоровались, кто здесь были, очень почтительно:

— Здравствуйте, Леонид Ильич... Здравствуйте, Леонид Ильич...

Он в ответ старательно пытался выговорить свое нечленораздельное «здравствуйте», не обделяя никого из приветствующих, и как-то странно шевелил правой рукой, словно щупал воздух.

Я стояла около клумбы. Идет и на меня смотрит.

— Здравствуйте, Леонид Ильич!

И он мне тоже отвечает «здравствуйте».

Вдруг остановился.

— Наша новая массажистка?

Я не сразу поняла, кто я. Потому что получилось «мсссжиска». Сопровождающий ответил:

— Это из экспертной группы, Леонид Ильич.

Что его во мне заинтересовало, не знаю, но он смотрел на меня, наверно, с минуту. *Осмысленным взглядом.* Мне показалось, что он хочет сказать что-то. Но он только сказал:

— Хорошо. — И отправился дальше. Поднимал себя по ступеням. Ему открывали дверь.

И тут я слышу голос из-за спины:

— Ничего, ничего, держится.

Оглядываюсь. Представитель! Приехал на другой машине, я не заметила, все внимание было поглощено Брежневым.

— Ой, — сказала я. Мы поздоровались.

— Как он вам, Елена Викторовна? Произвел впечатление?

— Сильное впечатление! — беру шуточный тон.

Он:

— Крепыш.

Я:

— Кто?

— Кто-кто... Долгожитель. Или нет? Не крепыш? Вам как показалось?

— Почему же... Вполне... — плечами пожимаю.

— А по-моему, плоховат.

Странный разговор. <...>

Час ночи. Пора спать. Подругин засунул голову под подушку. Обнимает ее. Не задохнулся бы. <...>А мне жалко Брежнева. Я ему не сказала как. Даже в груди все сжимается как. Он одинок. Ему трудно. И так же, как я, не принадлежит себе. Я чувствую Брежнева. Понимаю Брежнева. Он...

А и Б сидели на трубе. В Зимнем саду.

(В Зимнем саду, примыкающем к Главному корпусу завидовского военно-охотничьего хозяйства, Л. И. Брежнев иногда проводил совещания со своими помощниками, вот почему именно это место руководство Программы предложило мне, как инициатору, для наиболее важных (и наиделикатнейших) сеансов с Е. В. Ковалевой. — *Мое примечание.*)

Если эти записки обнаружат, моим начальникам здорово попадет.

Хотела почитать, но не дали.

Около одиннадцати услышала выстрелы, Л. И. охотился.

Тут же явился Подругин, до того он был в двадцать второй, у Представителя. Стал анекдоты рассказывать. До ужаса бородастые. Я сказала, мне неинтересно. Я не люблю анекдоты про тех, на кого работаю. В конце концов, усталый больной человек. А ты каким будешь в его возрасте? Он не виноват, что у него с языком так и что брови такие. Нет, я должна выслушать, про больного. Уже только это одно «должна» должно было насторожить. Он меня заряжал. Я потом поняла. Зарядил — чем и как.

— А ну-ка, пойдём, я тебе кое-что покажу. (По радио заиграли гимн: двенадцать часов.)

— Куда пойдём?

— Увидишь.

Повел меня на первый этаж мимо охранника. Я почему-то решила, что в медпункт, потому, наверное, что топчан там у них, или как там его, ну и кресло... — ведь были предчувствия и далеко не смутные. Но свернули налево. Ага, догадалась, в Зимний сад. Подругин держал меня за руку, шел с необыкновенно важным видом, как на спецзадание (так и было оно: на спец!), и я поймала себя на том, что стараюсь ступать бесшумно по ковру. Он достал ключ из кармана, поиграл, хвастаясь. Это для второй двери служебного входа, на первой — кодовый замок. Легко открыл дверь, сигнализация была отключена своевременно.

— Прошу. (Какая галантность!)

Дыхнуло теплом оранжереи.

— А свет?

— Щас.

(Всегда произносил «сейчас». — *Мое примечание.*)

Он шарил около двери в темноте, искал что-то. — Нашел. Щелкнул. Зажглось. Лампа наподобие керосиновой, но электрическая, тускловатая, вроде как сувенирная. «Для интима».

Очертания растений вырисовывались из темноты, сейчас эти кактусы и апельсиновые деревья казались вдвойне экзотическими. Как ночнички, светились плоды. В такт подругинским шагам колыхались корявые тени.

— Не бойся, здесь нет никого.

Он опять меня взял за руку, крепко сжал.

А кого мне бояться кроме Подругина? Разве Подругин не псих? Особенно ночью?

(Слово «псих» — особенно ночью! — употреблялось Е. В. Ковалевой неизменно, как комплимент, во всяком случае, только так оно, чему были причины, воспринималось автором настоящих комментариев. — *Мое примечание.*)

Днем-то здесь хорошо. Я видела. В первый же день меня привели посмотреть — знаю, как хорошо. Все здесь растет, цветет и плодоносит круглый год, Днем очень красиво.

— Ну и что дальше? — спрашиваю.

Вода журчит — фонтанчик... Вспомнила, как с Володькой ездили к генералу на дачу. Черные тюльпаны, тую...

— Посмотри: стол, — произнес томно-торжественно муж мой Подпругин. — Еще утром за ним заседали, представляешь?.. Брежнев со своими помощниками. Ты способна такое представить?

— Ну?

— Брежнев, — услышала я гипнотизирующее, специфически подпругинское.

— Послушай, я не буду на столе...

— Ты не понимаешь... Брежнев... Брежнев... Брежнев... — твердил он в иступлении.

Потом он напишет в отчете, что я заупрямилась. Пусть пишет.

Я, действительно, заупрямилась. Я сказала, что стара для этого — для стола. Все во мне протестовало против стола. Он сказал, что это каприз. Я сказала: не буду!

— Нееет! — простонал Подпругин.

— Но, но! Руки! — я решительно не хотела.

— Непрррравда! — зарычал, зверея, Подпругин.

— Руки! Я буду кричать! — закричала я во все горло. (Будто от меня ждали другого.)

— Громче кричи! Дверь закрыта! Кричи!

Стиснула зубы тогда. Ужасная глупость. Мы боролись. Упал фонарь и погас. Не дождетесь, твердила себе, не дождетесь! Не думай о Брежневе, слышишь! Треснуло платье. Что ты делаешь, дурак! Он рвал белье, я хотела укусить его, не вышло. В волосы пыталась вцепиться ему, он схватил за кисти рук меня, руки заломил мне за голову.

Сквозь стеклянную крышу оранжереи увидела звезды: сначала одну, потом другую, третью. Еле-еле мерцали. Помню, думать хотела только о них, но не помню, что думала и как долго.

(От небесных звезд, как исходного пункта ассоциативного ряда — через три (в то время) Звезды Героя, украшавших пиджак Генерального секретаря — непосредственно к здоровью последнего, как к предмету описываемого исследования — таково направление эманации существа Е. В. Ковалевой в трудно вообразимых областях непостижимого. — *Мое примечание.*)

Вот и весь сказ. Чистила апельсин — Подпругин в руку сунул. Где взял в темноте?

(Сорвал. Сама знаешь. — *Мое примечание.*)

Сижу, стало быть, в темноте на столе, как дура, и отрываю кожуру зубами. Руки дрожат. Подпругин ищет фонарь.

Нашел. Зажег. Неподражаем: без штанов, но в рубашке. Рукав на одной нитке висит. А кто будет скатерть стирать? Ну? Спроси:

— Хорошо ли тебе было?

А?

Молчит.

Разломала пополам. Половину ему протянула. Сочный, сладкий.

— Зря, — говорю, — сорвал. Накажут теперь.

Плод греха.

— Ничего, мне разрешили.

— Кто? Управляющий делами ЦК?

Он не ответил. Раздался выстрел глухой — далеко, потом другой. И еще два.

(Два подстраховочных — старшего егеря. — *Мое примечание.*)

— Поживет, поработает, — сказал Подпругин, вздохнув.

Но не сказал сколько.

Сегодня воскресенье. Перед отъездом видела, как Л. И. общался с на-

родом (здешними служащими). Я не подходила к нему. Выпили за его здоровье в номере Представителя. Он очень доволен. Туда нам и принесли обед. Вкусный. Кабанье мясо вполне съедобное. Одно слово, свинина.

(Надо дольше отмачивать. — *Мое примечание.*)

Брежнев уехал около шести. А на ужин были котлеты — для всех — и тоже кабаньи.

(Угощать персонал результатом охоты генсека было одной из приятных традиций Завидово. — *Мое примечание.*)

К десяти вечера привезли нас в Москву. Хорошо в гостях, а дома лучше.

(Есть истина в этих словах Е. В. Ковалевой. — *Мое примечание.*)

1977 год.

Вчера обратилась к руководству с просьбой разрешить развод.

Выслушали меня спокойно, без паники.

— Уверены ли вы, Елена Викторовна, что перевод ваших отношений с мужем в область внебрачных связей подействует на вас раскрепощающе?

Все, что угодно, была готова услышать, но только не это. Нет, поразительно! У них одно на уме — конечный результат. Bravo!

— Какой перевод? — спрашиваю. — Каких связей? Разорвать с ним — раз и навсегда — и все!.. Сил моих больше нет! Не могу! Хватит! Конеч!

Забеспокоились.

— Вы считаете, он вам изменяет?

— Не в том дело...

— Но, Елена Викторовна, вы должны учитывать специфику работы вашего мужа. Он думает только о вас. Поверьте нам...

— Не в том дело!

— А в чем?

— Он маньяк. Прошу оградить меня — могу написать рапорт — слышите? — оградить!.. от посягательств маньяка!.. Я тоже человек и тоже имею право!

Эва, до чего дошло, о правах человека вспомнила.

Еле себя сдерживала.

— Доктор, неужели вы не видите, у него мания величия!

— Вы преувеличиваете, Елена Викторовна. Это характер. А ну-ка, сделайте вдох... Надо быть снисходительной, правда?

Учись терпимости...

Все-таки они пообещали «исследовать этот вопрос».

(То есть маньяк ли автор настоящих примечаний. Нет, я не маньяк. И никогда им не был. Соответствующее обследование тому доказательство. Но каково мне такое читать по прошествии лет и, более того, готовить к публикации? Лукавила Елена Викторовна, ой как лукавила! А руководство Программой мне доверяло. Супруге же моей и самой близкой моей сратнице тех лет, Е. В. Ковалевой, я никогда повода быть недовольной мной не давал. На том и стою. О том же свидетельствуют протоколы. — *Мое примечание.*)

Вот его рассуждения, почти дословные. По-моему, мило.

— Наше сочетание, ты и я, можно сравнить с производством. Мы с тобой что-то вроде фабрики высококачественного оргазма. Я — высококвалифицированный передовой рабочий, а ты, дорогая, прошу не обижаться, это комплимент, знай, ты уникальная точная машина исключительно мощной энерговооруженности. И мы работаем со знаком качества. Я отвечаю за это со всей ответственностью. (Его стиль!) Я знаю, что говорю. Нет, я бы даже сказал, с личным клеймом — вот как я работаю! А ты опять недовольна.

(Что касается стиля, не уверен, что он, действительно, мой, но смысл высказывания, если таковое было вообще, реконструирован, по-видимому, верно. Не отрицаю. Согласен. Была, если не ошибаюсь, так называемая «пятилетка качества, и фразеологизмы вроде «личного клейма» употреблялись в быту естественно и без натуги. — *Мое примечание.*)

Листала опросник: 540 пунктов. — Из отрицательных качеств, с ними

все-таки проще — близок пример, на второе место поставила напористость. Да, да, это верное слово. А на первое пока не нашла.

(Я не напорист. Я исполнительен. — *Мое примечание.*)

— Разберитесь в себе. А мы поможем.

Первые мгновения — пока возвращаюсь на землю — мне даже кажется, что я люблю и что это любовь. И по любви. Пока возвращаюсь и пока не открыла глаза. И это: ощущение качки. Или маятника — в голове, в груди, во всем теле. Я любима — им. Он любим — мною.

Но вот я здесь. Я тут. (Тут как тут...) И тут...

И тут я вижу его самодовольную физиономию...

(Слово физиономия, должен заметить, происходит от греческих *physis* — природа и *gnomon* — знающий. — *Мое примечание.*)

...физиономию службиста, преуспевшего сверх меры и вполне удовлетворенного результатом эксперимента. Самца, убоготоренного своей самцовостью. Я ж — приложение: при ложе. Я так. Дурочка — еще думаю о любви! Между кем и кем? Между мною и этим? Между мною и *им*? Смотри в оба, ненормальная: он предается анализу, почесывая волосатую грудь — задумчив, мыслитель! Пытается упредить спецов из Отдела. Выуженное из меня достойно внимания. Если бы только это — пусть! И хорошо, если бы только это! Пусть анализировал бы себе, думал бы себе о перипетиях внешней нашей политики — Франция, Ангола, уран... черт с ней, с Анголой, пусть — чеши, чеши волосатую грудь, только молчи. Нет, он похвалит меня сейчас, вот чего боюсь больше всего — объявления благодарности, очень уместно! — важным, поощряющим тоном — потому что вижу, вижу по его глазам, как он прикидывает баллы, в которых оценят выуженное из меня, только бы помолчал, только бы не открывал рот, не говорил этого: «А ты была молодцом».

Кто же тянет тебя за язык, идиот.

Идиот. Почему ты, Подпругин, такой идиот?

(«Частный человек» — вот буквальный перевод греческого слова *idiotes*. Так что, прежде чем кидаться словами, следовало бы подумать, что они означают. — *Мое примечание.*)

Ты еще и благодетель, зараза! Меня начинает трясти, когда:

— Дорогая ответь, тебе было со мной хорошо?

(По-моему, естественный вопрос. А что до тряски, то это снятие напряжения. — *Мое примечание.*)

Хорошо ли с ним было?

Хорошо? То, что было с ним — хорошо?

(Казуистика. Пустые, ничего не означающие вопросы. А разве плохо, Елена Викторовна, ответь-ка сама! — *Мое примечание.*)

1978 год.

Мой день. Уже какой по счету — мой? Сама себе признаться боюсь.

Принесла торт в Отдел. Пили шампанское. Подарили постельное белье, два комплекта, а Веденеев лично от себя — хрустальную сахарницу.

Дома Подпругин пел под гитару. Гостей не было. Я хотела побыть одна, но он решил подарить мне сольный концерт, а дареному коню... И еще — энциклопедический словарь — со своими стихами.

(Эти стихи сохранились в нашем семейном архиве, вернее, библиотеке, ибо написаны мною на титуле словаря. С точки зрения высокой поэзии, к лучшим моим сочинениям их относить, конечно, не следует, прошу учесть в первую голову конкретную адресность нижеприводимых поздравлений, рожденных без особых претензий на красоту слога, но тем не менее с искренним, непосредственным и понятным всем чувством и, что главное, с чувством, достаточно ярким для того, чтобы и сегодня, как мне представляется, поддерживать к себе интерес моего, впрочем, пока еще не дошедшего до того места читателя. Одно замечание. Предваряя публикацию, прошу не оценивать поэтические достоинства документа по выбивающейся из общего строя строке о теннисе. Итак:

Е. К.

Я сегодня тебя поздравляю
С твоего рождения днем.
Я тебе откровенно желаю
Ощущения счастья в нем.

Чтобы ты никогда не болела,
Чтоб до старости самой жила,
Чтобы ты танцевала и пела,
Чтобы Общее Дело вела.

Будь красивой всегда, обаятельной,
Будь веселой и умной, и нежной!
Королевою будь обязательно,
Но не будь Королевою Снежной!

Будь же теплой всегда, нет! — горячей!
Темпераментной, радостной будь,
Чтобы я был с тобою азартным,
Чтобы ты не жалела ничуть!

Под одним мы с тобою под небом
В этой жизни чем только не делимся!
И судьбой, и любовью, и хлебом!
(Даже вместе мы заняты теннисом!)
Леночка! День сегодня ведь и число
Светлой годовщины со дня твоего рождения!
Согласись, что со мною тебе повезло...
Между нами всегда должно быть наслаждение!
— *Мое примечание.*)

Володька, я часто тебя вспоминаю.

(А меня, а меня часто ли ты теперь вспоминаешь? — забегая вперед, спрошу я Е. В. Ковалеву. — *Мое примечание.*)

А ведь я бы даже от козла согласилась. Козленочка.

Скажи, Подругин...

(А что сказать-то?.. «Скажи, Подругин» — и вся запись. — *Мое примечание.*)

Почти заграница. — Буду бродить по берегу моря... Под ногами янтарь...

(Приграничный город Балтийск, что в Калининградской области, — отсюда ближе всего до Брюсселя, до секретов штаб-квартиры Организации североатлантического договора, — встретил нас, меня и ее, а также сопровождавших специалистов, хотя и ненастной погодой, но все-таки по-своему гостеприимно, не зирая ничуть на инкогнито, определенно явленное всей нашей командой. Отведенные мне и Е. В. Ковалевой покои отличались изяществом. Во всем подразумевались и мера, и вкус. Нас никто зря не тревожил. Стол был хорош. Погода... Последняя декада октября была на дворе, но я вспоминаю те ночи и дни с вполне теплыми чувствами. — *Мое примечание.*

Р. S. А ты? Почему ты лишь то замечаешь, ответь, что не стоит замечать?! — *Постскриптум мой.*)

Просила подарить щенка. Нет, против. Собаку надо выводить. Ему, не мне же — на поводке. Я сама как на поводке, только без намордника. Тогда кошку. На кошку согласен. На кота. С условием чтобы обязательно кастрировать.

Тебя бы самого кастрировать, муж.

(По моему, не остроумно. — *Мое примечание.*)

Приснилось, что зарезала Подпругина кухонным ножом. Ткнула в живот. Неопишное наслаждение. Надо лечиться.

(Не хочу комментировать. — *Мое примечание.*)

1979 год.

Ты меня любишь, Подпругин?

(Я? А ты и не знала? — *Мое примечание.*)

Поливала цветы.

(Должно быть, столетник, других не припомню. — *Мое примечание.*)

В комнате сухо.

(Хорошо. Но зачем спрашивала? Спрашивала-то зачем? — *М. п.*)

Что случилось в Крыму? Вспоминай. Разберись с этой загадкой.

Виноваты розы во всем. Запах роз был как сироп. Розы в мае. Я едва не свихнулась.

Во Французском дворце — осетры живые — в бассейне.

Гроздьями спускаются ветви акации по камням.

На гору лезем, на Ай-Петри. Татарские сады — двумя ярусами, все в запустении. Продолговатые крымские яблоки, ешь не хочу. Каньон. С высоты море еще огромней. А пароходики совсем крохотные. Видели змею.

Как я устала тогда! Зачем он меня туда потащил? Я за день сносила кеды. Порвала брюки. Ведь мы же лезли кратчайшим путем, так хотелось ему.

Почему я ему подчинялась во всем — почему? — и боялась его — его напористости, его нахрапистости? И он всю дорогу что-то бурчал, что-то мне объяснял, что-то втолковывал.

А я знаю, зачем он это придумал. Он хотел меня там изнасиловать, на вершине. Он глядел бы на море. Весь мир лежал бы под ним!

Я знаю, Подпругин!

Смешно. Не рассчитал силы. Мы доползли к вечеру. И что же видим?

Очень смешно.

Стоит чебуречная. На площадке. Народ ест. Ест чебуреки.

С другой стороны горы, оказывается, есть дорога. Можно подъехать на машине.

Мне стало очень смешно.

Я его пожалела: он ужасно расстроился.

Сломанный кайф.

(Точка. Специально не прерывал комментариями, дал высказаться до конца. Непростой случай и объяснения ему никакого не вижу, но хочу заверить клятвенно: здесь нет ни одного слова правды, ни одного! Потрясающе! Полный вымысел! От первой и до последней буквы! Не понимаю, зачем Е. В. Ковалева сочинила эту историю с, прямо скажем, душком. Я не ползал на эту дикую гору и даже не знаю, есть ли на ней, на горе, в действительности чебуречная. Может, кто-то другой? Но тогда зачем употреблять мою фамилию? Что это за странная шутка? О том, что происходило на самом деле, мною правдиво рассказано в соответствующих главах «Моих мемуаров» (читатель знает, о чем говорю). С кем ты лазила? С кем и когда? (Если б это был сон Е. В. Ковалевой, я бы многое отдал.) — *Мое примечание.*)

Иногда мне кажется, он что-то подмешивает мне в чай.

(Какая наивность! — *Мое примечание.*)

Надо бы проследить.

(Психотропные средства соответствующего действия, не скрою, действительно разрабатывались, однако у меня не было необходимости пользоваться ими. — *Мое примечание.*)

Как тогда. Ведь дошло тогда до курьеза. Он заподозрил измену. Месяц ходил угрюмый, присматривался ко мне, прислушивался к каждому вздоху, я забросила дневник, чувствовала, что следит, а он и начальству наябедни-

чал, — я все понять не могла, о чем они со мной говорят, все кругом да около, пока сам как-то не брякнул:

— Корреляция с третьим лицом, дорогая, для меня несомненна в наших с тобой отношениях, имей в виду, моя экстрасенсорика меня никогда не подводит.

(Разумеется, я выразился элегантнее. — *Мое примечание.*)

«Ты спишь с другим», — если перевести на русский.

— Интересно, и кто же это третье лицо?

У меня спина похолодела, когда он ответил — кто.

(Да, ответил. И могу повторить. И не вижу ничего здесь «журьезного». Те, кому хотя бы однажды довелось услышать в известный момент любовных утех имя постороннего человека (простейший случай), без труда поймут, о чем я говорю. Как прикажете реагировать на услышанное? Признак ли оно чего-либо? Правомочно ли рассмотрение создавшейся близости, как действительной, не мнимой, полноценно реализовавшейся, если этой действительности, немнимости, реализуемости демонстративно противопоставляется какая-то, мягко говоря, иллюзия? Много вопросов, ответов же нет и не будет, по крайней мере, универсальных. — *Мое примечание.*)

Я сказала, взяв себя в руки:

— Подругин, ты слышал, что сказал? Ревновать к мертвому — это не просто моветон, это признак умственного помешательства.

(Вот чего признак, оказывается. — *Мое примечание.*)

Я тебе не давала повода.

(А кто кричал: «Володька, Володька, любименький мой? Или забыла, как меня зовут? — *Мое примечание.*)

Ты кретин, Подругин.

(Немецкое kretin, к сведению, происходит от латинского christianus — «христианин», ибо в Германии считали таких угодными Богу (согласно М. Фасмеру). — *Мое примечание.*)

Нет, он определенно кретин. Иногда мне хочется убить его. Взять и убить.

(Что ж не убила? — *Мое примечание.*)

Это не жизнь, это мучение какое-то!.. Руки дрожат, даже писать не могу...

(Зачем же пишешь? — *Мое примечание.*)

Настроичить на меня ябеду!.. и о чем!

И вот наконец до меня дошел смысл тех унижительных собеседований. Повлиять на меня — вот была цель их — чтобы я позабыла Володьку! Потому что кому-то не нравится, потому что кому-то мешает!..

(«Кому-то»? — *Мое примечание.*)

Это он, он настаивал, и они пошли у него на поводу, хотя сами знали, что лажа, и не хотели въезжать, генерал мне потом сам признался в этом!

(«Въезжать»?!. Генерал, кстати, не знал деталей. Вообще, история выведенного яйца не стоит. — *Мое примечание.*)

Какое ничтожество!.. пакостник мелкий!.. Ну что за человек такой, что за дрянь!.. Недаром в школе гнидой дразнили...

(Ложь! Никогда не дразнили! — *Мое примечание.*)

Он не только ревнует к Володьке, он завидует ему.

(Глупости. — *Мое прим.*)

Он даже не может про него говорить спокойно.

(Неправда! — *Мое прим.*)

Он завидует всем, кто тоньше его...

(В каком это смысле? — *М. п.*)

...умнее его, добрее его, надежнее, честнее, лучше.

(Чушь. — *М. п.*)

Он завидует мне...

(Чушь! — *М. п.*)

потому что «исключительный дар» — это «дар» мой, а не его.

(Дикая чушь! — *М. п.*)

Он завидует мне!

(Неправда! — *М. п.*)

И я знаю, о чем ты мечтаешь, Подпругин...

(Не хочу комментировать! — М. п.)

потому что тебе не нужны были б женщины, волк-одиночка, жадина, индивидуалист, эгоцентрист, несчастный эротоман, я так и вижу, как ты в ванной, вытаращив глаза, рычишь и прорицаешь, потея!

(Дура! Просто дура. — М. п.)

Мне жалко тебя, Подпругин!

(Ну, конечно! Последнее слово, как всегда, за тобой! — М. п.)

1980 год.

Принесли из Ленинки заказанные книги. Читала Сахарова.

(Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. СПб., 1885. Не путать с запрещенными тогда трудами А.Д. Сахарова, известного правозащитника. — *Мое примечание.*)

Каких только нет заговоров!.. И от недугов, и от пореза, и от черной немочи... От лихого человека. От бешеной собаки. От родимца. От колотья и болей. От запоя. От осы. От зубной скорби. От грыжи.

И только от старости нет.

От старения.

Сделали флюорографию. Вдруг:

— Елена Викторовна, может вы хотите поменять мужа?

Я так и обомлела.

— С чего это вдруг?

— Вы же просили когда-то. Настаивали.

— Интересно, чем это мой Подпругин вас перестал устраивать?

— Просто решили пойти вам навстречу. За вас и в ЦК ходатайствуют... Вы же видите сами, что в мире творится... Вон, в Индийском океане кризис, а мы мух ловим... Он вам не пара.

— Слушайте, я ведь тоже не девочка. У меня вот-вот климакс начнется.

— Какой климакс? Откуда? И слов даже таких не произносите! Климакс... У вас вся жизнь впереди! Давайте, решайте... Подберем вам спутника жизни с учетом ваших пожеланий.

Я сказала:

— Поздно, ребята.

(Спасибо, Лена. Принципиальное и правильное решение. — *Мое примечание.*)

1981 год.

Ему лечили зуб. Сделали рентген. Пришел домой озабоченный.

— Канал зарос, окостенел, говорят, у боковых верхних такого не бывает.

Преисполнен собственной исключительностью. Угрюм.

— У меня склероз зуба.

(Я не врач, но думаю, в данном случае патологическое уплотнение кариозной полости. — *Мое примечание.*)

Почему-то дневник совсем не идет... Берусь и бросаю.

(Действительно, записи Е. В. Ковалевой становятся все менее связными и все более случайными. Тем выше роль комментатора. — *Мое примечание.*)

Холодно, зябко... Махнуть бы в Африку.

(40 резидентур ЦРУ действовали на африканском континенте. По моим оценкам, Отдел Африки ЦРУ насчитывал более 400 сотрудников. — *Мое примечание.*)

Осенняя скука.

(Вспомни-ка, дорогая, скучала ли ты в том сентябре? Неужели скучала — со мной?! Это накануне-то объявления американским президентом новой Стратегической программы?! — *Мое примечание.*)

Хочется, чтобы тебя никто не слышал и не видел.

(Идея бесшумного бомбардировщика-невидимки овладевает сознанием американских стратегов. Возможность разработки в США летательного

аппарата с низким уровнем демаскирующих признаков, я исследовал не без помощи Е.В. Ковалевой, как мне подсказывает память, в последних числах октября 1981 года, то есть сразу же после объявления правительства США своей новой военной Стратегической программы. Я располагал данными (и это мне помогало) о проведении аналогичных секретных исследований (но, разумеется, другими и, замечу, крайне дорогостоящими методами) влиятельной американской фирмой «Нортрон». Я рад констатировать, что в целом, как выяснилось потом, и я и они пришли к одинаковым результатам. — *Мое примечание.*)

1982 год.

Завтра умрет Брежнев.

1983 год.

Была вылазка в ГУМ.

Купила солдатиков, пластмассовых. Не ахти какие. Но если бы у меня был сын, он бы в них играл. Стрелял бы из пушечки спичками.

(Объединенное командование НАТО наметило переукомплектовать дислоцированные в Европе вооруженные части и соединения новыми, более эффективными танками, как-то: М1 «Абрамс», «Леопард-2», АМХ-30 и «Челленджер». — *Мое примечание.*)

А играет Подпругин.

(Не отрицаю, иногда, готовясь к сеансу, я расставлял солдатиков на столе. — *Мое примечание.*)

И не видно конца.

(Мысль натовских стратегов о затяжном характере всеобщей ядерной войны требовала всестороннего изучения. — *Мое примечание.*)

Частный дом с окнами на площадь. Старинный кабачок, в котором варят устриц прямо на глазах посетителей в огромном медном чане. У всех велосипеды. Их оставляют у магазинов, и никто не ворует..

(Узнаю отголоски собственных моих рассказов о тайном посещении мною в марте месяце города Брюгге (Бельгия) с целью подготовки к нашему совместному с Е. В. Ковалевой проживанию на конспиративной квартире в непосредственной близости от штаб-квартиры НАТО (Брюссель) и во исполнение разрабатываемого руководством Программы перспективного плана. Впрочем, на момент моего рассказа Брюгге, как название города, было надежно скрыто (надежно ли?) от Е. В. Ковалевой. — *Мое примечание.*)

.....

(Не хочется комментировать. Бессмысленная запись, приводить которую нет никакой надобности. Зачем? Упоминаю о ней лишь потому, что последняя. А стало быть, и последний мой комментарий. Вынужденный и последний..)

15 ноября мы сели на самолет. В Бельгию добирались через Польшу (ПНР), чье государственное образование, не смотря на оппозиционное движение, стремительно разбухающее в его собственных недрах, вяло и все же упрямо готовилось отметить свое сорокалетие. Но речь веду о другом. 17 ноября после полудня мы достигли временного, благословенного и уютного прибежища нашего, с видом на высокую башню с выразительными часами и на велосипедную очень большую стоянку. Это был город Брюгге. Мне и моей супруге в городе Брюгге принадлежала всего лишь одна комната, с ширмой, в двух других разместились коллеги из группы поддержки и обработки данных в количестве трех человек. Е В Ковалева ходатайствовала передо мной, как перед непосредственным мужем, за свою изоляцию от этих людей. Во всем, в чем мог, шел я навстречу. В целом же она была изрядно взволнована, причину чему я однозначно приписывал всей загранице, как феномену. Несмотря на усталость, вызванную дорогой, и возраст, о котором не принято говорить,

но порой трудно не думать, она, я отчетливо замечал, обретала в моих глазах удивительную привлекательность, несравненно большую, чем в обычных московских условиях. Да, это было именно так. В тот же вечер мы провели первый сеанс. Кажется, я был в ударе. Когда я вышел из комнаты, коллеги, поздравляя меня с удачным почином, предложили мне пиво, я отказался (баночное пиво было тогда для большинства наших граждан в диковинку, но я и тогда уже знал, что оно существенно уступает бугылочному, раз о том зашел разговор). И все-таки мы спустились вниз и посмотрели на цены. Воздух был чист, а небо звездным. Если бы нас приняли за кого-нибудь, так наверняка за поляков — туристов, как и было задумано. Жена моя оставалась в постели, за лестницей наблюдал наш человек, никто не подъехал к дому, и ничего подозрительного не случилось. Почему же как сон?.. как забытая мысль?... Почему, возвращаясь в комнату, я обнаружил ее отсутствие? Нет, не комнаты, а ее! Почему? Почему? Почему? Мы все лишились Е. В. Ковалевой. Я один, остался один. — *Мой комментарий, послег. — Лишь позволю себе эпилог.*)

ЭПИЛОГ

Мне больно вспоминать об этом.

Я не охотник писать катастрофы. Это стезя не моя.

Я раним, к сожалению. Мною принятое слишком близко к сердцу лежит, чтобы мог я блистать на поприще историографии.

Очень личное пусть таковым и останется!

Потому о личных своих неурядицах сообщать принципиально не буду. Я не застрелился, не кинулся из окна, нашел в себе силы.

Наше прошлое целиком принадлежит истории, я осознаю этот факт, с которым намерен считаться. Хотел ли я видеть ее другой? Не знаю, не думаю. История есть — и другой не предвидится, как ни крути. Обмануть ее не дано никому, и никто не обманет.

Поиск ответов не знал разрешения. Мое состояние пугало единомышленников. Холодный душ все мы нашли ледяным и до конца испили чашу сию.

Лишь через год, в решениях зимней сессии Совета НАТО мы разглядели косвенное, но достоверное свидетельство того, что жива Е. В. Ковалева, жива! Уж больно нахально вели себя наши противники! Тут и вспомнилось кстати, как еще в мае того же нервного 84-го года Комитет военного планирования по предложению США дерзко и самоуверенно бросил нам вызов. Какой? — если хотите, сами ищите в анналах истории. Мои руки умыты.

«С кем же ты, Лена, сегодня?» — помню, спросил я тогда мысленно Е. В. Ковалеву.

<...>

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ

* * *

В бытии параллельном
я его убиваю, наверно
Труп прячу, убегая,
и раскаявшись, плачу, наверно
И с повинной являюсь
но это не здесь — там где-то
Здесь убивают меня

* * *

Богу моление о чаше:
Не о смерти грядущей,
а со снегом несметным
гнеущим
Неба несветлого чаше...
Богу моление:
да минует *такая* меня...

* * *

Скоро снежок-братец,
а за ним и сестрица-метелица
В гости пожалуют
в наши дворы и на улицу
Холодно станет, студененько
и скудное жизни тепло
В церковь запрячется,
затаится в лампадах, свечах

* * *

Сапог непарный жмет, терзает
Но ты живи — вещам назло
И Бог не знает, Бог не знает
Как *здесь* бывает тяжело

А может и знает
и тайно душе помогает
Вот и сегодня помог

* * *

«Ленин — новый Христос»
нам сказала хозяйка в Тарусе
Вероятно хлыстовка

Тихая ты, Ока...
в светлых осенних лесах
Богородица бродит
и листья сухие шуршат
И магдалины-рябины
и глубокое утро тарусское
Дышишь вольно, легко
и наверно неважно, что рядом
Омуты... омуты... муть.

* * *

«О вещах подозрительных
Оставляемых в транспорте жизни
В электричках, в троллейбусах,
на человекоместах
И стоящих поодаль,
а также о странных предметах
Наблюдаемых в небе
и явленьем своим нарушающих
Грозный звездный закон
и научную музыку сфер
Без приписки блуждающих...
О таких сообщайте немедленно
К нам, в милицию жизни»

В публикации сохранена авторская пунктуация.

Сергей Георгиевич Стратановский (род. в 1944 г.) — поэт, критик, автор книги «Стихи» (СПб., 1993). Живет в С.-Петербурге.

© Сергей Стратановский, 1999

* * *

Дождь... дождь...
 Слушай, Отец дождя
 Уничтожь эти дни,
 что так медленно катятся с крыши
 Капают, капают с крыши
 попадая в лицо и за ворот
 Для чего мы живем?
 Ждем чего?
 Отчего так ничтожна надежда?
 Дождь, бесконечный дождь...
 Ты слышишь, отец дождя?

* * *

Вот фонтан «Три источника»
 в юбилейно-еловой аллее
 Сен-Симон удалой,
 Гегель — вниз головой
 и кузнец экономики — Смит
 Воду льют на гранит
 на скрижаль несмываемых слов
 Подойди и прочти!
 Что там?
 Список обид неизбывных
 Предвкушенье возмездья,
 мечтанья усталых рабов

* * *

«Ну и что пресловутый
 Пароход философский?
 Белибердаевы мутные
 Ересииархи, паписты...
 Да и Карсавин туда же
 Новый ковчег, говорите?
 Жалко не утопили
 Этих умников ушных
 тут же, в Маркизовой луже»

* * *

Смерть — долгая еда
 на кладбище валютном
 Где для погибших тел
 оплачен дом уютный
 Склеп неоплаканый...
 и длинный вдоль могил
 В аллее лакомой
 кичливой снеди стол

«ТРОИЦА» РУБЛЕВА

Трое пришли к Аврааму,
 трое священно-молчащих
 Странствующих и усталых
 посохи в тонких руках
 Чуть склоненные головы. Перезвон
 Колокольчиков в поле, во ржи

* * *

«Мы — скифы-пахари
 из колхозов исчезнувшей Скифщины
 Зерновых урожаи
 отгружали в Афины далекие
 В край голодного мрамора
 богов философских, а там
 Все сократы-платоны,
 эсхилы-софоклы, периклы
 Ели хлебушек русский
 и вмиг перемерли когда
 Прекратились поставки»

* * *

О белизне, голубизне
 О скопчестве, педерастии
 Ученый разговор:
 мол было так в России
 Житье манило странное, иное
 То ласки страстные в объятьях Антиноя
 А то в кровоизбе,
 в деревне рвотниодворной
 Стать полуангелом,
 но только б убежать
 От вечной женщины —
 богини болетворной

* * *

Принц, сумасшедший наследник,
 новоявленный Гамлет, фашист
 Оскорбляющий мать
 и грозящий расправиться с отчимом
 Всюду видящий крыс
 и толкающий в омут Офелию
 Мастер мести обдуманной
 И руки победительный жест
 Среди трупов — в финале

* * *

Под ветвями словесными
 в сени зеленой, древесной
 Прячутся деепричастия —
 ящерицы языка
 Рыщут, мигая чешуйками,
 с золотыми игранчи змейками
 В многотравье причудливом,
 в чаще по имени Ща

* * *

Дерево на косогоре
 Дерево в нитях дождя
 В неводе солнечном,
 но не о нем, не о жизни
 Мысли мои,
 а про дырку в домашнем углу
 Дырку в Нечто-без-имени

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА

* * *

«Что делать, милый друг,
душа моя, Тряпичкин?
Грядущая жена
она — вокруг, она
В комоды и в шкапы
и в носовом платочке
В дрянь-тряпке половой,
в материи небесной
Жинка прекрасная,
София, мать вещей
Она, везде она...
Что делать с ней, Тряпичкин?»

Крыша по Невскому скачет
и пес за ней
Хочет к Неве присобачить,
а ротозьяв — рот раззяв
Ам! — заглотал «Аврору»
и всякого вздору автобус
Вышли «митьки» на праздник,
катят по площади глобус
Катят по прежним слезам
Весело, весело нам
Чапай чапуга чапыг.
Весело, месиво... ык

* * *

* * *

«Гамма чувств христианских:
всего их пять
Аккуратно в тетрадь
запишите,
но только по пьяни не спутайте
Их порядок,
прочтите их вслух и опять
Вслух прочтите.
Запомните их, заучите
Падшим душам всучите,
и на каждом заборе гниющем
На дверях, на сараях,
на трамвае уныло ползущем
На базаре галдящем
и на галках по веткам сидящим
И на твари смердящей...
Это лучше
чем в школьной уборной на стенах
Забавляться похабщиной»

Клуб мужчин похотливых
И должно быть счастливых
рядом с домом где жил Достоевский
Гений местный, писатель...
Ночью в тот клуб мутнозвездный
приезжают в акулах, в кокосах
Круговластные боссы
и гориллы известные тоже
И швейцар чернокожий
отворяет им двери с поклоном
Что им горнило сомнений
и боренья с харизмой
ставрогинской?
И поездки к Амвросию?
Брось навсегда эту чушь
Ни к чему эти бредни
Видишь: в джунгли ночные торопятся
Те, кому ты завидуешь

ШАРИКОВ — ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

«Эх, профессор — лепила хрёнов,
естества пытала
Что ж ты наделал, лепила?
Что ты со мной-то сделал?
Преобразил? Переделал?
Нож чудодейный вонзил?
А ведь я-то надеялся:
Отсобачиться начисто —
стать человеком вполне
Пусть кошколовом,
но все же не уголовником
И не убийцей научным,
живопыталой как ты
Что же теперь?
Псом покорным
Я лежу на ковре,
у гардины в тоскливом тепле
Сдох во мне человек
и течет век посмертный
Век беспросветный, собачий»

МАРК ГИРШИН

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Повесть

Не знаешь, где потеряешь, а где найдешь, правду люди говорят. Я приехал на Юго-Запад рассчитаться с хозяйкой за квартиру, где жил с Надей. Шел и ругал Надю за то, что от меня ушла. И себя ругал, зачем целый месяц околачивался на чужой квартире, откуда и на работу дальше, и ни купить, ни поесть, Юго-Запад район новый, где у них какая столовая, толком не узнаешь. Даже в магазин что-нибудь на ужин взять не отлучишься, потому что Надя так: пообещает, приду после смены, а явится через три дня. А ты жди. Без телевизора. И вот еще надо отвезти хозяйке долг за квартиру и забрать залог — костюм.

Вообще, я тогда думал, жизнь пронеслась как дорожный знак: езжай без ограничения скорости. А куда? Все вроде у меня было: техникум закончил, правда, без отрыва, но все равно, книжечка всем выдается одинаковая, синяя, и работа тоже мне нравится, творческая. А оглянешься назад — это то, чего хотел, или не то, не могу сказать. Иногда кажется — то. А другой раз — не то. За институт, правда, не имею бумажки, но я и не стремлюсь. И без него авторитет на производстве, я какое предложение внесу на собрании, враз за меня все руки в гору. А вот личная жизнь — хоть рекламу пиши!

С этим настроением иду я мимо кинотеатра «Черное море», а по аллее — вдоль газонов с зеленой травой мне навстречу девчонка по моде приятно одета: туфли на шпильках, платье не длинное, короткое, с пояском, а глаза большие, даже с учетом косметики, хвост волос по-школьному, ну, канарейка круглолицая, и, кроме нас, ни души. И так: идем друг другу навстречу, видим один другого, думаем друг о друге, справа зелень подстриженная, фонтанчики-разбрызгиватели слышно как журчат, такая тишина, воскресенье, и до самого кино, может, метров триста, одна трава. А по другую сторону цемент, плиты неуложенные, трубы, краны, пустые окна без рам, один ряд над другим, а рядов этих — кварталы. Вот, думаю, люди трудятся — видно. А у нас — вроде бы ничего не делаем. Наладка агрегатов. А мне предлагали на строительство, говорят, с такой специальностью

Марк Данилович Гиршин (род. в 1923 г.) — прозаик, по образованию историк, учительствовал в сельской школе, затем — свыше двадцати лет — в профтехучилище, с 1974 г. в эмиграции, автор книг «Секретарюк против главинжа» (Тель-Авив, 1980), «Брайтон-Бич» (Нью-Йорк, 1982), «Убийство эмигранта» (СПб., 1992), «У Сталина в Сочи» (СПб., 1996); печатался в журналах «Октябрь», «Нева», «Дружба народов». Живет в небольшом городке в штате Нью-Йорк.

два ста в месяц — норма. И прогрессивка. А я у себя привык. Подумаю, сказал. И не пошел. Но я отвлекся. И вот, продолжаю, с какого-то момента одно слышу: шаги ли ее по плитам аллейки, этой девушки, что мне навстречу идет, или это мое сердце стучит «тук-тук, тук-тук». А эти секунды до первого слова «девушка», правду говорю, хотя Васьюлю, например, ничего не стоит остановить на улице незнакомку, мне лучше на лишнее воскресенье в командировке застрять, чем эти секунды вытерпеть. Ладно, уже прошло.

Сказал я как-то первое слово, а язык будто свежемороженный, не те буквы говорит, зато дальше пошло само, все равно что рискнуть пацаном на коньках с обледенелой руины дома. Взбираешься на нее на третий этаж по уцелевшей железной лестнице, без перил, а держится она на каком-то ржавом кронштейне, но мы внимания не обращали. Поковыляешь к обрыву, глубоко внизу улица, прохожие, и вдруг — раз, решился, сорвался, а там уже несет тебя мимо полной замерзшей воды ржавой ванны или торчащей из снега балконной решетки. Не успел испугаться, а впереди, смотришь, железная кровать старинная с расписными спинками. Как ты ее перепрыгиваешь, самому не известно, но как-то перепрыгиваешь, иначе не вынести бы тебе вниз, на тротуар. На душе так хорошо — подвиг совершил, так торжественно, все в тебе ликует, что пересекаешь, подняв руку, тротуар, выносишься на проезжую часть, а там что? Там машины, они объедут, если надо.

Возвращаюсь к теме. Но не по порядку, а как запомнилось. Зовут Танечка. А говорит как! Москвичка: слушай и получай удовольствие. Холостячка. Младшая сестра пошла на свидание, а старшая, видите, скучает на аллейке. К нам в Одессу с сестрой приехала в отпуск, работает в ателье, завтра уезжает. Утром в последний раз на пляж, а днем поезд. Муж ушел к восемнадцатилетней. А что удивительного, спрашивает. У нас если больше двадцати, уже старуха. Так мне и сказал: ты старая. Тут я вступаю, говорю, раз ребенка нет, это не беда, разошлись без потерь. А она в ответ: нет, есть ребенок, Олюшка, три годика. Тогда я резко в сторону: а у нас совсем другое, тут на одну девушку полтора парня. Ой, не успокаивайте, то же у вас самое, говорит Таня, я ведь видела, как на танцплощадке в парке Шевченко девушки из-за парня подрались. Нет, вздохнула, с ребенком кому ты нужна, никто не возьмет замуж.

И тут я не выдержал. Так что, говорю, если я плачу алименты, значит, за меня тоже никто не пойдет? Да вы что, удивляется, мужчине легче. Не сравнить! А меня сразу привлекло, что она это признает. Все равно, одному тоже надоедает знаете как, это я говорю. А потом думаю: а чего тянуть? И нравится, и подходит: у самой дочь, алиментами не попрекнет. Хотите, сказал, узнаем друг друга получше, а там, может, и распишемся. Согласны? А я что, отвечает, как вы. «Как вы», была бы жена, думаю. У меня с Надей что вышло? Ладно, потом! А я что, спрашиваю, вы мне понравились, вот и все. А она знаете как отреагировала? Ну вот, так сразу, разочарованно. И про себя улыбнулась. А я чувствую, нравится мне эта Таня все больше. Серьезная. По сравнению с другими, с кем меня Василь на пляже или в городе знакомил, большая разница. И чем еще доволен? Сам познакомился, без чьей-то помощи.

В общем, это все. Обменялись адресами, и до завтра на вокзале. Но опять: невозможно, с каким видом она попросила, чтобы я пришел к отходу поезда, если смогу.

Пришел. Отпросился с трудом у старшего мастера, я потом скажу, какие у него ко мне счеты, бегом домой переодеться, на цветы уже нет времени, без цветов подлетаю к вокзалу. Жара, перрон аж белый от солнца, пассажиры и провожающие попрятались в вагоны, а я в нейлонрубашке, костюме, галстук, есть ради кого. А Таня тоже стоит посреди перрона на самом солнцепеке, чтобы ее легче было найти. Вижу, очень довольна, даже благодарна. Плюс что-то ей сегодня во мне особо понравилась. Может, костюм?

Все. Она уехала, я сажусь в трамвай. Увидел одного пассажира, такой он какой-то скисший, и подморгнул. Мол, будет хорошо, дед!

Теперь. Что у меня со старшим мастером? Он хочет, чтоб всегда все по его выходило, что он сказал, то закон. Не скажу вдвое, но на пятьдесят процентов я разбираюсь лучше, это без учета диплома. А у него один стаж и курсы. По его схеме если варить, будет контактировать. А он требует. Тогда я на производственной пятиминутке говорю: я как варил внахлест, так и буду. И ни одной рекламации. А считаете, что вы лучше, становитесь сами. И все. Вот с тех пор.

Но возвращаюсь к теме. Договорились: я пишу первый, она отвечает. Но написала первой она. Просит извинить, сказала неправду, живет вовсе не в Москве, а в небольшом городе, сто километров от Москвы. Тот адрес, что я вам дала, не мой. Я тут же отвечаю. Для меня неважно, где живете, хоть в Березовке, откуда я только что вернулся из командировки, налаживал холодильную установку в больнице, а важно, могу я довериться тому человеку на всю жизнь или нет. Очень хотел бы. И дальше о чувствах, откровенно, что на душе.

Получаю ответ: мне никто никогда так не писал. Я полночи читала и перечитывала ваше письмо. Мама даже ругать меня стала: чего полуночи-чаешь, завтра в первую смену вставать. А у меня горе. Олюшка с восьми месяцев болеет воспалением легких, а здесь врачи лечить не могут. Мама ездила с ней в Москву, там прописали укольчики, а они не помогают. Я ужасно переживаю, не знаю, что делать. Я тут же отвечаю. Могу вылечить, мне главврач знакомый говорил в больнице: наладишь холодильную установку, от чего угодно, если понадобится, вылечу, какие хочешь лекарства достану. И такое возникает ощущение, что у нас все закончится с Таней хорошо. И потянуло меня к хлопцам, посмотрю, думаю, еще раз, что я оставляю. Как раз было шесть часов вечера, время сбора. Прихожу. Мероприятие в разгаре. Леня и Василь в подъезде отрабатывают самбо. Леня всклокоченный, в ватной куртке. «Делай!» — кричит. Василь хватает его за руки, шею. Вход в Ленину комнату из подъезда, в комнате Коля смотрит старый журнал, постель не застелена, на столе остатки еды, коробка «Сорбита», ее я Лене от сахарной болезни у того главврача достал. Долго вы там, кричит Коля в подъезд. Оттуда только топот, сопенье. Когда мы в город выберемся, начинает психовать Коля. А что в городе, я себе представляю. Приморский бульвар. «Девушки, эти хлопцы мечтают быть вашими гидами», — предлагает гуляющим Василь. И таким мне это нудным показалось, и запущенные какие-то мы все, как эта постель с серыми простынями, хоть флакона «Шипра» каждому едва на месяц хватает.

Есть же мне куда уйти, тут вспомнил. И такая меня радость залила, как жар, голову, грудь. «Пока!» — говорю. Пришел домой, выкатил из сарайчика мотоцикл, тру тряпкой, а сам думаю, чего это я бегом от хлопцев к мотоциклу? Ведь ездил на нем, таком побитом, помятом, никогда желания не появлялось подновить, была бы скорость. И опять меня радостью, жаром окатило: для кого красоту наводишь, не знаешь?..

У меня соседка по коммуналке, бабка Дуня, Евдокия Ивановна. Вечером отмыл с рук солидол, прихожу в общую кухню пить чай, спрашиваю ее: как раньше сватались, ну, женились? А бабке девятый десяток, для нее раньше — не в прошлой пятилетке. Вот мы с ней в кухне, я чаевничаю, она гладит паровым утюгом, но без углей, ставит на газ этот паровик, потом бац на белье, пол трясется. Как, переспрашивает, и смотрит на меня с возмущением. Я николаевским утюгом выглажу — у меня белье, лежу в постели — доктора не стыдно! А ты электрическим погладил свою рубашку, посмотри, какая она у тебя. Вот как раньше и как теперь у вас. Евдокия Ивановна, объясняю, у меня рубашка нейлоновая, ее гладить не надо. А, не надо! Еще больше рассердилась. Вам все бы так: абы легче! И снова полупудовый паровик бабах на гладильную доску.

Так прошла неделя, две, три. Письма пишу и получаю через день, а то и ежедневно. Все уже о Тане знаю, и что в промтоварном работает, а

вовсе не в ателье, по этому поводу опять признала вину, сказала, мол, неправду, хотелось показаться лучше, но я действительно умею шить. Олюшке пошила платице, пальтишко, вот приедете к нам в гости, сами увидите. И себе я платье пошила, в котором на вокзале была.

По моей просьбе прислала карточки, свою и Олюшкину. На своей она снята год назад, после развода, грустная, убитая, вот-вот слезы брызнут. Ладно, думаю, скоро все переменится.

А я, пока мы письмами друг с другом обменивались, написал тому главврачу, раз, и еще для страховки пошел в платную поликлинику. Добился к доценту, там очереди, другие ждут неделю, а я в тот же день. Сначала, когда выяснилось, за сколько километров Ольга отсюда, доцент рассердилась, но раз пятерка уплачена, квитанцию я положил перед нею, должна была ответить. Лучше ли будет ребенку здесь, в нашем морском климате, вот что я спросил. А она ответила как, и это доцент! Перемена климата даже на более благоприятный, показанный при данном заболевании, может сказаться отрицательно. А ведь подмосковный климат здоровый. А наш что, не здоровый, я спрашиваю. К нам со всего Союза навалом едут. Плюс интуристы. Вы пойдите вечером на Приморский бульвар. А днем на пляж. Если не знаете. Тогда убедитесь. И ушел. А что еще говорить?

Тане я об этом написал, и свою личную точку зрения не скрыл: море и солнце никому повредить не могут. Хотите верьте мне, хотите — доценту. У меня, конечно, ученых званий нет.

Приходит ответ: мы с Олюшкой живем у отца на даче в лесничестве. Здесь очень хорошо, красота неопишуемая, есть даже пруд. Олюшка катается на пруду, ей лучше, приезжайте, здесь, правда, очень хорошо. И я, признаюсь вам, очень хотела бы, чтобы вы приехали.

Ночь не сплю, как в аврал, решаю, как быть, утром пишу заявление на отпуск, иду к руководителю группы, главному инженеру, директору. Всюду отказ — график есть график, а мне по графику осенью. Снова к директору — прошу за свой счет. Распсиховался: не даете, тогда увольняйте! Дал. Неделю.

Приезжаю в авиаагентство, билет вырываю зубами. На сегодня, через три часа. Покидал вещи в чемодан, в аэропорту отмечаю билет, радуюсь, жду посадки. Вдруг бац, объявление по радио: в связи со случаями острых желудочно-кишечных заболеваний в городе объявлен карантин, все рейсы отменяются. Пассажиры просят сдать билеты по месту их приобретения. Всем ясно или будут вопросы?

Возвращаюсь в город, а там только и слышно: холера, холера. А мне что до той холеры, думаю. Кто-то заболел, а я должен страдать? У меня отпуск за свой счет. Иду на вокзал, рассчитываю уехать поездом. Какое! Тысячные толпы. Отпускники, туристы. Дети плачут. Милиционеры с микрофонами устанавливают порядок. Ма-ма мия! Вот люди. Что им эта холера далась, что они тикают? На полях орошения какой-то дед дынь и огурцов объелся, говорят, на него от этого напал понос, и дед отдал концы, им-то что? Загорайте, купайтесь на пляже ради Бога, вам она нужна, эта холера? На перрон не пройти, забито, все составы стоят как привязанные, а в вагонах полно. Радио каждую минуту: граждане, освободите вагоны, поезда все равно никуда не пойдут, приезжим необходимо зарегистрироваться в исполкомах по месту их временного проживания.

Выбрался с этого, поехал на автовокзал. Там то же самое. Автобусы пустые, ни одного шофера, а вокруг народ. И тогда я стал что-то понимать.

Возвращаюсь домой, спрашиваю бабушку Дуню о холере. Что-о? Переспрашивает елеинным голосом. Холера? А потом как вывернется на меня, брешут люди, не повторяй! Нэма никакой холеры. Холера была в двадцать первом году, от голода, я в бараки на Слободку тогда к сестре ходила. А сейчас какой голод? Аптекаам надо план выполнять, вот твоя холера. Кабак!

Кабак — тыква по-украински, а у нас еще значит — дурной-дурной, ничего не соображает. Ладно, старухе скоро сто лет, я на нее обижаться

буду? Пошел в комнату, лег на кровать, смотрю в потолок, курю. Действительно кабак, ничего не могу придумать. Тут Васыля голос со двора: ты дома, кричит. Я зову его наверх, он взял стул, сел против кровати. Холера, спрашивает. Еще хуже, отвечает. А знаешь, чем от холеры лечиться надо, люди кругом говорят. И вытаскивает из портфеля, ставит на стол бутылку вина «Мицнэ». «Мицнэ» всегда было что? Самые ханьги с Привоза покупали, меньше рубля. Еще не достанешь, рассказывает Васыль, из рук рвут. От этого пошла внутри создается кислая среда, все вибрионы мрут. Ну что, газанем на пляж, предлагает Васыль. Как у тебя мотоцикл, на ходу? И тут меня с кровати как подбросит! Твои родичи где живут, я к Васылю. В Раздельной, на станции, час езды отсюда, отвечает Васыль. Московский там проходит, продолжаю расспрашивать. Пиши записку: мама, мой друг оставит у тебя мотоцикл, прими. Ты что, удивился Васыль. И стал меня успокаивать: брось, какая холера! А я: Вася, надо, говорю, есть дело. Открывай свою бутылку, проводишь. Мы выпили на дорогу, потом он спрашивает: прямо сейчас поедешь? А как же, еще один день терять!

Закрываю комнату, выходим с Васылем во двор, а Евдокия Ивановна сидит во дворе с кумушками. Я вывожу мотоцикл. До свиданья, бабка Дуня, кричу. А она так смотрит на меня укоризненно и головой качает. Кабак, мол, кабак, чего испугался.

До Раздельной ехать по шоссе. Дорога новая, скоростная. Я как нажал, за полчаса накрутил километров сорок пять. И тут смотрю, ГАИ не ГАИ, кто-то показывает: становись. Стал. Пропуск есть? Какой пропуск? И тут он мне объяснил. Вы что, говорит, статью захотели, вибрион распространять! Майор, два солдата с автоматами, на полосе встречного движения то же самое. А по обочине связисты катают катушку, тянут связь. Вот такое дело серьезное. Марш в город, мне майор. Живо! И смотрит в упор. Эх, думаю, был бы ты без формы, я бы тебе ка-ак врезал. Такая досада во мне. Понимаю, что человек не виноват, выполняет приказ, а ничего не могу с собой поделать, дрожу от нервов. Вот, оказывается, как я жаждал к Танечке побыстрее. Тут же я мотоцикл за рога, чтобы ничего такого с майором не натворить, и назад. Сначала от огорчения не соображаю ничего, еду, аж свищет, потом пришел в себя: куда, кабак, торопишься? И торможу у чайной в каком-то селе. Взял «Беломор». Ну, думаю, я тебе все равно покажу. Хоть убей, а не будет по-твоему. Выхожу, сажусь, все так медленно, спокойно. Это если со стороны смотреть, а что у меня внутри, я сам знаю, делаю разворот и снова туда же еду. Думаю, помню только: успели протянуть связь или нет. И вот уже скоро должен быть этот КПП. Сумерки. Вижу фары. Вот он, пункт. Стоят поперек шоссе два ЗИЛа. Между ними просвет от силы полторы тысячи миллиметров.

Дальше я об этом ничего не буду. Я лучше расскажу про другой случай со мной, пять лет назад. У меня тогда был мотоцикл «Ява». Я поехал на Ближние Мельницы, а они знаете какие, одни переулочки. И тоже, еду и психую по-страшному из-за своей бывшей жинки, послала она меня на эти Мельницы, а мне нужно было на футбол успеть. Влетел в переулок и вижу одно: медленно-медленно пересекает мне путь прицеп на здоровенных протекторах. Больше ничего не помню: как врезался колесом в резину, как меня забросило на прицеп. Мне доктор сказал, это называется провал памяти. Все помню. Когда увидел прицеп, успел подумать, вот сейчас, через миг, из-за жинки врежусь в борт, и конец мне навсегда. А как меня подбросило, вышибло из памяти, как не было.

Ясно, как я проскочил между ЗИЛаами? Тем же макарон, отключился. Но добровольно. А выписался после того случая из больницы — развелся с жинкой.

Вечером я был в Раздельной. Мотоцикл устроил в сарайчике у Васылевой матери, по соседству с козой, больше негде было, но коза привязана. Но одно мне мать его сказала: как вы с моим Васькой до сих пор холостые? Это на меня подействовало. Видно было, у женщины от души вырвалось. Я только и мог на это сказать: зато живые!

И вот проезжаю в столицу нашей Родины Москву. В вагоне полно солнца, музыка, настроение праздничное. Выхожу на перрон, а ее нет. А я из Раздельной отбил телеграмму, чтоб встречала. И тут подходит ко мне какая-то девушка, незнакомая. Вы к Тане приехали, спрашивает. Таня на смене в магазине, велела вас встретить. А у нас по воскресеньям промтоварные закрыты, удивляюсь. Как раз воскресенье было. А наша Таня в продуктовом работает, говорит эта девушка. В каком продуктовом, она же в промтоварном работает, я говорю. В каком промтоварном, выпучила на меня глаза девушка, сроду она там не работала. В продуктовом она. Идемте!

Сели в электричку. Вот Таня, опять обманула. Но я тогда подумал: а что я от этого теряю? Она же ради меня прикрашивает. А тут новые впечатления, ожидание встречи, потом Люся, это Танина сестра, со мной в электричке, надо поддерживать разговор. Приехали в их город, идем по улице, я спрашиваю, где гостиница. Ой, да вы что, даже остановилась Люся, Таня велела вас домой привести. Но я так рассудил: Таня что, дом родительский, получится, вроде напрашиваюсь. Нет, сначала в гостиницу. Я оформляю документы, а Люся переживает: заругает меня Татьяна, вы ее не знаете. Побегу предупрежу, а вы никуда не уходите, ладно?

Только умылся, дежурная стучит в комнату: вас вызывают. Спустился в вестибюль, вижу, Люся и две женщины, такие солидные, полные. Что вы нами как будто брезгуете, даже обидно, это одна из них басом ко мне. Громко, на весь вестибюль. Меня зовут Мария Федоровна, я Танина мать. А это ее тетка. И подает руку, а рука, сразу видно, женщина трудовая. Повезло, подумал, к своим попал. Пожалуйста к нам, она продолжает. Тогда я пошел.

Теперь несколько слов о моих шмутках, и как мне один чудак деньги предлагал. Но я предупреждал, буду рассказывать, как в школе учителю, что раньше придет в голову. Чтоб не было претензий.

Значит, так. Я выехал в костюме, да? Когда пришли к Тане домой, я пиджак снял, повесил на стул. Приходит время встречать Таню из магазина, надеваю пиджак. Что такое, он горячий! А это Люся его отугюжила, пока мы с Марией Федоровной и теткой из Москвы чай пили. Чего благодарить ее, еще напустилась на Люсю Мария Федоровна. Девка в ателье работает, а своим в мятом ходить? Я незаметно на свои брюки зырк-зырк: а они тоже мятые и еще пятна от «Ижака». А костюм почти новый надел в дорогу, он еще Тане на вокзале понравился. И это на мое настроение повлияло. А потом решил: он последний? Еще три куплю, если захочу.

И какая еще перемена во мне произошла? Я уловил, Мария Федоровна сказала «своим», когда насчет пиджака моего шел разговор, а это намекал на меня. И сразу почувствовал себя легче. Все равно как экзамен сдал, положил зачетку в карман. Встаю из-за стола. Таню, говорю, пойду встречу. Где ее магазин? Беру Олю, а она ко мне, как я вошел, сразу потянулась, и выхожу, и вижу, мамаша и тетка, такие довольные, переглядываются.

Приходим с Ольгой в магазин, смотрю, Таня в белом колпаке в кондитерском отделе. Сразу нас увидела. Можно, кричит кому-то через торговый зал, я сегодня раньше уйду? Мы с Ольгой подходим к ней, все продавщицы на нас смотрят, покупателей мало, Таня вся красная стоит, счастливая такая. Приехали, тихонько говорит мне через стойку, сейчас домой пойдем, я быстро. А я выбиваю чек на кило «Мишек на Севере». Ой, зачем это, огорчилась Таня, не надо было. Я всегда могу принести. Пospешила в винный отдел, завернула бутылку в бумагу. И мы идем втроем через весь город домой. Оля у меня на руках, Таня тоже держится об руку и иногда головой к моему плечу прижмется. Идем, молчим, неловко, одна Ольга за нас двоих выступает. Если б у нас с ней и в дальнейшем так, то ничего, можно было бы жить, решаю.

А дома нас уже народу ждет! Отец Танин приехал из лесничества. Заросший как партизан. Веселый дядька. Куда «Правду» сегодняшнюю подавали, кричит, мы с Георгием Анисимовичем не читали еще!

Познакомили меня с младшими — Валею, Лариской, это школьницы. А старшие Альбина и Яков. А Александр наш служит, вот карточку, как присягу принял, прислал, посмотрите. А как же, сказала Мария Федоровна, семья должна быть семьей. Вот у нее, на Альбину показывает, один Федька, это семья? И с тем не справится, целый день мальчишка у меня. Была б я здорова, ты б моего Федьку не видела даже, отвечает Альбина. А ее покупатель ударил бутылкой по голове, не хотела ему вина отпустить, объяснила Таня, с тех пор на инвалидности. Так раньше, Мария, мужья были как мужья, говорит московская тетка, можно было детей иметь. Ага, ей Мария Федоровна, как твой первый, завел на фронте полевую походную жену и аттестат перестал высылать. Значит, полюбил, отвечает московская тетка. А ты с мальчишками голодай, не успокаивается Мария Федоровна. А меня другой полюбил, смеется московская тетка. С мальчишками! Нет уж, со своим надо ладить, отмахивается Мария Федоровна, а не как Татьяна: фыр-фыр, хватает Ольгу и домой. Ой, хорошо тебе рассуждать, кричит, просто кричит Таня, потому что было не с тобой! И слезы блестят. А терпи, ничуть не смягчается Мария Федоровна, сама выбрала. А теперь вот сиди со своей Ольгой. И ко мне: вы не обижайтесь, это у нас между собой разговор. А я взял, само получилось, Танину руку, а она только посмотрела, кто это, и вдруг как сожмет, аж пальцы слиплись.

А Ольга с девчонками носятся по комнате, каждый раз подбегает к радиоле, меняет пластинку. Прямо так: выдернет живую из-под иглы и другую сует. Смех. Дочка, кричит Таня, давай с тобой танцевать будем! Ольгу на руки и давай кружиться, потом плюх на диван. Не могу, ножки у мамочки болят после смены. Лариска, возьми Ольгу, потанцуй с ней.

Довольно вам, «потанцуй», вдруг откладывает газету Алексей Павлович, пора за стол. Мать, где моя лечебная? Валя, Лариска, отпустите Ольгу, накрывайте на стол, командует Мария Федоровна. Садитесь, Георгий Анисимович, мне чуть не хором, вот здесь. Таня, чего валяешься на диване, приглашай за стол, ухаживай, твой гость.

Посадили меня на лучшем месте, по левую руку Таня, выпили, а Мария Федоровна вдруг говорит Тане, чего за своим гостем не ухаживаешь, смотри, у него тарелка пустая. А я откуда знаю, что он хочет, пусть сам берет. Правда? Это мне. За столом тихо, все едят, каждое слово слышно. А Таня как ни в чем не бывало головой прислоняется к моему плечу. И мне еще положите картошечки, да? В общем, так подъезжает, чтоб не она мне, а я ей и наливал и спрашивал, что ей хочется. За мороженым сбегал, захотелось. Даже Мария Федоровна возмутилась: что это ты, сидим так хорошо, какое тебе мороженое! То была такая беспрекословная, а тут на глазах переменялась. Или она хотела своим показать, кто будет первым.

А я подумал. Смех — не смех, а дело серьезное. Привыкнет, поздно будет переучивать. Встаю из-за стола. Все всполошились: гость встал. Георгий Анисимович, может, чего подать, сидите, что это вы, куда от нас, со всех сторон. А я: ничего, ничего, успокаиваю. Люся, можно вас на минутку? Вышел в коридор, Люся за мной. Скажите, пожалуйста, сестре, чтоб она это самое, ну, вы понимаете. А что такое, испуганно Люся, я ничего не замечала. Может, и не замечали, говорю, но прошу передать наш разговор ей, ладно? Вот так. Вежливо, но твердо. Хорошо, я скажу, обязательно, торопливо соглашается Люся, такая расстроенная. Дошло, что ее сестричка с места включила третью скорость.

Посидели еще, потом стали играть в карты, Валя и Лариска убирают со стола, вдруг Таня и Люся исчезли, потом смотрю, Таня вбегает в комнату, бабах на диван, головой в подушку, и прямо истерика с ней.

Не обращайтесь внимание, это мне Алексей Павлович, переберется. А ну прекрати, ремня захотела! А Люся, Мария Федоровна уже спешат к ней с водой. Вдруг Таня подымает голову, вся заплаканная, и как улыбнется мне. Виновато. И тогда не знаю сам, как я рядом с ней на диване оказался. Олюшка, иди сюда, позвала Таня, посиди с нами.

Разглядываем мы втроем семейный альбом, Ольга посредине, постепенно в комнате пустеет, гости кто куда, Мария Федоровна приходит забрать Ольгу спать, а та ни в какую. Останешься с дядей Жорой и мамочкой, спрашивает Мария Федоровна. А бабушка без тебя не уснет. А я с тобой не буду больше спать, говорит Ольга, буду с мамочкой и дядей Жорой. Те хохотать, очень довольные. В общем, бьют клин. А мне что, пускай. Таня сладко-сладко потягивается. А мне завтра на смену не надо, взяла отгул на два дня. Мама, ты на завтрак нам приготовь чего-нибудь вкусненького, картошечки, что ли, мы одиннадцатичасовой электричкой в Москву, да? Меня спрашивает. А отец в лесничестве, говорил, будет ждать, даже огорчилась Мария Федоровна. Ну его, лесничество! Приготовь завтрак, бери Ольгу и езжай с ней в лесничество сама. А мы на другой день приедем, да? Опять со мной советуется. Георгию Анисимовичу по Москве походить хочется! Ольга, ты спать пойдешь или нет, сердито прикрикнула Таня, и вдруг Ольгу подхватила и такое подняла с ней, визг, хохот, что Мария Федоровна всполошилась: Таня, Ольга, вы что, с ума посходили, соседей перебудите! Сказать правду? Я Таню с Ольгой в охапку, и пошло веселье. Кружимся, радиолка гремит. Люся пришла с гулянья, стала в дверях, на нас смотрит. Давно в коридоре выговаривал, наверное, подумала обо мне. А меня как будто что-то отпустило, так весело, так хорошо. Ни о чем не думаешь, что с тобой в эту минуту, в том и весь ты.

И тут Мария Федоровна вдруг говорит, чего вам в гостиницу в такую поздноту идти, я лучше вам на диване постелю. И Люся тоже мимоходом, когда уходила: правда, зачем? А Таня смотрит в сторону, и глаза у нее какие-то стеклянные стали. Как будто подарка ждет обещанного, боится, что не отдадут. Ладно, соглашаюсь, стелите.

Даже не знаю, до скольки мы сидели на постеленном диване, Ольга с нами, тараторила-тараторила, а потом вдруг голову мне в колени уткнула, и молчок. Таня отнесла ее к бабушке, сама плюх на диван и удобно калачиком свернулась. Садитесь поближе, чего вы на краешке? А я как на иголках: а если Танино кодро со мной что задумало? Может, они сейчас за дверью притаились, только мы с Таней что начнем, ввалятся. Еще с дружкой из милиции для протокола. Мне хлопцы говорили, были случаи. Решительно поднимаюсь. Надо возвращаться в гостиницу, говорю. А у нее вырвалось: так вы ж обещали! Ой, ну никому нельзя верить. И что-то еще пробормотала, вроде бы все аферисты. Замолкла, заплакала, мне послышалось, увидеть-то ничего нельзя толком, темно, желтеет грибок-торшер в конце комнаты, и все.

Снимаю пиджак, ложусь рядом с Таней, присматриваюсь: улыбается, а глаза мокрые, плакала. Мне ее жалко стало, и я говорю: Таня. Нет, отвечает, вот распишемся, тогда. И голос неприятный. Ладно, соглашаюсь, завтра подадим заявление. Как подадим — тогда, твердит. Я с другой стороны захою: я тебя так до утра буду уговаривать? Нет, говорит, я сейчас уйду. И не уходит.

И тут слышу вроде шаги в коридоре. Как ветром меня сдуло. Не успел сообразить, что делаю, а уже на ногах и пиджак на мне. Ой, не уходите, спохватывается Таня, ну посидите еще немного! Хитрая. Открываю из комнаты дверь, а Таня как вцепится в меня и одно твердит: ну, останьтесь, ну, не уходите. Посидите со мной просто так. Очень прошу вас.

Минут двадцать, не соврать, стоим у дверей. И так она просила остаться, так просила. И не как-то, а за рукав держит! А мне от этого еще больше не по себе. Вырвался.

Иду по улице, обстановка другая, на душе легко. Рад, на луну смотрю, ветерок свежий ночной на лице, верхушки тополей, замечаю, с одной стороны светлые, как алюминиевое литье.

Открывает мне дверь дежурная по гостинице, демонстративно переводит взгляд на часы напротив входа, для опоздавших они их повесили, что ли, а там полтретьего. Настроение у меня — вот! Дал ей рубчик. Она даже рот раскрыла, так удивилась.

Утром проснулся, пошел в кафе, позавтракал. Иду по городу, смотрю. Солнце, хорошая погода. Все хорошо, одно только: если б можно было не идти к Тане. Познакомился бы с городом, а потом в Москву бы махнул, она рядом. Поехал бы в Химки, там шлюзы посмотреть. В общем, куда хочу. И замечаю, девушки мне улыбаются. Чего я запаниковал с женой? Как будто мне завтра на пенсию.

Пошел к Тане, ноги чуть не волоча, так не хотелось. Хоть попрощаюсь, думаю. Позвонил. Слышу, кто-то топчет со всех ног дверь открыт. Лариска. Входите, входите! Таня перед зеркалом, шкаф открыт, вещей накинута вся комната, на диване, на столе, на стульях. Даже на полу лоскуты, ленты. Увидела меня, и такая радость. Ну что так долго, негромко. И опять голову на миг к моему плечу прислонила. Мама, кричит во все горло, давай завтракать, пришел! Как будто ничего вчера не было.

Лариска, Валя вертятся вокруг нее, приказы выполняют, это подай, то забери. Вдруг крик: Таня, это мое! Нет, мое! Ольга откуда-то прибежала, за ней Мария Федоровна с чашкой: Ольга, а молоко? А та напрямик к радиоле, бросила звукосниматель на пластинку, запрыгала посреди комнаты в валеночках, танцует.

Таня на нее: ты мне здесь будешь долго мешать? Чем она тебе мешает, говорю. Лучше бы одевалась поскорей, электричку пропустим. А заявление, уставилась на меня Таня. Какое заявление? Как какое заявление, уже почти плачет. А в загс? Вдруг бежит к дивану, тряпки всякие с нее сыплются, бабах головой в подушку. Мама, он уже не хочет! Ой, аферист, кричит, ой, сердце заболело!

Музыка гремит, эта на диване бьется, Ольга пляшет. Ну, что опять такое, появляется Мария Федоровна, что вы не поделили? На, выпей, сует Тане стакан. Не пойму я вас что-то, к нам обоим обращается Мария Федоровна, договорились, так чего время терять, а нет, незачем кричать, это уже к Тане, не хочет человек, не проси. И голос явно недовольный мною.

Да, обиженно отзывается Таня в подушку, сам вечером сказал: завтра. Ну, сказал, соглашаюсь. А только что ты что мне сказал, набрасывается на меня Таня. Ну, что я сказал, спрашиваю. А какое заявление, кто сказал? Ну и что, какое заявление. Ой, все равно, ты не хочешь, безнадежно откликнулась. Мама, что ты мне дала, я тебя чай просила? Валидол подай! И снова уткнулась в подушку.

Сижу, молчим, даже Ольга притихла, присматривается к Тане. А девочки как ни в чем ни бывало ковыряются в шкафу.

Поди сюда, неожиданно говорит Таня. И хлопает рукой по дивану рядом с собой: садись. Мою руку забрала и лицо от слез вытирает ею. А лицо у нее горячее-горячее и шершавое, как бархатка-наждак.

Мария Федоровна, похоже, встревожилась, то такой шум, а потом ни звука из комнаты не доносится. Почти вбежала и прямо рассердилась: завтракать-то будете, что ли? Ничего у тебя, Таня, не поймешь. Какая-то бестолковая. Да, объясняет Таня, если мне нервы треплют. И так из магазина придешь вся больная, а тут еще дома. Не хочу уже никакого заявления. Но голос такой, слышу, вот-вот рассмеется. И тут она отбрасывает мою руку и как расхохочется.

И у меня настроение исправилось. Мы с Ольгой едем в Москву, объявляю, игрушки покупать. Бабахнул первое, что пришло в голову. Да ты что, вылупила на меня глаза Таня, простудить ее в электричке хочешь? Там знаешь, какие сквозняки! А ты как возила, спрашиваю. Так то я. Вот и езжай с нами, кто запрещает. Мама, мы поедем, а, встрепенулась Таня. А Мария Федоровна слушает наш разговор, молчит, и вижу, так замученно, как у нас говорят, улыбается чему-то про себя. Может, что уже в летах, никто никуда не зовет. Что ж, отвечает со вздохом, хочешь ехать, езжай.

А Таня уже у зеркала, Валю, Лариску растолкала, пропустите, командует старшая сестра. Мы с Ольгой гуляем на улице перед окнами, гуляем, а эта все не нарядится. Наконец выходит к нам, и что на ней? Одно платье. И это битый час!

Ой, она удивилась, это я еще быстро, знала, что ты сердисься. Побежали, вон автобус до вокзала. И мы поехали. Я вообще в Москве был первый раз, еще когда на действительной. Нас везли через столицу и дали увольнительную на ознакомление. Что мы тогда увидели? Первым делом на Красную площадь, но мавзолеей был на ремонте, не повезло, но напротив в ГУМе я зажигалку купил, еще высотное здание посмотрели на какой-то площади. И Третьяковку — один среди нас был, уговорил. И все. Но впечатлений вот так, по горло.

И вот снова еду в Москву, уже с семьей. Заняли всю скамейку в электричке. Покупаю у разносчика в вагоне конфеты — беру три. Каждая вот такая. В кукольный театр пошли, тоже три билета. А еще Детский мир предстоит. Щупаю в кармане деньги, сколько осталось. Я когда к Тане шел, не думал о подарке. В кармане было карбованцев двадцать пять, и ладно. А подарок надо купить, чтоб это был подарок. Не цветной карандаш. А мне родной дядька принес на праздник цветной карандаш. Не новый, зато толстый. Дядька, правда, пенсионер, инвалид, а время после войны, не ахти, но подарок его я запомнил. И начинаю волноваться. Ругаю себя: без полтинника не выходи!

Приехали в Детский мир. Говори, какая тебе кукла нравится, я Ольге. Она подбегает к стойке: вот эта! Самая здоровая. Меня в жар. Ну, влип, считаю. С ходу продавщице: выписывайте чек. Смотрю, не то 16, не то 46 пишет, то ли хвостик с загогулиной у единицы, то ли четверка недорисованная. Не выдержал: вы что, не можете чек толком нарисовать, продавщице. Самый настоящий стресс с таким обслуживанием, одни нервы. А та говорит: тут ясно написано — шестнадцать. Вот это подарок! Спасибо, девушка, и бегу в кассу. А тут Таня, может, платье, так неуверенно говорит, у нее этих кукол навалом. А я думаю — опять переживать? С меня хватит. Раз купили, значит все, говорю. А в вагоне и Тане понравилась кукла, не хуже Ольги с ней забавлялась.

Ну, и еще в том же Детском мире мы кафе посетили. И так хорошо неожиданно посидели. Столик у окна, мы с Ольгой сидим, Таня на подносе все тащит. За окном машин — стада! Памятник Дзержинскому. Прохожие, газетный киоск, лотошники. Сидишь, как в кино.

Пойдемте в Третьяковку, вдруг говорю. А почему захотелось, не знаю. В тот раз, солдатом, курил на улице, пока остальные досматривали. Куда, удивилась Таня, уже поздно. Поздно так поздно. А приехали домой, вообще уже темно. Ба-аб, кричит Ольга, смотри, кукла! Мария Федоровна восхищается, ой, какая у тебя кукла, шестнадцать рэ, с гордостью говорит Таня.

А мне еще веселее после таких слов. Оценили. Пошли, к Тане обращаюсь, погуляем? Пошли, вся засияла. Идем туда, где музыка играет. Вдруг Таня вперед выходит. Посмотри, просит, правду Толя говорил, у меня ноги кривые? Может, у него самого кривые, отвечаю. Тогда она с облегчением снова взяла меня об руку. Дурачок настоящий, с насмешкой о своем первом муже. И ко мне: правда?

Идем дальше, вижу танцплощадка. Часто сюда бегала? Что ты, удивилась. К кому тут бегать? Одна неполная средняя. А на площадке и вокруг толпа, увидишь разве, кто неполная средняя, кто полная. Поверил. А на встрече нам по аллее Танины знакомые девчонки, все с мужьями. А где эти взяли, спрашиваю, спутников жизни, если у вас дефицит? А у нас же, в нашей школе. Ну и как, хорошо живут? Только и знают из загса в суд бегать: или заявление на брак отбирают, или на развод подают. Да какие это мужья, подумай. Хорошо, если переэкзаменовки нет. А воинских частей у вас тут много, напоминаю. Так солдатик что, отвечает. Ему восемнадцать. Девятнадцать уже редкость, чтоб свободный был, уже застолбили. Да и радости от него! Когда еще увольнение дадут, жди. А офицеры, они, думаешь, лучше? Эти вообще: жену имеет и еще на танцы зовет. А если что не понравится ему, еще и даст, будешь помнить. Правда. Аллка из моего магазина, кассирша, заметил? Ты у нее чек выбивал. Хорошенькая.

У нее мальчишечка на полгода моложе моей Ольги. Ну и вот. Заходит этот капитан к ней в комнату и бац ее по щеке. За то, что на свидание не пришла. Правда. Только за это. А солдатик сидит ни жив, ни мертв. А солдатик откуда взялся, спрашиваю. А он с ней встречался, обещал жениться. Письмо написал матери в деревню, что приедет с невесткой. Аллка в магазин приносила, показывала. Ну и что? Демобилизовался, и уже четыре месяца, даже больше, ни слова. А она взяла и написала: еду к тебе. Нарочно, чтобы проверить. Это я ей посоветовала, мы вместе черновики писали. Все равно без толку, даже вздохнула Таня. Он уже давно расписался, небось, мамаша подыскала. Уверена. А чего осуждать, кому нужна с ребенком? А красивая. Придешь в магазин, обрати внимание. Лучше тебя? Лучше, не сравнить. Ноги у нее прямые, и вот видишь у меня на щеке, бородавка это или что, так надоела! А капитан тоже знаешь какой грубиян. Пристанет, сил нет. А не соглашаешься, остановит машину на полдороге в военгородок: вылезай. А куда вылезешь, когда дождь хлещет, дорога вся в мазуте, откуда-то взялся, а ты в туфельках замшевых, ни разу не надеванных, шестьдесят семь рэ им цена. И терпишь.

А меня толкает с кем-то из здешних завестись. Такие они какие-то, не похожи на наших. Пошли на танцплощадку, поворачиваю. А она или догадалась или что другое, ой, не хочется, жметя. Я, наоборот, идем, зову, а Таня уперлась, нет, и все. А тут навстречу Альбина с мужем, Володей. Таня обрадовалась, давайте вместе гулять! И мы уже до самого конца остались с ними. Альбине все время кажется, что Володя ее бросит. Я ему сама говорю: зачем я тебе, инвалид, даже постирать не могу, все матери отношу, мы себе с Федором одни жить будем. Слова, отмахивается Володя. Или на Тане женись, продолжает Альбина, а я себе Георгия Анисимовича возьму, правда? И меня об руку хватает, смеется. Надо будет, у тебя разрешения не спросим, говорит Володя. Такой разговор, весело проводим время. Они нас к себе позвали. Таня чего-то стала выступать: поздно, лучше завтра в лесничество приезжайте, и мы приедем, Федора с Ольгой в пруду покатаем. А тут Володя: я завтра работаю. Какая работа, напустилась на него Альбина, у тебя же за субботу отгул. Такая, отвечает Володя, осень придет, надо деньги на кооператив выложить, что мы дадим? А мне и в старой квартире хорошо, отвечает Альбина, там если грибной суп в печи сварить, так это суп, правда, Таня?

Ой, хочу суп, загорелась Таня. А у меня есть, обрадовалась Альбина. Пошли к вам, Таня предлагает. И впереди всех побежала.

А заработать у вас как, дают, я поинтересовался. Какой начальник, говорит Володя. А я вспомнил случай. Я у того главврача когда холодильную установку налаживал, он мне говорит: я тебе дам полставки дворника, перебеги распределительный щит.

Я открыл щит, а он весь черный. И все на соплях. Он у них горел не один раз. Но я взялся. Потом я уже забыл про этот щит, мы с напарником гоним монтаж, прибегают санитарка, говорит, ревизор хочет с дворником познакомиться. Не иди, говорит мой напарник, оно тебе надо, этот ревизор? Тогда ревизор сам приходит. Как же так, спрашивает, вы наладчик такой высокой квалификации, и вдруг по ведомости дворник. Внесите, пожалуйста, ясность.

А я смотрю на напарника, он хохочет, мол, дворника поймали. Это, считай, все управление будет реготать до самой прогрессивки. Тогда забудется. Что мне терять, решил, мы на своей земле.

Вот когда щит такой соберете, говорю ревизору, тогда станет ясно. А щит тут же на стене. Что ясно, он мне. Показать? Скидаю свои мокасы, становлюсь босиком на железный пол. Какое вам помещение врубить? Даже напарник глаза вытаращил. Тебе жить не надо? Спокойно, я ему, я за свою работу отвечаю. И к ревизору: ну, что включить? Рентгенкабинет, операционную? Так вы ж работали сколько, ну, день, ревизор говорит. А хоть полчаса, отвечаю, я свой труд так ценю. Писанину, говорю, я тоже смогу, а что умею я, вам не под силу. Он тогда: значит, дворник это липа?

А мне смешно. Я вашу бухгалтерию имел в виду, сказал ему. Я трудился? Трудился. И будь здоров. И все потом по нарядам получил.

А другой раз у меня с нашим инженером было, я еще вспомнил. Он с директором заелся, стал на него писать. Директора комиссия проверяет, приходит время нам прогрессивку получать, а выписано все равно что ничего. Страхуется начальство. Хлопцы злые ходят, если так будет, говорят, разбежимся. Кому это надо, на голом тарифе.

Потом на собрании этот инженер-экономист выступает, Бойко фамилия, вы, мол, незавершенные объекты в отчет вносите. Ему доказывают прямо не знаю как и парторг, и главный инженер, и мастера. Ну все! А он ни в какую. А я сказал: мы на собрании будем сидеть или план выполнять? Мне, например, утром быть на объекте, надо еще к поезду собраться, когда я успею? Весь коллектив — брито, один — стрижено. И битых три часа доказываем, потому что демократия. А у нас в отделении было так, я армию вспоминал, все с ужина идут, поют, а один никак, и еще доказывает, горло болит. Если б не доказывал, еще ничего, а он настаивает. Старшина тогда: один будешь петь, а мы слушать. А приказ не обсуждается. И пел. А у нас, говорю, коллектив план вытягивает, а один, сильно интеллигентный, строчит. А наоборот, пусть к объекту станет. И записать в протокол предлагаю: перевести на объект со сдельной оплатой. Хлопцы как зарежуют, этот Бойко гвоздь в своем стуле заколотить как следует не может, всегда брюки рваные. Закончил выступление, спрашиваю, можно идти к поезду собираться? И тут собрание как загремит: отпустить! Все за меня.

Я к выходу иду, слышу, директор говорит, можно, мол, понять возмущение рядового труженика, но поправить его относительно мер воздействия надо. Ведь мы располагаем законными средствами обуздания клеветников. По голосу слышу, моим предложением доволен, а для виду какой он правильный показывает. А я решил: мне твоя дипломатия ни к чему, я как подумал, так и врезал. А надо будет, и тебе врежу!

Ну, правда, говорит Володя и чему-то улыбается. Невзирая на лица. Только тут же надо на увольнение подавать. Вообще, хорошо посидели. А грибов я тогда первый раз в жизни ел столько, и суп грибной, а потом блюдо грибного паштета Альбина на стол выставила. А у нас редкость. Возвращаемся обратно, а навстречу Люся, не одна. Домой-то скоро думаешь, спрашивает Таня. Как же, старшая. Мы не задержим, отвечает парень. А идут в другую сторону. Дальше идем, вон Якова окна, показывает на большой дом Таня. Ну, у вас кодро, говорю, куда ни пойдешь, наткнешься. Это еще не все, хвастает Таня, вот завтра дядя Коля и тетя Тоня своего Кольку в армию провожают, там увидишь, они нас пригласили. Пойдем завтра? А я вдруг выпалил, вырвалось: мы с тобой когда-нибудь одни, без посторонних, встретиться можем или только по гостям мотаться будем? Вообще-то можем, задумалась Таня. В Алабино можем, там у Лены квартира пустая, она на три года на Север завербовалась. Что за Лена? Сестра, делает большие глаза Таня, а ты не знал? Когда пойдем, задаю вопрос. А Таня плечами пожимает: ага, думаешь, у мамы ключи взять легко, они у нее на комодке, на самом видном месте лежат. А ты другие положи, похожие. Ой, правда, засияла. И снова на миг голову к моему плечу прислонила. Вон видишь, скамейка, показывает на кусты. Сидели не знаю сколько. И опять она мне начала нравиться.

На другой день я из гостиницы пораньше к ней. А она еще в кровати. Манит меня пальцем. Наклонись, что скажу, велит. И на ухо: Жора, съезди, пожалуйста, в лесничество за картошкой, а то мама меня шлет. Только скажи, сам вызвался. А мне что? Пока она встанет, пока перед зеркалом, почему не поехать?

Мария Федоровна, иду в кухню, дайте во что взять, картошку привезу. Даже расстроилась, вмиг смекнула. Таня, ты что семью нашу позоришь, из кухни, за две комнаты начинает ей выговаривать. И в спальню вперевалку зашпешила. У нас, слышу оттуда, такого не было, чтоб мужчина, к тому же гость, по хозяйству. Да какой он гость, перебивает Таня, какой гость,

Георгий Анисимович женится на мне. Голос с улыбкой, мол, уже готов. Едва сдержался, а то бы крикнул: подожди ощипывать, еще не пойман! Думаю, стерплю, сначала в Алабино. И ни слова не сказал. Привез картошки. Таня еще в кровати. За месяц, говорит, отоспалась, потягивается. Ты посиди возле, а я еще полчаса, ладно? Пока мама картошечки изжарит. Через минуту смотрю, уже спит. Не уважает.

Ради кого сюда приехал, опять мысли. Да у меня дома таких навалом. Та же Надя хотя бы. Она от меня почему ушла? Она в общежитии жила, говорила, что обстановку общежития не переносит: то у нее уют горячий из-под рук унесут, то кто-то в ее платье на танцы побежит. Мечтала вырваться в свой угол.

А я, дурак, послушал Васыля. Приведешь, мол, ее домой, она останется ради жилплощади. А не ради тебя. Хочешь проверить, говори, что у тебя ничего нет. Тогда безошибочно. И Леня тоже набросился: ты дурной, рисковать квартирой? И я закрыл собственную квартиру, нашел комнату на Юго-Западе, вот, говорю Наде, где я снимаю площадь. А хозяйка моя работала в студенческой столовой, сутки там, трое дома, и как только Надя приедет, стучится поговорить, скучает. Не было изоляции. Но главное — на Надю действовало, что хозяйка продавала соседям продукты из столовой. Я твою хозяйку видеть не могу, чем хвастает, какой хороший сливовый сок принесла. Не сердись, рыбу тебе недожарила, не могла вынести ее присутствия. Даже соль тащит! Тебе это надо, я Надю успокаиваю. Она у тебя этот сок унесла? А Надя свое: замолчи, здесь в сто раз хуже, чем в общежитии, те просто не воспитаны, а сюда мне ходить — что нож острый.

Утром проснется успокоенная. Приедешь, говорю, после смены? Приеду. И не приезжает, и вот ждешь ее, думаешь, вернется, все про квартиру расскажу. Посажу в такси, привезу домой, на Приморскую. А увидимся, чувствую: ну как признаться, что столько времени дурил человека? И молчу.

В смысле материальном вообще ее с Таней нельзя сравнить. Тут я рублей полста уже бухнул, не считая дороги. И это за три дня. А с Надей возьмешь на ужин что в соседнем магазине найдется, вина она не пила, дашь с собой в общежитие сто граммов семечковой халвы, она обожала, и все. Еще ручкой помашет из трамвая. Довольная. Один всего раз повел я ее в ресторан. Заказал «цыплят-табака». И то она оправдывалась, мол, не думай, мне этого не надо.

Сижу я на стуле, сижу, вспоминаю. Но только к двери, Таня, не открывая глаз: куда? Пойду хоть с Ольгой поиграюсь, прошу. Сиди, велит. Ты что не слушаешь меня? А я решил, не буду связываться. Вот поедем в Алабино. Разглядываю комнату от скуки, а в ней комод со всякой косметикой, лентами, клочок волос на комод, наверное Люсиных, Танины потемнее, выключатель вылез из стенки, висит на проводе, надо бы алебастром прихватить, в углу на стене пузырится одежда, а под ней обуви детской, всех размеров! Прямо никак поспать не дашь, скрипишь стулом, вдруг говорит Таня со злостью и как закричит: чего на халат уселся? А халат на спинке стула висит. Ну где я уселся? Ты думаешь, что говоришь? Тогда она другим тоном, с улыбкой: ну, что вскочил? Подай халат. Села на кровать, кое-как халат запихивает на себе, я к ней, а она брови хмурит, удивлена: что ты, как можно! Сел, курю и только одно в голове, вот приедем в Алабино, подожди, я тебе эту дразнилку припомню.

Только к вечеру выбрались на проводы. Пока московская тетка приехала, Лариска пока костюм отгладила Алексею Павловичу, Таня со щипцами для волос по комнатам носится. Тут Альбина с Володей приходят: готовы? Потом Яков с женой, не помню, как ее звать. Вышли мы, чуть не всю улицу заняли.

Пришли. Таня меня предупреждает: Витек и Яков напоить тебя хотят, я слышала, как они сговаривались, жениха, мол, свалим. Меня, переспрашиваю. Они? И стало смешно. Учту, пообещал. И к этим: наливайте себе и

мне. Налили? Теперь. Что вы выпьете вдвоем, то я один. Идет? Они переглянулись, согласны. И мы поехали. Ну вот, говорит Таня, теперь весь вечер одной пропадать. Пожалел. Танечка, вот увидишь, успокаиваю ее. Ладно, она отвечает, уже не надо.

Сидели, сидели, потом вывалились на лестницу покурить, квартира маленькая, гости еще площадку лестничную заняли, и еще на лестнице вдоль перил стоят, один выше другого. Я стою с хлопцами, тут Лариска ко мне проталкивается. Дядя Жора, а где Таня? Мама спрашивает. А я откуда знаю, отвечаю, я как вылез из-за стола, с Витьком и Яковом стою, скажи маме, у них тоже мотоциклы, мы обсуждаем. Потом, не знаю сколько времени прошло, вдруг Яков и Витек навверх усталились, на лестницу на чердак, потому что мы на площадке пятого, последнего этажа стояли. А оттуда, с чердака, Мария Федоровна спускается и перед собой Таню гонит, обе красные, сердитые. Вдруг Мария Федоровна трах дочь по щеке, я даже не поверил, подумал, она шутит или что, хватает Таню за руку и вталкивает в квартиру. Через сколько времени опять ко мне Лариска: дядя Жора, вас мама зовет. Сейчас, говорю. Сейчас он придет, поддерживают меня хлопцы.

А потом случайно поднял голову, вижу, сверху, с чердака, откуда Мария Федоровна Таню увела, спускается такой фраеристый парень, патлатый, он за столом против нас сидел. Таня мне сказала, он такой шалопаи, его Виленом зовут, в оркестре на танцах играет. У нас тут все девчонки по нему мрут, а он женатый. Тут меня кто-то за руку, смотрю, сама Мария Федоровна, и с таким выговором мне: вы зачем же Таню одну оставляете, ведь вместе пришли, нехорошо. А мне приятно, вот как я нужен. Позарез. Но Витек и Яков меня не отпускают, ладно, мол, мать, мы скоро тебе его вернем. И мне подмаргивают, а я и так знаю, отчего у них пиджаки пузываются. Ага, скоро, тоже говорю. А Мария Федоровна на них: будет вам! Те смолкли как по команде.

Забрала меня от хлопцев и к Тани привела. А та сидит как ни в чем не бывало за столом, песни поет. Так обрадовалась мне. И тут же говорит: пойдем со мной на улицу, там веселей. Давай я тебя об руку возьму, а то сам не спустишься, с лестницы-то. К двери идем, а тут перед нами Мария Федоровна. А Таня ей с обидой: мама, но если Жоре погулять захотелось! Он сам попросил. Мы скоро. Ага, мама, говорю тоже, пара минут. А Мария Федоровна на меня так посмотрела внимательно. Ну что ж, сам захотел. И пропустила.

А внизу у подъезда гости пляшут, аккордеон играет, толпа. А вообще уже ночь. Таня куда-то делась. Я стою, стою, тоже хлопаю, а потом вошел в круг, и постепенно все внимание на меня переключилось. Почему я сделал такой вывод? А потому что я здесь один пляшу по-нашему, по-флотски, а другие на меня только поглядывают — зырк, зырк, сами не могут.

Я бы еще ходил вприпрыжку по кругу, люблю, но вспомнил, что надо повидать одного человека, задать ему вопрос. Что за человек, я один знаю, но никак не увижу его. Потом глянул, стоит патлатый с девчушкой, я ее отодвинул, ка-ак ему врезал, он шмяк и лег. Это ты на танцах играешь, спрашиваю. Потом откуда-то Альбинин Володя взялся, ты что, говорит, сдурил, и поскорее меня уводит. Витек тоже подскочил, Яков, все кодро сбежалось. Ты что-то соображаешь, Володя мне, чужой парень стоял с девчонкой. А Витек и Яков хохочут. Танька где, спрашивает Володя, Танька-ка-то куда делась?

Тут Таня появилась, он на нее: я б тебе дал, ты б запомнила. Забирай его навверх! А я смотрю, опять патлатый возле Тани. Откуда он взялся? Другой или тот поднялся? Это ты на танцах играешь, кричу, признавайся. Что хулиганишь, тут Таня на меня, что хулиганишь, ни на минуту нельзя оставить!

И поднялись мы с ней навверх. Там пьют чай, мы тоже сели. Опять Витек и Яков ко мне мостятся, а Таня на них: нечего возле него усаживаться, вон сколько места свободного. А когда шапка пошла по кругу, с

колен на колени, я посмотрел, в ней одна серость, пятерки и тройки, и бросил рыжую для разнообразия. Это я точно помню. А Таня на другой день уверяла — обертку от конфеты. Я сама, мол, из пиджака взяла у тебя деньги и бросила, а не ты.

Но я думаю, это она со злости, потому что мы поссорились. Идем на станцию пешком и не разговариваем. А началось еще дома. Я утром после проводов проснулся у них на диване. Как я здесь оказался, спрашиваю Таню. А как, разве тебе в твоем виде можно было в гостиницу? Скажи спасибо, еле дотащила. А это уж неправда, сколько бы ни набрался, сам отлично справляюсь. Ага, будто бы соглашается. Я вдруг вспомнил: в Алабино поедем? Поедем, кивает.

Все было хорошо. Позавтракали. Сидим за столом, толкуем о вчерашних проводах. Мама, говорит Таня, мы с Жорой в Москву. Ему нужно. А вечером, может, в театр какой ходим. Ты, если долго не будем, не жди. Езжайте, правда, одобрила Мария Федоровна.

Стали одеваться. Смотрю, она замшевые туфли надела, а они в рыжих пятнах мазута. Откуда мазут, думаю, не ее же капитан высаживал. Надень другие, советую. Тогда она скидывает туфли, садится у окна босиком, спиной ко мне. Никуда я не поеду! А еще слово скажешь, выброшу их в окно. Сидела, сидела, встала, в них же ноги вколотила и вышла. Я за ней. Миновали автобусную остановку, идем пешком. Она молчит, я молчу. А в электричке призналась: даже не знаю, почему еду с тобой. Если мне настроение портят, я никогда не могу себя заставить.

Так мы приехали в Алабино. В комнате голая кровать с панцирной сеткой, на ней несколько продавленных «Огоньков» и все. В кухне на столе бутылка с остатками вина, консервная банка пустая. Пойду, говорю, куплю чего-нибудь, где тут магазин? Она мне сказала, я все купил, а обратно дороги не найду. Ни дома номера не знаю, ни квартиры. А этих башен штук десять торцом к дороге стоят, все одинаковые, угадай, куда тебе. Я обзваниваю этажи, иду в следующий подъезд и снова начинаю. Мокрый весь! В парадных духота, у меня в руках пакеты и питье, сумки не взял. Был момент, решил, сейчас грохну все на лестницу, и пропади оно. Так обидно стало. Меня одно удержало: рассказать хлопцам — засмеют. И нашел.

А Таня тоже. Как уходил, она в кухне в окно смотрела, вернулся, стоит, туда же уставилась. Я снял рубашку, жарко, лег на «Огоньки». Лежу, прислушиваюсь, в кухне тихо, вроде нет ее там. И только через час, не соврать, даже, наверное, больше, она входит. Садится рядом на панцирь. Хочешь конфетку, и кладет кулек на кровать. Таня, я к ней. А она так враждебно, я даже оторопел: не смей! Я сама. Отвернись. И вот смотрю в стенку, и такая радость, что, прикажи она что угодно, выполню. И как волны в меня, недаром я аж куда заехал, женюсь на Тане. В первый раз так твердо решил.

А потом и она призналась: знаешь, что мне понравилось, когда мы познакомились? А что у тебя брови стрелками идут вверх, когда волнуешься. А когда я волновался? Я, по-моему, в первый раз не психовал. А когда подошел ко мне. Ну, может быть.

О многом мы с ней переговорили в Алабино. Я ей рассказал, какая у меня квартира, все по-честному: комната, а кухня общая. Ну его, думаю, Васыля с его советами, я одну из-за него уже потерял. А Тане даже понравилось. Зато в каком городе, говорит. Мне здесь так надоело! Вдруг она спрашивает, почему я с женой разошелся. Не захотел с ней жить, и все. А почему не захотел? Ну, не захотел. А она вышла замуж, продолжает спрашивать. А я откуда знаю? Вроде нет. А сына часто видишь? А чего мне его видеть, он что, мой? Алименты ж платишь. Суд присудил, я плачу. А как ты знаешь, что не твой, продолжает. Как! Люди сказали. Видишь, она с завистью, другие на чужого платят, а мой Толька для своей, и ни копейки. Все равно, говорит, тебе на наряды. Только дураки алименты платят, еще и смеется. А у меня настроение еще лучше. Зачем он нам,

спрашиваю, с его алиментами? Я всегда заработаю. Не поленился, встал, у меня в паспорте расчетная ленточка осталась за прошлый месяц, вынул из кармана и показал. Ну как, хватит? Она только улыбается, довольная. Я уже знаю ее привычку улыбаться как бы про себя, когда ей хорошо. А когда возвращались утром домой, она так и сказала, мне с тобой понравилось. И опять про себя улыбнулась.

А дома Мария Федоровна встретила нас недовольная, и сразу Тане вопрос: ключи с комода ты брала? Ну, та сразу согласилась. Сказать не могла, я голову ломаю, стала выговаривать Мария Федоровна и на меня, из комнаты выходя, взглянула вроде бы мельком, а запомнишь! Зачем ты сказала, хочу спросить у Тани. А потом понял, она нарочно призналась. Тут Мария Федоровна к нам обоим: вы что-то думаете себе? Как-то не как у людей у вас. Пусть Таня, но вы вроде человек постарше, женаты были, я вам даже удивляюсь. Я молчу, а внутри у меня творится, не могу выразить. А она продолжает, Таня вернулась из Одессы, прибегает с работы, первый вопрос: мне есть письмо? И как вы познакомились, у нас тут в семье каждый наизусть знает. Ой, вообще, подхватывает Таня, возьмешь одногодка, а он через несколько лет с Ольгой уедет. И опять одна. У нас таких случаев навалом. Ну, прямо уж навалом, сердится Мария Федоровна, глупостей не говори. У меня, продолжает, детей семеро. А всё больно на нее смотреть. Меня уж другие дочери укоряют: тебе Танина Ольга лучше всех. А я отвечаю, у Ольги семьи нет, а у ваших есть. А взять другое, разве Таня виновата, что рано вышла замуж? Ой, замуж, опять подхватывает Таня, ему просто прописаться нужно было. Видите, обращается ко мне Мария Федоровна. Куда ей теперь? Хоть загулай, вдруг сказала Таня. И улыбается как дурочка. Мать ей пальцем грозит. А она то же твердит: ой, мама, ну что ты не видишь, мы перед ним чуть не на коленях, а он как истукан. Все равно не женится! Не буду больше никого просить, гулять буду, пусть меня просят.

Вставай, подхожу к Тане, бери паспорт, пойдем заявление подавать. А я не собираюсь, отвечает. Не собираешься — я уйду. И иди, я тебя не держу. Пришел в гостиницу. Сдал постель. Заплатил. Они с меня за лишний день взяли. Пусть. Вышел к оврагу, внизу у них электрички проходят. «С-с...с-с» — скорость бешеная. Стоял, смотрел. Чувствую, кто-то подходит. Таня. Она голову к моему плечу прислонила, руку взяла, и так мы стояли не знаю сколько. Тихо, ветерок с полей, небо синее. По другую сторону оврага продолжение города. Пойдем, предлагаю, я там еще не был. Да что ты, смеется, такая счастливая. Я непричесанная, в халате, бросилась за тобой, боялась, уедешь. Без чемодана? А я не подумала.

В тот день мы подали заявление. И то не хотели принять, поздно пришли, она все паспорт не могла найти, ящики из комода выдвинула, вещи оттуда вывалила, а паспорта нет. И сваливают вину друг на друга, Таня на Марию Федоровну, а та на дочь, твой паспорт, ты и береги его.

Пока они искали, я тетрадку взял, из комода Таня вынула вместе с вещами. Почему тетрадка бросилась в глаза? Вся обложка орнаментом покрыта. Я присмотрелся, а это мое имя, Георгий. Несколько сотен Георгиев написано на обложке. Начала с левого верхнего угла, Георгий один раз там уместился, и пошла наискосок ставить мое имя до правого нижнего, и там я раз поместился, в самом уголке. А посредине крупными буквами такое: Письма Крученок Татьяны Алексеевны Своему Будущему Супругу Георгию Анисимовичу На Предмет Выяснения Любит Ли Он Свою Будущую Супругу Означенную Татьяну Алексеевну Или Отвечает На Ее Письма Просто От Скуки. И пока они ворохи вещей перекаладывали с места на место, а паспорта все не было, я прочитал всю тетрадь. Там — что она меня любит от души, никто меня так любить не будет, и как я должен к ней относиться, все, что она мне в письмах писала, а кажется, что не о нас, а о ком-то, как будто книгу читаешь. Откуда это в ней, она никакого института не кончала, только поступила в строительный, когда вышла замуж, а потом бросила.

Ты писала? Подхожу к ней. Все еще не верю. Тогда она увидела у меня эту тетрадь. Зачем ты взяла? Подошла забрать, я не отдаю. Знаешь, как понравилось! Правда? Такая довольная. Ой, мы в десятом классе письма сочиняли, еще больше этого. На всю общую тетрадь. Давай сохраним, предлагаю, потом интересно будет. Бери, она согласилась. И я положил тетрадь в чемодан.

А вернулись из загса, нам Мария Федоровна поспешила дверь открыть, ждала. Я, говорит, Лариску услала за отцом в лесничество, пусть придет дочь поздравить. И Ольгу заодно привезет. А мы лучше сами туда съездим, говорит Таня, правда? А тебе же на работу, вдруг вспомнила. Ма-ам, попросила Таня, сходи к Наталье. Родная дочь замуж выходит. Пусть даст бюллетенчик по уходу за Ольгой. Пятерок не напасешься, озабоченно говорит Мария Федоровна. Нате, протягиваю. Не надо, отмахнулась, найду, а триста рублей на свадьбу, как в первый раз нам стоило, когда выходила, не дам, нету. Мне бы скорее Валя закончила десятый, на комбинат ее устроить не дождусь. Ей год еще учиться. А Лариску жаль забирать из девятого, она способная, говорит Таня. Способная — пусть в вечернюю школу ходит. А днем к Люсе в ателье. Все матери легче, какая ни есть стипендия ученицы, а тридцать-тридцать пять рублей принесет в дом. Я вас четверых уже имела, Якова, Альбину и Лену, и тебя, совсем еще малую, и по две смены на комбинате стояла. А отец по госпиталям. Соседка забежит, вас картошкой покормит, и в свою семью. А я ночью вернусь, вы где попало лежите. Ухожу, еще спите. А тоже была способная. Я все жду, к чему она. И слышу: хотите устраивать свадьбу, обращается ко мне и Тане, рассчитывайте, чем сами располагаете. У нас с отцом какая пенсия? Шестьдесят семь рэ у тебя, подсказала Таня. Ну и что, что шестьдесят семь, возмутилась Мария Федоровна. Отец у нас общественной деятельностью занят, ему некогда работать, чтоб как другие, еще что-то кроме пенсии. А Александру в армию как месяц, так обязательно пошли пятерку, а то и десять рублей. Иначе нельзя. Ну ее, эту свадьбу, не хочу, говорит Таня. И вижу, ответ Марии Федоровне не понравился. А что люди скажут, спросила.

А мы когда ехали в лесничество, Таня сказала, есть деньги у матери, она для Вали копит, хитрая. Я тоже заметил, отвечаю. А мы себе в ресторане устроим, да? Таня спрашивает. На пять-шесть персон. Чем триста рублей выбрасывать. А на остальные пальто мне pošьем длинное, сейчас модно. Ладно?

А я про себя думаю, ты тоже не дурная, не хуже Марии Федоровны. Я эти деньги на мотоцикл откладывал, свой продам, доплачу и с коляской куплю. А длинное пальто меня не волнует. Но ругаться с ней не стал. Неудобно, час назад заявление подали. И тут мне ни с того, ни с сего так меду захотелось. Что это, спрашиваю себя. И вспомнил. Я когда за картошкой в лесничество ездил, Алексей Павлович меня сотовым медом угощал. Налил стопку и мед положил. Как закуска — лучше нет. А если разминемся, спрашиваю Таню. Ага, разминемся, она насмешливо. Ты отца не знаешь. Он ждет, чтоб к нему приехали. С бутылкой. Наговариваешь! Ничего не наговариваю, убеждает Таня. Он да мама оба хороши. Все, кто от исполкома квартиру в городе получили, участок в лесничестве сдали, а он нет. Будто бы по глазам ему требуется, из поликлиники справку предоставил, а сам заметит такое, лучше, чем здоровый. Правда, ничего от него не скроешь, другие какие справки ни принесли, все равно участки у них забрали. А у него не забрали. Он в народном контроле потому что. Вскрывает недостатки. Правда, за это! Придет к тебе в магазин, при всех разругает, мол, груба с покупателями. А как не грубить, когда говоришь русским языком — нету, а та твердит — а что у тебя под стойкой лежит? Домой придешь вся дерганная, они, думаешь, понимают. Сама хотела продавцом, вот их ответ. А какое сама, нас в десятом классе на продавцов готовили. А мальчишек наладчиками на комбинат. Ой, это они только перед тобой такие хорошие!

Мы вышли из автобуса, я направился в магазин, а Таня меня удерживает. Ну ее, эту водку, не надо. Неудобно, говорю. Ну, неудобно, отмахивается. Это ж четыре рубля бутылка. Лучше бы конфет харьковских, у нас в гастрономе не бывает. Нет, возьму, решил.

Тетка варила картошку, когда мы пришли. Георгий Анисимович, нарубите дров для печки, обрадовалась. Нам нельзя, с улыбкой ей Таня, мы жених и невеста. Но ради картошечки я ему разрешаю. Пока они целовались, я пошел к Алексею Павловичу в его сарайчик. А я собирался к вам, он удивился. Ждал, чтоб Ольга проснулась. А мы, объясняю, сюда приехали. Ну и хорошо. И стал меня настраивать, чтоб я Таню держал в ежовых. А тут как раз она входит соломенную шляпу снять с гвоздя. Пойдем загорать, меня зовет. А огород, на нее напустился Алексей Павлович, а отцу постирать? Я сегодня невеста, отвечает Таня, меня не трогай. Что это значит, не трогай, и пошел, и пошел, все вы, мол, невесты, а дома подмести некому. Такие они, бабы, это он мне, ты бабам не поддавайся. Танька, вдруг крикнул Алексей Павлович. Никакого ответа. И Тани нет.

Ты как бреешься, спросил Алексей Павлович, электро? А я вот. И показал на помазок в стакане. Осколок зеркала взял с полки, прислонил к стенке. Сейчас бриться буду. Что мне брить? Только под глазами, чтоб волосища зрению не мешали, мне раз в месяц побриться хватает. Это я по случаю твоего приезда. Постой, сначала я тебя медом угощу, пока никто не пришел. Отрезал квадратище от восковых сот, положил мне на тарелку, ополоснул стакан от помазка, налил своей, домашней. Рядом сел, «Правду» развернул. Я всю газету от корки до корки читаю, говорит. И еще нашу районную пять дней в неделю. И заметки пишу, уж больно народ распустился. При Сталине порядка куда больше было. Я выпил, медом заел. Молодец вы, говорю Алексею Павловичу, у меня не хватило бы терпения столько читать. И пошел искать Таню.

Вышел из сарайчика и глаза зажмурил, так ярко было снаружи. Деревья высокие-высокие, между нами зелено, солнечно, и, смотрю, в траве Таня в купальнике лежит. Я иду, иду к ней и вдруг остановился. Ну, фигура, думаю, у нее. И пришло в голову, Василь как-то говорил, классическая фигуры женщины знаешь что должна напоминать? Гитару. Пойдем подалее в лес погуляем, прошу Таню. Идем, тут же согласилась. И так: я в костюме, даже с галстуком, а она взяла меня об руку, сама в купальнике, туфли на каблуках, и мы удаляемся.

А вернулись, уже обед готов, все во дворе за столом. Я думал, Таня постесняется, обойдет стороной переодеться, а она в купальнике к гостям и меня не отпускает, крепко держит об руку. Здравствуйтесь опять, ой, картошечки хочу! Я поставил бутылку. А у них была только самоделка. И всем заметно стало приятнее.

Сидели мы, сидели. Ольга у меня на коленях. И вот уже сумерки. Так хорошо время провели. Песни пели, особенно московская тетка. А я Тане сказал, когда мы одни остались, мне ваша семья нравится. А ты говорил — кодро, она смеется. А это у нас знаешь, что значит, объясняю — родичи.

Утром встали рано, прополостили огород, копали картошку. Сели завтракать по-семейному, Алексей Павлович, тетка, Таня, а Ольга только со мной, ни к деду, ни к матери. Буду с папой Жорой! Обсуждаем порядок дня, мне уезжать еще когда, поезд поздно вечером, время есть. Вдруг какая-то девчонка подходит к калитке. Таня, поди сюда, что я скажу. Поговорила Таня с девчонкой и вернулась не своя. То настаивала, проведем в лесу весь день, а потом на вокзал, а теперь: надоело мне здесь, едем. И послала меня с теткой проститься, та здесь отпуск проводила. Иди, велит. А тетка мне такое говорит: разве в Танины годы сердцу прикажешь? И у вас, наверно, бывало, кажется, давно забыта первая любовь, и вдруг «среди шумного бала, случайно...», и голова кругом! А вы еще встретите не одну. У вас такой забавный характер, любая девушка будет в восторге. Короче, боится, чтоб Таню не бросил, к первой своей не вернул-

ся. А я думаю, с какой стати мне Таню бросать, если я в ней убедился. Все будет в порядке, успокаиваю, учту.

Я выхожу от тетки, а Таня стоит у крыльца, ждет, чем разговор закончится. Ну что, спрашивает. Волнуется. А я отвечаю: что? Все правильно. Я и сам знал. Ой, ну хорошо, обрадовалась.

Алексей Павлович нас к автобусу пошел провожать. Так как решили, спрашивает, здесь будете жить или у него? Посмотрим, говорит Таня, еще не решили. А чего решать, прикрикнул на нее отец. Целый год решаешь! Ага, тебе легко, возмутилась Таня, цзу давать. А зачем спорят, думаю, все равно, где я скажу, там поселимся. Но скорее всего у меня. И мы уехали.

Приезжаем домой, то же самое. Мария Федоровна с тревогой: ну, что решили, вместе уедете или как? А с работы уволиться, ей Таня, как я успею. Выдумала, прямо оторопела Мария Федоровна. Как будто я не могу твое заявление в магазин отнести. И взгляд с нее на меня переводит, словно хочет допытаться, что случилось. А чего допытываться, я не пойму. Ну, как знаешь, наконец говорит дочери, и лицо чужое сделалось. А Таня: мы решили, что я потом приеду, правда, Жора? И мне подмаргивает. Он вперед поедет, все устроит, а я потом. Мария Федоровна, тут я говорю, она соберет вещи и приедет. Характеристику надо взять хорошую. А Мария Федоровна, как будто мои слова ничего не значат, на меня и не смотрит, ей все внимание. Ну, уж на этот раз смотри, Танька, и пальцем по столу стучит, смотри! Ой, чего вы все от меня хотите, вдруг в рев Таня, и убегает в соседнюю комнату. Я туда, а она и меня выталкивает, оставьте вы меня в покое!

И тут звонок у входа. Вдруг дверь из комнаты, где Таня заперлась, распаивается, она бежит открывать. А Мария Федоровна стала на дороге: куда? Ах ты, говорит, смотрит на дочь, как она умеет, и укоризненно головой качает, ах ты! Пусти, говорит Таня. А Мария Федоровна ее хлоп по щеке. Я тебя пущу! Взяла Таню за руку и обратно в комнату чуть не волоком. А у меня сердце как забилося. Мария Федоровна, говорю, Таня со мной заявление подавала, а не с вами. Вот и сторожи ее, захлопнула дверь в Танину комнату, а сама потопала открывать. Таня, зову через дверь. А с другого конца квартиры голос Марии Федоровны доносится: ты чего сюда ходишь? Чего от нас хочешь, скажи? Я в милицию пойду! Я туда, а Мария Федоровна уже дверь захлопнула. И вижу, мимо окна кто-то быстро прошел. Патлатый. И вроде я откуда-то его знаю, показалось. Да ну, отмахнулась от моего вопроса Мария Федоровна, Якова дружок, отдай ему, видите ли, долг за сына.

Последний час я провел в комнате один, сидел на диване, читал газету, а Мария Федоровна с Ольгой на кухне, кормила ее, потом спать уложила. Та что-то вялая, опять, видно, приболела. А я пиджаком ее в автобусе от ветра прикрывал, не помогло. Слабая. Должно быть, потому все такие в доме расстроенные. Мария Федоровна вошла, то на меня смотрит, то на дверь, за которой Таня заперлась. Обедать, что ли, будете? Время-то уже какой час! И мне за обедом самый большой кусок жареного хека положила. А Таня сидит заплаканная, едва жует. Пообедали. Я в чемодан покидал вещи. Надо ехать, говорю Марии Федоровне, пока еще билет достану. А та к Тане: ты что не одеваешься проводить? Сама знаю, ответила. И так как-то стала одеваться, как неживая.

Оделась, пошли с Ольгой прощаться, она спит. Ничего, говорит Мария Федоровна, с отцом-то пусть попрощается. И разбудила. По дороге Таня немного отошла, а когда приехали в Москву, совсем стала прежней. Стоим в очереди билет взять, а она голову к моему плечу опять. Не сердись? А чего мне сердиться, удивляюсь, у вас с матерью разговор, я тут при чем? Она мне пальцы как сожмет, я когда за нее заступился в день приезда, точно так. Аж слипались.

И мы с ней твердо договариваемся. Ничего она ко мне теперь не едет, а я поработаю еще, чтоб денег подсобрать, а карантин в Одессе как раз снимут, и тогда она с Ольгой ко мне. Я ей на всякий случай диктую

телефон моего отдела, еще соседнего дал, вдруг срочно надо поговорить, а мой занят, а они у меня все в записной книжке, и тут она вдруг: дай, я сама! Выдергивает из рук записную книжку и листает, где у меня какое имя или адрес. А мне что, пусть себе читает, мне эти знакомства теперь ни к чему. И тут у нас с ней состоялся разговор. Я сам не ожидал. Ходим по вокзалу и ругаемся. Постоим немного, сменим место, опять постоим, разбежимся, снова найдем в толпе друг друга и продолжаем. Началось у окошка дежурного по вокзалу, мне не хотели в кассе билет давать, говорят, у вас объявлен карантин, едут одни командировочные, потом мы снова в очереди за билетами оказались, потом на улице у входа на вокзал, где автоматы билетов пригородного сообщения, возле камеры хранения. Вообще, где мы только не стояли. И тут, как говорится, она ему сказала! Я, если ее послушать, — как ее бывший муж, никакой разницы, он тоже имел секреты, полезешь к нему в карман за чем-нибудь, хоть за спичками, он, если даже спит, мигом проснется, так боялся, чтоб чего не нашла, и вообще, обещал, что будешь относиться, а чуть что, уже готов отказаться. И толком-то ничего не знаешь, ведь ничего у меня с Виленом не было, ни грамма, понимаешь, мы с теткой просто хотели проверить твое отношение ко мне, нарочно про Вилену сказали, а ты тут же поверил, думал, небось, буду умолять тебя, а кого тут умолять: соковыжималку когда еще для Олечки обещал починить, видно, в Одессу придется слать за тобой следом, здесь никак не собрался, выключатель, говорил, вмажешь, пол в кухне покрасишь, сам вызвался, я тебя так маме, сестрам расписывала, а ты позоришь меня, они уже смеются, Тане, мол, на спортсменов везет, тот угром прыгал, зарядку делал, а ты только о своем мотоцикле, то же самое, и вообще, такой, как мой отец, целый день в лесничестве друг с дружкой калякали, а я одна, и на проводы как пришли, так забыл обо мне, ой, да тебя уже все поняли, сперва были без ума, а потом тетя Даша (московская тетка) говорит, бедная ты, Танечка, бедная, «в семье родной росла ты девочкой чужой», и с ним вы такие разные, луна и земля, а мама сперва, когда ты приехал, прямо не знаю как заругала меня, почему не расписываемся, а теперь говорит, если не возьмешь его в руки, себе же на голову, он ведь у тебя какой, в первый раз перед Люсей опозорил, да еще из-за стола при всех из протеста выскочил, как ты смела недоглядеть, что у него тарелка пуста, ой, и дядя Коля, и еще кто, уже не помню, ну все-все тебя поняли, один отец и Люся еще за тебя, не знаю, с чего так, но она вообще идеалистка, я, мол, сначала обманула тебя: и про место жительства, и насчет продмага не призналась, Вилену скрыла, вот ты так потому и стал относиться, а какое «потому», какое «потому» — всегда таким был, жену свою бросил, кто-то напел, не твой ребенок, а ты поверил, ой, вообще, что от такого ждать!..

А я дрожу как на морозе. Нервы. Но я себе сказал: тише. И спокойно-спокойно к ней обращаюсь: так что, значит, всё? А ты думал, кричит еще громче, в Одессу побегу за тобой? Тогда пока, даю руку. Она мою руку отталкивает, закрывает лицо и в рев: сейчас поеду скажу маме, какой ты. Пусть узнает, за кого заставляла замуж выходить. И бегом к электричке. Электричка тут же, на Киевском стоит. Я переждал пару минут, не бежать же за ней, тоже иду на перрон, а электрички уже нет. И Тани нет.

И не надо. Спустился в метро, приехал в центр. Смотрю, Детский опять мир. Ходил по этажам, хотел фото пленку взять, Василь просил, лезу в карман, а там денег одна мелочь. Куда они делись? И так мне обидно стало. Ты что, подумал про Таню, совсем уже с приветом, зачем мне эти адреса, раз я женюсь. Хоть сообразила бы прежде, чем из-за записной книжки заявление забирать. А она к электричке когда бежала, сказала: придет — тут же заявление заберет из загса. Даже голова заболела.

И тут Надя вспомнилась. Одно к одному. Ты такой, она раз сказала, тебе все безразлично. Твоя хозяйка студентов обкрадывает, а ты ее еще угощаешь. А я как раз в тот день премию получил, мы сидели с Надей, я еще хозяйку позвал, чтоб было веселее. Только ради этого, при чем тут

безразличный? Пусть они у себя в столовой сами смотрят, я им кто, сторож? А у меня, не волнуйся, гвоздя никто не возьмет. Сегодня оставляю, приду на работу через неделю — будет лежать. А другой раз мы с Надеей были в кино, попалась такая хитрая картина, весь час двадцать минут разговоры. Вышли из кино, я Надю не узнал. Лицо будто только с луны: ужасно хочу в университет, на филфак! И потом мы с ней сколько шли, она молчит, это кино про себя переживает. Потом только вспомнила: а тебе понравилось? А что там может нравиться, говорю. Одна философия. И после этого у нас окончательно всё, больше не пришла. Но все равно, это из-за квартиры, кино тут ни при чем.

В общем, такое настроение, лучше не вспоминать, как я до поезда, до двадцати трех пятнадцать проканителлся. В чем только повезло — билет в кармане. Ведь в кассе не было ни одного. Я дежурному по вокзалу говорю: сколько работаю — без опозданий, а мне послезавтра на смену выходить. А он марает какую-то бумажку и не смотрит в мою сторону. А сколько работаете? Сколько! С четырнадцати, с ремесленного. Паспорт мой перед ним. Вот когда еще столько поработаете, говорит. «А наш Георгий Варбанец по «Одтеххолод» образец. Он план на сто—сто двадцать пять. А по рацпредложениям Кулибину под стать!» Я ему это как прокричал в окошко. На весь зал! Он как вскинется, забыл про свою бумагу. Это что? Спрашивает. Что! Стихи. Из стенгазеты. Обо мне. Теперь верите? Тогда дал.

Ну, что я пропустил? Как мне один чудак деньги совал, расскажу напоследок, давно обещал, и на этом закончу. Я когда вышел из той чайной в селе, где «Беломор» брал, когда из Одессы ехал, ко мне один одесский подкатывается. На, держи, здесь пятьсот, посади на багажник. А я ему отвечаю: вон видишь сельмаг, пойди и купи себе мотоцикл на эти пятьсот, а мне за тебя отвечать не интересно.

Почему я ему так сказал, сейчас поясню. Я когда стал возле майора, который отмашку мне сделал, тут же два автоматчика подошли. Жарища, а оба бледные-бледные, чувствую, волнуются до предела. И это мне не понравилось. Даже сам запсиховал. Теперь слушайте сюда. Возвращаюсь из Москвы, схожу с поезда в Раздельной. Васина мама мне постелила, лег спать. Утром вывел свой мотоцикл из сарайчика, принес горячей воды, мою его, и тут меня как врежет: на заднем щитке пулевое отверстие раз, на грязеотражателе второе. Как он не попал в камеру, до сих пор не понимаю!

Таким макарон я вернулся в Одессу. Настроение ясно какое. Думаю, объяснять не надо. У города обгоняю затор, а один шоферюга чуть ни весь высунулся из кабины. Повывлазило, кричит. Несешься до той холеры как молодой! Специально остановился, посмотрел на себя в зеркало заднего вида, а солнце яркое, не то что в помещении бреешься, тут каждая морщинка тень отбрасывает. Мама мия, думаю, что же это со мной сделалось за одну неделю!

И так мне обидно стало. Эх, думаю, Таня, я ж из-за тебя свободно мог в Зил врезаться, в меня из автомата палили, а ты? Нет, это надо еще подумать, где та холера, откуда я еду или куда!

Съезжаю к себе на Приморскую во двор, смотрю на лестницу (ко мне на второй этаж лестница идет наружная), а там Таня. Стоит с чемоданом у моей двери. Когда я увидел ее, сердце заколотилось-заколотилось. Ну, думаю, опять живу. Правда, такая первая мысль.

Ты как сюда попала, спрашиваю. А как? На ТУ-104. Утром была в Москве, теперь здесь. А карантин? Какой карантин, удивляется. Карантин для тех, кто выезжает, а кто приезжает, не надо. Какое не надо, чуть не кричу, когда мне билет не хотели давать. А вот, отвечает и улыбается ясными-ясными глазами, заявление показала, и все. И вынимает из сумочки наше заявление в загс. Ты же на вокзале сказала, что заявление заберешь. Правильно, еще шире открывает глаза, для того и забрала. У нас, объяснила им, подавали, а расписываться в Одессе будем.

Я вижу, соседи на наш разговор из окон высовываются, а ей хоть бы что. Беру чемодан. Кончай, говорю, сцену, в комнате доругаешься. Она входит и про себя улыбается, я заметил. И что-то как толкнет меня: брешет, и все. Точно ничего не могу сказать, фактов нет, а чувствую, набрехала она мне последнее время вот сколько! И опять настроение. Сел на подоконник. Она неуверенно по комнате ходит, то одно подойдет посмотрит, то другое. Говорю ей, распаковывай чемодан, устраивайся, а я пока до хлопцев подскочу.

Только вышел из ворот, а по улице мне навстречу Бойко, помните, я говорил. Я думал, он на меня злой за то собрание, а он сам первый остановился: а, Варбанец, здравствуйте. Ну, как там у вас дела, премии получаете? А как же, все как было, говорю. Даже больше. За незавершенные, он мне. Ну и что, говорю, незавершенные, мы в новом месяце недельку поднажмем, и ажур. Хоть в микроскоп разглядывай.

Бросьте, Жора, он так устало, ну что вы мне объясняете. Незаконно это. Для вас, говорю, любая писулька закон. А нам страна верит. Такого не было, чтоб мы подвели. Ни в гражданскую, ни в Отечественную. Пятилетку вы, что ли, вытягиваете? Он так смотрит на меня, трудно описать. Не вытягиваете, меня поправляет, а растягиваете. А меня после того случая никуда на работу не берут. И правильно, я ему. В другой раз будете знать, как на коллектив переть! И ушел. А он, разинув рот, остался.

Я домой вернулся, к хлопцам уже поздно было идти, говорю Тане, видишь, Бойко, инженер, а я нет, кому лучше? Она только улыбается, мол, ты прав. Потом мы с ней ужинаем, я спросил, чего от нее Толька ушел. А вот как с тобой ссорились. Один день если ничего, на другой с утра ругань. А у нас, я спрашиваю. Ой, вообще, говорит, и грустная сразу сделалась, ну правда, Жора, что будет? А то будет, я ей, я тебя встретил, думал, на всю жизнь. А теперь решил: получится — ладно, а нет, мы что, крепостные? Разойдемся. Нам разрешения не спрашивать. Ну, правильно, она даже повеселела. А вдруг хорошо будет? Из-за стола вскочила и ко мне, чуть вместе со стулом не свалила. Дай, я тебе волосики причешу, самый красивый на работе будешь.

И я тоже подумал, а чего, правда, паниковать? Еще вот так у нас с ней может быть. Другие позавидуют. И решил: завтра после работы кодро соберу. Из коллектива позову — раз. И своих хлопцев кровных, Леню, Васыля и Колю. Как ввалимся! И посидим на радостях.

АРТУР КРОТОВ

ПОЮЩИЕ ВО РЖИ

Это была пуля двадцать второго калибра с повышенной пробойной силой.

Даниэль Пенак. «Маленькая торговка прозой»

Первое, как дуновение бриза, еще легкое, почти нежное, но уже отмечающее безмятежность. И потом из сутолоки, трепетания электронов: «Дружочек Карл...» — бесятся те на медленном огне, смущая мои нейроны, ублажая мои калигулы, обожествляя августов и клавдиев спинного... «Дружочек Карл...» — беспокойно воркует Д., ничуть не пугаясь расстояния между нами и всего того, что ему сопутствует. «Дружочек Карл у Клары что-то украл. Хочется возразить ему чередой вопросов: «Корнета? Карбункул? Коралл? Королевство Кривых Зеркал?» Но Д. продолжает, лаская устами глаголище телефонной трубки, негодуя: «Картонку с той, помнишь, жемчужинкой». Да, да, конечно, она такая убедительно гладкая и круглая, но не идеально, а у полюсов чуть сплюснутая неосторожными пальцами небытия. Спрятанная под невесомые перины эфира, эта серебристо-серая горошина заставляет томиться мисс Вселенную неким подобием стоматологической истомы с неопределимым источником зудящей боли. «Чего же ты от меня?..» — прервать бы мне сюсюканье Д. «Поговори, поговори с ним, — пыхтит Д., — пусть вернет». «Но зачем же он тогда крал, — возражаю, — ведь не затем, наверно, чтобы сразу же и вернуть. К тому же Карл вовсе не похож на маньяка Архимеда, которому только дай точку опоры, и он все на свете перевернет». Я переворачиваюсь на другой бок в

Найдутся, вероятно, читатели, которым проза Артура Кротова покажется чересчур манерной и умничающей. И действительно, сразу необразишь, кого из «культовых» персонажей изящной словесности XX века автор забыл «процитировать» на пяти журнальных страницах. Здесь все — от Фрейда до Саши Соколова, включая иронично спрятанного в названии Сэлинджера (кстати сказать, отметившего в минувшем январе свое восьмидесятилетие).

Но публикуемый текст кажется нам и ярким и показательным. Маньеризм, «цитатность», литературоцентризм, постоянная рефлексия по поводу собственного сочинительства — все это существенные, если не стилеобразующие, свойства литературной продукции сегодняшних тридцатилетних. Таковы черты художественного стиля (некоторые называют его «постмодернизмом»), а стиль сам по себе ни хорош, ни плох: он — всего лишь пространство возможного, которым в данный момент располагает искусство для достижения новизны.

Редакция

Артур Михайлович Кротов (род. в 1969 г.) — поэт и прозаик, печатался в альманахе «Urbі» и сборнике «Натуральное хозяйство» (СПб., 1996). Живет в С.-Петербурге.

© Артур Кротов, 1999

семь утра и, не прощаясь, казнию телефонную трубку, но уже не могу заснуть, потому что завидую Карлу.

Автомобили не хуже телефонов знают, как сокращать пространство, умеют двигаться по-броуновски беспечно, бесконечно. И эти конвульсии перемещений доставляют почти сексуальное удовольствие тем, кто им сопричастен, умеет тешить себя иллюзорным обладанием пространством и временем. Но бывает, что кончается бензин, машины обреченно замирают в не самых подходящих для медитаций местах, — и это род усталости, забывчивости, какой-то оранжерейной амнезии, репетиция смерти. Тогда, когда такое происходит, из автомобилей выходят люди и начинают друг другу что-то объяснять, доказывать; объяснять, пожалуй, даже излишне эмоционально, сопровождая свою речь патолого-анатомической жестикуляцией. Шуршат листья.

Днем натякаюсь в облюбованной мной кофейне на Карла. Он в одиночестве пьет кофе. Иногда на его лице появляется какое-то подобие блаженной, идиотской ухмылки, но оно тут же рассеивается, и Карл с задумчивым видом, но по-прежнему не замечая меня, продолжает изучать вязкую структуру кофейной гущи. Я спешу выйти на улицу, где зануда-дождь изъясняется междометиями. В конце концов, думаю я, жизнь перпендикулярна нашим наклонностям, изгибаю спины, шатким извилинам предположений.

21.00. В отсутствие голоса, движения рождается пустота. И луна светит как-то особенно пронзительно, словно желая заменить собой то, чье она отражение. Пуленепробиваемые глаза хороши, мой друг, лишь до тех пор, пока не бездонны, не бездны, не без... О дальнейшем же умолчит сердце, успокоенное двумя-тремя дольками валидола или кусочком сахара, пропитанным мятными каплями. И потом снятся они, полупрозрачные, как намерения, но к моменту утра — когда просыпаешься — рассеиваются, словно фантомы, или зубы дракона, или бред. Но некоторое время спустя, случается, повторяются наяву.

Вытащив из-под дивана телефон, не спеша набираю номер.

— Ольга, привет! Ты не знаешь, случайно, где сегодня пьют?

— Нет. Но у меня есть бутылочка мартини, так что...

Как, однако, все просто и мило!

22.00. Когда угловатые тени скользят по улицам, вдоль домов, обмирая на перекрестках и, после паузы, вновь продолжая движение, ты чувствуешь на своих (чьих же еще?) губах чужое дыхание, его пьешь. Оно какое? Прерывистое, как азбука Морзе. Взволнованное. Влажное. Мятное. Сбивчивое, как взбитые сливки, как бит-квинтетом органов чувств исполненные пьески для механически моргающего клапанами сердца, являющегося каким-то стучающим порока и нежности. И тогда дурацкая плоть уже задыхается, готова похерить все законы, даже термодинамики, лишь бы не утратить этой ариАдновой ниточки безумия, которое есть дыхание, коснувшееся губ. В этот момент пламя в аду, должно быть, становится каким-то вялым, словно насладившийся любовью зверек.

Кто же ты, удачливый альпинист, покоривший Монблан моей вибрирующей тоски? Еще один сумасшедший генералиссимус, совершающий переход через абсолютный ноль? Или, быть может, один из бесчисленных уроженцев Фрейбурга, склонных к ямбическому психоанализу? Кто же ты, незнакомец?

Да, правы, правы были служащие компетентного монреальского учреждения. Права была и твоя мама — мы шпионы. Агенты то ли марсиан, то ли небытия. Нас подменили еще в роддоме. Ага, вы хотите узнать, где находится наше ЦРУ? Догадываетесь?! Да, да, именно там. Только никому об этом. Молчок. Не будем уподобляться болтливому Павлику Морозову. Молчок. И больше никогда, никому... До востребования. Пишите себе тихонечко отчет о проделанной. Наговаривайте на диктофон: «Дайана...» — и т. д. Делайте, что хотите, только, уходя из дома, не забывайте прятать все это в витгенштейновский сейф, чтобы никто не узнал, что мы — шпионы, агенты, выродки. Ты меня слышишь, Карл?

23.00. Наблюдающий облака ими, кажется, недоволен. Уж теперь-то ему и в голову не приходит думать, что они когда-либо читали Хайдеггера. Просто скользят, равнодушные, бездумно по небу, несносные купальщики, купальщицы, они... Тем не менее вечерами, сиреневые, по-прежнему безумно хороши.

До чего же хрупкая штука — наше тело. Оно одиноко и заброшено, затерялось в чуждом, враждебном ему мире. И даже то, что мы называем своим «я», относится к нему, телу, с пренебрежением, никак не может идентифицировать его с собой. Так, взглянув в зеркало, неожиданно удивляешься: «Неужели это и есть я, неужели существо, которое отразилось в амальгаме, и есть то «я», что представляет меня в мире, представляет». И недоумению нет предела. Это, наблюдаемое сейчас в зеркале существо, другие называют именем, принадлежащим нашему «я», они говорят ему «ты», ненавидят и любят его. Оно помогает нам постичь, понять то, о чем нельзя сказать иначе, чем на языке тела, словно только оно и умеет избежать «невозможности прямого высказывания». Язык нашего тела элементарнее, чем язык нашего «я», но в этой простоте скрыта такая сила убежденности, такая уверенность в счастье, что нельзя не поддаться обаянию этого ответа на все вопросы. Просто поразительно! С помощью нашего тела другой человек начинает видеть и замечать себя, а мы, наше «я» с изумлением обнаруживает, что телесно и что есть иной язык, нежели язык умолчания. В прикосновении чужой руки, в чужой к нам нежности, в различности оттенков желтого цвета наше «я» с удивлением обнаруживает себя соприкасающимся с миром, а наша кожа становится активной временной зоной диалога с ничто. И все же, несмотря на все это, невозможно поверить, что если этот хрупчайший инструмент будет разрушен (болезни, течение времени, стечение обстоятельств), то вместе с ним исчезнет и наше «я».

— Подожди, — говорит Оленька, — мне нужно принять душ. Я сейчас вернусь.

— Хорошо. Только прихвати по дороге из кухни стакан воды, а я пока задерну шторы.

Мартини умеет заканчиваться как-то чрезвычайно быстро. И что из того, если его сменил коктейль: водка-тоник-долька лимона?! Все равно уже ничего не осталось. Пьяное безобразие оправдывает нас перед Богом. Меня шалтай-болтает не хуже, чем того ваньку-встаньку, которого хотели все королевские гвардейцы, и не смогли...

— Ты не видел сегодня Карла? — спрашивает Ольга, чуть приоткрыв дверь ванной.

— Нет, — вру, — не видел.

Ужасно хочется спать.

По нулям. Ангелы, хоть и смазливы лицом, но ни хрена, кажется, не умеют. Ну, разве что, спуститься с девятого кружевного неба за вином, надвинув на глаза козырьки бейсболка, и почему-то всегда покупают «Кинзмарауди». Согласитесь, подобное пристрастие этих пичуг слишком загадочно, чтобы не думать об этом вовсе. Ведь не сталины же они, в конце концов! Еще они годны к нестройной, чтобы суетиться, сбивая с толку, но бессмысленность их действий слишком очевидна, что подкупает. То есть ангелы, в принципе, ничуть не хуже, скажем, амёб, но с крыльшками. И это как-то очень мило с их стороны.

Это утро — такое утро, похожее на вчерашнее розовое мартины с дождевыми облачками приторности, — чувствуешь языком, хмелеешь, мечтаешь о кока-коле и мультивитаминах.

Приблизительно полдень. Жизнь, существующая промежутками, с невероятной легкостью умудряется затиснуть человека в аквариум телефонной будки, которая есть не что иное, как символ расстояния между... Где же ты, хваленая «свобода выбора»? В трубке... В трубке что-то долго шуршит, а потом начинает часто пикать. Должно быть, страх кастрации.

Тела, разделенные пространством и временем, разделены вовсе не ими, но непониманием. Возможно, все дело тут лишь в разности недугов. Меня

мучает одна, но пламенная страсть по Иоанну и обостренный эдипов комплекс, в том смысле, в каком страдали им две мокрицы, оказавшись на бульваре Пекюшо. Тебя же, зачарованная охотница, приводит в трепет неукротенная романтическая либидоберда. «Знаешь, — говорю, — я не понимаю, как мы можем, в этом случае, оставаться друзьями!» — «А мы и не можем», — улыбнувшись, отвечаешь. Да, где-то я уже это слышал. Впрочем, пора заканчивать со всей этой телологией и ее звериними нравами. Но как я могу?! Ведь ты, твое тело гипнотизирует меня. Я недоумеваю, потому что ты — это то, чего быть не может, но есть, вот здесь, прямо передо мной. Я могу прикоснуться к тебе, и почему-то не могу этого сделать. Тело, твое тело не только парализует мое тело, но и заворачивает мою речь, деформирует ее, либо давая ей возможность быть, давая мне возможность существовать, либо делает ее чопорно-сдержанной, испуганно-холодной, а то и вовсе обрекает меня на молчание, на слова (делающиеся ложью) еще до произношения, — это когда я могу и не могу прикоснуться к тебе, что, наверное, означает существование какого-то негласного запрета, словно само твое тело шепчет: «Не касайся меня».

Нарцисс умер, рассматривая свое в воде отражение. Наклонившись к реке, он увидел себя, увидел «ты», к которому не мог прикоснуться. Едва слышно плескалась о берег волна, словно отражение нашептывало Нарциссу: «Не касайся меня». Само молчаливое, оно обрекало на молчание и его. Нарцисс был безумно красив, и сам знал это. Но его знание было знанием отвлеченным, причинно-следственным: все меня любят, значит я красив. Но, наклонившись к реке и увидев свое отражение, он не узнал себя. Отражение оказалось для него неведомым другим. Он не сумел идентифицировать себя, каким он себя знал, с тем, что увидел в воде. И то, что он увидел в воде, стало для него необычайно важным, какой-то возможностью существования, а потому и искушением. Но река нашептывала ему запрет, ведь стоило только коснуться отражения, как легкая рябь уродовала лицо, искажала его до неузнаваемости, и Нарцисс с отвращением отшатывался от воды. Но вновь и вновь, влекомый желанием видеть, возвращался. Он испуганно и замороженно смотрел в воду и видел «ты», которое тоже смотрело прямо на него, но не замечало; он видел лишь субстанцию без голоса и души. История Нарцисса — это история «я», замороженного тем «ты», которое не имеет своего «я», которое попало в западню цикличности, в западню повторяемости событий, в западню равнодушия к миру, представляющему в этом случае и для такого «ты» лишь способ самоублажения. И не трансмутировавший ли голос несчастной нимфы Эхо так зло отомстил Нарциссу?!

Время тикает. Жан-Поль Сартр писал за столиком в кафе, что безусловно способствовало возникновению весьма близкой и быстротечной связи между ним и женой Бориса Виана, которому после этого только и оставалось, что написать «Пену дней». Ионеско и Пруст писали только полулежа или лежа. При этом первый написал свою знаменитую «Лысую певицу», когда безуспешно пытался выучиться английскому; а второй отделялся от назойливых молодых монстров следующим образом: «Вы гений, молодой человек», — заявлял Пруст, не удосужившись даже просмотреть принесенную ему ранее рукопись, и начинающий писатель, получив от метра такую вот путевочку в жизнь, быстро уходил, не смея более отнимать ни у себя, ни у Пруста и без того потерянное время. Франсуаза Саган пишет только лежа, только в ученических тетрадках и только после полуночи. К сожалению, ничего более любопытного, чем первая повесть, написать ей так и не удалось. Один из восхитительных романов Набокова¹ был написан в стесненных условиях так называемого совмещенного санузла. В ванной была написана Сашей Соколовым «Палисандрия». Д. пишет на

¹ Но вовсе не «Лолита», как утверждает Д. Бартон Джонсон в статье, посвященной Саше Соколову. (Примеч. автора.)

полу, стоя на коленях и уткнувшись головой в диван, на котором спит маленькая, смешная такса. Что касается Ван-Нордена, то ему вообще никогда не стать писателем.

Мне, для того чтобы писать, просто необходима хорошая, красивая авторучка. Кстати, Набоков, кажется, предпочитал паркерово перо (см. «Другие берега»).

Когда Д. спрашивает, прочитав какой-нибудь мой рассказ, что я хотел им сказать, то мне приходится честно признаваться, что совершенно не сведущ в этом вопросе. Я хотел сказать только то, что сказал, и не более того.

Облака становятся хороши. Ты, я, мы — есть проблема стиля, сочетаемости двух-трех слов, жеста. Сложность структуры уничтожается одним росчерком пера. Но достаточно чуть сфальшивить, солгать, и жизнь уже не состоялась, не удалась. Жаль! Как бы ничего и нет. Есть лишь почти болезненное содрогание йоркширского умника и кусочек свинца, ввинчивающийся в воздух. Тяжелая капля осознает себя пулей лишь тогда, когда расцветает на черном темно-красной гвоздикой, то есть момент осознания совпадает с прикосновением к коже.

Боль — пронзительная, теплая, влажная — настигла Карла за мгновение до звука, ее означающего. Он вдруг спотыкается, поворачивает голову, при этом нелепо, по-птичьи взмахнув руками, и начинает медленно оседать, но как-то слишком по-киношному. Все так, будто жизнь поскользнулась на банановой кожуре. Ах-охая, небесная канцелярия, шурша бесчисленными перышками, стрекоча и шелкая арифмометрами, приступает к своим душе-спасительным обязанностям. Последний судорожный глоток воздуха, проглатывание, конвульсия. Карл все-таки оглядывается, видит коралловый шармез платья, выцветшее бледно-салатное пятно горбатого «запорожца», алый всплеск в окне четвертого этажа. Наконец, он любит асфальт; хрипя, едва слышно прощается с Кортасаром и переходит к иным, более изысканным формам бытия.

Нарру end. Подобно тому как перо «Паркера» изменяется в зависимости от причуд нашего почерка, так и мы сами меняемся, вторя капризам Судьбы, ее законам, постичь которые нам порой просто лень.

Смерть — это когда человек умер, когда у него нет более ни единого шанса быть живым; она просвистела как-то подозрительно быстро, словно на что-то намекая, но об этом ничего не сказав. И мы, — нерадивые дети своего языка, — мы можем попробовать трансформировать ее, сделать проблемой стиля и, как следствие, причиной мутаций почерка, изменений паркерова пера и перебоев сердца.

Fin. Мы сидим за угловым столиком в той самой кофейне, где я вчера наткнулся на Карла, и как благородные пьем чай, оттопырив чопорные мизинчики. Д., склонный к некоторой эксгибиционистской экстравагантности, попыхивает изогнутой, вишневого дерева трубкой (кое-кто, впрочем, больше любит чупа-чупс). Наконец, он закончил читать болванку моего нового опуса. Некоторое время он молчит, делая вид, что обдумывает прочитанное, хотя я-то уж знаю, что эта сокрушительная заминка всего лишь род деликатной условности. Я жду.

Д.: Знаешь, безусловно любопытно то, что ты пытаешься в этом рассказе как-то использовать детективную структуру. При этом читателю совершенно отчетливо ясно, что все дело, вся, так сказать, суть в твоих, или, вернее, повествователя, мыслях и ощущениях. Но подобный гибрид, видимо, совершенно не жизнеспособен. Слишком велика пропасть между теми двумя формами, которые ты пытаешься скрестить. Слишком заметны швы. Один из таких швов — марионеточность главных, а они у тебя тут все главные, персонажей. Их поведение кажется совершенно немотивированным, а поступки — безумными, лишенными всяческой логики. В итоге читатель недоумевает, и уж естественно не может поверить ни в реальность действующих лиц, ни в реальность происходящего, ни в реальность и обоснованность ощущений и мыслей повествователя. Да, просто не хватает оснований, причин... Возможно, из-за алогичности, абсурдности происходя-

щего, появляется ощущение некой символичности, между прочим, дурной, когда прелестная «убедительно гладкая жемчужина» превращается в абстракцию...

А.: Ну, в некотором смысле, так оно и есть. Жемчужина здесь играет ту же роль, что и в сказках «Тысячи ночей», — с нее все начинается.

Д.: Вот видишь. И когда Клара стреляет...

А.: А почему, собственно, ты решил, что стреляла Клара? Вдруг это была, ну скажем, Ольга. У меня ведь вообще ничего не сказано об убийце. Просто умирающий Карл замечает рядом женщину в платье из шармеза. Но это вполне может быть совершенно посторонняя, случайная, как этот чай, барышня. И даже не барышня, а, предположим, юноша, зачем-то в платье. А в Карла, быть может, стреляли с четвертого этажа, или, еще более смешно, с девятого, что должно наводить на мысль о божественном возмездии, осуществленном через посредство винтовочки с оптическим прицелом и некоего Д.

Д.: ...Или это был сам повествователь, почему-то завидующий Карлу и кстати подвернувшийся из-за угла на салатного цвета «запорожце».

А.: Что ж, очень свежая мысль. Впрочем, оставим это... Я вот о чем хотел бы узнать... Наша истеричная подруга нашла наконец свою жемчужину?

Д.: Да. И знаешь где?

А.: ...

Д.: Этот придурок Карл хранил ее у себя во рту, чтобы в случае каких-либо непредвиденных осложнений тут же проглотить. Но как-то, видимо, не успел, не получилось...

А.: Забавно...

И мы, эстетствуя, заказываем еще по одной чашке чая.

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОРОДУ

1

И вот ты в северной столице,
на этой пасмурной реке.
Ожили каменные лица.
Передвигаясь налегке,

почувствуешь, что здесь ты — дома:
нет ни знакомых, ни друзей.
Броди по улицам, глазей
и повторяй, что все знакомо.

Гляди на желтые фасады,
вдыхая воздух дармовой;
тряхни нетрезвой головой
возле Михайловского сада.

Дыши, душа, живи, покуда
не порешили нас в глуши,
и кратковременное чудо
стихотворения верши!

2

Свое лицо в простой оправе
щетины с пылью поездов
я созерцать теперь не вправе
в раю проспектов и дворцов.

Канал разглажен катерами
до поворота, и стоят
в нем отражения рядами —
к недоумению наяд.

И, разбегаясь, перспективы
нас сводят медленно с ума.
И прячется от объектива
воды немая глубина.

И облака, как на кровати
клубятся простыни, чисты.
Под ними горбятся мосты
и тлеют шпильи на закате.

3

Вот впереди десяток арок,
где каждый след неизгладим.
И Эрмитаж, как будто с марок,
из детства вышел невредим.

Вот Невский — вытопан до блеска.
В чугунной праздности оград
стоит единственный тот сад,
смущаясь собственного плеска.

Вот неприступный Исаакий
все так же врезан в вышине.
Спешат прохожие, и всякий
не вспомнит даже обо мне.

Не жди счастливого финала
на берегах всея реки.
Последний рубль извлеки
и урони на дно канала.

4

Мне не играть с тобою в жмурки,
под воду канувший тритон.
И тлеют медленно окурки
на этом берегу, на том.

Писать и незачем и нечем.
Зажатому в моей горсти,
я говорю тебе: «До встречи!
На год вперед меня прости».

Спешат зеленые вагоны
и оставляют позади
платформы, станции, перроны,
опережая стук в груди,

когда уверенность прямая
в бумажной теплится душе,
что смерти собственной внимая,
не разминуться нам уже.

1998

ГЕНЕРАЛЫ-ПРЕЗИДЕНТЫ

ЖАН ЛАКУТЮР

17 БРЮМЕРА ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ

17 БРЮМЕРА

Майский взрыв 1958 года¹ — в отличие от мая шестьдесят восьмого — не расшевелил Францию, дремотно предававшуюся трудам пищеварения. Не был он также и воплем социальной ярости или экономического отчаяния. Он потряс Францию в период экономического подъема: уровень жизни, а равно и рождаемость неизменно росли уже в течение пяти-шести лет, была обеспечена полная занятость, а всевозможные проявляющиеся политические лихорадки (свидетельство чему — пужадизм²) оказывались всего лишь болезнями роста; то была страна, которая при слабом и непоследовательном режиме выиграла послевоенную битву. В потрясении, подтолкнувшем французов на грань гражданской войны, не было ничего от социального ожесточения или гнева обездоленных. Природа этого кризиса по преимуществу политическая. И привели к нему самым неумолимым образом три фактора: скверное функционирование институтов государственной власти, алжирское национальное восстание, поставившее под угрозу территориальную целостность страны, и снижение роли Франции в ряду мировых держав. Совершенно очевидно, что все эти три элемента тесно связаны между собой. Правда, третий не является простым следствием двух других. Упадок Франции, вне всяких сомнений, датируется июнем 1940 года, если только не огромными кровопусканиями 1914—1918 гг.

Новым же является то, что французы осознали все это особенно ясно после неудачной суэцкой авантюры,³ когда их армия и флот вынуждены были, не солоно хлебавши, повернуть от Египта. <...> С той поры францу-

¹ Политический кризис и волнения в мае 1958 г. привели к власти де Голля и к падению режима парламентской IV Республики. События мая 1968 г. (студенческая «революция» и массовые выступления населения) привели к отставке де Голля с поста президента в 1969 г. (Здесь и далее прим. переводчика.)

² Пужадизм — право-популистское националистическое движение, названное по имени его основателя Пьера Пужада. Возникло в 1953 г., но вскоре распалось.

³ В июле 1956 г. Египет объявил о национализации Суэцкого канала; в ответ английские и французские войска предприняли бомбардировки Египта и высадили десант в Порт-Саиде, однако под давлением США и СССР вынуждены были прекратить военные действия и вывести свои войска.

Жан Лакутюр (род. в 1921 г.) — французский писатель, публицист, автор более двух десятков книг. Его трехтомную биографию генерала де Голля (Jean Lacouture. «De Gaulle. Le Politique») французская критика считает самой полной, самой достоверной и самой объективной.

зы жили с чувством жестокой фрустрации, возлагая всю вину на своих незадачливых правителей.

Какими бы чрезмерными ни казались порой деголлевские перечни пороков системы, они, тем не менее, верны, особенно утверждение, что «рыба гниет с головы» <...> Во что превратилась исполнительная власть, связанная по рукам и ногам властью законодательной или, верней, синдикатом партий, которые заправляли в парламенте? <...>

Хуже всего было даже не то, что IV Республика к маю 1958 г. уже почти месяц искала разрешение четвертого министерского кризиса за последние два года, отчего стране пришлось из двенадцати месяцев по меньшей мере один жить без правительства, а то, что государственный аппарат — последнее, что скрепляло страну, — почти уже не реагировал на директивы или жил в состоянии скрытого противостояния правительству. А в нижних его эшелонах — иногда даже явного: вершиной этого противостояния стала демонстрация полицейских 3 мая перед Бурбонским дворцом.¹ Но что еще хуже, Рене Плевен,² пытаясь сформировать правительство, поинтересовался политическим «мнением» высших чинов армии, дав им тем самым повод предъявить гражданским властям самый настоящий ультиматум.

Ослабление государства, равно как и снижение международного значения Франции, очень болезненно воспринималось французами. Тем паче, что возвысил голос обличитель разлагающейся и бессильной государственной власти — де Голь или, вернее, голлизм в самых разных его проявлениях. <...>

* * *

Что представлял собой голлизм «в действии» в начале мая 1958 г., когда агонизирующая IV Республика пыталась сформировать правительство?

На вершине пирамиды, разумеется, генерал. Он словно бы парит в высях над Коломбе и улицей Сольферино,³ непричастный к интригам, но отнюдь не к информации, оттачивающий три лозунга — поначалу слитых воедино, а затем разделившихся: де Голь не вернется к власти (до 15, а то и до 19 мая, если не до 24); де Голь ни в коем случае не придет к власти в результате государственного переворота или военного пугча; де Голь не станет ничьим заложником и согласится взять власть, только если у него будут средства и возможность действовать. <...>

Вокруг де Голя небольшой главный штаб, который одновременно информирует его и оберегает, зона безопасности, имеющая тысячи ушей и предпринимающая не подлежащие огласке инициативы; главная роль в нем принадлежит Гишару, чья задача состоит в обработке прессы, телевидения, радио и политиков, которых можно будет «использовать» — таких, как Коти, Молле или Пине,⁴ а также Фокару,⁵ более свободному в своих

¹ В Бурбонском дворце заседает нижняя палата французского парламента.

² Плевен Рене (р. в 1901 г.) — политический деятель, сторонник военного объединения Зап. Европы; неоднократно — министр в разных правительствах, в 1950—1952 гг. премьер-министр.

³ Коломбе — городок в Лотарингии, неподалеку от которого расположено поместье де Голя Ла Буасери. На улице Сольферино находилась штаб-квартира де Голя.

⁴ Коти Рене (1882—1962) — президент Республики в 1954—1958 гг. Молле Ги (1905—1975) — генеральный секретарь Французской социалистической партии в 1946—1969 гг., в 1956—1957 гг. премьер-министр. Пине Антуан (1929—1977) — министр финансов в нескольких правительствах, остался на этом посту в 1958 г. и в правительстве де Голя.

⁵ Фокар Жак (р. 1913) — генеральный секретарь РПФ, занимал различные государственные посты при IV и V Республиках. РПФ — Объединение французского народа, партия сторонников де Голя в 1947—1955 гг.

начинаниях, <...> имеющему агентуру даже за океаном и действующему порой на грани закона. <...>

Второй круг стремящегося к власти голлизма составляют, прежде всего, три человека — Девре,¹ Сустель² и Шабан³. Три темперамента, три манеры поведения, три типа используемых средств.

Сенатор Мишель Девре, мастер запросов в Государственном Совете, в ту пору жил и действовал на грани мятежа. Его «Курьер де ла колер» («Хроника гнева») ежедневно призывает к восстанию. Может, ему казалось, что вернулись времена сопротивления оккупантам? Уподобляя конец французского Алжира июню 1940 г., он произносит речи, пишет, действует в состоянии эпического негодования и словно бы не замечает, что существующий режим, в отличие от гестапо, отнюдь не препятствует ему самовыражаться...

Не столь авантюрным, но тоже весьма активным был Жак Сустель. Полуторами годами ранее он основал СЗВФА (Союз защиты и возрождения французского Алжира), членами которого были кардиналы, генералы, университетские профессора и даже некоторые левые деятели. <...>

По сути, это мощная группа давления, численный рост которой — и конечная цель — неизбежно приведет Союз, равно как и его основателя, к объединению с де Голлем. Бывший генеральный секретарь РПФ весь этот период будет неизменно взывать к генералу, хотя и чувствует, что Алжир, стоящий для него на первом месте, в замыслах вождя занимает, дай Бог, второе. <...>

Рядом с Сустелем, который горит желанием вступить в бой, но не станет ничего предпринимать без санкции генерала де Голля, действуют другие, и они подталкивают его. <...> Однако он чересчур рационален и законопослушен, чтобы нарушать табу. Сустель проиграет все ставки.

Жак Шабан-Дельмас действует внутри системы. Разумеется, после полуночи 13 мая он уже не министр обороны. Но до этого дня ему удавалось направлять и прямо-таки до абсурда прикрывать «свой источник» — Дельбека, которого он сделает троянским конем голлизма в Алжире. Наперекор мнению и власти Лакоста и даже Салана,⁴ — если не Томазо,⁵ — этот «организм» запустит голлистский коготок, скорее уж неуместный в тех краях, в алжирское предприятие. Чем стала бы операция 13 мая без Шабана, то есть без Дельбека? Примкнул бы Массю? Была бы 15 мая обеспечена преемственность? Как знать. <...>

В метрополии же козыри у друзей генерала весьма значительные. Среди высшего командования в армии явных голлистов немного. Но существует некая ключевая фигура, которая сыграет, когда придет время, решающую роль: быть может, главный, наряду с Ги Молле, актер в этой пьесе — генерал Пти, заместитель начальника генерального штаба, тесно связанный с Девре и Фокаром. <...>

¹ Девре Мишель (р. 1912) — активный сторонник де Голля со времен Сопротивления, дипломат, в 1948—1958 гг. сенатор, в дальнейшем неоднократно занимал министерские посты.

² Сустель Жак (р. 1912) — политический деятель, сторонник де Голля, с 1969 г. его противник. Оба — сторонники сохранения любыми средствами Алжира в составе Франции.

³ Шабан-Дельмас Жак (р. 1915) — участник Сопротивления, сторонник де Голля, в 1954—1958 гг. министр, с 1958 г. один из руководителей вновь созданной голлистской партии «Объединение в защиту республики».

⁴ Салан Рауль (1898—1984) — генерал, с 1957 г. в Алжире, один из вождей сторонников французского Алжира, впоследствии один из руководителей ОАС (тайная армейская организация из генералов и офицеров, противников де Голля; устраивала покушения на него).

⁵ Томазо — полковник парашютистов, впоследствии член ОАС.

Если в окружении де Голля идут дискуссии между теми, кто приоритетной задачей считает сохранение французского Алжира, и теми, кто видит в этом кризисе источник энергии, способной привести де Голля к власти, то среди военных споров подобного рода просто не может возникнуть. Естественно, среди них есть такие, для кого центром мироздания является Алжир, но есть и другие, считающие — как и де Голль, — что Франция на протяжении жизни целого поколения тратит силы и жертвует своим будущим в маргинальном конфликте, из-за которого ее армия превращается в какую-то деревенскую полицию, оказавшуюся замкнутой в провинциальной ловушке вне сферы мировой стратегии. <...>

И впрямь, все выглядит так, будто честь и престиж армии тесно увязаны с этой войной. Потерпевшая поражение в Индокитае по вине генералов, лишенная возможности взять реванш в Суэце, сейчас армия в сильнейшем раздражении жаждет «своей» победы в Алжире и залога, который обеспечит ей победу, постоянной поддержки государственной власти в этой войне. Победа необходима до такой степени, что ради ее достижения политическая власть принудила военных к исполнению чудовищной и унижительной миссии — проведению полицейских репрессий. К таким тошнотворным актам, что только победное завершение войны сможет если уж не оправдать их, то хотя бы сгладить постыдное ощущение.

Этим-то и объясняется безумие, подтолкнувшее многих высших офицеров, в основном уважаемых и компетентных, к уличному бунту в одной связке со всякими подстрекателями, обозленными кабатчиками и слепыми охранителями порядка, основанного на расизме. <...>

Когда Дельбек и его со товарищи пытались втолковать людям из гражданской и военной администрации Алжира, что де Голль как раз тот человек, который нужен, в ответ они частенько слышали, что «старик уже вышел из игры», он ничего не понимает в «революционной войне». Тринкье и Аргу¹ считали вершиной современной военной организации руководство массами и психологическую их обработку, тогда как де Голль мыслил в терминах современной стратегии и больших оперативных пространств. Алжирское дерево или мировой лес? Выиграть сражение за Алжир, рискуя проиграть современную войну? <...>

В начале мая 1958 г. и гражданские и военные в Алжире чувствуют, что парижская, то есть государственная власть уже начинает задаваться вопросом, какие чудовищные усилия потребуются Франции для сохранения Алжира под своей властью: Салан, у которого на бумаге в распоряжении 450 000 человек, обещает через несколько лет справиться с двадцатью пятью тысячами повстанцев, вопит об измене при любой попытке хотя бы чуть-чуть уменьшить кредиты или численный состав армейских сил.

Французы, живущие в Алжире, видят, как с каждым месяцем становится все более шаткой пристань, к которой пришвартован их корабль. А с де Голлем, при всей его неоднозначности, это будет все-таки государство, сила, которую можно убедить или провести. Так что почему бы и не он? <...>

Партия, которая начнется в первых числах мая и завершится 3 июня вступлением в Матиньонский дворец некоего Шарля де Голля, облеченного всей полнотой власти, будет разыгрываться не только между определенными политическими силами, но и между примерно десятком ключевых политических фигур.

Весной 1958 г. де Голль пребывал в Коломбе почти обессиленным, но взгляд у него был живой, а реплики при разговорах с Дельбеком или Коньи быстры и точны. Мы станем свидетелями того, как со дня на день будут восстанавливаться его физические силы. Ощущение, будто близость власти, а затем и обретение ее послужили допингом, возродили, воскресили-

¹ Полковники французской армии, организаторы и активные участники алжирского мятежа в мае 1958 г.

ли его. Где автор, который сможет написать психосоматическую историю Шарля де Голля в тот месяц май 1958 г.?

Может ли он вернуться к власти? «Он только об этом и думает», — ответил тогда Помпиду на вопрос одного из приверженцев генерала. А верит ли он в это? Поначалу — не слишком; после 13 мая — чуть больше; начиная с 19-го — даже очень, а с 24-го — полностью. Примем эти даты и заодно вспомним, что великий этот актер и драматург отнюдь не был автором разыгрываемой пьесы: в первом акте он зритель, во втором — критик, в третьем — суфлер, в четвертом — «наперсник»; на сцену же он выходит только в пятом — точь-в-точь как победительный принц Фортинбрас в «Гамлете».

Отметим также, что его *либидо* власти достаточно сильно, чтобы очень скоро преодолеть физическое недомогание (усталость, зрение), а также и неприкрыто отрицательное отношение жены, действующего лица, которое, как известно, со счетов не сбросишь: один из весьма наблюдательных эмиссаров, осуществлявший связь между Парижем и Коломбе, отметил, с каким явным неодобрением Ивонна де Голль воспринимала возвращение мужа в геенну политики. Никто не заблуждался: при всем своем уважении к исторической необходимости она делала все, чтобы затворничество в Коломбе длилось как можно дольше.

У Робера Лакоста были, по крайней мере по видимости, ключи от Алжира, иными словами, от порохового погреба. И хотя с февраля 1958 г. инициатива с каждым днем все больше и больше переходила в руки военных — точнее, военно-популистского комплекса, который олицетворял Томазо, — именно его, Лакоста, социалиста, министра-резидента в Алжире, история поставила в центр драмы.

Он даст немало поводов для обвинений в злоупотреблениях, циничности, капризах, хитростях, упущениях, чтобы утверждать, что это человек с размахом — если говорить о политике и о личной отваге. Порченный Алжиром, как это произошло до него и с Суステлем, обеспокоенный судьбой европейского меньшинства, поскольку он был достаточно умен, чтобы предвидеть печальный удел алжирских французов, но и достаточно благороден, чтобы не бросить их на произвол судьбы, Лакост железной рукой проводил операцию по их спасению, соглашаясь покрывать даже самые гнусные акции. <...>

Рауль Салан воплотит в военном плане и в некоем экзотическом облике отведенную ему функцию «привратника Истории», воплотит без всякого блеска и чуть ли не при полном отсутствии чувства ответственности. Редко толчок историческому событию давал человек, до такой степени несоразмерный обстоятельствам и в то же время так органично встроенный в исторический механизм. <...>

Ни один вождь не обладал меньшей харизмой. <...> В Алжире он был встречен выстрелом из базуки, и еще 13 мая толпа освистает его. <...> Храня на лице меланхолическое и укоризненное выражение, он безо всякой рисовки, но с изрядной ловкостью поочередно отыграет роль буфера, а затем приводного ремня, держась на равном удалении и от алжирских активистов, и от голистского авангарда, и от осколков парижского правительства. «Салан? Генерал, который ставит заплаты на проколы», — скажет о нем начальник генерального штаба Андре Дюлак. Но ничего не поделаешь, более великим, чем создал тебя Бог, не станешь... <...>

Однако все предпринятые манипуляции кончились бы неудачей, а то и привели бы к кровавому противостоянию, участвовать в котором де Голль, по уверениям его приближенных, решительно не желал, без вмешательства или же понимания трех человек — президента республики Рене Коти, председателя совета министров Пьера Пфлимлена¹ и генерального секретаря-

¹ Пфлимлен Пьер (р. 1907) — один из лидеров партии христианско-демократического направления МРП (народно-республиканское движение), 12 мая 1958 г. стал премьер-министром. На этом посту его сменил де Голль.

ря социалистической партии Ги Молле, которому пытались отвести центральную роль в этой чудовищно запутанной ситуации. <...>

Но когда начались события, приведшие к 13 мая, а затем и ко 2 июня 1958 г.? Те, кто считает, что толчком послужил взрыв в Алжире, называют дату 26 апреля, а те, кто видит причину в интригах голлистов, — 5 мая.

26 апреля? То был день гигантской демонстрации в Алжире — ее организовала коалиция активистов движения за французский Алжир: Мартеля, Лефевра, Лагайярда, Ортиза, находящихся в той или иной мере под контролем Томазо. Дельбек все-таки успел подцепить к ней голлистский вагон; целью ее было не дать Парижу образовать министерство «национального предательства». Для всех участников эта демонстрация была репетицией великого дня, намеченного на начало мая, когда армия и народ Алжира должны будут заставить Париж передать власть правительству «общественного спасения». С этого дня Алжир превратился в бурлящий котел.

5 мая? «В этот день началось 13 мая», — сказал Оливье Гишар, прекрасно понимая парадоксальность подобной формулировки. Послушаем его: «В этот день нас с Боневалем собрал у Фокара (но в его отсутствие) генерал Ганеваль, глава военной канцелярии Елисейского дворца, который от имени г-на Коти, по чьему мнению, взрыв был неизбежен, хотел осведомиться у нас о намерениях генерала де Голля. Какую изобрести процедуру, чтобы подготовить его возвращение к делам? Спустя два дня я обедал в Коломбе, и генерал сообщил мне, что обстоятельства складываются достаточно приемлемо, поскольку сам глава государства объявил ему, что IV Республика мертва, о чем де Голль знал уже давно. Что до процедуры, то он предложил обмен письмами, насчет которых обе стороны договорятся, будут или нет они опубликованы. При всей сдержанности этого ответа, он означал, что генерал, поскольку о том просит глава государства, выйдет из своего уединения, которое в последние две недели стало смахивать на полное затворничество...» <...>

8 мая в Алжире Робер Лакост, принимая из рук генерала Салана Крест за воинскую доблесть, заявил присутствовавшим офицерам (занимавшим высшие армейские посты в Алжире), что армии нужно беречься того, что ей готовят в Париже, а готовят ей там «дипломатическое Дьенбьенфу».¹ Если бы министр-социалист, который был почти уверен, что не останется на своем посту, так как его партия отказалась от участия в будущем правительстве, захотел ускорить неизбежный переворот, он не мог бы действовать эффективней. Размахивать красной тряпкой Дьенбьенфу перед мордой военного быка означало подталкивать к самому худшему, что могло произойти. Поразительно, что столь ответственный человек решился произнести подобные слова в подобных обстоятельствах. А вскоре в Алжире узнали, что правительство поручено сформировать Пфлимлену, который совсем недавно в одной провинциальной газете опубликовал статью, где высказывался в пользу прекращения огня, о котором велись переговоры...

На следующий день ФНО,² явно желая обострить обстановку, объявил, что он приказал казнить трех пленных французов в ответ на казни алжирских партизан, произведенные французскими властями. Это был явный вызов, который мог лишь ускорить и усилить взрыв в Алжире. Смертоубийственное стечение провокаций...

А вечером того же 9 мая был совершен самый потрясающий демарш в этой потрясающей цепи скандалов: генералы Салан, Аллар, Жуо, Массю и

¹ Дьенбьенфу — город во Вьетнаме, близ которого в 1954 г. произошло сражение между французской армией и вьетнамской народной армией; французы потерпели поражение и вынуждены были уйти из Вьетнама.

² ФНО — Фронт национального освобождения, руководивший антифранцузским восстанием в Алжире.

адмирал Обуано вручили Роберу Лакосту, улетавшему из Алжира в Париж, послание, которое начальник генерального штаба Эли должен будет передать президенту республики. То был самый настоящий ультиматум главе государства:

«...Армия в Алжире испытывает чувство ответственности за людей, которые сражаются здесь <...>, за французское население Алжира, которое ощущает себя брошенным <...> и за французов-мусульман, которые поверили Франции... Если эта национальная территория будет оставлена, вся армия единодушно воспримет это как оскорбление. И невозможно предвидеть ее отчаянную реакцию...»

Итак, армия дошла до того, что осмелилась навязать правительство по своему выбору! Беспрецедентная инициатива. <...>

Этот военный переворот на расстоянии ни в коей мере не соотносился с де Голлем. Во всяком случае, его вожди, если не считать Массю и Обуано, практически не ориентировались на Коломбе... И методы переворота, и его военные руководители, намеревавшиеся диктовать свои законы государству, принципиально противоречили этике генерала де Голля. <...>

12 мая, когда Пфлимлен готовил состав правительства, один из членов его кабинета, префект Рене Пейра, находился в Алжире, чтобы понять, что там происходит. Ему хватило на это несколько часов. Один из сотрудников министра-резидента так определил ситуацию: «Лакост толстой задницей сидит на бочке с порохом. Если он приподнимет задницу, бочка взорвется». Салан был еще недвусмысленней: «Для предотвращения беспорядков я предлагаю г-ну Пфлимлену подать в отставку, после чего создать правительство общественного спасения во главе с генералом де Голлем, единственным для нас гарантом французского Алжира...» Причем каждый в Алжире знал, что «беспорядки» состоятся завтра, 13 мая.

Во второй половине того же 12 мая Гишар возвратился в Коломбе. Его друзья поручили ему задать генералу вопрос в связи с возможной поездкой Сустеля в Алжир, где его ждут, чтобы сделать политическим главой широкого движения, которое возникнет после 13 мая; в ответ он слышит от де Голля: «Передайте, что мне нечего им сказать». Позиция куда более негативная, чем обычно...

Гишар отметил, что генерал был в крайне скверном настроении, и не только оттого, что ситуация выглядела в высшей степени иррациональной и его имя связывали с каким-то экзотическим «кавардаком», но и потому что разнообразные инициативы, касающиеся его, исходили от людей, которых он либо не контролировал (Сериньи, Салан), либо опасался (Сустель).

И вот наступает 13 мая, день, когда сотни тысяч алжирцев попытаются подчинить Париж Алжиру или, верней, продемонстрировать примат проблемы французского Алжира над прочими национальными проблемами. Этот примат может быть обеспечен только при гегемонии армии, гражданским олицетворением которой в столице должно стать «правительство общественного спасения». Военные хотят, чтобы в Париже им подчинялся министр обороны, а в Алжире министр-резидент. <...>

При всей кажущейся нелепости событий, они были тщательно подготовлены. В 13 часов в Алжире началась всеобщая забастовка, сто тысяч человек собрались у памятника погибшим на широкой эспланаде, от которой ведут ступени к площади перед зданием генерал-губернаторства, то есть администрации Алжира; «Марсельеза» в честь пленных французов, казненных ФНО, крики «Власть — армии!» — все в соответствии с официальным сценарием. Но каждый ждет своего: одни — захвата мэрии, глава которой считается либералом; другие — того, что в здании администрации соберутся представители населения и военных и с благословения армии будет объявлено о создании Комитета общественного спасения.

Но подлинные заправилы желают, чтобы этот день предстал как день народного восстания. И когда в восемнадцать тридцать завершилась церемония у памятника погибшим, Пьер Лагайард, председатель союза студентов (он давным-давно закончил учебу на юридическом факультете), обла-

ченный в форму парашютиста, призвал: «На генерал-губернаторство!» — дав тем самым команду к штурму здания, символизирующего государственную власть.

Отряды республиканской безопасности оказывают сопротивление. Однако полковник Водрей, отвечающий за безопасность, приказал им отступить за решетку ограды и тем самым дал осаждающим изрядное преимущество. Парашютисты же 3-го парашютного полка под командованием полковника Тринкье прикрывали разъяренную толпу с флангов и любезно предоставили бунтовщикам грузовик, который протаранил сперва ворота, а затем двери. Через несколько минут на крыше огромного здания показался Лагайард, а толпа тем временем громила помещения, выбрасывая из окон папки с документами и пишущие машинки... Улица одержала победу при снисходительном пособничестве нескольких высших военных чинов.

Через полчаса явился возмущенный, негодующий Массю: «Немедленно прекратить этот бардак!» Но толпа мятежников окружила его, завертела, втянула в себя, и вот, чтобы избавиться от нее, он соглашается встать во главе этой вопящей Коммуны: он станет председателем Комитета общественного спасения, составленного из предводителей бунта во главе с Лагайардом и тремя полковниками — Томазо, Дюкаса и Тринкье. Когда около восьми вечера придут Салан и Аллар, Комитет будет сформирован. Командующий выйдет на балкон и попытается призвать десятки тысяч алжирцев к спокойствию, но его освистают. Толпа будет орать ему: «Дьен-бьенфу!», а затем примется дружно скандировать: «Массю! Массю!»

И тогда появится новоиспеченный «председатель» в пятнистой форме и красном берете и хриплым голосом объявит: «Я, генерал Массю, только что сформировал Комитет общественного спасения... с тем чтобы во Франции было сформировано правительство общественного спасения под председательством генерала де Голля!» Итак, имя произнесено. <...>

В половине девятого вечера в Бурбонском дворце продолжается начавшееся в пятнадцать часов заседание парламента, и уже становится ясно, что Пфлимлену с трудом, но удастся собрать большинство. На трибуне занудно разглагольствует представитель крайне правой, Пьер Монтель, и вдруг со своего места поднимается Шарль Эрню: «В Алжире образован Комитет общественного спасения! Мы впустую теряем время!» <...>

В полночь, когда в амфитеатре Бурбонского дворца парламентское большинство, возмущенное мятежом — и особенно формулой «Я, генерал Массю...» — все больше склоняется к тому, чтобы поручить Пфлимлену формирование правительства, кабинет Феликса Гайара принимает свое последнее решение: прервать телефонную, телеграфную и воздушную связь с Алжиром, отчего Жак Сустель не сможет вылететь туда и соответствовать ожиданиям Дельбека и толпы.

Забавно, но алжирские голлисты присоединятся к дележке постов в захваченном здании генерал-губернаторства с часовым опозданием. Дельбек прибудет туда в восемь вечера, столкнется в толпе с генералом Пти, посланным сюда из Парижа его шефом генералом Эли во второй половине дня, когда еще была надежда сбить возмущение. С той минуты оба проводника голлистской операции будут делать все, чтобы наверстать упущенное время: именно Пти шепнет Салану, что только де Голль... Дельбек же добьется, что его фамилия будет внесена в список членов Комитета общественного спасения, и даже станет там вице-председателем.

Именно квартет Пти—Дельбек—Невирт—Пуже чуть позже убедит Салана направить главе государства послание, требующее вмешательства «национального арбитра». Пти даже пытался уговорить его прямо назвать имя де Голля. «Я рискую головой!» — ответил ему Салан, а вечером, собирая черновики этого послания, прежде чем отправиться домой, пробурчал: «Я подготавливаю свое досье для Верховного суда». <...>

Генерал де Голль до полуночи получал сообщения о тамошних событиях попеременно от Гишара и Фокара, которые до сих пор не рассказали, как он реагировал. Правда, Гишар приводит один ответ генерала, и ответ весь-

ма решительный. Во вторник, накануне дня, который генерал обычно проводил в Париже на улице Сольферино, глава кабинета позвонил ему: «Надеюсь, в связи со сложившейся ситуацией вы предпочтете оставаться в Коломбе до новых распоряжений...» — «Отнюдь. Завтра на улице Сольферино у меня встреча с принцем Мюратом. Об отмене ее не может быть и речи». <...>

Что делал де Голль, покуда толпа, которая совершенно не знала его, и офицеры, которые его недолюбливали, во тьме африканской ночи пытались добыть для него золотое руно? Он сам рассказал об этом в «Мемуарах надежды» — правда, написанных десятью годами позднее состарившимся суверенным властителем, склонным мифологизировать и облагораживать превратности и неожиданные обстоятельства, которых было немало у наблюдателя из Коломбе, а иногда кое-что и опускать, ежели это «кое-что» представлялось ему недостойным его самого, истории, государства:

«...Я ничуть не сомневался в том, что взрыв неизбежен. Не сомневался и в том, что однажды мне придется выйти на первую линию[...]. Было ясно, что все идет напрямик к перевороту, прибытию воздушным путем армейских частей, установлению военной диктатуры, основой которой станет принцип осадного положения, подобно тому, как это произошло в Алжире; а это неизбежно вызовет противодействие — забастовки, которые будут становиться все продолжительней и многочисленней, все более ширящуюся обструкцию, растущее активное сопротивление. Короче, эта авантюра станет преддверием гражданской войны[...], если только национальная власть[...] не сплотит общественное мнение, не возьмет бразды правления и не объединит государство. Но такой властью могла быть только моя». <...>

«Мне нужно было, — высокомерно пишет он, — определить тот момент, когда я должен буду, закрывая театр теней, выступить в качестве «бога из машины», иными словами, должен буду выйти на сцену». И заодно определить тактику. Следует ли позволить положению обостриться до такой степени, «чтобы всевозможные опасения и страхи обеспечили всеобщую и длительную поддержку», или же «подавить в зародыше надвигающуюся катастрофу, пусть даже столкнувшись впоследствии, когда люди успокоятся, с их неудовольствием и противодействием?»

Он выбрал (по его утверждению) второе. Но не для того, чтобы дать стране некую временную передышку. Ему нужно было, как пишет он, воспользоваться этой «исторической возможностью», чтобы стабилизировать государство, разрешить «жизненно важную проблему деколонизации» и обеспечить независимость страны. Иными словами, действовать нужно было очень быстро и одновременно очень обдуманно. «Невзирая на препятствия, существующие во мне самом: возраст — шестьдесят семь лет, пробелы в знаниях и ограниченность моих способностей», — уточняет де Голль, он все-таки решает рискнуть «персонифицировать это великое национальное устремление».

Не будем удивляться, прочитав у де Голля, что он определил для себя первоочередной задачей «взять в свои руки государство». При этом он считает, что встретит не слишком сильное сопротивление, так как убежден, что на берегу «столь широкого Рубикона, каким является Средиземное море», военное командование воздержится «от непоправимых действий». <...>

Вот так, спустя десять лет, де Голль описывает свои планы и действия 13 мая 1958 г. У нас нет оснований ставить написанное под сомнение. Есть лишь одно возражение столь прекрасной картине: в тени осталась широкомасштабная гражданская и военная операция, что проводится ради него от Алжира до Парижа — нет, не под его руководством, но тем не менее не без его ведома. <...>

14 мая Алжир и Париж просыпаются с некоторым шумом в голове. Там захватили здание администрации и принуждают Париж передать местную власть армии. Однако правительство уже сформировано: Париж принял вызов, сформировав кабинет министров, но потеряв контроль над Ал-

жиром. И хотя президент республики обратился к генералам, призывая их уважать закон, по множеству признаков видно, что алжирское «событие» всего лишь начало, и коммюнике № 1 Комитета общественного спасения, опубликованное в тот день, вновь требует создания правительства общественного спасения во главе с генералом де Голлем. <...>

Утром 15 мая Рауль Салан демонстрирует решительность, какой, по мнению многих свидетелей тех дней, он был начисто лишен: выйдя на балкон здания генерал-губернаторства, перед которым собралось более десяти тысяч французов-алжирцев, <...> он выступает с речью; толпа поначалу слушает его с недоверием, а потом заинтересованно.

<...> Коллеги вынудили его ясно и определенно высказаться в пользу де Голля, и он уже сделал это утром в телеграмме, направленной премьер-министру. Но проделав то же самое публично он не решается. Хотя, смирившись с необходимостью, речь свою завершил лозунгом «Да здравствует французский Алжир!». А когда он уже повернулся, чтобы уйти, ему заступил дорогу Дельбек и весьма жестко шепнул: «Крикните: да здравствует де Голль!» Салан снова сделал разворот к толпе и бросил ей: «Да здравствует де Голль!»

Когда он покидал балкон, то произвел на Дельбека впечатление человека «немножко не в себе». А встретив возле своего кабинета генерала Пти, Салан ему объявил: «Я не кричал: «Да здравствует де Голль!» Но они утверждают, что крикнул. Что ж, тем хуже, пусть так и будет...»

Итак, официальные представители власти республики в Алжире высказались за де Голля. Это заставляет его «агентов» всех родов совершенствовать свою стратегию, и они всю стараются и суетятся по обе стороны Средиземного моря. Неужели генерал де Голль не усматривает в этом нового сигнала, призывающего его «приступить к действиям»? Не он ли обещал «дать ответ», если возникнет подобная ситуация?

Однако, вопреки общему убеждению, принять решение побудил его вовсе не лозунг Салана. Накануне де Голль пригласил Гишара позавтракать в Колombe; тогда-то он и вручил своему «связному» написанное утром послание, и было это до призыва, брошенного в толпу алжирским генералом. Текст, переданный утром 15 мая агентству Франс пресс, можно назвать основополагающим: это его майское обращение, выдвижение себя кандидатом в восстановители пошатнувшейся законности, манифест будущего режима.

Десять строчек. Меньше ста слов. Но это лучшее, что написал де Голль. «Деградация государства неизбежно ведет к отдалению от него присоединившихся народов, к растерянности в воюющей армии, к распаду нации, к утрате независимости. Уже в течение двенадцати лет во Франции, ведущей борьбу с проблемами, слишком сложными для режима партий, идут эти катастрофические процессы.

Некогда страна оказала мне доверие, дабы я руководил ею и спас ее.

И сегодня, когда ей вновь грозят испытания, она должна знать, что я готов принять на себя всю полноту власти в республике».

Ни слова про Алжир. Но есть намек на «присоединившиеся народы», который вроде бы включает его в себя — правда, с перспективой, весьма отличной от той, какую представляют себе нынешние хозяева Алжира. Грядущий великий спор упрятан уже в этих коротких формулах.

В тот день он ограничился тем, что сам напомнил о себе. После чего стал использовать типично голлистскую стратегию, основа которой — введение в заблуждение, психологическое давление и выступления. Напрямую он не контролирует ни одну силу, и голлисты в Алжире так же малочисленны, как в 1942 г. <...> Однако сейчас де Голль силен, как никогда. Он будет вести игру в двух планах: грозить алжирской взрывчаткой, чтобы запугать Париж, правда, не слишком близко поднося спичку (не считая 19 мая), и удерживать Алжир, чтобы не оказаться лицом к лицу со столицей, захваченной людьми в пятнистой маскировочной форме.

Сдерживание, давление, убеждение — то будет трехнедельный шедевр стратегии уловок. <...> Но нет ли риска, что «обращение 15 мая», по крайней мере на первых порах, останется без ответа? Что ж, де Голль пошел на этот риск. Правда, несколько добрых душ постарались, чтобы этого не произошло.

Когда 16 мая Национальная ассамблея собралась на заседание, казалось, будто над этими вещими и одновременно двусмысленными словами тяготеет некий запрет. Но около полудня социальный республиканец Ремон Трибуле во время дебатов упомянул обращение и имя де Голля, который «возродил республику» и благодаря которому «вы сегодня заседаете на этих скамьях». Выступление вызвало бурю в зале и удостоилось ответа Ги Молле. <...> Он публично задал де Голлю три вопроса:

«Признаете ли вы нынешнее правительство единственным легитимным?»

«Осуждаете ли вы инициаторов создания Комитета общественного спасения в Алжире?»

«Готовы ли вы, если вас призовут сформировать правительство, предстать с программой перед Национальной ассамблеей и, если вас забаллотировуют, удалиться?»

Таким образом, Шарль де Голль оказался в средоточии дебатов, совершенно недвусмысленно приняв на себя роль игрока-арбитра. Но он не из тех, кто теряет зря время. На следующий же день он приглашает журналистов прибыть 19 мая на пресс-конференцию, которая станет одним из главных событий. <...>

17 мая в армии новое потрясение: генерал Эли, начальник генерального штаба, уволен в отставку, его сменяет умеренный Лорийо, предшественник Салана в Алжире. А на следующий день близ По приземляются два таинственных пассажира: майор Витас и капитан Ламульят, парашютисты из штаба Массю; их задача — прозондировать настроения своих коллег в метрополии и координировать давление со стороны армии, с тем чтобы ускорить «процесс»; вскоре они встретятся в Тулузе с генералом Микелем, а в Лионе с генералом Декуром, ключевыми фигурами большого разделения страны на секторы безопасности, которое Алжир предполагает произвести в метрополии.

Что знал тогда генерал де Голль об этих приготовлениях? Заранее исключим гипотезу о полном неведении. Но 19 мая он выступает в Пале д'Орсе перед многочисленными представителями международной прессы, демонстрируя полнейшее спокойствие и уважение к существующим законам. Журналисты проходили на пресс-конференцию через тройную цепь вооруженных отрядов республиканской безопасности. <...>

В пятнадцать часов де Голль вошел в позолоченную гостиную Пале д'Орсе <...> и сел за небольшой стол, накрытый зеленой скатертью. После трехлетней самоизоляции он выглядел несколько огруженным. Лицо слегка располнело, кожа словно бы потускнела, глаза — очки с толстыми стеклами он в основном держал в руке — казались чуть припухшими... Но жесты были уверенные, голос — звучный, гибкий, выразительный, иногда просто завораживающий. Он пытался понравиться. С каждой минутой становился все непринужденней, росла его власть над аудиторией. Он произвел яркое впечатление на публику, состоящую не только из его приверженцев — Мальро, Шабана, Мишле, Клостермана, Фуше, — но и из противников и просто любопытных. <...>

Что же говорил де Голль?

«Я обратился к прессе тоном человека, владеющего ситуацией», — признался он впоследствии. Это-то и почувствовали участники пресс-конференции. Де Голль предпочел доминировать, но не подавлять, убеждать, а не побуждать. И это ему удалось. Хотя, как вынужден он был констатировать, не всем это пришлось по вкусу.

«То, что происходит сейчас в Алжире[...], может привести к тяжелейшему национальному кризису. И в то же время может стать началом опре-

деленного возрождения. Потому-то я еще раз мог бы самым непосредственным образом стать полезен Франции[...], поскольку я не связан ни с какой партией, ни с какой организацией, уже пять лет не занимаюсь политической деятельностью, три года не делал никаких заявлений, и вообще являюсь человеком, который, не принадлежа никому, принадлежит всем.

— Какую функцию вы предполагаете исполнять?

— Встать по главе правительства республики.

— 15 мая вы предложили взять на себя «всю полноту власти в республике». Что вы подразумеваете под этим?

— Ту власть, которую делегирует мне республика.

— Какую процедуру вы предполагаете использовать для вашего возвращения к власти?

— Если де Голлю будет делегирована чрезвычайная власть на чрезвычайный период в чрезвычайных обстоятельствах, то совершенно ясно, что это не может быть произведено в соответствии с привычной процедурой и привычными ритуалами, набившими оскомину до такой степени, что они уже раздражают всех и вся.

Морис Дюверже, который двумя месяцами ранее предсказал в своей статье в «Монде» возвращение де Голля к власти, задал вопрос, не окажется ли власть, которую он требует себе, угрозой для гражданских свобод. Надо было видеть, с каким блеском и с каким величием проявил тут себя де Голль: вскинув колову, будто при команде «в атаку!», раскинув руки, точно собираясь взлететь, дрожащим от гнева голосом, в котором чувствовались отзвуки грома, генерал спросил: «Было за мной такое? Напротив, я восстановил свободы, когда они исчезли. Неужто кто-нибудь полагает, что в шестьдесят семь лет я начну карьеру диктатора?»

А когда кто-то еще поинтересовался, почему он не осудил военный мятеж в Алжире, генерал вновь возмутился: «Правительство не выступило против него. Я не правительство, почему же я должен это делать?» (Это г-н Пфлимлен должен взять на себя каждодневный труд по сохранению связей с Алжиром. А он, генерал де Голль, человек свободный, легендарный военный, «Совесть Франции», обладающий огромным влиянием, пусть несформулированным, но высокоавторитетным, он может деморализовать мятежников, отколоть ультра от армии. Пока он воздерживается от этого — то есть бережет порох...)

Выиграл ли он партию? В прессе, в Национальной ассамблее реакция была весьма сдержанная<...>. Любезные слова, адресованные генералом Роберу Лакосту и Ги Молле, только усугубили мрачное настроение социалистической партии; Пьер Мендес-Франс¹ сетовал, что не было произнесено ни слова осуждения в адрес алжирских мятежников, и говорил о «первородном грехе»; Пфлимлен же воздержался от комментариев: боялся худшего...

Зато был покорен Алжир. Вечером 20-го должное де Голлю воздал Салан: «...Мой генерал, ваши слова возродили в [наших] сердцах безграничную надежду...» И такое совпадение: именно в этот самый день возникнет идея присоединения Корсики к мятежу. В Алжире как раз находится Паскаль Арриджи.² На острове, где расквартированы парашютные части, создаются комитеты общественного спасения, и парашотисты горят желанием пойти по стопам своих алжирских товарищей. Стоит только дать «зеленый свет».

С вечера 21-го Арриджи, обращаясь к соотечественникам (на корсиканском диалекте), призывает остров «дать пример метрополии». На рас-

¹ Мендес-Франс Пьер (1907—1982) — лидер радикальной партии, премьер министр в 1954—1955 гг.; положил конец колониальной войне в Индо-Китае.

² Арриджи Паскаль — один из участников алжирского мятежа, впоследствии член ОАС.

свете 24-го он приземляется в Кальви, главной базе парашютистов на острове, после чего в союзе с Анри Майо, родственником генерала де Голля и бывшим руководителем корсиканского Сопротивления, объединение острова со штабом алжирской группировки произойдет в атмосфере жизненерадостной суматохи<...>. А завершением станет прелестное изречение Арриджи. Когда его спросили, будут ли убитые, он возмущенно ответил: «Это же вам не выборы!»

Смехотворная революция? И тем не менее, мятеж пересекает границы охваченной войной страны, где страх, страдания, психоз осажденных в какой-то мере могут оправдать обращение к чрезвычайным мерам, пересекает и в мирной обстановке открыто плюет на элементарную законность: военные части восстали против общественного порядка, префекты арестованы, мэры отстранены, власть передана полковнику Томазо... Что думает де Голль об этом сумасшествии?

Коломбе достаточно насмешливо воспринимает эту новую выходку противника. Правительство же пребывает в состоянии полного разложения... Кабинет министров наконец-то собрался, и Пфлимлен, как говорится, обходит стол, осведомляясь у каждого из министров:

«Господин министр внутренних дел, господин министр обороны, какие силы в вашем распоряжении?» Спрошенные в ответ разводят руками. «Если я правильно понимаю, — замечает министр финансов Эдгар Фор, — я единственный, кто полностью сохранил свои прерогативы». <...>

В тот вечер в Париже идет спектакль Пекинской оперы. На просцениум выходит актер и читает либретто: «Император и его фаворитка прогуливаются в садах Летнего дворца и поют о своей любви. Появляется гонец, который возвещает, что войско взбунтовалось...» Шумный успех...

Шарль де Голль в какой-то мере уже исполняет власть... Обострилась обстановка на алжирско-тунисской границе. Главный штаб в Алжире решает провести операцию «Серп и кирка», которая поставит на колени ФНО в Тунисе. Но это означает неизбежное распространение конфликта на восток. Предупрежденный послом в Тунисе, министр иностранных дел Рене Плевен попытался отменить операцию. Его посланец решил проконсультироваться с «известной особой». Поскольку, как он объяснял, «что бы мы ни предприняли, нас будут критиковать, самое лучшее в нашем положении — прикрыться с этой стороны...» Плевен попросил своего сотрудника Жоффруа де Курселя доложить ситуацию де Голлю. Спустя два часа Курсель сообщил: «Я позвонил. Генерал согласен. Сейчас не время затевать истории». Пошли телеграммы в Тунис и Алжир: операция была отменена... <...>

Мендес-Франс пока неколебим, но левые зашевелились... Ги Молле, Робер Лакост, Венсан Ориоль¹ поочередно протягивают руку бывшему председателю РПФ. Каждый из этой тройцы 25 мая передал послание де Голлю. Самым недвусмысленным было послание бывшего президента республики Ориоля, который настаивал, чтобы генерал однозначно отмежевался от «корсиканской аферы» с целью восстановления доверия сторонников республики, что приведет «к деятельному сотрудничеству в реализации, при всей полноте властных полномочий, ограниченной программы» в отношении «конституционной реформы». Иными словами, бывший глава государства давал де Голлю карт-бланш в обмен на осуждение операции Арриджи...

Похоже, продвижение генерала к «высокому креслу» ускорило. <...> Когда Пфлимлен и Коти вручат ему ключи? Хорошие манеры в этом случае генералу ни к чему, и он пишет Ги Молле: «Мы с вами уже близки к согласию в оценке ситуации». Однако, узнав 26 мая, что операция типа корсиканской (которую он именуется «вторжением») может быть в ночь с

¹ Ориоль Венсан (1884—1966) — президент Франции в 1947—1954 гг., один из лидеров социалистической партии.

27 на 28 мая проведена в Париже — тут он ссылается на источники из министерства внутренних дел, — генерал намерен, по его выражению, «дать толчок здравому смыслу». С этой целью де Голль «вызывает» (это его выражение) префекта департамента Верхняя Марна, в котором находится Коломбе, и сообщает, что хотел бы как можно скорее встретиться с главой правительства Пьером Пфлимленом. При этом даже ставит своеобразный ультиматум («Если председатель Совета министров не согласится на эту встречу, генералу де Голлю не останется ничего другого, кроме как публично объявить об этом...») и назначает место встречи: резиденция хранителя парка Сен-Клу, старого его товарища полковника Феликса Брюно.

Пьер Пфлимлен покоряется. Он уже не думает о том, чтобы сохранить лицо, не обговаривает детали. Ускользнув около 22 часов из Матиньонского дворца, осаждаемого прессой, он прибывает в Сен-Клу, где его с самым сердечным видом уже ожидает де Голль. Что же до содержания встречи, то тут стоит почитать автора «Мемуаров надежды»:

«Пьер Пфлимлен держался спокойно и с достоинством. Он обрисовал мне свою ситуацию — ситуацию пилота, которого не слушаются рычаги управления. Я объявил ему, что его долг сделать выводы и уйти с должности, которую он, в сущности, уже не исполняет, подразумевая, что после этого я готов сделать все необходимое. [...] Он дал мне почувствовать, что не исключает подобного исхода...»

Когда же собеседник попросил его призвать к повиновению военное командование в Алжире, де Голль не преминул заметить ему, что «эта просьба лучше всего демонстрирует, какой выбор стоит перед республикой». Отсюда и вывод, какой извлек генерал из ночной встречи в парке, где еще живы воспоминания о Брюмере: «Мы сердечно распрощались, и на заре я возвратился к себе, убежденный, что Пьер Пфлимлен вскоре примет решение, которое я подсказал ему этой ночью».

По версиям, исходящим от сотрудников главы правительства, ничто в словах их шефа не давало оснований предполагать подобное «решение». Если оно и могло быть принято Пфлимленом, то лишь после публичного осуждения де Голлем операций в Алжире и на Корсике.

По информации Ги Молле, полученной от самого Пфлимлена после возвращения из Сен-Клу и переданной Жюлю Моку,¹ де Голль дал понять своему собеседнику, что он «осуждает и презирает» людей из Аяччо. Но выступит он против них, только если режим поручит ему роль «арбитра», то есть уступит ему место. А пока он предложил объяснить свою позицию представителям всех «национальных» партий. <...>

Итак, все уперлось в обсуждение операций в Алжире и Аяччо. Выходит, несогласие? Председатель правительства предложил опубликовать коммюнике с изложением позиций обеих сторон. Генерал счел, что такое коммюнике рискует встревожить общественное мнение, и предложил просто отметить, что соглашение пока не достигнуто, после чего собеседники расстались, пообещав друг другу встретиться снова... <...>

И тут-то Коннетабль² явил себя во всем своем величии и, как писал Ницше, по ту сторону добра и зла. Головокружительный манипулятор, смешивающий и спутывающий тексты, истины, позиции и отношения, он располагается на таком стратегическом уровне, до которого никому не дотянуться: использует угрозу, чтобы подавить любое сопротивление своему возврату к «делам», объявляет о своем приходе к власти, чтобы исключить угрозы.

Отныне это уже не «человек судьбы» — он тот, кто творит судьбу. Де Голль виртуозно использует обстоятельства, словно они нарочно скла-

¹ Мок Жюль (1893—1985) — социалист, министр внутренних дел в правительстве Пфлимлена.

² Коннетабль — прозвище де Голля, букв. главнокомандующий в средневековой Франции.

дываются в его пользу... Оливье Гишар, рассказывая о де Голле тех дней, пишет, что на него «снизошла благодать». И впрямь, следя за той поразительной серией манипуляций, можно было поверить в проявление гения, правда, не всегда ангельской натуры.

Возвратясь в Ла Буасери, Шарль де Голль тут же пишет текст, который после полудня будет распространен заботами его кабинета.

Текст потрясающий:

«Вчера я начал упорядоченный процесс с целью создания республиканского правительства, способного обеспечить целостность и независимость страны.

Я надеюсь, что процесс этот будет продолжаться и страна с присущим ей спокойствием и достоинством увидит его желанное завершение.

В этих условиях любая акция, угрожающая общественному порядку, кем бы она ни была предпринята, грозит тяжелейшими последствиями. В нынешних обстоятельствах я не смогу одобрить ее.

Надеюсь, что сухопутные, военно-морские и военно-воздушные части, находящиеся в Алжире, будут примерным образом исполнять приказы своих командующих — генерала Салана, адмирала Обуано и генерала Жуо.

Выражаю свое доверие этим командующим и желание установить с ними контакт».

Автор «Военных мемуаров», возвратясь впоследствии к этому тексту, снабдил его саркастическим комментарием насчет вопросов, которые задавали «авгурь из кулуаров Бурбонского дворца и редакций газет... по поводу того, каким может быть этот „упорядоченный процесс“, начатый ради моего прихода к власти». Разумеется, подобные проблемы не заслуживают ни малейшего внимания этого великого человека. Но что же Пьер Пфлимлен? Приходило ли де Голлю в голову, до какой степени тот возмущен? Можно представить себе, с каким изумлением председатель совета министров читал этот текст. Упорядоченный процесс, то есть тайная встреча, завершившаяся несогласием по всем пунктам? Но, как через несколько месяцев напишет Эмманюэль д'Астье, «г-н Пфлимлен человек не того кроя, чтобы назвать Великого Визионера лжецом».

К тому же президент Коти умоляет главу правительства не давать никаких опровержений: в коммюнике генерала он видит только два последних абзаца, а абзацы эти выглядят как давно ожидавшийся от де Голля решительный жест — вето на проведение военной операции, которую все — от Елисейского до Матиньонского дворца — считают неизбежной. Комментарий Жюля Мока: «<...>Почему это коммюнике появилось в двенадцать двадцать пять, то есть спустя семь часов после возвращения в Коломбе, а не сразу после расставания с Пфлимленом? Ведь в этот момент де Голль рассматривал возможности других тайных встреч... *Вывод:* что-то произошло в Коломбе между пятью и двенадцатью часами. Но что? Я вдруг подумал об информации, полученной Плевеном от одного иностранного генерального консула в Алжире... Должно быть, в это время де Голль тоже получил ее, и она подтолкнула его к действию».

Что же это за информация, полученная от иностранного консула в Алжире? Да вот она: «Окружение Массю планирует высадку во Франции на 28 мая» (то есть на завтра). И теперь нам следует описать и оценить операцию «Возрождение».

«Возрождение»? Ранним утром 18 мая на Юго-Западе приземлились майор Витас и капитан Ламульят, офицеры штаба Массю. Им была поручена секретная миссия произвести количественную оценку и координацию действий частей, готовых в метрополии принять участие в ускорении или поддержке того, что пока еще не получило названия «упорядоченный процесс». Витас снабжен приказом, который подписан генералами Саланом, Жуо и Массю.

Задача операции? Генерал Массю, бывший ее автором и разработчиком, определил ее так: «Поднять население Парижа на марш в направлении Елисейских полей и Бурбонского дворца и отвлечь от авиатранспортных средств, приземляющихся в Бурже и Виллакубле. Добиться с помощью массовой демонстрации падения нынешнего правительства и образования вместо него республиканского правительства общественного спасения под председательством генерала де Голля. И наконец, — добавляет Массю, — операция обязательно должна сохранить главнейшие черты, характеризовавшие события 13 мая в Алжире.

— Речь не идет о военном перевороте.

— Речь не идет о восстании...»

Великолепное уточнение! А генерал Жуо, со своей стороны, объясняет: «Два полка алжирских парашютистов и два соединения парашютистов, базирующихся на Юго-Западе метрополии, должны были соединиться в регионе Парижа с интервалом в несколько часов. При сообщничестве или попустительстве полиции и отрядов республиканской безопасности парашютисты должны были захватить мэрию, префектуру полиции, региональный центр почты, телеграфа и телефона, Эйфелеву башню, студии национального радио и телевидения, Национальную ассамблею, министерство иностранных дел, канцелярию председателя совета министров, главное управление почты, телеграфа и телефона... Мы надеялись, что эта военная прогулка обойдется без кровопролития». <...>

У генерала Массю не было ни малейших сомнений в том, что генерал де Голль одобряет план «Возрождение». «В этом смысле мы ничуть не беспокоились, — пишет он, — так как улица Сольферино дала полнейшее согласие через г. Фокара, технического советника генерала с 1943 г., Лефранка и Ла Малена, помощника Мишеля Дебре».

Первый вопрос: переброска военных частей в Париж. Ответственный за нее генерал де Ранкур, бывший участником «Свободной Франции», а впоследствии ставший главой военного кабинета генерала де Голля. Поддерживая контакт с Витасом, Ранкур тотчас же запросил мнение окружения де Голля: он ничего не будет делать без особого согласия Коломбе. По свидетельству генерала Жуо, Ранкур получил на улице Сольферино, где встречался с Дебре и ближайшими сотрудниками генерала, «полное согласие», из чего «заклучил, что де Голль к «Возрождению» относится с одобрением».

Майор Витас, прибывший в Париж 21 мая, если верить его «Путевому журналу», в 10 часов был принят на улице Сольферино г.г. Фокаром и Лефранком и получил «полное согласие» на осуществление «взаимодействия». Но это опровергает Пьер Лефранк. В книге «С тем, кого вы знаете» он уточняет, что только 24 мая в квартире неподалеку от Валь-да-Грас они с Жаком Фокаром имели встречу «с майором Витасом, посланцем главного штаба Алжира, для уточнения деталей операции «Возрождение», то есть переброски в Париж нескольких батальонов парашютистов. Мы с трудом сумели дать ему понять, что нам эта операция представляется ненужной и опасной. Он покинул нас обескураженный и убежденный, что встречался с саботажниками».

<...>А у генерала Жуо 28 мая в Алжире была встреча с Жаком Сустелем, который передал командующим родов войск в Алжире письмо, где Мишель Дебре определяет три ситуации, когда мог бы быть приведен в действие план «Возрождение»:

«Де Голль не может получить в парламенте поручение сформировать правительство.

Де Голлю, сформировавшему правительство, необходима, чтобы удержаться у власти, военная поддержка.

Коммунистический переворот, представляющий угрозу для республики и требующий использования армии для его подавления».

Перспективы, которые, по словам Жуо, вызывали живейшее неприятие со стороны Салана, не слишком склонного переходить к действию и вообще считавшего, что план плохо продуман.

Но что обо всем этом думал сам Шарль де Голль, объявивший об «упорядоченном процессе» и о своей приверженности «республиканскому правлению»? Дебре, Фокар, Дельбек, Сустьель — особенно последний — это все-таки не де Голль. Чего на самом деле хочет сам де Голль? Салан в Алжире теряется в догадках. И вот 28 мая, в тот самый день, когда он приходит к выводу, что голлисты слишком упорно напирают на него, он получает разъяснение: начальник его главного штаба генерал Дюлак принят в Ла Буассери.

Поездка законная во всех отношениях, уточняет Оливье Гишар. Причем по просьбе де Голля, который таким образом включается в акцию, поскольку если бы он действительно хотел запретить ее в самом зародыше, ему вполне хватило бы совершенно определенного послания: во-первых, Салану и, во-вторых, Дельбеку. Так что генерал Дюлак прибывает в Ла Буассери, имея на руках приказ по всей форме о своей миссии, подписанный командующим армией генералом Лорийо, и с разрешения министра Пьера де Шевинье. Но хотя поездка происходит по всем правилам — республика выдает необходимые распоряжения, разрешающие эту миссию, с целью изучить возможности низвержения этой самой республики! — принимающая сторона будет не слишком придерживаться традиций.

Дюлак, сопровождаемый полковниками Лабордери и Делашналем и майором Мушонне, ночью вылетел из Алжира, и в 6 утра 28 мая его встретили на аэродроме Виллакубле представитель генерала Лорийо и полковник Бонваль. «Удар будет нанесен завтра ночью», — услышал он (не уточняя, от кого). В ответ Дюлак объявляет, что он здесь для того, чтобы собрать полный комплекс информации, которая позволит генералу Салану (а свои предубеждения к готовящейся операции он не скрывает) принять решение. Затем он отправляется на машине в Коломбе.

В Ла Буассери он прибывает без нескольких минут десять. Де Голль «сердечно» встретил визитеров и, проведя Дюлака к себе в кабинет, сразу же начал расспрашивать, какова сила главнокомандующего войсками, находящимися в Алжире. «Он действительно хозяин?.. Ему действительно подчиняются?..» Де Голль, не таясь, пытается выведать, не дергает ли в Алжире за веревочку кто-то, кого он не сможет контролировать (Сустьель? Сериньи? Крайне правые?). Дюлак успокаивает его, заверяя, что Салан умело лавирует между комитетами общественного спасения и «некоторыми парашютистами, более или менее осознанно стоящими на позициях неофашизма».

И тогда де Голль, переходя к весьма бурно текущим событиям, берет быка за рога: «Социалисты не желают де Голля. Итак, что в этом случае делаете вы?» Трудно придумать более прямой, скажем даже, более недвусмысленный вопрос. Неприятно пораженный Дюлак принимается самым подробным образом излагать де Голлю план операции «Возрождение».

«Средства, изначально предусмотренные для этой цели, ему показались недостаточными, — продолжает визитер. — Он так и сказал мне. Затем осведомился, когда — по плану — прибудет генерал Салан. Я ответил, что генерал Салан прибудет вместе с генералом Массю с первым эшелом парашютистов. И тут он объяснил мне: „Я не хочу появляться сразу, чтобы не выглядело так, будто я пришел к власти только в результате этой силовой акции. Я хочу, чтобы через несколько дней меня как единственно возможного арбитра призвали — причем все — взять управление страной в свои руки и спасти ее от бессмысленного раскола. Необходимо, чтобы я явился как человек, несущий примирение, а не как глава одной из противостоящих группировок“».

Прежде чем расстаться с визитером, де Голль расспросил его об Алжире: «„Что за программа привела алжирцев к согласию и заставляет их каждый день собираться на Форуме или на городских площадях?“ — „Интеграция“, — ответил я ему. „Господин де Сериньи тоже за интеграцию?“ — „Да, господин генерал“. И тогда он мне сказал: „Они болтают, а я буду действовать“. <...>

«Вернувшись к плану «Возрождение» и повторив его в основных чертах, — продолжает Дюлак, — он прямо-таки торжественным тоном заключил: «Было бы во всех отношениях желательно, чтобы мое возвращение к делам произошло путем процесса...» После чего встал и уже у дверей сказал мне: «Надо спасти лавочку! [...] Передайте генералу Салану: все, что он сделал, и все, что сделает, будет для блага Франции».

Таким образом, — завершает Дюлак, — генерал Салан получил зеленый свет начинать либо не начинать операцию».

Но что за сбой произошел после великолепного блефа, который 27 мая, казалось, бросил систему к ногам де Голля? Фракция социалистов в Национальной ассамблее крайне скверно отреагировала на коммюнике относительно «упорядоченного процесса». Вечером того же 27 мая она 117 головами против 3 высказалась за неприемлемость «кандидатуры» генерала де Голля, которую сочла «вызовом республиканской законности». Все выглядело так, будто парламентское вето окончательно и непреодолимо, а окольные демарши Ги Молле обречены на неудачу. Прочитав постановление социалистов, разъяренный де Голль потребовал присылки эмиссара из Алжира — им стал Дюлак. Итак, все суетятся, полная неразбериха. А парашютисты в Алжире и на базе Мон-де-Марсан уже застегивают ремни.

Парламент уперся, армия готова выступить — никогда еще страна не испытывала такой жгучей необходимости в арбитра. Но, как мы видели, арбитр этот — единственно возможный — был склонен играть на двух столах и притом большую игру!

28 мая режим сподобился на несколько вспышек активности: Пфлимлен провел через палату депутатов (408 голосов против 166) проект поправки к конституции, предусматривающей усиление исполнительной власти, затем собрал кабинет министров, на заседании которого главным событием стало драматическое выступление Плевена, заявившего о бессмысленности нынешней власти, властью не обладающей; это было очевидно всем, и Пфлимлен сделал вывод из этой очевидности, заявив о своей отставке Рене Коти.

От площади Нации до площади Республики во второй половине дня прокатилась демонстрация «в защиту республики», в которой участвовали от ста пятидесяти до двухсот тысяч человек; возглавлял ее социалист Альбер Газье, министр информации, единственный член правительства, участвовавший в ней; правда, рядом с ним шагали Пьер Мендес Франс, Франсуа Миттеран, Эдуар Даладьё, Андре Филипп и коммунистический лидер Вальдек-Роше. В качестве лозунга (не особенно агрессивного, словно бы даже проникнутого смирением) организаторы выбрали «Де Голля — в музей!». О чем думали мы, шагавшие в рядах демонстрации, в тот миг, когда над Средиземным морем летел самолет с генералом Дюлаком, увозившим в Алжир приказ «Спасать лавочку!»?

Но вето социалистов — понятие растяжимое. Ведь именно в рядах соцпартии будет предпринята попытка посредничества — со стороны Венсана Ориоля и Ги Молле, — посредничества, которое на первых порах заблокирует процесс. Короче говоря, в рядах той самой фракции, которая станет последним препятствием поручению Шарлю де Голлю сформировать правительство и которая выдвинет в качестве посредника председателя Национального собрания Андре Ле Троке.

Быть может, Рене Коти, в советчиках у которого был Жюль Мок, подумывал о двуглавой схеме Ориоль — де Голь? Он поручил своему предшественнику отправиться в Коломбе в поисках формулы выдвижения де Голля кандидатом на пост главы правительства. Но Ориоль пока выживает. Тогда глава государства добивается от де Голля, чтобы тот в очередной раз отправился на переговоры относительно «процесса» со вторым и третьим лицами в государственной иерархии — председателем Совета республики Гастоном Моннервилем и председателем Национального собрания

Андре Ле Троке. Местом тайной встречи опять выбран тот же дом в Сен-Клу, да и время назначено то же самое — полночь.

Совещание оказалось не более плодотворным, чем предыдущее 26 мая. Моннервиля, склонный к соглашательству, пытается заставить генерала пойти на уступки в его требованиях, суть которых — вся полнота власти и роспуск парламента на год; отказ нового главы правительства предстать палате депутатов; новая конституция, выносимая на референдум. По мнению Моннервиля, можно бы прийти к соглашению по первому пункту, сократив срок до полугода. Но Ле Троке отменяет все полностью, разглагольствует о диктатуре, о плебисците. Вот что пишет Жюль Мок, передавая то, что рассказал ему его друг на следующий день после встречи в Сен-Клу: «Ле Троке [...] вообразил, будто Коти объявит, что не в состоянии исполнять свои обязанности. Тогда, в соответствии со статьей 41 конституции, он, Ле Троке, становится временным президентом республики. Он уже видел себя в этой роли и прикидывал фамилии возможных председателей кабинета министров».

Неизвестно, действительно ли он ласкал себя столь смехотворными амбициями, но, прежде чем расстаться, Коннетабль произнес грозные слова: «Что ж [...] если парламент последует за вами, мне остается лишь оставить вас объясняться с парашютистами, а самому удалиться к себе в убежище и замкнуться в своей скорби».

Парашютисты? Де Голль не случайно вызвал их грозную тень. Он знает, что у него в руках молния. Ему и хочется, и колется... План операции «Возрождение» пересматривался, уточнялся, но теперь уже полностью готов. Выведенный из себя упрямством этого напыщенного болтуна, председательствующего в Национальном собрании, а также неподдельной приверженностью подлинных демократов к законности, де Голль и сейчас готов избежать худшего. <...>

Генерал Нико, уполномоченный начальниками штабов трех родов войск удостовериться, согласен ли де Голль начать операцию «Возрождение», 29 мая в 11 утра был принят на улице Сольферино г.г. Фокарон, Дебре, Лефранком и Гишаром.

«Эти господа, — написал генерал Нико, — вновь подтвердили мне, что генерал дает зеленый свет: „Можете начинать операцию“. Но я потребовал, чтобы в моем присутствии позвонили в Коломбе, поскольку не мог основываться на утверждениях весьма возбужденных людей. Созвониться с Ла Буассери удалось лишь в одиннадцать тридцать. Как мне помнится, Лефранк сообщил о сомнениях начальников штабов трех родов войск, которые готовы начать операцию, но принять решение намерены только по ясному и недвусмысленному указанию генерала. Разумеется, я не слышал, что говорили на том конце провода, потому что вторую трубку держал, если мне не изменяет память, Дебре, но в конце разговора Лефранк несколько раз повторил: „Да, господин генерал, хорошо, господин генерал, мое почтение, господин генерал“, — и, повернувшись ко мне и остальным, которые окружали его, сказал мне: „Генерал дает свое согласие на то, чтобы операцию начинать немедленно“».

Генерал Жуо дополняет: «...Генерал Нико немедленно отправился в министерство авиации доложить о решении де Голя генералу Желе, начальнику главного штаба военно-воздушных сил. Тот около трех дня позвонил мне в Алжир, чтобы изложить ситуацию и поставить в известность о решении начальников штабов начать операцию «Возрождение». Связь была с помехами, прерывалась. По моей просьбе мне направили телеграмму[...]:

«Париж 29 — 16 ч 10 м — генералу Жуо: «Подтверждение прервавшегося разговора с генералом Жуо — тчк — сообщите главнокомандующему и генералу Массю что генерал де Голль полностью согласен — тчк — Ждем эшелонированное прибытие ваших частей с 2 ч 30 м 30 мая 1958 — тчк — Части из метрополии придут на место прежде вас — тчк — Никакие изменения не предусмотрены — тчк — Срочно подтвердите ваше согласие генералу Пюже — тчк — Дед — Конец».

Параллельно генерал Желе отдал генералу Ранкуру приказ отправить транспортные самолеты на Юго-Запад. Приказ был выполнен, и уже в пятнадцать тридцать шесть «Дакот» поднялись в воздух: *началась операция «Возрождение»*.

Однако начальники штабов, узнав, что президент Коти вечером примет генерала де Голля, чтобы вручить ему власть, отменили начатую операцию. Я получил следующую телеграмму: «Генералу Жуо — президент республики примет Большого Шарля, назначенная операция откладывается». <...>

Г-н Пьер Лефранк, не ставя под сомнение искренность генерала Нико, утверждает, со своей стороны, что телефонного звонка, о котором тот рассказывает, не было. <...>

«29 мая, — пишет г-н Лефранк, — игра уже была сыграна. И дурное настроение г-на Ле Троке уже не могло заблокировать «процесс», начатый 27 мая. В тот день де Голль публично объявил о своем решении ни в коей мере не зависеть от вмешательства военных, о чем, кстати, он неоднократно нам говорил ранее. В тот день так называемый план «Возрождение» был отринут. Разумеется, угроза его сыграла свою роль. Возможно, не будь такой угрозы, Национальное собрание вряд ли смирилось бы. Но гипотеза военного вмешательства была отвергнута с самого начала и уж тем паче в период, о котором вспоминает генерал Нико. Что, правда, не означает, что среди нас не было сторонников использования военной силы, и споры с ними порой становились весьма жаркими».

Приняв в тот вечер Большого Шарля, Рене Коти открыл путь куда более мирному возрождению.

Поздним утром 29 мая, когда между улицей Сольферино и Ла Буассери шел телефонный разговор, о котором впоследствии рассказал генерал Нико, глава государства, чувствуя, что страшная угроза может стать реальностью, заявил, что в пятнадцать часов он направляет «послание обеим палатам»; то была конституционная процедура, правда, давно не применявшаяся. Послание было зачитано председателем Национального собрания и, как пишет Жюль Мок, «вызвало самую разную реакцию».

О чем же оповещал г-н Коти? О том, что в момент, когда страна стоит «на грани гражданской войны», он обратился к «самому прославленному французу, к тому, кто в самые мрачные годы нашей истории вел нас к обретению свободы и [...], отвергнув диктатуру, возродил республику». Президент предложил генералу де Голлю обсудить с ним вопросы формирования «правительства национального спасения» и «глубокой реформы наших институтов». Закljučая послание, президент республики заявил, что в случае неудачи он вынужден будет сложить с себя свои полномочия.

Шарль де Голль, как говорят военные, «сообщение принял». Отказавшись от «Возрождения» со всей его парадностью и риском, он срочно выехал из Коломбе и в половине восьмого вечера вошел в Елисейский дворец. Встреча продолжалась час, и рассказ де Голля о ней достоин того, чтобы его процитировать.

«Рене Коти, с трудом сдерживающий волнение, встретил меня на крыльце. Оставшись один на один в его кабинете, мы очень быстро пришли к взаимопониманию. Он принял мой план... Я согласился на то, чтобы 1 июня поручение сформировать правительство мне дало Национальное собрание, где я прочту краткую декларацию, но не буду участвовать в дебатах. Мы расстались, окруженные толпой обезумевших журналистов и восторженных любопытных, которые заполнили весь парк...»

Да, договоренность была достигнута стремительно. Но де Голль сумел уступить в двух пунктах: всю полноту власти он получает сроком на полгода, а не на год (о чем он в большей или меньшей степени успел договориться 27 мая с Моннервилем), и предстанет перед Национальным собранием; в течение нескольких недель он, вопреки настояниям Гишара, делал вид, будто категорически не приемлет этого, приберегая в качестве уступ-

ки для последнего торга, о чем он и объявил в опубликованном вечером коммюнике:

«События торопят нас, поскольку вот-вот могут обернуться трагедией. Налицо настоятельная необходимость срочно возродить национальное единство, восстановить порядок в государстве и поднять институты общественной власти до уровня их задач».

Текст этот показался «приемлемым» даже такому решительному противнику генерала, как Жюль Мок, который, констатировав «пассивность» населения, решился голосовать за то, чтобы поручить де Голлю формирование правительства, сочтя это «наименьшим злом».

День 30 мая, пишет генерал-победитель, «был использован партиями для того, чтобы подготовиться к изъяснению покорности». Прелестная формулировка — и справедливая. А в Коломбе прямо-таки парад визитеров: после маршала Жуэна, пришедшего сказать своему однокашнику по Сен-Сиру, что вся армия за него, явился Венсан Ориоль, полностью покоренный последним письмом генерала (письмо и впрямь прекрасное, и кончается оно так: «...те же, кто из непостижимых для меня сектантских соображений воспрепятствуют мне еще раз выгнать республику из беды, возьмут на себя тяжелейшую ответственность. Мне же останется до конца жизни замкнуться в печали»), явился к бывшему председателю РПФ, потрясенный его призывом к доверию, чтобы заключить с ним мир. «Да разве я смог бы, — сказал ему де Голль, — тем более сейчас, встать во главе мятежа?» Бывший президент республики, пока еще не слишком информированный насчет шараханий и метаний в подготовке операции «Возрождение», не оценил мрачного юмора этого заклинания в момент, когда только-только стихло бряцанье оружием.

Потом прибыл Ги Молле<...>. Секретарь социалистической партии, чрезвычайно обрадованный тем, что находится здесь, тем не менее задал несколько нескромных вопросов, касающихся связей де Голя с алжирскими военными. Тот ответил: «И вы можете представить себе де Голя, управляющего страной под надзором выходящих вокруг него генералов!» Потом он заговорил о своих планах установления федеративных отношений с Алжиром и африканскими колониями... Ги Молле был покорен. Возвратясь вечером, он поведал свои впечатления Жюлю Моку: «Эта встреча стала одним из величайших событий в моей жизни. Он — великий человек, безмерно великий[...] Он не рвется к власти, но безропотно принимает ее, несмотря на пошатнувшееся здоровье и сильную усталость. Он героически идет на это испытание...»

Героически? Не смеем сомневаться. И это вовсе не тот пункт, на котором можно поймать этого человека. В 67 лет, огрузивший, с тяжелой походкой и усталым взглядом, он за две недели вынесет без малейших признаков утомления дюжину челночных рейдов между Коломбе и Парижем, будет воевать с оппонентами, очаровывать противников, манипулировать, словно марионетками, генералами, воинствующими активистами и министрами; одних высмеивать, других сражать, играть с огнем, не говоря уже о порохе, уничтожит республику во имя Республики, сделает из Средиземного моря некий смехотворный ров, сперва углубив его, а затем засыпав в соответствии со своими тактическими замыслами, и выйдет на арену не без некоторых опасений, хотя за эти недели он доказал себе свою физическую и интеллектуальную бодрость. Не без опасений, но зато с какой яростной жаждой победить! Двенадцать лет внутреннего изгнания... Двенадцать лет ожидания, грубого отвержения, иллюзорных полупроходов и подлинных поражений... Да, это требует большого, блистательного, неподдельного реванша. Теперь французы узнают, что ими правят. <...>

Итак, по сути дела государственный переворот? И впрямь оставалось совсем немного до того момента, когда Салану под давлением нескольких неколебимых сторонников незамедлительного «спасения лавочки» пришлось бы «сделать все необходимое... для блага Франции». Да, конечно,

приказ об отмене операции «Возрождение» пришел 29 мая вовремя, но на самом пределе. И целый ряд наиболее информированных генералов (например, Дролак, Нико, Жуо, Салан, Тринкье) утверждают, что на многих тогдашних совещаниях, где шла речь о вмешательстве парашютистов, именно голлисты, в частности Дельбек в Алжире и Дебре в Париже, яростней всех требовали переходить к прямой военной акции.

Во французском праве нет понятия «гипотетическое преступление». Приговор выносится только за действительное нарушение закона. Парашютистов не бросили на Париж. IV Республика была ликвидирована без боя и без сопротивления. <...> Слои политиков, единственный, по-видимому, кто был заинтересован в сохранении системы, практически не нашел в «пассивной» стране защитников, но он не капитулировал под ударами центурионов, а уступил угрозам и давлению. Пьер Мендес-Франс с полным правом сможет сказать: «Государственного переворота не было только потому, что парламент покорился».

Нет, Шарль де Голль отнюдь не был привезен «в обозе Массю». Он следовал «упорядоченному процессу» или почти следовал. Но великий этот человек, в ту пору весьма возбужденный, можно даже сказать, опьяненный близостью власти и словно бы позволивший себе по причине бедственного положения отечества безразличие к любым законам, играл таким количеством карт, что некоторые из них оказались краплеными.

Так что пришла пора поставить три неизбежных вопроса:

— Умерла ли IV Республика естественной смертью, после чего генералу де Голлю ничего не оставалось, кроме как заполнить в каком-то смысле образовавшуюся политическую и институциональную пустоту?

— Если было военное давление, с тем чтобы прикончить умирающую республику, то знал ли об этом де Голль?

— Зная о военном давлении, приложил ли генерал руку к этому эффективному способу «умерщвления»?

— На первый вопрос ответ будет «нет». Вмешательства разного рода безусловно ускорили кончину IV Республики.

— На второй вопрос — «да». Генерал был в курсе операции «Возрождение», а уж 28 мая о ней ему было точно известно.

— На третий вопрос, вероятней всего, стоит ответить «да». Не следует, разумеется, безоговорочно верить свидетельствам обеих сторон, особенно тех лиц, кто, оказавшись жертвами игры де Голля, озлобился на него. Но телеграмма от 29 мая, процитированная генералом Жуо, станет, похоже, при ответе решающим фактором.

Итак, можно ли с уверенностью уподобить 13 мая брюмеру? В интересной телевизионной передаче 19 января 1985 г., посвященной событиям 13 мая в Алжире и их последствиям, <...> полковник Тринкье, автор книги, пытающейся доказать, будто «революция 13 мая», в которой он был одним из главных действующих лиц, была присвоена голлистами и трансформирована ими в государственный переворот, навязавший французам де Голля, уверял, что его Третий парашютный полк готовился тогда высадиться в Париже и «выкурить из Бурбонского дворца его обитателей». Вне всяких сомнений, множество французов предпочтут такой «революции» «государственный переворот», подготовленный Дельбеком и введенный в рамки де Голлем...

Аргументы «за» и «против» незаконности этой власти уравниваются в бесконечности. И все-таки получается, что режим, возникший из беспорядка, упорядоченного великим стратегом, был сразу же признан большинством граждан страны и международным сообществом.

Один из ближайших сотрудников генерала, ставший впоследствии председателем совета министров, ответил журналисту, который упирал на весьма сомнительные события последних дней мая: «Да посмотрите на состав правительства: господи Молле, Пине, Пфлимлен, Жакино... Тоже мне мятежники, выдвинувшиеся благодаря государственному перевороту!»

Выслушаем также Пьера Гийена де Бенувиля, одного из тех, кто действовал наиболее дерзко, подготавливая возвращение Коннетабля: «То, что сейчас вам представляется военной операцией, на самом деле по сути было гигантской военной хитростью, блефом. Если бы мы и вправду организовали заговор, то уж поверьте, при нашем опыте конспирации действовали бы совершенно иначе... Вас нисколько не удивляло, что обо всех тогдашних демаршах тут же становилось известно? Когда хотят нанести удар, шума не поднимают! Мы тогда действовали так, чтобы оказать не военное, а психологическое давление!»

Довод убедительный. Во всяком случае, куда лучше, чем тот, который в ответ на мой вопрос привел в январе 1985 г. г-н Мишель Дебре. На мои слова, что он как юрист и государственный советник должен был бы испытывать угрызения совести из-за методов, использовавшихся его сторонниками в мае 1958 г., первый глава правительства V Республики, который в ту пору ближе всех был к генералу де Голлю и которому не терпелось действовать и осуществить операцию «Возрождение», ответил: «Государственный переворот? Но это не мы совершили его, а IV Республика! Установив при выборах систему блоков, третья сила растоптала законность, отняв у генерала возможность прийти к власти легальным путем. Отечество было в опасности, законность в небрежении. Нам ничего не оставалось, кроме как ответить на нападение...»

Куда убедительнее мнение, высказанное мне Гастоном Палевским за несколько недель до его кончины<...>: «Противозаконность? Захват власти? А представьте-ка себе, что генерал де Голль перед маем 1958 года исчез или замкнулся у себя в Ла Буассери. Было бы подавлено (кем?) восстание в Алжире против правительства Пфлимлена? Ни Жюль Мок, ни Шевинье не смогли бы защитить Париж от «Возрождения». Вам остался бы выбор между квартетом Сустель—Бидо—Дюше—Морис и трио Салан—Массю—Тринкье...»

Следует констатировать, что если некоторые из решительных демократов, к примеру Пьер Мендес-Франс, отказались присоединиться к правительству де Голля, то большинство из тех, кто до 28 мая пытался во имя республиканской законности противостоять голлистскому движению — Пьер Пфлимлен и особенно Жюль Мок, — проголосовали за де Голля. Неясность, реальности, гражданский мир...

В завершение примем во внимание три попытки синтеза. Мнение Анри Гийемена, не слишком склонного к конформизму: «Стратегия де Голля состояла в том, чтобы одурачить и слой политиков, напугав его насилием, которое никак не входило в его планы, но использовалось в качестве блефа, и военных, заставив их поверить, будто он их человек...»

Мнение верного Франсуа Флоика, который до конца останется маршалом Бертраном¹ Коннетабля: «Де Голль преобразовал государственный переворот в V Республику». И довольно кислое — Жана Шовеля: «Все свободы оказались под угрозой, де Голль предоставил возможность спасти хотя бы некоторые...» Если уж говорить честно, почти все...

Можно ли сделать из этого вывод, что если цель не оправдывает средства, то и средства не способны опорочить цель?

«ЧЕСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ...»

<...>Уверившись в успехе, генерал де Голль желал соблюсти все классические формы законности. 29 мая он сделал Рене Коти две уступки: согласился представиться Национальному собранию (но только для того,

¹ Бертран Анри Грасиап (1773—1844) — маршал, один из вернейших приверженцев Наполеона I, последовал за ним на о. Святой Елены.

чтобы прочесть декларацию, а не для участия в дебатах), а перед этим принять председателей парламентских групп. Правда, при этом он нахмурился и бросил: «Хорошо. Но только всех разом».

И вот 31 мая, на девятнадцатый день кризиса, который чуть было не оставил Францию на грань гражданской войны, накануне утверждения генерала де Голля главой правительства (он уже мог рассчитывать на 310 голосов, что обеспечивало его назначение) несколько десятков человек — обеспокоенных, встревоженных — стояли у дверей и в холле особняка Лаперуз. <...> В пятнадцать часов им объявили, что генерал ждет их. <...>

Вот заметки об этой встрече Роже Дюво, председателя группы Демократическо-социалистического союза сопротивления:

«...Генерал обратился к г-ну Даладье, который сидел неподалеку от него, облокотясь на маленький столик: «Господин Даладье, у вас есть что сказать?» — «Только то, господин генерал, — отвечал Даладье, — что вам уже говорили мои друзья...» Генерал тут же прервал его: «То, что говорили ваши друзья, господин председатель, я прекрасно помню».

Следующим был Антуан Пине. Он выразил беспокойство по поводу планов генерала относительно договоренностей: «Вы хотите их переделать? Но в каком направлении?» — «В направлении улучшения, дорогой господин председатель!» И генерал перешел к следующему.

Им был Ги Молле. Он задал вопрос об Общем рынке. «Общий рынок — превосходная вещь, дорогой господин председатель, — отвечал генерал, — но я нахожу его, скажем так, несколько узким. Мы поглядим! Поглядим!»

Затем был Миттеран. «Господин генерал, вы находитесь здесь благодаря стечению не совсем обычных обстоятельств. Но вас могло бы тут и не быть. Вы могли бы не родиться либо умереть прежде этих событий». — «Миттеран, что вы имеете в виду? — удивился де Голль. — Объяснитесь!» — «Господин генерал, с недавних пор мы вступили в непривычный и опасный период военных переворотов, до сих пор присущих лишь южно-американским республикам. По-вашему, господин генерал, у нас, чтобы противостоять подобным трагедиям, способным погубить Францию, имеется лишь одно средство: вы. Но вы смертны...» — «Я понял, к чему вы клоните, — прервал его де Голль. — Вы желаете моей смерти. Что ж, я готов!» <...>

По рассказу другого участника этой встречи, генерал пустил стрелу в своего оппонента: «Вы, господин Миттеран, политик. И это превосходно. Нужно быть политиком. Но в некоторых обстоятельствах политик должен уметь подняться до уровня государственного деятеля». <...> Вопрос же одного из участников, который хотел знать, насколько тесным будет союз алжирских деятелей с новой властью, де Голль кратко парировал: «Неужто вы меня видите в должности председателя Комитета общественного спасения?»

Де Голль в хорошей форме и в хорошем настроении. Настолько хорошо, что сформированное им правительство можно расценивать как, в определенной мере, хвалу IV Республике. Видывали ли когда-нибудь победителя, который с таким удовольствием облачался бы в лохмотья тех, кого принудил к безоговорочной сдаче? <...> В состав правительства включены лишь три активных голлиста — Мишель Дебре, Андре Мальро и Эдмон Мишель. Нет, это кабинет, не столько порывающий с предшествовавшей системой, сколько продолжающий ее. По многим признакам мы тут гораздо ближе к почившей в Бозе республике, чем к власти, какую намеревались создать мятежники 13 мая.

И вот настало первое июня. Это воскресенье. Двадцать три часа двадцать минут. В Бурбонском дворце депутаты на заседании принимают де Голля, который не появлялся здесь после 6 января 1946 г. <...>

Можно ли считать, что партия заранее выиграна? По двум из трех поставленных вопросов — да. Парламент без труда предоставит де Голлю «специальные полномочия», какие были даны двумя годами раньше (причем

при участии ФКП) Ги Молле. И полугодичный отпуск парламентариев уже обговорен и согласован. Но существует еще «учредительная власть» — какими бы гарантиями план де Голля ни окружал предложенную глубокую реформу.

У Национального собрания оставались два опасения. Одно можно было бы назвать «комплексом июля 1940 года».¹ Как бы значительны ни были отличия между двумя ситуациями и двумя планами, передача всей полноты власти харизматическому лидеру по самому своему характеру способна потрясти любого демократа. Второе касалось продолжительности порученной генералу миссии.

«На этот счет, — пишет Рене Ремон, — существовало большое расхождение между интересами парламентского большинства, а также общественным мнением и взглядами нового председателя совета министров. Общественное мнение прежде всего ждало, что он найдет приемлемую форму выхода из войны в Алжире. Политики объединились с ним, чтобы предотвратить последствия этой войны, в частности, угрозу, которой она подвергала демократию. А после, когда он исполнит эту свою миссию, ничто не помешает возвратиться к прежним методам.<...>». Именно этого хотел избежать новый глава правительства, реформируя институты власти. <...>

В «Мемуарах надежды» де Голль уверяет, будто он ощущал тогда, что парламент не враждебен к нему, как двадцать пять лет назад, а «испытывает напряженное любопытство и слушает с симпатией». <...>

Что же сказал он, чтобы получить согласие на формирование правительства? Несмотря на прерывистый, синкопированный ритм, который де Голль придал своей речи, это, пожалуй, один из наименее сильных текстов, с какими он выступил в те напряженные дни, да и ничего нового в нем генерал не сказал.

«Ускоряющееся разложение государства. Непосредственная угроза французскому единству. Алжир, погрузившийся в сумятицу испытаний и волнений. Заразившаяся от него Корсика. В метрополии движения противоположного толка, с каждым часом укрепляющие их неистовство и подталкивающие к действиям. Армия, которая долгое время с честью лила кровь, исполняя свой долг, но оскорбленная бездействием власти. Наши международные позиции, подорванные даже среди наших союзников. Таково положение страны. Именно сейчас, когда перед Францией открывается столько возможностей в самых разных отношениях, она оказывается под угрозой распада и, быть может, гражданской войны.

В этих условиях я решил еще раз попытаться повести страну, государство, республику и, после того как глава государства назначил меня, пришел просить Национальное собрание доверить мне исполнение этой тяжелой обязанности...

Чтобы принять ее, мне, безусловно и прежде всего, необходимо ваше доверие. Затем парламент без всякого промедления, поскольку события не позволяют нам медлить, должен будет проголосовать проекты законов, которые ему будут предложены. После их одобрения палаты разойдутся до той даты, на которую будет назначено открытие очередной сессии. Таким образом, правительство республики, облеченное доверием национальных представителей и получившее в срочном порядке возможность действовать, сможет поручиться за единство, неделимость и независимость Франции».

Парламент довольно холодно прореагировал на этот призыв, являвшийся по сути изложением голлистских тезисов. Оратор удалился, оставив парламентариев, как пишет он, дебатировать «для проформы». <...>

¹ В июле 1940 г. после поражения, нанесенного Франции Германией, вся полнота власти была передана маршалу Петену, который установил на не оккупированной немцами территории южной Франции коллаборационистский профашистский режим.

После длительного перерыва председатель Национального собрания Андре Ле Троке огласил результаты голосования:

Количество проголосовавших	553
За	329
Против	214

и заключил: «Собрание выразило доверие!»

Коммунисты, скандировавшие: «Фашисты! Фашисты!», закричали: «Долой диктатуру!» Но Морис Торез сделал им знак замолчать. Они отвели душу после окончания заседания, обзывая правых депутатов «шлюхами» и «подстилками».

2 июня многие министры заняли места на скамье правительства. <...> Собранию было предложено срочно проголосовать законопроект о обновлении закона об особом управлении Алжиром, закон о неограниченных полномочиях и об изменении Девяностой статьи конституции. <...>

Де Голлю тем более было необходимо показать свое господство над парламентом, что в Алжире крайне скверно восприняли состав правительства. Как! Пфлиммен, а не Сустель? Мы поднялись, чтобы прогнать одного и поставить другого, а де Голль поддерживает первого, а второго отвергает! Разумеется, полковник Лашруа, выражающий мнение армии, заявил: «Мы доверяем генералу де Голлю: когда врач выбран, не следует спорить с ним о методах лечения, которые он собрался применять...» Но по алжирскому радио кто-то провозгласил: «Первый этап... Мы с неизменной решительностью пойдем до конца!» <...>

Генерал де Голль появился в амфитеатре Бурбонского дворца около девяти часов вечера, когда третье заседание уже началось; шел он тяжелым шагом, лицо было хмурое. Смахивал на старого полковника, вынужденного навести порядок в квартале. Кто бы в тот миг мог предвидеть блистательное выступление, что произойдет чуть позже, ту «операцию оболешения, сменившую операцию возмущения», после которой Собрание окажется в полной его власти. <...>

Едва только докладчик от комиссии по голосованию объявил, что закон о неограниченных полномочиях принят, «г-н Шарль де Голль», как именовали его парламентские журналисты в своих отчетах, попросил и получил слово. Он импровизирует:

«Я констатировал, и этот факт больше всего меня поразил, что никто из членов Собрания не выступил с предложением сохранить нынешние институты в том виде, в каком они существуют.

Вне всяких сомнений, в разные моменты процесса существовало намерение либо высказывались намеки, какими могли бы быть подобные намерения, во всяком случае в том, что касается меня, но было и согласие, возможно, молчаливое, однако действенное, насчет необходимости пересмотра того, что есть.

Я убежден, что у вас существует также полное единодушие относительно невозможности в тех обстоятельствах, в каких мы находимся, и с Собранием, представляющим то, что оно представляет сейчас, провести подлинную реформу этих институтов.

Наконец, — это мое личное отношение, но, может быть, вы оцените его значение, — я отметил, что среди тех, кто критиковал предложения правительства, возможно, для того чтобы напомнить, что лично я могу сделать в этом трудном предприятии, были несколько человек, к которым, признаюсь в этом, я испытывал и продолжаю испытывать глубокую привязанность по множеству причин. В основном причины эти имеют отношение к прошлому, но я надеюсь, что таковые у меня сохранятся и в будущем (*аплодисменты слева, в центре, справа и на скамьях крайне правых*), так как я убежден, что если мы сумеем благодаря народу изменить институты республики, начиная с Национального собрания, то в большинстве своем, а возможно, и при полном единодушии, мы опять окажемся вместе...»

Но при всей медоточивости и сердечности генерал не намерен был оставлять иллюзий. Решительным, хотя и не повелительным тоном он добавил, касаясь бесчисленных поправок, представленных к его проекту многими членами Собрания:

«Дамы и господа, — я говорю это, взвешивая каждое слово, — правительство не может принять то, что предложено вами на рассмотрение вашей Комиссией по всеобщим выборам.

Обстоятельства таковы, что нет никакой возможности (моему правительству) взять на себя после этой ночи ответственность, если его попытаются принудить действовать по-другому. В таком случае оно сделает все необходимые выводы».

В «Мемуарах надежды» де Голль написал по поводу этого выступления, что он хотел «проявить благожелательность к Национальному собранию в его последние минуты». Так сказать, последнее причастие. <...>

У скамьи нового председателя совета министров чудовищная толчея. Кто только не желает быть представленным ему! Прямо-таки можно подумать, что это большой утренний прием короля. Каких только способов, хитростей, уловок не используют, чтобы пробиться поближе к победителю!

Кто уж тут рискнет вступить в поединок! Фехтмейстер готов превратиться в хормейстера. Но тут один за другим на трибуну выходят два депутата, которые уже объявили о своем намерении голосовать «за», но жаждут уточнений: один — насчет выборов будущего Собрания всеобщим голосованием; второй — относительно разграничений функций главы правительства и президента. Ах, милые, предупредительные парламентарии! Как вовремя они дали «г-ну Шарлю де Голлю» возможность не только для изложения своего символа веры, но и для смачной демонстрации единения с парламентом!

«Я несколько удивлен тем, что смогла возникнуть некая двусмысленность в отношении этих двух пунктов. Иначе возникло бы полнейшее противоречие со всем, что на протяжении всей своей жизни делали члены правительства, со здравым смыслом, а также с Республикой. (*Бурные аплодисменты в центре, справа, а также на многих скамьях левых и крайне правых.*)

Я не испытываю никакого смущения, говоря, что все, что будет сделано, и не только мной, но и правительством в сотрудничестве с консультативным комитетом, станет завершением построения Республики, ибо все, что я сделал, сделано для того, чтобы Республика продолжалась. (*Бурные, продолжительные аплодисменты на тех же скамьях.*) Будет ли существовать Национальное собрание, избранное всеобщим голосованием? Разумеется! И наилучшее доказательство тому — что для меня честь и удовольствие быть в этот вечер с вами. (*Смех и аплодисменты на тех же скамьях.*)

Господину Тейтжану я могу сказать, что наш текст содержит ответ на его вопрос: правительство ответственно перед парламентом, а это значит, что не может быть никакого президентского режима, что функции председателя совета министров не могут быть совмещены с функциями президента республики. Я с удовольствием уточняю это, поскольку таковое уточнение может быть полезным». (*Аплодисменты в центре, справа и на многих скамьях левых.*) <...>

И вот настало время заключительной речи, словно все заседание было лишь некой церемонией, имеющей целью подвести к тому моменту, когда, как во всех властных ритуалах, реальным властям предрежащим дается возможность выразить себя с помощью магии слов:

«Прежде чем состоится голосование, которое станет решающим для будущего республики, я хочу сказать следующее: вопрос состоит в том, чтобы знать, способна ли республика реформироваться или же она вступает в непредсказуемый период саморазрушения. Я обращаю ваше внимание

на то, что необходимо большинство как минимум в три пятых голосов. Если такое большинство не будет достигнуто, мы будем вынуждены в соответствии с конституцией провести референдум в крайне сжатые сроки.

В настоящее время подобная операция, предшествующая избирательной кампании, была бы неуместна. Она не изменит окончательного результата, но породит возбуждение в умах в связи с этим животрепещущим предметом. Добавлю, что если в результате голосования правительству будет выражено доверие, дабы оно смогло провести и добиться путем всеобщего голосования необходимых изменений наших институтов, я, обращающийся к вам, до конца жизни буду считать для себя это честью». (*Бурные продолжительные аплодисменты на скамьях центра, правых, крайне правых, а также на некоторых левых.*)

Вот и все. Месса кончена. Приступили к голосованию. <...>

Андре Ле Троке объявил, что по конституционному вопросу большинство в три пятых получено: за — 350 голосов, против — 161. Итак, закон принят. Вот его основные положения:

- всеобщие выборы являются источником законодательной и исполнительной власти;
- должно быть реальное разделение обеих властей, с тем чтобы правительство и парламент осуществляли, каждый в своей части и в рамках возложенной на него ответственности, всю полноту своих полномочий;
- правительство должно быть ответственно перед парламентом;
- судебная власть должна остаться независимой, чтобы иметь возможность обеспечить соблюдение основных свобод, как они определены преамбулой к Конституции 1946 г. и Декларацией прав человека;
- Конституция должна обеспечить установление связей Республики с присоединившимися к ней народами;
- для вынесения проекта правительство запрашивает мнение Консультативного комитета, в котором заседают члены парламента, назначенные компетентными комиссиями Национального собрания и Совета республики;
- законопроект, принятый советом министров, после одобрения Государственным советом выносится на референдум.

Заседание было закрыто в час 3 июня 1958 г. Когда генерал де Голль покидал скамью правительства, многочисленные депутаты — правые, центристы и даже некоторые левые, — стоя, аплодировали ему. Коммунисты хранили молчание, однако, покидая зал заседаний, стали кричать «фашисты!» зрителям, выразившим бурный восторг. <...>

Утром во вторник 3 июня генерал предстал перед Советом республики, где в понедельник уже обсудили два первых законопроекта. Проект его встретил оппозицию лишь у коммунистов да у весьма малочисленной части социалистов. Генерал заявил, что «правительство будет сотрудничать со всеми советами, которые признаны законными и предусмотрены проектом. Основные принципы, — уточнил он, — вам известны. И по духу и по букве они те же, на каких основывались в этой стране демократические и республиканские институты. Однако необходимо прибегнуть к арбитражу того, кто является источником верховной власти, то есть народа».

Перед закрытием заседания председатель Гастон Моннервиль объявил, что проект принят 236 голосами против 30.

IV Республика сошла в могилу без особого сопротивления. Не слишком громкий топот солдатских сапог за кулисами, кое-какие переговоры и торги на поверхности, кое-какие манипуляции, сокрытые от дневного света, отдаленный гром, и вот в облаках свершилось явление высочайшего таланта, имеющего нечто большее, чем просто уверенность в себе, — «бога из машины», как он сам о себе написал, предпочтя слово «машина» слову «махинация».

После завершения дебатов в Национальном собрании его председатель Ле Троке, недавний противник де Голля на ночной встрече в Сен-Клу, проводил его до выхода и, надо полагать, желая с ним примириться, возвестил: «Национальное собрание теперь насчитывает одним великим парламентарием больше». Воспроизведя эти слова в своих воспоминаниях, Ле Троке так откомментировал их: «Поразмыслив, я задал себе вопрос, а воспринял ли он это мое высказывание как комплимент». <...>

А как воспринял сам де Голль этот чудесный поворот судьбы? Тут вновь следует обратиться к «Мемуарам надежды», правда, не забывая, что между событием и его приукрашенным воспроизведением в книге утекло немало воды:

«Хотя этот конец эпохи оставил горечь в душах многих из тех, что были ее действующими лицами, страна испытала огромное облегчение. Ведь мой возврат создал впечатление, будто нормальный порядок восстановлен. Грозные тучи вдруг рассеялись, [...] ибо теперь у кормила государственного корабля стоит капитан, и каждый чувствовал, что тяжелейшие проблемы, все время существовавшие, но так никогда и не решавшиеся, в конце концов смогут быть разрешены. Даже несколько мифический характер, приписываемый моей личности, способствовал распространению убеждения, что непреодолимые для других препятствия передо мною падут. И вот, как восемнадцать лет назад, я обязан исполнить договор, который бывшая, нынешняя и грядущая Франция заставила меня подписать, дабы спасти ее от катастрофы. И я опять [...] обязан, как некогда, быть тем самым де Голлем, которому вменяется все, что происходит внутри и вне страны, чьи каждое слово и каждый поступок, даже вымышленные и приписываемые, становятся повсюду предметом дискуссий и обсуждений и которого, где бы он ни появился, встречают только приветственными криками. Высокое достоинство вождя, тяжкие цепи слуги!»

Кто другой решился бы опубликовать подобный текст? Хихикать легко, хотя причины для этого порой имеются. Отметим просто, что приветственные крики отнюдь не предшествовали победе, а были уже после нее. И что «облегчение», которое было якобы чуть ли не всеобщим и продолжало шириться, возникло, только когда уже был восстановлен «нормальный» порядок. И, наконец, не странно ли говорить о прошлом договоре с «будущей» Францией?

Но зато какая жажда власти в самом прямом смысле этого слова необыкновенным образом проявилась, отмечая все сомнения и возражения. Сознывая, насколько сомнительна, с точки зрения закона, была операция, которую начала и развивала либо направляла многочисленная голлистская агентура от Дельбека до Дебре, от Пти до Фокара, от Фрея до Гишара (не говоря уже о Сустеле или Массю), и вообще имея в виду все, что происходило на глазах французского народа начиная с 15 мая, все-таки нельзя не признать, что это было явление таланта, триумф воли и ни с чем не сравнимой способности виртуозного маневра. <...>

2 июня генерал обосновался в Матиньонском дворце, резиденции главы правительства; г-н Коти оставался (до конца года, как считали все) главой государства. Тотчас же сколотилась команда «верных»: Жорж Помпиду стал главой секретариата, Оливье Гишар его заместителем, Пьер Лефранк и Жан Фокар специальными уполномоченными. Все, как на улице Сольферино. <...>

Теперь Алжир. 1 июня де Голль сообщил, что незамедлительно отправится туда. На следующий день стало известно, что как только будут завершены все формальности, связанные с назначением его главой правительства, генерал вылетает в Алжир. 3-го все было завершено, и 4-го он вылетел. <...> 3 июня генерал Салан и сопровождавшие его генералы Жуо и Дюлак были приняты в Матиньонском дворце. <...>

Итак, Шарль де Голль ценой нескольких «месс»,¹ не слишком пришедшихся ему по вкусу — сперва слишком воинственных, затем чересчур парламентских, — обеспечил себе Париж. Осталось завоевать Алжир, однако тамошний материал был куда как менее податлив.

Но прежде чем приступить к этой последней фазе «восстановления власти государства на наших землях», как заявил генерал 3 июня в Совете республики, следовало подвести итог операции «Майские иды». Два собеседника, разных по положению, но одинаково преданных, вспомнят не слишком разнящиеся по смыслу оценки «триумфатора».

3 июня в Матиньонском дворце генерал, как известно, чрезвычайно скупой на похвалы, особенно своим верным сотрудникам, сказал Леону Дельбеку: «Вы не совершили ни одной ошибки. Очень хорошо. Но признайтесь, что я тоже неплохо сыграл!»

В тот же вечер новый председатель совета министров перед переселением в Матиньонский дворец явился в последний раз в отель «Лаперуз». Ночной портье ждал его и, исполненный почтительности, поднялся вместе с ним в лифте. Генерал толкнул его локтем в бок и, усмехнувшись, бросил: «Альбер, я выиграл!»

Перевод с французского и примечания Л. Цывьяна

¹ Намек на слова Генриха IV: «Париж стоит мессы».

ПУБЛИЦИСТИКА

Б. Ф. ЕГОРОВ

ЕЛЕЦ — МОЛОДЕЦ

Похвала русскому купечеству

Владимиру Николаевичу Топорову к его 70-летию

В России со стародавних времен не удавалось в полную меру развернуться купеческому сословию. Уж как было расцвел Великий Новгород — но Москва варварски его задавила. А сколько было потом притеснений, ограничений, прищучиваний... Последний крупный пример — разгром НЭПа, той экономической свободы, которая стоила Великого Новгорода, да еще и размашистее была, так как распространялась от Минска до Владивостока.

Но есть в Божьем мире закономерности, достигающие результатов, несмотря ни на какие препятствия. В русской истории мы видим, как использовались малейшие щелочки, малейшие благоприятные интервалы (временные и пространственные — в смысле «прозрачных» границ): новгородцы и позднее архангелогородцы осваивали западные рынки, люди типа Афанасия Никитина, рискуя не только товарами, но и головой, прокладывали дороги на Восток; попустительства Петра I, Екатерины II и даже деспотичного Николая I (ненавидевшего дворянскую фронду и сознательно потакавшего «среднему» классу) способствовали расцвету российского купечества. К XX веку оно стало прочным сословием; вместе с промышленниками оно успешно соревновалось с дворянством за первенство в общекультурной жизни страны. Чудовищные мероприятия Советской власти, казалось бы, под корень уничтожили купцов и промышленников. Ан нет. Основы, подспудье заложились такие фундаментальные, а генетические заготовки, соединенные с естественным стремлением человека к свободному творчеству, оказались такими сильными и динамичными, что даже при элементарной перестройке по всей стране бурно забился купеческий пульс, несмотря на все препятствия. Недавнее посещение Ельца очень меня в этом смысле утешило.

Лет пятьдесят, если не больше, собирался я побывать в Ельце. Мой отчий дом — в Старом Осколе, городе, расположенном в 200 километрах южнее Ельца, на той же самой железнодорожной магистрали Москва — Донбасс. Многократно проезжая по этой дороге, я всегда обращал внимание на громадину собора на горе за елецким вокзалом. И удивлялся, как это собор не взорвали ни при Сталине, ни при Хрущеве?! Думалось: наверное, собор — старинный, историко-культурная реликвия, поэтому Елец не пострадал, в отличие от сотен наших городов, где в первую очередь варварски взрывали центральные храмы. Потом оказалось, что собор совсем новый, построен по проекту знаменитого К. А. Тона чуть более столетия назад. Странное попустительство большевистских хозяев города сказалось и в том, что количество уничтоженных церквей в Ельце минимально и очень мало в центре разрушено старых домов.

Борис Федорович Егоров (род. в 1926 г.) — профессор, доктор филологических наук. Автор 350 научных и научно-популярных статей и 11 книг. Живет в С.-Петербурге.

© Б. Ф. Егоров, 1999

Из воспоминаний одного знакомого, бывшего во Владивостоке в 1920-х годах: после многочисленных сносов храмов и памятников китайцы, которые тогда на нашем Дальнем Востоке составляли значительную часть населения, прозвали русских «ломай, ломай!». Ельчане, как видно, не подпадают под эту категорию.

Еще в Елец меня тянуло как в город старины и в культурное гнездо: он ведь старше Москвы даже по упоминанию в летописи (первое — в 1146 году), а реально надо прикинуть еще века два; он окружен известными дворянскими усадьбами, поместьями Стаховичей (Михаил Стахович, собиратель народных песен, — друг Аполлона Григорьева), Буниных, Жемчужниковых, Бегичевых, Арсеньевых...

Поэтому, получив из Ельца приглашение прочитать спецкурс в пединституте, я сразу согласился. Наконец-то! В апреле 1998 года я неделю прожил в Ельце и уехал с самыми светлыми чувствами не только от общения с преподавателями и студентами, но и от города в целом.

По внешним параметрам Елец — довольно типичный город средней полосы России, районный центр Липецкой области, с населением около 150 тысяч человек, с несколькими заводами и педагогическим институтом (слава Богу, один из немногих вузов, не переименованных в университет или в академию; до чего нелепы эти перемены; я понимаю возвращение старых названий городам и улицам, но почему всемирно известный петербургский Политехнический институт превратился в техническую академию или не менее известный пединститут имени А. И. Герцена стал педагогическим университетом со страшной аббревиатурой «Российский ГПУ»?).

Можно сказать, что Елец противостоит куда более мощному в промышленном отношении Липецку как культурный центр: в его пединституте работают крупные ученые и педагоги (кафедрой русской литературы заведует известный в литературоведческих кругах гоголевед профессор В. Ш. Кривонос), в Ельце интенсивно кипит музыкальная и художественная жизнь, здесь развивается давняя традиция кружевного искусства. В уменьшенных формах здесь происходит известное противостояние культурного и административного центров, подобно Питеру и Москве, Тарту и Таллинну.

Однако Елец еще и исконно купеческий город, что накладывает на него неизгладимый отпечаток. Принадлежа до революции к Орловской губернии, он забирал до 60% всего губернского товарооборота. Больше всего торговали зерном и кожей. Елецкой кожей снабжалась чуть ли не вся русская армия, а зерно вывозилось, главным образом, в Западную Европу. Количество товаров было столь велико, что для их перевозки уже не хватало железнодорожных вагонов и даже путей, которых к концу XIX века было построено немало. Купцы Орловской губернии решили построить еще одну железнодорожную линию из Орла в Петербург — напрямик, минуя Москву, через Валдай и Новгород. Но тогдашняя, начала XX века, общественность забила тревогу, была проведена всесторонняя экологическая экспертиза района Валдайской возвышенности, результаты оказались крайне отрицательными, и Николай II, несмотря на сильное давление торгово-промышленных кругов, подписал указ о прекращении строительства дороги (какой пример современным властям, снисходительно разрешившим строить скоростную магистраль между столицами!). А на реке Волхов у Новгорода до сих пор сохранились быки невозведенного моста...

Елецкие купцы строили себе добротные кирпичные дома, помогали возводить общественные здания, давали большие пожертвования на строительство храмов. Соборы и церкви города величественны, массивны, могут поспорить по объемам с самыми крупными столичными храмами. И. А. Бунин сказал в своем романе «Жизнь Арсеньева» об одной такой елецкой церкви: «... звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса». А главный Вознесенский собор, как гордо сообщают ельчане, из русских храмов уступает по высоте лишь Исаакиевскому собору в Петербурге.

Богатства создавались не всегда праведным путем. Было много обмана, насильственного захвата, постыдного облапошивания крестьян, привозивших зерно на продажу. Вас. И. Немирович-Данченко, известный репортер и очеркист (не путать его со знаменитым братом Владимиром Ивановичем, соратником К. С. Станиславского), посвятил купечеству города целую серию очерков «Елец. Из записной книжки «жучающего туриста» (журнал «Русская мысль», 1885, №№ 6, 8, 9). Здесь содержатся колоритные рассказы о купеческом жульничестве. Однако все провинциальное купечество обрисовано лишь черными красками: наглые обманщики, деспотичные хозяева и отцы семейства, невежды с примитивными интере-

сами, живущие в грязи и духоте, — как будто мы читаем статью Н. А. Добролюбова «Темное царство», расширенную до цикла очерков с помощью примеров из елецкой жизни и пронизанную брезгливым высокомерием столичного туриста.

Непонятно, однако, откуда взялись тогда мужская и женская гимназия, красивые церкви почти в каждом жилом квартале, ажурные чугунные решетки, ограды, карнизы — можно по ним с Питером посоревноваться! Купцы Заусайловы построили табачную фабрику, но она не похожа на сотни подобных в функциональном отношении зданий; архитектор и строители возвели художественное произведение: кирпичные стены узорчаты, напоминают легкие елецкие кружева, просто загляденье!

А в местном краеведческом музее — россыпь сервизов и отдельных предметов немецкого и отечественного фарфора, фарфоровые и бронзовые статуи и статуэтки, тончайшего литья каслинские чугунные изделия, японская расписная ваза в рост человека... Конечно, немало поступлений было из дворянских домов и усадеб, в результате реквизиций Советской власти, но купеческий мир тоже внес свой вклад; например, японская ваза принадлежала Заусайловым.

С музеями может поспорить громадный, в несколько комнат, антикварный магазин, тоже заполненный местными ценностями: иконы, картины, статуи, посуда, шкафы со старинными монетами, инкрустированное оружие, музыкальные инструменты нескольких веков, граммофоны и патефоны, мебель красного дерева... Всего не перечислишь. Кстати, хозяева магазина — внуки тех дореволюционных Заусайловых, недавно вернувшиеся из Средней Азии. Господи, думалось, сколько же нужно было иметь художественных богатств, чтобы при колоссальных потерях, пройдя сквозь войны, пожары, экспроприации, торгсины, ссылки, расстрелы, ельчане могли похвастаться такой музейно-антикварной роскошью?!

Вот этот антураж елецкой жизни Вас. И. Немирович-Данченко не заметил, да он, кажется, и не был ни в одном купеческом доме, а встречался с аборигенами в каком-то грязном трактире.

Русская литература вообще в долгу перед купечеством. А. Н. Островский значительную часть своего драматического наследия посвятил миру купцов. Но он и больше всего изображал «темное царство», и Добролюбов имел основание говорить в своей статье об этом царстве как о главной черте описываемого сословия. Правда, Аполлон Григорьев, глашатай городского мещанства, считавший купцов и промышленников наиболее характерными выразителями русских национальных черт, спорил с Добролюбовым и уверял, что Островский изображал и светлые явления, но и сам он, и Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» говорили о светлых, но социально слабых людях.

Но ведь к середине XIX века русское купечество взрастило уже не только невежественных богачей, но и образованных на европейском уровне коммерсантов, а главное — издателей книг и журналов, коллекционеров художественных ценностей, меценатов в области искусства и науки, воспитателей интеллигентных детей. Как-то в период советского безвременья в ответ на сетования коллег, что ценнейшие книги достаются не нуждающимся в них читателям, а через соответствующие распределители — партийным начальникам, которые просто ставят их в дорогие шкафы, Д. С. Лихачев заметил: разумеется, ужасно, что ценные книги выходят малыми тиражами, но создание невеждами хороших библиотек имеет и позитивную сторону: их дети или внуки, значительно более образованные, с благодарностью примут такие домашние библиотеки. Нечто подобное можно сказать и о купеческих династиях: честными или варварскими способами добытые первоначальные капиталы позднее помогут воспитанию интеллигентных поколений.

Известный московский чаеоторговец П. К. Боткин, народивший от двух жен 14 детей, дал России и миру несколько выдающихся сыновей: врача Сергея, очеркиста и литературного критика Василия, академика живописи Михаила, коллекционера картин Дмитрия; дочь Мария стала женой А. А. Фета.

С. В. Морозов основал в начале XIX века знаменитую династию «мануфактурщиков», из коих наиболее известен Савва Морозов.

Многое можно было бы сказать и о династиях Бахрушиных, Третьяковых, Щукиных, Куманиных, Алексеевых (из этой семьи — К. С. Станиславский), Мамонтовых и еще о добром десятке известных фамилий. Отсылаю интересующихся к ценной книге П. А. Бурыйшклина «Москва купеческая» (первые вышла в Нью-Йорке в 1954 г., сейчас уже есть отечественные издания).

Вот эти типы и характеры не нашли яркого художественного воплощения ни у Островского, ни у последующих крупных деятелей русской литературы. А. П. Чехов лишь пунктирно коснулся этой темы, а герои романов Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. Д. Боборыкина не вошли в круг большой классики. Единствен-

ное исключение — А. М. Горький, уже в XX веке создавший запоминающиеся образы мыслящих, интеллигентных купцов.

Елецкие купцы заслуживали тоже более серьезного изображения, чем это сделал Немирович-Данченко. Поразительно, что традиции цивилизованного русского купечества не были уничтожены даже страшными советскими десятилетиями. Чуть-чуть приоткрылась при Ельцине щелочка экономической свободы — и как прорвалось! Настолько прорвалось, что в Ельце появился меценат Евгений Павлович Крикунов, подобного которому я не знаю даже в столичных городах.

Еще в советской время занимаясь антиквариатом (а тогда ведь люди продавали за бесценок уникальные вещи; коллеги рассказывают, что Крикунов и на помойках находил выброшенные старинные комоды и шкафы), Евгений Павлович возмечтал организовать собственный художественный музей; добыл в центре города пустой участок, построил на нем двухэтажный дом с подвалом, дешево купив на слом какую-то развалюху. Да не просто дом, а тоже своего рода музей: с башенками, лесенками, верандами, «средневековыми» сводчатыми коридорами, и заполнил его антикварной мебелью и художественными произведениями, живописью и скульптурой, старой и современной. Здесь больше сотни картин самобытного Виктора Семеновича Сорокина, ныне — народного художника России, который, несмотря на свои 80 с гаком лет, до сих пор полон творческой энергии и фанатично влюблен в среднерусские пейзажи. Он давно подружился с Е. П. Крикуновым, часто гостит в Ельце (а постоянно живет, убежав из Москвы, в Липецке) и снабжает мецената своими произведениями. Фактически дом 108 по улице Октябрьской (кажется, вот-вот состоится возврат старого названия — Соборная) можно назвать музеем В. С. Сорокина.

Казалось бы, местному начальству радоваться и благодарить Е. П. Крикунова за хорошую инициативу. Как бы не так! Частная инициатива в советское время была наказуема. Отцы города решили отобрать музей, дошло до судов — еле-еле меценат отбился.

С начала девяностых годов работать стало чуть легче, и Крикунов начал разворачиваться. В трехэтажном жилом доме добротной постройки сталинского периода по улице Маяковского (бывшая-будущая Старомосковская), № 1 значительную часть первого этажа занимал дышавший на ладан комиссионный магазин мебели. Крикунов приобрел это помещение, отремонтировал и устроил там выставочный зал. В апреле, когда я был в Ельце, там демонстрировались замечательные картины детей, учащихся местной художественной школы. В этом же помещении хозяин проводит общегородские литературные и музыкальные вечера, благотворительные концерты для детей-инвалидов и т.д. А около дома поставил с одной стороны бюст И. А. Бунина — к 125-летию со дня рождения писателя, а с другой — памятную стелу в честь Елецкого пехотного полка, отличившегося в войнах XIX века.

Далее Крикунов приобрел первый этаж в бывшем купеческом двухэтажном доме по улице Октябрьской-Соборной, № 135 и построил там пяток однокомнатных квартирок для художников, приезжающих на пленэр (окрестности Ельца — сущий клад для живописца) из Липецка, Орла, Москвы... И ни копейки не берет с гостей. Более того, наполняет подвал картофелем и соленьями — не надо на рынок ходить. А одна квартирка в этом доме отдана военно-историческому клубу школьников, которым руководит сын Евгения Павловича Александр, преподаватель пединститута. Ребята с энтузиазмом изучают деяния Елецкого пехотного полка, сами шьют полные комплекты обмундирования офицеров и солдат времен Отечественной войны 1812 года, организуют вечера и экскурсии.

И это еще не все. Крикунов приобрел коробку двухэтажного купеческого дома по улице Советской-Успенской, № 56. Жилцы давно из него выехали, крыша и перекрытия гнили два десятка лет. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. В этом доме меценат мечтает разместить несколько сотен старых и новых картин, ныне хранящихся у него под спудом, и устроить городской художественный музей.

Ну, уж теперь-то городские власти должны бы такого человека на руках носить? Увы! Не нужно забывать, что Липецкая область входит в так называемый «красный пояс», и областные и районные начальники, несмотря на их современный прагматизм (а может быть, именно из-за этого), никак не могут понять, зачем человек создает музеи, организует вечера и выставки, помогает художникам, дарит местному пединституту две студенческие стипендии — это все кажется подозрительным, а какая тут корысть — никак не раскусить! Главное же раздражение — что это еще за частные музеи и стипендии?!

Поэтому деяниями Крикунова восторгаются приезжие столичные журналисты, но никак не местные отцы города и района. Да они еще и палки в колеса готовы ставить.

У Евгения Павловича хранится дома целый музей елецких кружев, много лет он приобретал образцы у выдающихся мастериц. И неоднократно просил городские власти изыскать три квартиры для жильцов, занимающих второй этаж дома № 135 по Октябрьской-Соборной улице, того самого, где на первом этаже оборудована гостиница для приезжих художников. Тогда можно было бы на втором этаже разместить городской музей кружев. Куда там! Даже, казалось бы, «родные» идеологические сферы оставляют власти равнодушными. Крикунов несколько десятилетий собирал символы и знаки Советской власти: знамена, плакаты, транспаранты, значки, бюсты и портреты вождей — ими забита целая комната. Предлагал начальству выделить небольшое помещение для организации постоянной выставки всех этих реликвий ушедшей эпохи. Ничего не дают.

Наверное, нужна смена поколений и в административных кругах. Придут новые люди и поймут, какую ценность для города, да и для всей страны представляют такие меценаты, как Е. П. Крикунов. А он, невзирая ни на что, активно трудится, не покладая рук. Перед самым моим отъездом организовал у себя дома концерт фортепьянной музыки, зазвав двух воронежских пианистов. К слову сказать: в выставочном зале у него стоит старый патефон с пружинным заводом и рядом — громадная коллекция пластинок советских лет. Каждый год на 9 мая, день Победы он устраивает встречу ветеранов, которых радует дорогими их памяти песнями минувших десятилетий.

Е. П. Крикунову всего 54 года, он еще многое готов сделать для развития культуры родного края — за такими людьми будущее. И пусть и дальше живет и развивается культура «среднего» российского города Ельца!

ЮРИЙ ПЕТРОВ

ЗЛЫЕ МИФЫ

Сложившееся за последние годы тяжелое экономическое положение России (простой части заводов, снижение финансирования культуры и науки, падение международного авторитета) заставляет задуматься о причинах этого кризисного состояния. Действительно, ведь Россия имеет неплохие природные ресурсы, ее рабочие достаточно квалифицированы, крупных природных катастроф или губительных неурожаев за последние годы не было. В чем же тогда причины сегодняшнего упадка?

Наиболее распространенный ответ указывает на стратегические ошибки правящих кругов: мол, промышленные предприятия они приватизировали не так, налоги ввели неправильные, допустили много воровства и коррупции — и т.д. и т.п. У широких слоев населения возникает уверенность: если переменить Правительство, избрать другого Президента — все будет хорошо.

На самом деле первоисточник сегодняшних трудностей России заключен не столько в ошибках правителей, сколько в укоренившихся предрассудках самых широких народных масс. А если точнее, то сами ошибки правителей, болезненные для народа, порождены именно предрассудками очень большой части населения России.

Ведь в условиях всеобщего избирательного права и многопартийной системы правители очень и очень оглядываются на мифы, распространенные среди населения, и формируют свою политику, учитывая их, ибо понимают, что в противном случае можно потерпеть поражение на выборах. Тем более, что всегда находится достаточное количество бессовестных политиков, специально играющих на предрассудках избирателей. Политики — это наше зеркало, в котором отражаются и сильные стороны народа, и его ложные представления, страсти и мифы. Если народ не оглянется сам на себя, если не сумеет выбраться из сетей опутавших его злых мифов, то вновь избранные правители повторят политику прежних и мы по-прежнему будем жить очень скверно.

Вот почему так важно разобраться в предрассудках, опутавших за многие прошедшие десятилетия всю нашу жизнь.

Один из самых вредных мифов, приносящих больше всего зла, — тройственный миф о том, что:

Россия (а ранее — Советский Союз) — это великая сверхдержава с интересами, охватывающими весь земной шар;

Россия (а прежде — Советский Союз) имеет уникальные природные богатства, в частности — полезные ископаемые, на которые зарятся очень многие иностранные государства;

И поэтому прежде — Советский Союз, а теперь — Россия должна иметь огромную, гигантскую армию, способную защитить эти богатства от посягательств любого государства или от коалиции любых государств.

Юрий Петрович Петров (род. в 1930 г.) — доктор технических наук. Публикует аналитические статьи, связанные с проблемами экономики и армии. Лауреат премии журнала «Звезда» за 1996 г. Живет в С.-Петербурге.

Именно эта исходная позиция определяла всю политику Советского Союза с 1946 по 1991 год и она же во многом влияет на сегодняшнюю политику России.

А ведь все три составляющие этого мифа не имеют ничего общего с действительностью.

Прежде всего, Россия (да и Советский Союз, когда еще он был единым целым) давно не является сверхдержавой. Еще в 70-е — 80-е годы Советский Союз отстал по промышленному потенциалу (а значит, и по реальному военному могуществу) не только от Соединенных Штатов, но и от Японии, от Китая, от Германии, а в последние годы Россию опередили даже такие в прошлом отсталые страны, как Бразилия и Индонезия (подробнее об этом смотри журнал «Звезда», 1995, № 11).

В этих условиях попытка угрожать более сильным державам, а особенно — коалиции держав (такой, как НАТО) является просто самоубийством.

Природные богатства России хотя и велики, но любая попытка другого государства захватить их будет совершенно не рентабельной. Вот несложный расчет: наиболее выгодными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Россия продает их на 24 миллиарда долларов в год. С учетом стоимости добычи, чистая прибыль государства составляет примерно 10 миллиардов долларов. На эту сумму может рассчитывать потенциальный агрессор, если сделать совершенно нереальное, фантастическое предположение, что все промыслы и газопроводы достанутся ему целыми и нетронутыми. В то же время война с Россией за их захват потребует от агрессора затрат даже не сотен, а многих тысяч миллиардов долларов. «Нерентабельность» агрессии (даже если забыть о жизнях людей) при современной технике совершенно очевидна. Именно этим объясняется то, что за последние полвека фактически не было войн за захват природных богатств чужих народов. Было великое множество так называемых «национально-освободительных» войн, причины которых весьма многообразны — от действительного национального угнетения до честолюбивых претензий политиков. Но не было войн, направленных на захват чужих государств и их богатств (единственное исключение — нападение Саддама Хусейна на Кувейт — только подтверждает общее правило, да и закончилось это нападение для Саддама Хусейна очень плачевно).

Конечно, время от времени могут появляться сумасшедшие правители типа Гитлера или Саддама Хусейна, которых не волнует рентабельность и вообще цена победы. Они действительно могут развязать войну. Но бороться с сумасшедшими нужно путем тесного союза правителей нормальных государств. Вспомним, что союз государств, заинтересованных в стабильности на Ближнем Востоке, быстро усмирил и обезоружил Саддама Хусейна, напавшего на Кувейт. Точно так же, гораздо быстрее и с меньшими жертвами, был усмирен и Гитлер, если бы Сталин в 1939 году не отказался от союза с Англией и Францией против Гитлера.

Таким образом, не было никаких оснований для мифа о том, что после гибели сумасшедшего Адольфа Гитлера в 1945 году какое-либо государство стремилось напасть на СССР, чтобы захватить его богатства, и поэтому нужно было безмерно укреплять и усиливать армию. И тем не менее этот миф определил собой всю политику СССР, начиная с 1946 года, определил всю жизнь народов СССР более чем на половину века. Почему же не имевший реальных оснований миф так широко распространился? А причина простая: он был выгоден многим влиятельным кругам тогдашнего Советского Союза. Эти влиятельные круги и сделали все возможное для того, чтобы вложить громадные средства в создание огромной, неподъемной армии. Ради этого государство залезало в долги, ради этого сокращало финансирование жизненно важных отраслей промышленности, развитие социальной и культурной сферы.

Наконец, к 1991 году все возможности жить дальше в долг, за счет износа основных фондов и зарубежных займов были исчерпаны полностью. Стали неизбежны реформы. А поскольку с ними сильно запоздали, то реформы шли резко, болезненно, сопровождались распадом Советского Союза и снижением жизненного уровня населения.

Сейчас много рассуждают о причинах падения жизненного уровня, часто измышляя при этом самые фантастические причины. А ведь на самом деле все очень просто: если из главного богатства России, из основных фондов промышленности и транспорта на военные нужды в 1975—1990 гг. было изъято более триллиона долларов и в результате эти фонды устарели и обветшали, то падение уровня производства, безработица, снижение жизненного уровня были просто неизбежны. На устаревших и ветхих станках дешевой и конкурентоспособной продукции не произведешь. Для того, чтобы народ России стал жить существенно

лучше, нужно установить новое современное оборудование, освоить новейшие технологии, а это требует очень много денег и, к сожалению, много времени. Самостоятельно восполнить огромные потери России теперь уже крайне трудно. Существует, правда, возможность значительно сократить это время, если привлечь капиталовложения, инвестиции из-за рубежа. Подчеркну, речь идет не о новых займах у других государств, а о взаимовыгодном деле: Россия за счет зарубежного капитала приобретает современное оборудование и быстро увеличивает производство товаров, уменьшает безработицу, а зарубежный вкладчик капитала получает часть произведенной на новом оборудовании продукции и тем самым возвращает себе (с процентами!) вложенные им деньги. Но для того, чтобы вложить деньги, зарубежный вкладчик должен быть уверен в стабильности законов России, должен быть уверен, что вложенный им в России капитал не национализируют, не конфискуют. Такой уверенности нет. Вот почему в 1995—1997 гг. зарубежный капитал неохотно шел в Россию, а сейчас, когда мы переживаем экономический кризис, зарубежные инвесторы заняли выжидательную позицию.

Сперва возможные вкладчики боялись победы КПРФ и ее кандидата Зюганова на выборах Президента в июне 1996 г. (они считали, что, придя к власти, Зюганов будет все национализировать и конфисковывать); потом боялись операции на сердце Президента, боялись ее возможного летального исхода и, значит, новых президентских выборов; потом они боялись нестабильности российских законов, принимаемых Думой, а теперь боятся нестабильности всей политической и экономической обстановки в России. Привлечь зарубежный капитал очень не просто, но делать это необходимо, потому что иначе слишком на многие годы растянется восстановление народного хозяйства в России. В любом случае восстанавливать разрушенное придется долго. И легких решений здесь нет.

Действительно, предположим, что в июне 1996 года Зюганова избрали Президентом. Какие бы решения мог предложить он для подъема производства, уменьшения безработицы? Инвестиции из-за рубежа Г. Зюганову получить гораздо труднее, чем Б. Ельцину. Остается надежда на инвестиции из бюджета России. Но доходы бюджета повысить очень трудно, поскольку налоги и так очень высоки. Единственный путь к инвестициям — это сокращение некоторых бюджетных расходов. Но какие же расходы можно сократить? Расходы на образование, науку, культуру, медицину? Но они и так ужаты до предела — до опасного предела, за которым следует уже деградация и России как государства, и российского народа. Эти расходы можно и нужно только увеличивать. Остается единственная крупная статья бюджета, которая, действительно, непомерно раздута и может быть сокращена. Это — военные расходы. На «силовые» министерства в 1996 году шла более половины всех доходов бюджета (точнее — 50, 4%, см. «Финансовые известия» от 02.10.96 г.). Это — очень много. Но как раз военные расходы Г. Зюганов предлагает не сокращать, а увеличить вдвое (в телевизионном интервью 15.08.97 года он предложил увеличить расходы только одного Министерства обороны «с 3,5% валового продукта страны до 7%»). Разумеется, реализация этого предложения полностью разорила бы Россию и ее граждан. К счастью, реализовать его предложение невозможно, и я уверен, что Г. Зюганов это знает. Почему же он внес свое предложение? Внес потому, что уверен — миф о необходимости огромной армии, о допустимости любых жертв ради нее все еще владеет умами большинства россиян, и поэтому политическая партия, выступающая за увеличение армии, получит много голосов избирателей. Так что дело не в Г. Зюганове. Дело в народе, в избирателях, в предрассудках избирателей.

Интересный материал для размышления дала проведенная *молодежным союзом «Яблоко»* 25—27 февраля 1997 года большая конференция в актовом зале Университета путей сообщения. Там выступил военный комиссар Петербурга генерал-майор Обухов. Он заявил: армия России не получает необходимого количества денег, офицерам задерживается денежное довольствие, а между тем НАТО расширяется на восток, угрожает России, вы должны помочь армии. «И помните, — закончил генерал-майор, — народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую». В прежние годы подобные фразы действовали неотразимо. Поэтому интересно вспомнить, как прореагировали на слова Обухова люди, пришедшие на конференцию в 1997 году.

Один из выступающих сказал: «Напрасно вы, господин генерал, упрекаете народ в том, что он не хочет кормить армию. Мы, трудящиеся, готовы кормить ее, и кормить хорошо. Но мы хотим кормить законную армию законной численности. По закону о бюджете в России в 1996 году должно быть 1469 тыс. военнослужащих, а на самом деле, как это признавал премьер-министр Черномырдин, генералы раздули численность военнослужащих до 6 миллионов человек. Понятно

но, что на такую прорву никаких денег не хватит. Господа военные, сократитесь до законной численности — и вам не придется жаловаться, поскольку тогда сегодняшних больших бюджетных денег с избытком хватит на всех».

Ответ генерала: «Ну, уж вы говорите, что в России шесть миллионов военнослужащих. Я бы сказал, что скорее не шесть миллионов, а пять».

Реплики из зала: «А пять миллионов — это что, мало? По закону должно быть полтора миллиона».

Мы убеждаемся, что сегодня уже значительная часть россиян освободились из-под власти мифа об армии, причинившего так много зла народам России. Но есть весьма влиятельные силы, которые стараются возродить этот миф, играя на болезненной для русского народа передаче Крыма Украине в 1954 году.

В 1996 году и мэр Москвы Ю. Лужков, и генерал А. Лебедь (кстати, бывший тогда секретарем Совета безопасности России) почти одновременно заявили, что в 1954 году Севастополь был передан Украине с нарушением закона, что он де-юре не утратил своего российского статуса и поэтому должен быть отобран у Украины и должен безраздельно принадлежать России («Санкт-Петербургские ведомости» от 21.09.1996 года, открытое письмо генерала А. Лебеда в адрес «общественности страны»). Почему опытные политики, Ю. Лужков и А. Лебедь, пошли на такое опасное заявление, которое сразу же испортило отношения между Россией и Украиной и тем самым принесло серьезный вред России? А ответ простой: проведенный в конце 1996 года социологами опрос показал, что 70% опрошенных россиян высказались за то, чтоб Севастополь перешел к России. Ю. Лужков и А. Лебедь просто эксплуатируют эти настроения россиян, рассчитывая, что заявления о том, что Севастополь является «национальной святыней России», привлекут к ним голоса избирателей на будущих выборах. Не будем сейчас обсуждать, законно или незаконно передавался Севастополь в 1954 году и кто — Россия или Украина — имеет на него больше прав. Известно, что доводы и контрдоводы найдутся у каждого государства. Недаром еще в XVIII веке Фридрих II говорил: «Если у государя есть хорошее войско и есть возможность захватить у соседа хорошую провинцию, то пусть он захватывает ее как можно скорей. Как только он это сделает, сразу найдется много историков и юристов, которые приведут убедительные доводы в пользу того, что провинция эта принадлежала соседу незаконно, что вы давно имели на нее все права и что захват этой провинции был хорошим и богоугодным делом». Зададим гораздо более простой вопрос: а как воспринимает правительство Украины заявления Ю. Лужкова и А. Лебеда о Севастополе? Вот здесь ответ очень хорошо известен: как опасное посягательство на свою национальную территорию. А раз так, то понятно, что правительство Украины для защиты от посягательств обратится к НАТО и пригласит флот НАТО в Черное море. Так и произошло. Уже летом 1997 года присутствие кораблей НАТО в Черном море и их совместные учения с ВМС Украины стали свершившимся фактом. Разве могли не предвидеть такого эффекта от своих заявлений о Севастополе Ю. Лужков и А. Лебедь?

Я считаю, что безусловно предвидели, не могли не предвидеть. А это значит, что они сознательно провоцировали приход флота НАТО в Черное море для того, чтобы искусственно создать военную напряженность и тем самым поддержать в умах россиян уже угасающий злой миф о страшной военной угрозе со всех сторон и о необходимости поэтому отдать для армии все, вплоть до последней рубашки и единственного сына. Если молодые люди не помнят, как рождался и выращивался в умах россиян этот злой миф, принесший так много вреда русскому народу, то теперь они могут наглядно видеть — кто, какие силы стараются его поддерживать и возродить и какими провокационными заявлениями это достигается.

А ведь провокации эти очень опасны. Ободренная заявлениями влиятельных российских политиков часть населения Севастополя могла перейти и к действиям — например, силой захватить здание городской администрации и провозгласить присоединение Севастополя к России. В ответ украинская полиция вполне могла открыть огонь, пролилась бы кровь. Далее раздались бы призывы к отмщению за эту кровь, к вмешательству России — и т. д. Могла вспыхнуть война. И пусть не говорят мне, что братские чувства украинского народа делают войну невозможной. Сербы и хорваты в бывшей Югославии ближе друг к другу, чем украинцы и русские, поскольку они даже говорят на одном, едином сербско-хорватском языке. Но тем не менее вскоре после распада единой Югославии между сербами и хорватами вспыхнула кровавая война, причем поводом к войне послужил расположенный в Хорватии город Вуковар. Большинство населения в нем составляли сербы. На этом основании Сербия заявила, что город должен принадлежать ей. Хорватия возразила. В ходе войны Вуковар был разрушен до основа-

ния, тысячи жителей были убиты, остальные бежали. Город все равно остался в составе Хорватии, но при этом весь мир был вовлечен в опасный конфликт. Вот к каким последствиям могут легко привести неосторожные заявления, подобные тем, которые сделали мэр Москвы и генерал А. Лебедь. Но подчеркнем — корень опасности не в А. Лебеде и Ю. Лужкове. Не будет их — найдутся другие. Корень опасности в том, что (как показали опросы) 70% россиян считали, что можно и нужно присоединить к России город Севастополь, принадлежащий сейчас другому государству. Пока такие настроения не будут изжиты, опасность сохранится. В них корень зла.

Характерной чертой если не всех, то большинства злых мифов является то, что они служат вовсе не истинным целям, а сиюминутным интересам определенных групп. Благодаря рассмотренному нами мифу об армии действительно получилось так, что военные и работники военно-промышленного комплекса оказались в привилегированном положении. Но из-за того, что непомерные военные расходы разорили Советский Союз, оказалось, что уровень жизни даже привилегированных слоев населения Советского Союза оказался ниже уровня жизни самых рядовых людей зарубежных государств. Военнослужащие, не выезжавшие за пределы Советского Союза, об этом не догадывались, не знали, что безмерно разросшаяся армия разорила государство, не дает хорошо жить не только мирным гражданам, но и самим военным.

Нужно подробно разъяснять россиянам истинное положение вещей, показывать, что злые мифы не выгодны никому. Тогда они постепенно угаснут и жизнь в стране станет легче.

Я столь подробно остановился на разборе мифа об армии потому, что он принес больше всего зла народам России и бывшего Советского Союза. Но, разумеется, существует и много других. Например, мифы о пенсиях и пенсионерах. Очень распространено представление, что пенсия — это милостыня, пособие на прожитье, которое дает государство человеку, потерявшему из-за старости возможность трудиться. На самом деле это совсем не так: пенсия давно уже не пособие, а зарплата за прошлый труд, результаты которого используются сегодня. Дело в том, что современное производство очень широко использует прошлый труд, воплощенный в зданиях, станках, оборудовании, а прежде всего — в научных разработках и технологиях, созданных трудом предыдущего поколения, т.е. сегодняшних пенсионеров. Отсюда и следуют цивилизованные принципы выплаты пенсий, принятые в подавляющем большинстве стран:

1) пенсия пропорциональна стажу и заработной плате уходящего на пенсию работника (поскольку зарплата и стажу пропорционален его вклад в сегодняшний потенциал страны);

2) все пенсии пропорциональны средней зарплате в стране и увеличиваются вместе с ней (поскольку вклад сегодняшних пенсионеров в богатство страны ничуть не меньше, чем вклад работающего поколения);

3) не может быть никаких сокращений пенсии для работающих пенсионеров, поскольку пенсия — не пособие, а зарплата за прошлый труд, ее размер не может зависеть от того, сохранил ли человек возможность потрудиться еще на пользу общества.

В противоположность этим цивилизованным принципам начисления пенсий из злого мифа о том, что пенсия — это пособие на бедность и нетрудоспособность, следует совсем другой принцип: пенсия должна быть примерно одинаковой для всех и быть достаточной лишь для того, чтобы бывший трудящийся не умер от голода и чтобы вид просящих милостыню стариков не слишком дискредитировал власть имущих в глазах иностранцев.

О цивилизованных принципах начисления и выплаты пенсий «Звезда» уже писала (№ 6 за 1996 год, стр. 200—206). Поэтому в настоящей статье будет идти речь о другом — о том, как распространенный предрассудок постепенно ододел и загубил пробивавшиеся ростки цивилизованного отношения к пенсионерам в России и к каким скверным последствиям все это привело.

В 1990 году был принят относительно прогрессивный пенсионный закон, согласно которому трудящийся, проработавший 20 и более лет, мог получить пенсию в размере 75% его последнего заработка. Однако в законе была сделана оговорка — максимальная пенсия не должна превышать 3,2 минимальной пенсии. Именно эта небольшая оговорка и была потом хитроумно использована сторонниками злого мифа для полного извращения сути и смысла пенсионного закона и для разорения пенсионеров.

Для реализации пенсионного закона 1990 года было предусмотрено достаточное и надежное финансирование: в Пенсионный фонд Российской Федерации отчислялось 28% фонда заработной платы предприятия любой формы собственности и еще 1% зарплаты каждого работника (уже без подоходного налога, т. е. «чистой» зарплаты).

Практически (с очень небольшим округлением) это означало, что 29% начисленной (до вычета подоходного налога) заработной платы всех работающих России шло в Пенсионный фонд. Было предусмотрено законом, что любой банк не имеет права выдать со счета предприятия деньги на зарплату без перечисления 29% суммы Пенсионному фонду.

С учетом сложившегося в 1990 году соотношения между численностью работающих граждан и пенсионеров, принятый в том году пенсионный закон означал, что средняя пенсия должна была составлять 67% от средней заработной платы в России. Это — не очень много, не очень щедро по сравнению с другими странами, но более или менее терпимо — особенно на фоне того, что сделали в последующие годы со стариками сторонники злого мифа.

Сперва на фоне растущей инфляции был введен сильно заниженный «коэффициент осовременивания» и пересчета прежних заработков, а это сразу резко снизило размер пособия тем, кто вышел на пенсию до 1990 года. Потом ввели издевательски малую минимальную пенсию — к середине 1997 года она составила всего 9% от средней зарплаты в России. Конечно, прожить на такую пенсию невозможно. Для того чтобы миллионы пенсионеров не умерли с голода, ввели так называемую «компенсацию» людям с малой пенсией. А это привело к уравниловке, привело к тому, что разница между максимальной и минимальной пенсией стала совсем небольшой. Все пенсионеры стали получать почти одинаково — и все одинаково мало. Сторонники злого мифа о том, что пенсия — это пособие, вроде милостыни, оказались правы.

В результате получилось вот что: если по закону 1990 года средняя пенсия должна была (как мы уже показывали) равняться 67% средней зарплаты по России, то уже к концу 1995 года она упала до 33% от средней зарплаты, а с 1996 и 1997 гг. — еще ниже. Пенсионеров превратили в *нищих*. Потом пошли дальше — в 1996 году во многих областях стали по несколько месяцев вообще не платить пенсии, ссылаясь на то, что «в Пенсионном фонде денег нет», а потом, в 1997 году, власти стали ставить себе в «великую заслугу» то, что нищенская пенсия стала выплачиваться все же (более или менее) регулярно.

Но ведь 29% от сумм начисленной зарплаты по-прежнему должны перечисляться в Пенсионный фонд, а число работающих и получающих зарплату все еще более чем в два раза превышает число получающих трудовые пенсии (даже с учетом возросшей безработицы), а это значит, что средняя пенсия не может быть меньше 58% средней зарплаты по России. Если средняя выдаваемая пенсия составляет менее трети средней зарплаты, то в Пенсионном фонде должны сложиться огромные излишки — за один 1996 год примерно 100 триллионов рублей. Где же эти деньги? Пенсионерам они не попали. Куда же они ушли?

На этот вопрос помогают ответить официальные, опубликованные в газетах данные по С.-Петербургу (газеты «Час пик» от 27.11.97 и «С.-Петербургские ведомости» от 31.01.97). Согласно этим официальным данным в декабре 1996 года в Петербурге было выплачено 2470 тысяч зарплат (из них 80 тыс. граждан работали в двух местах, и взносы в Пенсионный фонд, естественно, начислялись с каждой их зарплат). Средняя начисленная зарплата по Петербургу составила тогда 1003 тысячи рублей, и, следовательно, Пенсионный фонд Петербурга должен был получить в декабре 715 миллиардов рублей. Учитывая, что получающих трудовую пенсию в Петербурге насчитывается 1194 тысячи, средняя трудовая пенсия в январе 1997 г. должна была составить 600 тысяч рублей. На самом же деле она была в два с лишним раза ниже. Куда же девались деньги? (Заметим, что отношение числа работающих к числу пенсионеров в Петербурге близко к среднему по России, поэтому Петербургское отделение Пенсионного фонда, как известно, не получает дотаций из центра и не посылает туда денег; если у него образуются крупные излишки, то оно может, согласно закону, выплачивать добавки к федеральным пенсиям, этого сделано не было).

Союз пенсионеров С.-Петербурга обратился за разъяснениями и получил очень интересный официальный ответ от и.о. управляющей С.-Петербургским отделением Пенсионного фонда Н. П. Гришкевич (письмо 06/05 — 872 от 18.06.97). В ответе указывается, что Петербургское отделение фонда собирает только то, что запланировано ему Москвой, а запланировано ему собирать по 400 миллиардов в месяц. Эту сумму оно и собирало. Таким образом, в декабре 1996 года, вместо

положенных по закону 715 миллиардов рублей, оно реально собрало 400 миллиардов, а 315 миллиардов различным предприятиям «простило».

Сразу возникает вопрос — кому «простило»? По какому принципу отбирались предприятия, которым можно «простить»? Ведь это — грандиозный источник взяток и злоупотреблений. Помимо всего прочего, это развращает петербургскую промышленность: ведь предприятия-любимчики, получающие огромные «подарки» в виде 29% фонда зарплаты, конечно, не заботятся ни о совершенствовании технологии, ни о снижении себестоимости своей продукции. За счет любезных «подарков» от Пенсионного фонда их дирекция может строить себе не только коттеджи, но даже дворцы.

Вот простой расчет: среднее предприятие, имеющее тысячу рабочих и служащих, и зарплату, равную средней по Санкт-Петербургу, за 1996 год должно было перечислить в Пенсионный фонд примерно 3 миллиарда рублей. Если Пенсионный фонд «дарит» эти деньги дирекции, сколько коттеджей может себе дирекция выстроить? И каких размеров взятка была, возможно, дана для того, чтобы получить «подарок» размером 3 миллиарда рублей?

Кроме того, делается понятным, откуда берутся задержки в выплате пенсий: ведь круг предприятий, которым сделан «подарок», которым разрешено не платить в Пенсионный фонд, не определен. Каждый директор думает: соседу разрешили не платить, а чем я хуже? В результате все стараются не платить, и фонд остается без денег. В этом и заключается главная причина задержек с выплатой пенсий, прокатившихся по всей России.

Таким образом, мы убеждаемся, что сегодняшняя нищета российских пенсионеров не порождена никакими объективными причинами. Полагающихся по закону о пенсиях денег вполне достаточно для того, чтобы средняя пенсия по России в 1996 и 1997 годах была не менее 58 % средней зарплаты. И если на деле она была в два раза ниже, то в этом виноват злой миф — миф о том, что пенсия — это пособие на бедность, что она может поэтому быть очень скудной.

Этот злой миф невыгоден не только десяткам миллионов россиян — он подрывает любые усилия властей по наведению порядка в государстве, уменьшению взяточничества и коррупции.

Действительно, посмотрим, в какое положение ставится квалифицированный рабочий, опытный врач, знающий инженер и т. п. — то есть именно те, на ком реально держится государство? Допустим (скромно), что эти люди получают зарплату в полтора раза больше средней, т. е. в сентябре 1997 года они получали полтора миллиона рублей в месяц. Выйдя на пенсию, они получали максимальное пособие — а все прошедшие девять месяцев 1997 года максимальная пенсия равнялась 340 тысячам рублей. Да только на 340 тысяч рублей мог рассчитывать квалифицированный и хорошо работающий труженик — если, конечно, он не военный, не депутат Думы, не инвалид войны. Но 340 тысяч рублей в месяц составляла всего 22,6% от его зарплаты в полтора миллиона. Значит, после выхода на пенсию его доход уменьшался более чем в 4,4 раза. Это — жизненная катастрофа.¹ Для того, чтобы понять ее размеры, представьте себе, что вы, работающий гражданин, со следующего месяца и до конца жизни будете получать в 4,4 раза меньше.² Так что же удивляться, если бывший честный труженик теперь иной раз больше думает не о труде, а о том, чтобы любыми путями (в том числе иногда и нечестными) добыть денег, достаточных для того, чтобы не впасть в позорную нищету после выхода на пенсию? Да, я знаю, что существует много героических натур, которых никакие причины не заставят украсть чужое или взять взятку. Но государство не может рассчитывать, что героями будут все.

Сегодня слова государства противоречат его делам. На словах оно говорит: будь честным, честно трудись на пользу общества. Но реальные дела государства, в частности — его пенсионные дела, говорят другое: «Воруй! Воруй скорее, пока можешь. То, что ты украдешь, то будет твоим и позволю тебе не стать нищим после выхода на пенсию. А то, что ты создашь для государства и народа своим честным и многолетним трудом, будет украдено государством и тебе не достанет-

¹ После деноминации суммы выглядят иначе — не 340 тысяч рублей, а 340 рублей и не полтора миллиона, а полторы тысячи рублей, но суть от этого не меняется.

² С 1 февраля 1998 года действует новый пенсионный закон, но и он не улучшит положение пенсионеров из-за издевательски-низкого «потолка» учета прошлого заработка. Все заработки, превышающие 0,701 средней зарплаты по России, при назначении пенсии не учитываются, на размер ее не влияют.

ся». Не нужно много говорить о том, как влияет все это на мораль общества и на мотивацию к труду. Поэтому злой миф вреден даже властным кругам государства, даже тем, кто, на первый взгляд, извлекает из него пользу, тем, кто сегодня всячески укрепляет и поддерживает злой миф.

К сожалению, этих простых вещей не понимают сегодняшние правящие круги России. И Президент, и Правительство много говорят о взяточничестве и коррупции, правильно указывают, что взяточничество и коррупция достигли огромных размеров и являются главной язвой, разъедающей сегодняшнее российское государство. Но ни Президент, ни Правительство никак не хотят понять, что без восстановления нормальных пенсий со взяточничеством и коррупцией справиться невозможно, правовое государство построить невозможно. Никакие грозные слова и даже суровые наказания здесь не помогут. Без нормальных пенсий нормального, не воровского государства не будет.

Еще раз повторяю: причины вчерашних и сегодняшних ошибок — а значит, и жестокой расплаты за них — во многом лежат именно здесь, в предрассудках и злых мифах, укоренившихся в сознании самых широких масс. Без разъяснения, без разоблачения злых мифов Россия не возродится.

ФЕДОР НАРИЦА

ГРАЖДАНЕ, НЕГРАЖДАНЕ И ФАРИСЕИ

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь...

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

(Евангелие от Луки)

Вот уже три десятка лет, как наша семья проживает в Латвии. Бывает, сожалеем об оставленном Ленинграде. Но и Прибалтика — родина предков моего отца — раскрыла нам много прекрасного, своеобразного, неповторимого. Ухоженная природа, чистые улочки, и... люди, со вкусом одетые, немногословные, но всегда приветливые, готовые прийти тебе на помощь.

Но на своей родине, в городе на берегах Невы, я продолжаю бывать, и на вопрос «Как вам там живется?» отвечать приходится очень часто.

Так как же нам сейчас здесь живется?

..По радио передают письмо пожилой женщины. Она скрупулезно перечисляет страдания и беды, нанесенные русскими ей самой и ее родственникам: кого куда выселяли, какое движимое и недвижимое имущество передали в колхоз... А было это в угаре сталинского плана коллективизации Прибалтики, но нанесенные полвека назад раны и обиды бережно лелеются, и потому не заживают.

Стыдно быть бесчувственным к чужому страданию... Но грубая подмена мешает воспринимать долгий список человеческих и имущественных потерь, мешают отдаться этому потоку и поплакать вместе с автором письма.

И подмена эта — «русские»!..

Дело даже не в том, что такие карательные акции, как правило, проводились руками местных «активистов», а в том, что коммунистический смерч, пронесшийся над одной шестой частью суши, для многих теперь стало выгодно окрашивать не в кровавый цвет «интернационала», а в цвета российского флага. Услужливая память оставляет нам только то, что не царапает нашу душу. На разных языках в новой транскрипции зазвучала известная молитва фарисея: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как эти нечестивцы и негодяи, как этот русский мытарь...» Ну что ж, покаяние лишним не бывает... Грехи наши и впрямь тяжки. По моему некомпетентному разумению, следовало бы устроить всенародный молебен о прощении грехов нам и отцам нашим за то, что поддались бесовщине и охмурились ложью...

Но когда вокруг с криками и визгом щелкают костяшками националистических счетов, лично у меня смирения не хватает. Что же, будем пролитой кровью считаться, господа? Будем каяться за русского Ленина-Ульянова, грузина Сталина, за еврея Троцкого, поляка Дзержинского или латышей Строда или Пуго?.. Будем каяться за китайские расстрельные команды, за чехов, предавших сибирскую Белую армию, и за всех прочих... и всё одним русским каяться?

Может быть, не только мытарю следует казниться своими тяжкими грехами? Может быть, и пожилой латышке, проникновенно повествующей о «русских злодеях», стоило бы вспомнить о миллионах восточнославянских крестьян, замученных активистами разных народов, в том числе и безжалостными красными латышскими стрелками? Или запертая снаружи со всеми молящимися и подоженная синагога никак не пятнает белоснежных национальных одежд? Никому не смердит горящая человечина?

За каждое преступление обязан отвечать тот, кто его совершил. Но перекладывать вину с конкретных преступников, среди которых полным-полно было и «коренных», на безликих «мигрантов», может только тот, кто намеренно затемняет и запугивает дело.

Современная Латвия разделена на «граждан» и «неграждан», в просторечии «негров». «Негры» — это около полумиллиона русскоговорящих постоянных жителей Латвии. Они обязаны платить налоги, но их мнение о положении в стране считается как бы несуществующим — они «не наши»...

Но разве «чужаки» управляют независимой Латвией?! Разве «чуждый» (русский) язык не искоренен из официального обихода? Поголовная «латышизация»! Не знать Ульманиса — это почти преступление, не знать Достоевского — в порядке вещей! Казалось бы, созданы идеальные условия, чтобы национальные силы показали свою интеллектуальную мощь. И если что-то не вытанцовывается, не клеится, то оценивать ситуацию нужно честно, по существу. А что мы слышим? «Вот, у нас теперь всё стало так паршиво, потому что повсюду вертятся эти паршивые мигранты».

«В течение последних двадцати поколений русские без исключения были самыми жестокими, агрессивными, варварскими, паразитическими, нецивилизованными людьми в мире. Нынешнее поколение русских генетически совершенно такое же, как и предыдущее, поэтому было бы опасной иллюзией считать, что оно чем-то отличается».

Что это? Бред, высказывание Гитлера или Муссолини? Нет! Это идеологическая платформа партии «Отечество и Свобода» («тевземцев»), сформулированная проживающим в США латышом Айваром Слудисом. И партия с такой «симпатичной» платформой несколько лет участвует в работе правительства.

Когда существовал Советский Союз, передвижения внутри него обуславливались сугубо личными обстоятельствами, и винить девчонку из города Иваново, приехавшую поработать в Огре на трикотажную фабрику, в злодейских намерениях «оккупировать Латвию» столь смехотворно, что даже неловко что-нибудь возражать. Но Айвар Слудис продолжает:

«Единственная возможность отдать латышскую Латвию латышам — репатриировать весь миллион нелегальных русских колонистов, которых Сталин заслал для обрусения Латвии». А работу эту, по его мнению, должен проделать именно комиссар ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Макс ван дер Стул.

«Твою аморальность нельзя описать словами, — обращается к нему Слудис. — Ты, Макс, продаешь душу за пенсию ОБСЕ, помогая русским завершать геноцид...» Комментариев к вышесказанному, по-моему, не требуется. А заместитель генерального секретаря партии «тевземцев», госпожа Лаце, уже подсчитала, когда последние русские «колонисты» будут выдворены из Латвии. Это произойдет в 2002 году!

Разжигание вражды и ненависти между народами — шаг не только аморальный, но и по существующему кодексу уголовно наказуемый. Когда сжимаются кулаки, когда закипает ненависть к «оккупантам», в ход могут пойти и гранатометы... Тут будет не до аргументов здравого смысла! Будут гибнуть невинные люди, а подстрекатели и зачинщики резни, «высококультурные и цивилизованные», будут где-нибудь в живописной Швейцарии на деньки, припрятанные в заграничном банке, попивать ароматный кофе и резонерствовать о пользе проповедуемых ими свобод...

Подобная идеологическая обработка населения дает свои результаты. И бедные латыши чувствуют себя не столько «генетически цивилизованными», сколько ущербными и обиженными: «оккупанты» их высылали и притесняли, отбирали у

них... И они же еще были вынуждены с ними сотрудничать! Ведь пишется же в современном руководстве по истории Латвии о красных латышских стрелках: «Гордость стрелков не позволяла сдаться, поэтому они остались в своих полках и поступили на службу большевистскому правительству». Ничего не скажешь — гордая нация!

К большому сожалению, самую сильную оппозицию махровым националистам составляют не церкви — они устроились, не цвет интеллигенции — цвет пожух от вкуса власти и запаха денег, не убежденные сторонники западной демократии, а бывшие «красные»...

Лихорадит нашу правящую элиту, много грязи при этих разборках выплескивается, особенно в период предвыборных кампаний. Трудно нам, рядовым людям, разобраться, у кого там в действительности «золотой унитаз», а кто просто чужой «крови» хочет. Взаимные разоблачения, оскорбления: «А у него (моего соперника) сердце стучит не в груди, а в кошельке»... Ну и, конечно, обещания, обещания райской жизни: как вот стану премьером — так уж «не допущу расхищения народной собственности!». Да, немало забот у наших больших господ!

И еще о чрезмерно любящих деньги. Скандально известный бизнесмен и политик Стендзениекс: «Я заработал миллионы еще во времена кооперативного движения. Работал с химией, металлами». Возникает недоуменный вопрос, каким это образом юрист по образованию мог заработать миллионы, работая «с химией и металлами». Осужденный за мошенничество в крупных размерах депутат сейма Крисбергс: «Исполнилось желание тех, кто жаждал моей крови». Финансовые нарушения в Госбюро по правам человека комментирует его директор Бруверс: «Моя ошибка в том, что я слишком доверял людям».

Пропадают миллионы... Вот, например, 8 миллионов латов (почти полтора десятка миллионов долларов) со счета Латвэнерго перечислены... на один из островков Тихого океана, в Наурскую республику, площадь всей республики 21 кв. километр, а население составляет менее 10 000 человек... («Диена», № 1903). Не слышали о такой? Вот и хорошо, это как раз то, что нам нужно! Когда понадобится, мы найдем «свой» деньги.

И чтобы любознательное народонаселение не совало нос, куда не просят, полезно растить и лелеять в нем стадные чувства. Это срабатывает без осечки... За долгие годы коммунистического террора произошел отбор: все желающие выбиться из стада просто отбраковывались на... убой. Итак, подбрасываем одному стаду идею социального равенства, другому стаду — идею национальной обиды! И... пускаем их друг на друга!

То-то потеха сверху наблюдать, как топчутся стада, вздымая пыль до небес. И как удобно за этой пылью прятать концы своих нечистых дел!

Но возвратимся к пропавшим миллионам... Банкротство банка «Балтия», преемника советского государственного банка, лишило сбережений огромное число его вкладчиков — организаций и частных лиц. Полномочия принимать вклады дали, а вот с контролем... «Ну откуда же мы могли знать, что у руководства банка стоит мафиозная структура. Вы уж извините, не разобрались. Просто нельзя было разобраться, и не думайте ничего плохого...»

Еще банкрот — РАФ, перспективное, даже конкурентоспособное предприятие. Горьковский автомобильный и Заволжский моторный заводы пошли на встречу латвийскому правительству и подписали договор о поставке комплектующих агрегатов с отсроченной оплатой; была также произведена предоплата партии еще не изготовленных «рафиков» — а это невозвращенные миллионные долги, и недаром председатель правления АО РАФ, получивший гражданство Латвии «за особые заслуги», не расстается с охраной и винчестером. А кто из вас не ездил на электричках Рижского вагоностроительного завода? Сейчас в заводских цехах тихо, безмолвно стоят недостроенные вагоны — производство остановлено, период невыплаты зарплаты вагоностроителям затянулся уже на полтора года — нет денег.

Общественности Латвии, правительству Латвии, академиям наук Европы адресовано послание Латвийской Академии наук: «19 июня 1998 года в 13 часов будет навсегда остановлена работа Саласпилсского ядерного реактора. Закончится почти 40-летний этап в истории латвийской науки и технологии. ...С благодарностью помним, что сама идея Саласпилсского ядерного реактора, а также существенная научная и техническая помощь в ее реализации шли от ученых России — Игоря Курчатова, Владимира Гончарова и других. ...Выражаем надежду, что со временем в Латвии...» Это в прямом смысле слова реквием по единственному в Прибалтике исследовательскому реактору.

Будучи врачом, я не могу не сказать хотя бы несколько слов о сложившемся положении в медицине. Заслуженный врач Виктор Калнберз — академик, профессор, целую газетную колонку заняло бы перечисление его почетных званий и наград, — пишет: «Мы можем себя поздравить, скоро в Латвии не будет больных! Поскольку не будет самой... медицины как отрасли. Заболел — сразу на кладбище. ...То, что сейчас творится, — это просто беспредел. Беспредел, за который мы будем платить очень высокую цену: человеческой жизнью...» А причина — то же самое отсутствие денег, из-за чего урезано финансирование «Скорой помощи». Если в мае прошлого года ее месячный бюджет составлял 161 тысячу латов, то уже в июне — всего 67 тысяч, и «скорая» была вынуждена отказываться даже от срочных вызовов. Где же, в конце концов, деньги? А деньги идут на кредиты, даже беспроцентные кредиты, выдаваемые больничными кассами различным частным предприятиям и фирмам, таким, как «Лидзас», «Ванадзиньш», «Микс», и другим.

А как дела на широко известном Рижском взморье? Приезжайте, увидите, даже сами сможете купить, к примеру, санаторий Кемери. Продадут, стартовая цена около полутора миллионов долларов, да только красивое здание находится в плачевном состоянии, а для его спасения необходимы огромные средства. Вышла из строя система отопления, и большинство помещений в течение ряда лет вообще не отапливалось. Спасибо работникам санатория, что дом вообще не развалился. Поторопитесь с приездом, а то, говорят, кто-то из Саудовской Аравии перехватить собирается.

Но покинем солнечное взморье и вернемся в Ригу, где, как всегда, жизнь бьет ключом, кипят политические страсти. Очень уж хочется сделать что-нибудь приятненькое для себя и что-нибудь гаденькое своему восточному соседу. «Идея! Устроить торжественное шествие ветеранов латышского легиона (СС). Вот завертятся!..» Устроили, да не только устроили, еще и в календарь праздничных дат внесли. Да перестарались малость — Европа опять не поняла... Пришлось отказаться от заманчивого «легиона» и ограничиться «Днем памяти латышских воинов». «Но ничего... сорвем встречу ветеранов войны на кургане Дружбы, покажем «Дружбу», чтоб надолго запомнили!» И сорвали, визовый режим здесь очень пригодился: туго натянутая вдоль границы лента, овчарки, автоматы — да... подзабытая картинка военного прошлого («Призыв», № 9704).

Заканчивая свое «сказание» о Латвии, я хочу выразить горечь и недоумение по поводу происходящего. И право на это я имею: две трети трудового стажа, а это более двух десятков лет, отданы Латвии, я и моя семья голосовали за предоставление Латвии независимости...

Мне довелось видеть поля колосющейся в рост человека ржи, поля голубеющего льна, сотнеголовые стада коров, отстроенные животноводческие комплексы, прекрасные больничные городки, построенные почти во всех районных центрах. Мне довелось ездить по дорогам Европы на отечественной «Латвии», и ни на одной автостоянке наша машина не выглядела нереспектабельной, «бледной». А сейчас больно видеть опустевшие, зарастающие кустарником поля, больно видеть торчащие из земли остовы разворованных, разоренных животноводческих комплексов и тепличных хозяйств, одиноко ржавеющие, разбросанные по хуторам кучи металлолома, того, что совсем недавно было «сельхозтехникой». Больно видеть множество оставшихся недостроенными зданий, жалко людей, потерявших чувство социальной защищенности, уверенность в завтрашнем дне... Жалко тех, кто, снявшись с насыщенного места в городе, устремился в деревню: разве они могли наладить выращивание тех же помидоров, более дешевых и внешне более привлекательных, чем те, которые привозятся откуда-то из-за рубежа?

А чего стоит политика цен? Ведь для того, чтобы купить один литр того же дизельного топлива, надо продать или сдать несколько литров молока или ведро картофеля... Вот и встречаются брошенные «временки», встречаются следы начатого и брошенного строительства. Бедная Латвия, куда ты держишь путь? Почему твои дороги наводнили иномарки, а твой автомобильный завод, твоя гордость — РАФ стал банкротом? Когда, наконец, избранные тобою политики защитят твои интересы, оградят интересы твоих производителей пока, увы, неконкурентоспособной продукции?

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ЕЛЕНА ЛАКТИОНОВА

ПИСЬМА ИЗ-ЗА КОРДОНА

Эти письма, полученные от родителей из небольшого шахтерского поселка на Западной Украине, были переданы мне адресатом — женщиной, живущей в Петербурге. Писались они в течение десяти лет, с мая 1986 г., печально известного Чернобыльскими событиями, и по 1996 г., когда у нас установилась относительная экономическая и политическая стабильность, так называемое «постперестроечное время». Десятилетие, когда Советской власти ломался хребет. Но ломался он — увы! — вместе с хребтами каждого отдельного человека. «Не дай вам бог жить в переломную эпоху», — говорят мудрецы.

Так как письма частные, во многом касающиеся сугубо семейных дел, мне пришлось изменить имена их героев. Все остальное — реальные события, истинная человеческая боль.

Стилистику писем, а также отчасти орфографию и пунктуацию я постаралась сохранить.

Автор

21.V.86 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и внучка Юлечка!

Письмо твое, Катюша, получили, спасибо. На следующий же день я заказала переговоры с Татьяной, чтобы они отдали нам на лето Димочку. Папа приехал бы за ним и за Юлечкой. Но они боятся радиации. Все-таки напишу им еще письмо, постараюсь уговорить: тут и спокойней, и клубника свежая, да и вообще зелень всякая, воздух. А радиация нормализовалась. Мы получили свою дозу еще 26 и 27 апреля. Авария-то произошла ночью с пятницы на субботу, поэтому в эти два дня выходных люди и загорали, и купались, и работали на дачах — кто же знал об этой аварии? Нам по радио Киев сообщил лишь в понедельник 28-го, когда уже стали принимать меры. А первые-то два дня была самая сильная радиация, вот мы ее и получили. А сейчас уже не страшно. Да она, возможно, к нам и не дошла: говорят, все ветром унесло в Белоруссию. Мне кажется, нет ничего страшного, если бы Димочка с Юлечкой приехали к нам. Я и горошку сладкого в этом году насеяла много специально для них. Нашу базу отдыха, что на Черном море, на все лето отдали эвакуированным из Чернобыля, и пионерлагерь тоже отдан детям из Киева и Чернобыля. У нас тут никакой паники нет, все по-старому, как ни в чем не бывало, но по радио передавали меры предосторожности. Когда эти меры были нужны, никто ничего не знал, а сейчас они бесполезны. Кто знает, что будет с нами через полгода-год или в дальнейшем? Поживем — увидим. А пока жизнь идет своим чередом, молодые женятся, дети рождаются.

Пиши, ждем. Целуем, мама, папа.

Елена Георгиевна Лактионова — журналист, прозаик, поэт, автор книг: «Комната Счастья» (СПб., 1993) — стихи, «Свободных мест нет» (СПб., 1997) — повести и рассказы. Автор многочисленных публикаций в альманахах, газетах. Живет в С.-Петербурге.

© Елена Лактионова, 1999

4.X.87 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.¹

Пишу тебе на работе. Хорошо работа такая, прихожу в ночную смену, могу писать и спать. Как раз для пенсионеров. У мамы давление, плохо себя чувствует. Вчера нашей шахте исполнилось 25 лет, как ее эксплуатируют. И мы с мамой были приглашенные на торжественное собрание. А я ветеран, работаю со дня основания шахты. Хороший был концерт, львовяне давали. Сегодня забил кролика, очень жирный. Недавно ездил за ежевикой, набрал полное ведро, такая спелая. Сварили 7 литров варенья, пальчики оближешь. На зиму вроде есть все необходимое. Должны перезимовать в тепле, дрова и уголь есть, запасаю года на два. Начинаются заморозки, а у нас есть еще 5 огромных арбузов. Нам часто стали привозить арбузы, последнее время они были по 20 коп. за 1 кг. Вот уж мы с мамой их поели в этом году, отвели душу.

От Славика писем нет, не пишет обормот из мест не столь отдаленных. Пиши, как живут Татьяна и Димочка. Татьяна ледаща,² нам не пишет, а нам же хочется знать, как живут невестка с внуком. У нас новостей нет. Мы с мамой крихтим, охаем, у меня началось обострение радикулита. Стал носить собачий пояс из Лисички, помнишь, у нас была. Пиши. Целуем, папа, мама.

¹ Русифицированное «здоровеньки булы» — будьте здоровы.

² Ледаща (укр.) — ленивая.

3.XII.88 г.

Здравствуйте, дорогие наши Катюша и Юлечка!

Получили ваше письмо, спасибо. Я сейчас одна: папа по путевке отдыхает на Бендюге. Купил на шахте через собес за 22 руб.

Он был уже два раза дома. Ты же помнишь, как там кормят: порций вполне хватит на двоих. Вот он привозит мне масло, сыр, вареные яички. Яички стали давать на полдник вместо колбасы. Даже шахтерам и то колбасы нет. В магазине есть, но дорогая. Масло у нас без талонов, бери пожалуйста. А в Уфе даже водку и то дают по талонам. У нас хоть ящик бери.

Как только закончится срок путевки, папа будет собираться к вам. Хотим привезти вам картошки. Папа осень ездил в колхоз копать и вот заработал себе — крупная, отборная: сам и выбирал. Хотим вам по ведру дать — все же лучше, чем в магазине мелочь да гнилье покупать. Кроме картошки будет еще и варенье, и грибочки, и кролик. Ну, а от вас папа проедет к Славiku, ему тоже отвезет продукты и кое-что из одежды, Славик просил для работы в зоне. Так что он будет нагружен, как ишак. Ты уж, Катюша, встреть его, пожалуйста.

Катюша, ты пишешь, что у вас протекает потолок в кухне. Соберитесь все вместе, всей квартирой, и напишите письмо в местную газету «Вечерний Ленинград». Ведь сейчас гласность, может, и подействует. Обратитесь к своему депутату.

Катюша, может быть, вы с Татьяной сможете переслать с папой немного сахара, а то летом не из чего будет варить варенье: нам дают по талонам по 1,5 кг на человека. Мы копим, конечно, но этого будет мало. А мы вам отдадим вареньем. Целую крепко тебя и Юлечку. Мама.

30.IV.89 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Доехал до места жительства благополучно. Хотя путь был тернист. Это боковое место в грязном вагоне, люди, как челноки, снова и обязательно задевали. Приехал измученный дорогой. И сразу включился в работу во дворе, работы по весне всегда много. Сегодня первый день Пасхи. Христос Воскрес, доченька. Здесь празднуют хорошо. Мама довольна подарками, апельсинами и лимонами, благодарит. Рассказал ей о встречах в Ленинграде и со Славиком. Этот баламут даже там устроился в библиотеке, где работа полегче. Он нигде не пропадет. Он там на каких-то махинациях умудряется делать деньги. Я, когда был у него, говорю, Славик, может, тебе деньги нужны, я могу дать. А он смеется и сам мне достает где-то из резинки в штанах скрученные трубочкой две купюры по 50 руб. На, говорит, перешлешь Татьяне. Вот жук! Новостей особых нет. Заняты топкой печей, приготовлением пищи насущной (а духовная жизнь — читка газет и телевизор). Буду рассчитываться с работой. Посвящу оставшуюся жизнь заслуженному отдыху на лоне природы. Остаемся с вашими заботами, ваши родители, хотя

чисто по-человечески должны быть ваши заботы о нас, в таком возрасте нашем и вашем. Погода стоит теплая. На третий день Пасхи собираюсь на рыбалку. Пиши, не ленись. Целую, папа, мама.

28.VIII.89 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Ваше письмо получили, спасибо. Вчера был день шахтера. За день до этого папа ездил на рыбалку, и был неплохой клев: поймал 2 больших леща, 4 подлещика, 6 карпов и небольшого сомика. Пожарила, сварила холодец, сделала голубцы, приехала тетя Оля, и посидели. Вспоминали тебя: ты ведь любишь, когда бывает много наготовлено к празднику. А днем в клубе был концерт — приезжал из Червонограда хор ветеранов войны «Живая память». Молодцы, поют хорошо, хотя и очень пожилые люди.

А теперь вот какая новость: твоя подружка Люда чуть было не стала вдовой: ее Михаил попал в завал на шахте. Его откопали, но он был весь раздавлен. Несколько дней был без сознания, долго лежал в реанимации. Думали, не выживет, уже решали, где его похоронить. Перенес две операции по 4 часа каждая. Теперь ему уже лучше, скорее всего будет оформлять инвалидность: ему удалили селезенку и несколько сломанных ребер. Вот так. А ведь ему нет и тридцати. Сколько молодежи и крепких мужчин калечится и гибнет на этих шахтах — страсть. Пойдешь на местное кладбище — полно молодежи — пацанов, кто в армии погиб (из Афганистана было немало похоронок), кто в шахтах, кто в автокатастрофу попадет, кто так напьются да устроят поножовщину. Потому что заниматься им здесь нечем совершенно, кроме как пить.

А неделю назад сгорели все сарайчики, что возле соседских барачков. Пожар был такой, что боялись, как бы он не переметнулся на наши дома. На счастье, было очень тихо и сыро. В каждом сарае были и дрова, и уголь, и рулоны толя, а главное, что у многих был запасен в канистрах бензин и краска в банках. Многие держали там кур, свиней, кроликов — все сгорело. Пожарные очень долго все это тушили, особенно уголь. Так что весь этот «Шанхай», как мы его называли, сгорел дотла.

Катюша, что же нам не пишет ничего Славик? Не знаю почему, но без слез не могу вспомнить о нем. Он, мне кажется, одинокий и чужой в той семье человек. Ну что его связывает с этой Лилей? Неужели он живет с ней ради прописки? С Татьяной у них есть сын, общая забота, а там — ничего.

P.S. (написан на обратной стороне обертки «печенье ЦЕЛИННОЕ», СССР — ГОСАГРОПРОМ УССР УКРКОНДИТЕРПРОМ «Світоч», цена 22 коп.). У нас нигде нет ни тетрадей, ни почтовой бумаги, поэтому приходится писать на всякой всячине. И конвертов тоже нет. Вот по одному листочку беру из тетради на письмо, а если не укладываюсь, то дополнительно пишу на чем попало. Уж извини.

Слушай, Катюша! Давай на будущее лето съездим в Уфу (без папы). И, разумеется, с Юлечкой. Я ведь столько лет там не была, а у меня там вся родня, здесь, кроме Оли, никого нет. Мне ужасно хочется всех повидать. Да и тебе не мешало бы познакомиться со своими двоюродными сестрами и братьями, дочку свою показать, — ведь ее там еще никто не видел. Пока я жива-здоровая. Подумай.

Катюша, как было бы хорошо, если бы ты получила квартиру от производства. Ты сама сходи к своему начальству и попроси, скажи, что тебя выживают соседи, одна из которых наркоманка. Житья, мол, не дают. Сколько можно мучиться в коммунальной квартире?! Что хорошего там видит Юлечка?

У нас завтра будут хоронить одну женщину, которую зарезал муж. У них пятеро сыновей, старший кончает школу, а младшему лет 9. Они оба пили, дрались, вот он ее ножом ткнул прямо в сердце. Целую. Мама.

24.II.90 г.

Катюша! Добрый день, здоровеньки были.

Это письмо передай Славiku. Я не знаю, на какой адрес ему писать (баламуту).

Здравствуй, Славик! Ты что же это, как в воду канул, ни слуху, ни духу про твою жизнь мы с мамой не знаем, как у тебя идут дела на работе и вообще какие дела дома с семьей и какой семьей. С Татьяной мы поддерживаем постоянную связь, отношения нормальные. Я как вышел на пенсию, отсыпаясь до 10—11 часов. Вот что значит спокойствие пожилому человеку. Пенсий нам своих с мамой на еду хватает, а на жизнь и на старость должно хватить того, что есть на сберкнижке у меня и у мамы. Когда придешь в наши края?

Славик, что происходит у вас в Ленинграде на самом деле, перестройка или застой? Если сможешь, пришли лимонов и апельсин. Живем мы с мамой по-старому, здоровье у мамы переменное, она мало видит свежего воздуха. Ее стихия — газеты и телевизор. Новостей особых нет. По карточкам дают сахар и мыло. Хватает. С продуктами мириться можно. Молодежь митингует. Шахтеры бастуют. Москалей пока не зачищают.¹

Ждем ответа от тебя. Будь здоров. Папа.

¹ Не задевают.

1.III.90 г.

Многоуважаемая Екатерина Петровна! Поздравляю тебя с наступающим Женским днем 8-е Марта! Желаю большого счастья, успеха в твоём труде, здоровья, долгих лет жизни. Катюша, ещё желаю тебе найти хорошего мужа. Ты живёшь в прекрасном городе и среди добрых людей. Не то что у нас, которые сами себя не уважают, а других могут ненавидеть. Дорогая Катя, извини, что написала как курица лапой, все время болею, здоровой бываю очень редко. Почему-то деревенеют ноги у меня, и очень часто падаю на землю. По всей вероятности, буду скоро умирать. До свидания, погода хорошая. Целуем все тебя, дети, внуки мои, т. Оля.

5.III.90 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Ну вот, проводили Славика, и я, наконец, могу вам написать письмо. Славик совсем не изменился, даже не похудел. О себе рассказывал мало, говорил только, что работал там в библиотеке. Я его не видела около 5 лет, с самого суда. Говорит, что начинает новую жизнь, не унывает. Говорит, что те 15 тыс., что у него тогда конфисковали, — это плата за науку. Теперь будет действовать осторожнее и с большим умом. Теперь, говорит, начинается его время. Время для таких, как он. Я, говорит, просто опережал свое время, за это меня и посадили. Сейчас он очень счастлив, говорит, словно заново народился на свет. И в семейном отношении, и в работе все складывается хорошо. Он купил здесь для продажи пальто бельгийское на пуху и два женских импортных тоже. Правда, очень дорогие. Неужели у вас их можно продать еще дороже? Ты ведь знаешь, здесь у нас бывает больше импортного товара.

Катюша, ты пишешь, чтобы мы выкупили дом, сейчас это можно. Но что-то наше начальство замолчало с продажей домов, видимо, перед выборами было не до этого. Это во-первых. А во-вторых, я и сама боюсь пока этой покупки. Купишь, а потом тебя выгонят, как в Армении или Азербайджане, и не будет ни дома, ни денег. У нас тут тоже начинается нечто похожее. Каждое воскресенье на стадионе «Шахтар» в Червонограде проходят митинги и также слышатся выкрики: «Украина для украинцев! Москаля, убирайтесь в Россию!» Папа ездил на один из таких митингов. Все выступавшие требовали самостоятельную Украину, чтобы были отдельные от других деньги, чтобы была своя украинская армия — в общем, подражают Прибалтике. Везде уже висят флаги желто-голубые и сверху трезуб. Во Львове собирают деньги с населения на памятник Степану Бандере: он для них национальный герой. Мы на ночь кладем топор под кровать, а Лебединские еще и лом. Сам Лебединский хоть и хохол, но с Восточной Украины, а ведь эти бандеры их за своих не считают и тоже называют «москалями». А что, какой-нибудь бандера недобитый зальет зенки самогоном, возьмет топор и пойдет громить москалей. И никто не вступится, и виноватого не найдешь. Так что с домом пока надо погодить до более спокойных времен. Вот вчера ходили на выборы. Почти никто, кто выставлял свои кандидатуры, не прошел. И наша голова¹ тоже не прошла. Будут повторные выборы. У нас сейчас безвластие. Старые ушли со своих постов, а новых не избрали. В общем, жизнь очень беспокойна, на душе тяжело. Что будет — неизвестно.

Спасибо за вырезки из газет. Это какая газета, «Литературная»? Папа вчера их читал аж до трех часов ночи, говорит, очень интересно. Я тоже обязательно прочту. До свидания. Целуем. Мама, папа.

¹ Голова (укр.) — председатель.

12.IV.90 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Поздравляю вас с Международным днем 1-го Мая! Желаю с повышенным настроением встретить его и провести вокруг друзей и знакомых. У нас все по-прежнему. Славик был 5 дней и все эти дни из машины не вылазил, и меня возил с собой как куль картошки, потому что я ему не оформлял доверенности. Потому что напишешь ему доверенность, не увидишь машины как собственных ушей. Он и так просил ее у меня до мая м-ца. Я не дал. А если бы дал, он мне ее вернул бы для сдачи в металлолом. Три дня подряд ездил в Любóмый под Брестом, за его же выгодами. Он не может без афер. И срок ему не на пользу пошел. При отъезде сказал нам, что письма писать ему некогда будет. Что будет работать в кооперативе и что много будет получать денег. Так что ты, Катюша, нам, пожалуйста, напиши, где хоть он. Жив ли он? А то сейчас на кооператоров нападают «ректора» с пистоллями. Он нам рассказал такие похождения про себя, что нам теперь с мамой стыдно показаться в Ленинграде перед Татьяной и ее мамой. В общем, мама серьезно начала про вас беспокоиться. Сейчас такое тревожное время. Непредсказуемое. Ничего не известно, что может случиться и что будет дальше. Где твой-то подлец, ходит ли навещать ребенка, регулярно ли платит алименты?

Катюша, пиши чаще письма. Целуем, папа, мама.

13.V.90 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Катюша, твое письмо получили, спасибо, оно шло почему-то дольше обычного. Спасибо за бумагу для писем: ведь я очень много пишу — особенно в Уфу. У меня, правда, уже есть бумага и конверты, повезло: Мария (киоскерша) по благу дала мне 5 тетрадей, и на почте появились конверты, взяла сразу 20 штук. Теперь я живу.

На 9 Мая ходили к Лебединским. Посидели вчетвером. Погода была жаркой, все ходили раздетые. Два дня тому прошел дождь с грозой, после которого на всех лужах было сверху салатного цвета какое-то покрытие, словно гуашь разведенная. Говорят, во Львове в лаборатории определили, что это сера. Ведь в Калуше работает завод, вырабатывающий серу. Где же тут будет здоровье и полезные овощи от таких осадков?

На сессии Верх. Совета Львова постановили, чтобы с 1.06. перейти на 1 час назад по сравнению с Москвой. Еще решили найти то что бы то ни стало продукты и помоча Литве, чтобы на нее не «давила Москва».

Получила письмо из Уфы, приглашают, ждут. Но не знаю, что получится: надо еще дожить. А я ведь столько лет там не была, так хочется повидать всю свою родню. Но нужно много денег и на дорогу, и на подарки, которые я начала покупать еще с осени. Уфе что-то последнее время не везет: то был взрыв газа недалеко от ж/д полотна, обгорели и даже погибли люди, то, уже в апреле, в воде обнаружили фенол, и многие жители попали в больницы с отравлением. А тут еще предсказывают землетрясение. Только этого не хватало. Действительно подходит конец света. Хотя астрологи говорят, что конца света не будет. Но все равно очень тяжелое время. Не знаю, удастся ли нам пережить все это, а хотелось бы. Наше поколение всю свою жизнь прожило ожиданием лучшего, а наступает не лучшее, а худшее. Так, наверное, и не дождемся мы этого лучшего — некогда уже. Что поделаешь.

Высылаю тебе вырезку из «Известий», где описаны те ужасы, которые переживают беженцы. Прочти. Поэтому надо переждать до более спокойной обстановки, чтобы выкупать дом. У нас тут тоже неладное творится.

В прошлое воскресенье ходили на повторные выборы в горсовет. А сегодня в 18 ч. будет собрание, где будем выдвигать кандидатов в наш поссовет.

Катюша! Когда вы будете ехать к нам, я очень беспокоюсь вот о чем. Говорят, что когда пассажирские поезда из России проходят через прибалтийские страны, националисты бросают в окна камни и разбивают стекла. Так вот когда будете проезжать Прибалтику, не сидите возле окна! Сидите на самом конце полки, возле прохода. И даже в окна не смотрите, а то может отлететь осколок и поранить лицо. Не дай Бог! А Юлечку держи между колен и прижми лицом к себе. Береженного Бог бережет.

Т. Оля ослепла совсем — катаракта. На операцию не соглашается, сама мучается и других мучает. Ты увидишь ее — не узнаешь: похудела, руки трясутся, сама ходить не может, надо за руку вести. Не дай-то Бог никому такой старости.

Все мечтала пожить одной, ждала, когда дети отстроят свой дом и уйдут. Но получилось так, что теперь ее нельзя оставлять одну. Я вот все собираюсь взять ее к себе на недельку, хоть в баню сводить, вымыть по-настоящему: им же там мыться совершенно негде. Значит, с июня м-ца у вас вводят талоны на мыло и моющие средства? Это неплохо: по крайней мере ты всегда получишь свою долю. А то у нас уже дважды давали по две пачки порошка, но была страшная очередь, и я не стала стоять. Хоть бы у нас тоже ввели талоны. А советская власть тут ни при чем, и не нужно ее ругать. Винаваты руководители, которые довели страну «до ручки», а власть сама по себе хорошая, если правильно ее использовать. А то эта тройка горе-руководителей довела страну до пропасти. Может, к 2000 г. немного наладится. Что ж, будем надеяться. Мы ведь всю жизнь живем надеждами.

Вчера к соседям приезжала их племянница с подругами приглашать на свадьбу — и все были одеты в национальные костюмы. Здесь стало очень модным ходить в национальных костюмах.

Славик прислал папе телеграмму ко дню Победы, вспомнил все-таки. Ну, будьте здоровы. Целуем, мама, папа.

23.V.90 г.

Здравствуйтесь, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Катюша, ты пишешь, что встала на очередь кооперативной квартиры. Это очень хорошо. На первый взнос мы тебе поможем собрать денег, а на ежемесячные взносы — посмотрим, быть может, мы сможем помочь, а может, ты станешь больше зарабатывать. А до тех пор было бы неплохо добиться комнаты от производства с более нормальными условиями жизни. Требуй, чтобы создали комиссию из членов профсоюза или из членов трудового коллектива для проверки твоих условий. Ведь так, как ты живешь, жить невозможно.

Катюша, я смотрю, ты большая оптимистка по поводу межнациональных отношений, и это потому, что ты не знаешь истинного положения дел у нас. Ты бы послушала и посмотрела по телевизору, как проходит первая сессия Верховного Совета Львовской обл. Смотришь, и не верится, что все это происходит на Украине. Кажется, что это видеозапись, проходящая в каком-то буржуазном государстве, где нет ни одного члена партии, где царит произвол и анархия. Все депутаты действительно беспартийные (иначе бы их не избрали) и открыто добиваются, чтобы Львов стал, словно островок, свободным и независимым городом на Украине. Большинство депутатов бывшие поляки и поэтому хотят, чтобы Львов отошел Польше. Они даже правительство Киева уже не признают. Киев, например, не разрешает вывешивать желто-блакитные флаги, а по всему Львову и у нас везде они вывешены. Да еще с трезубами, с которыми ходили бандеровцы в свои времена власти. Ни по телевизору, ни по радио не услышишь ни одного русского слова. А в автобусе, если ты по-русски спросишь, свободно ли место, тебе скажут: это место для украинцев, и не дадут сесть. Я, пока проходила сессия областного Совета, старалась смотреть по телевизору, и после всего услышанного и увиденного так тоскливо и грустно становится на душе, что свет не мил. Вот приедешь летом — послушаешь.

Вчера получили письмо из Уфы. Там одна беда идет за другой: в воде обнаружили фенол, привозили воду в цистернах. Но оказалось, что ртути в этой воде в два раза больше нормы. Очень много больных лежат с отравлением. Не успели люди успокоиться, как пришла другая беда, пострадавшие предыдущей — наводнение. Депутат из Башкирии в своем выступлении рассказала о бедственном положении БАССР. Есть человеческие жертвы, т.к. это произошло ночью, и люди выскочили в одном белье. По местному телевидению показывали районы бедствия после спада воды, это ужас! Река Белая загрязнена мазутом, и вот после спада воды он покрыл толстым слоем не только улицы, но и дома, и квартиры. Люди лопатами очищают этот мазут на улицах, а в квартиры невозможно войти. Погибло, пишут, столько скота, что мяса им не видать даже по талонам. А на рынке цены на мясо резко подскочили. Вот я и думаю: стоит ли нам ехать в Уфу в такое трудное время? Там снабжение хуже, чем у нас: у нас по талонам только сахар и моющие средства, а там буквально все. Что мы там будем делать — голодать? В общем, посмотрим, что будет дальше, а пока очень уж тревожно на душе.

У нас тут прошел слух, что с 1 июня будет подорожание продуктов, так за два дня в магазинах разобрали все, что было, и сейчас везде голые полки. Папа взял последние две пачки соли (правда, запас-то у нас есть). Ходил вчера за мясом — нету, и на базаре сразу же подскочила цена. Что появится из обуви —

очередь страшная. Хватают все подряд — наше или импортное, все равно. Такая у всех паника — ухас!

В прошедшее воскресенье наше вновь избранное поселковое правительство было привлечено к присяге и благословлено батюшкой. Перед поссоветом были установлены микрофоны, стояли на крыльце вновь избранные депутаты, был приглашен ксендз, а люди стояли на улице — с детьми, с колясками, разодетые. И вот батюшка поет молитву, а люди все подпевают и крестятся, как в церкви. Потом начали все выступать, и вновь избранный голова, и сам батюшка, и из толпы. На крыше поссовета рядом с гос. флагом Украины повесили национальную символику — желто-голубой флаг с трезубом. Потом председатель Совета и председатель исполкома произнесли присягу на верность служения народу и т.д., так что у нас теперь два председателя, получается. В общем, все новое, беспартийное. В сессионном зале вместо портрета Ленина повесили Шевченко, развесили кругом вышитые рушники, салфетки — сделали не зал, где проходят сессии, а жилую комнату. У нас на Украине действует блок «Рух» («Движение»), и действует очень активно. Вот такие дела. Я сейчас борюсь с травой в огороде. Очень устаю.

Катюша, когда приедешь к нам с Юлечкой, быть может, ты захватишь и Димочку? Поговори с Татьяной, быть может, они отпустят. Они, наверное, думают, что у нас тут такое же положение, как в Армении или Азербайджане. Слава Богу, у нас пока все по-прежнему.

Будь здорова. Целуем. Мама, папа.

18.X.90 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Спасибо, что не забываешь своих предков. У нас с октября месяца установилась хорошая погода (бабье лето). Все это время я работал по заготовке всего на зиму. Заработал в колхозе 4 центнера хорошей картошки. Могу поделиться, но как? Заготовил для кролей кукурузы, свеклы, сено есть. А их два десятка. Заготовил грибов, в этом году были грибы. А вот рыбаку запустил. У нас пока тихо по национальному вопросу. Купил мешок муки очень хорошей. Жить можно. Было бы здоровье.

Катюша, моя просьба к Славику, пусть купит мне кассеты для бритвы, у меня все кончились. Напиши, как и где он работает, мы ничего не знаем о нем.

Целуем, папа, мама.

19.X.90 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Я пряду шерсть и свяжу носки Димочке и вам с Юлечкой. У вас там зимы холодные и сырые. Я с октября месяца получаю пенсию уже 70 руб.

Катюша, ты пишешь, что про то, как у нас в Червонограде демонтировали памятник В. И. Ленину, писала «Литературная газета». А ты не могла бы мне, если возможно, прислать эту заметку? Ведь у нас тут были большие дебаты по поводу этого демонтажа. Нашего папу и еще несколько человек коммунистов-ветеранов ВОВ делегировали в Киев к Председателю Верховного Совета Украины Кравчуку. Они хотели, конечно же, просить оставить этот памятник, ведь это наша история, к чему такое варварство? Утром я проводила папу в надежде, что они сядут в Червонограде на дневной киевский поезд. И вот через несколько часов он является обратно домой восвояси. Оказалось, что они смогли достать только два билета, и поехали из делегированных коммунистов два человека, кого уж они сами между собой решили. Сначала я расстроилась. Но потом, поразмыслив, мы решили, что, быть может, это даже лучше: здесь такая сейчас опасная обстановка, что лучше сидеть дома и вообще ничем не заявлять о себе. Эти бандеровцы сейчас так подняли головы, что эта поездка вполне могла быть для папы опасной: ах, сказали бы они, ты, москаль, коммунист, на нас жаловаться в Киев ездил, памятник своему Ленину просил оставить? Так вот же тебе! Сохрани Бог. Черт уж с ним, с этим памятником. Теперь стоит голый постамент. Говорят, они хотят ставить там памятник Шевченко. Он у них теперь царь и бог. Везде снимают портреты Ленина и вместо них вывешивают своего Шевченка. И даже на митингах или каких-либо сборищах тоже выходят с портретами Шевченка. Ведь он в своих произведениях призывал прогнать москалей с Украины, вот они ему и поклоняются. Он у них теперь вместо иконы и к месту, и не к месту. Даже когда организывают крестные ходы, то наравне с иконами несут убранного в рушники своего Шевченка, даже нелепо как-то.

Катюша, пиши о себе. Где твой-то негодяй, не просится ли обратно? Ты его не пускай — мало тебе было хлопот с ним и скандалов?

Катюша, Славик, что же, ушел из кооператива на предприятие? Что еще за такое малое предприятие? Напиши нам, пожалуйста, подробнее, мы опять про него ничего не знаем. От него ничего нет.

Мы с папой живем потихонечку, пока живы, хотя не совсем здоровы. У меня часто стало плохо с сердцем, по ночам особенно, принимаю лекарства. Т. Оля по-прежнему как малое дитя. Вчера папа привозил ее к нам, я натопила ванную и вымыла ее. Господи, до чего она беспомощна! Еще не известно, какая старость ждет нас с папой. Ну ладно, будьте здоровы. Целуем, мама, папа.

28.I.91 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

У нас с мамой случилась неприятность: она упала у себя во дворе на бок, а руку держала в кармане и сломала большой палец на правой руке. Писать писем не может. Так что пока я буду вести переписку.

Получили твое письмо, спасибо, а также и бандероль от Славика. Передай ему большое спасибо от меня. Мне теперь бритв хватит на год. Мы живем по-старому. У нас действуют купоны, те же талоны на все виды: товар, продукты, бензин. Талоны дают 70% от пенсии или заработка. В сервисе я как ветеран получаю мясо, куры, яичко, масло. Запасся разными крупами на целый год. Я стою целыми днями в очередях. Да нам при таком снабжении дожить до старости, слава Богу. Соления, варения, картошка свои. Да и кролики выручают. Мне добавили 59 руб. к пенсии как ветерану войны. Спасибо Рыжкову. Как у вас прошел обмен денег? Ни от кого нет никаких известий, и ты долго не отвечала. Вы что там, все в запарке? Особенно беспокоимся за Славика — он, вероятно, снова погорел на обмене? Напиши нам обо всем. У нас с мамой вся надежда на тебя. Ты единственная, кто может сообщить нам о ленинградцах. Навести мост и связи. Погода стоит чудесная, тепло, сухо. Завтра собираюсь на рыбалку, уже не был дней десять. Это моя хобби и страсть неутолимая. Новостей особых нет. Целуем, папа, мама.

14.V.91 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Получили от тебя поздравления, спасибо. Славик тоже прислал телеграмму ко дню рождения и ко дню Победы. Хочет, чтобы я как ветеран войны получил здесь машину, а он ее толкнет у себя в Питере. Он свое дело знает. Жук!

Майские праздники, особенно Победа, прошли хорошо. 8-го был приглашенный от Совета ветеранов с Лебединским в ресторан. Были заказаны бесплатно столики. А 9-го были у них с мамой, посидели. Все подорожало в два раза и более. Привет Славике. Ждем вас на лето к себе. Целуем, папа, мама.

28.XI.91 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Получили от тебя уже второе письмо после вашего отъезда. Пошли холода, время есть поразмыслить кой о чем. У нас много яблок, я хотел вам выслать — дудки! Никаких посылок к вам сейчас не принимают. Новостей особых нет. У нас здесь за полное отделение, т.е. самостоятельность, хотят границы закрыть на замок и поставить человека с пистолем. Будем выбирать своего Президента. Ты же знаешь нашу маму, это беспокойное хозяйство. Сидит смотрит телевизор целыми днями и ругается вовсю. Я сижу на кухне, читаю газеты, а она так кричит, мне все слышно. Особенно когда выступают кандидаты в Президенты. Особенно она лютует в отношении Черновола. Она его терпеть не может. У, Черный вол, кричит, бандера недобитая! Куда ты лезешь?! Он в тюрьме сидел, кричит, куда его в Президенты?! Повылезали со всех щелей! И плюет в телевизор. Вот так и живем. Я на рыбалочку, за грибочками промышляю, а мама целыми днями смотрит телевизор и ругается. У нас тут в поселке собираются открывать свою церковь, так ходили по дворам, собирали деньги. Нам тоже пришлось дать.

Остаемся живы и относительно здоровы. Папа, мама.

16.XII.91 г.

Катюша, передай, пожалуйста, письмо Славике.

Здравствуй, Славик! Решили написать тебе письмо с мамой. Катюша пишет, что ты стал свободным бизнесменом. Она иногда напоминает о себе, а ты совсем

забыл, что у тебя где-то есть родители, которые с каждым годом стареют и здоровье уходит. Очевидно, наш жизненный путь закончится здесь. Жизнь проходит однообразно, в заботе о завтрашнем дне. Много времени уходит в очередях. Я являюсь заготовителем продуктов. Молочные продукты и хлеб в магазинах пока есть. Дрова, уголь на зиму завез. Два десятка на зиму есть кролей. Я стал незаметно для себя небольшим фермером. Жить на свободной Украине можно. Надо крутиться, как ты меня учил. Было бы здоровье. Купил 5 новых колес для машины, проблема с бензином.

Славик, я не знаю твоих планов, что тут еще можно купить на твой бизнес, а главное — вывезти. Очередь на машину идет медленно. Мне как ветерану войны полагается. Но нужно дать на лапу. Сосед и так, когда я тебе брал ту, что у тебя конфисковали, косился: москаль вторую машину берет, спекулирует. Еще чего доброго подпалит, они на это дело скоры на руку.

Пиши, Славик, о себе иногда. И пришли, пожалуйста, свой новый адрес. Ведь ты не в секретной части работаешь. Могу же я с тобой поговорить хоть в письме о нашей жизни. Мама скучает по тебе. Остаемся живы и относительно здоровы, твои родители. Привет свехам и женам. Целуем, папа, мама.

16.II.92 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Получили от тебя весточку, да не утешительную, на счет хлеба насущного. У нас положение тоже не ахти, но по сравнению с вашим намного лучше. В январе получили мы с мамой по 200 купонов, т.е. украинские деньги и добавочно обменяли российские на купоны по 100 руб. за купон. Эти деньги будут идти наравне с российскими пока. А постепенно украинские должны вытеснить российские. Пошла дележка майна.¹ Думаем этот год прожить более-менее. А что касается вашей бедственной жизни, помочь вам и рады бы, но нет возможности: ни посылок, ни бандеролей уже с нового года не принимают в другую республику. Вся надежда на лето. Приезжайте к нам на поправку. Продуктами я обеспечиваю бесперебойно. Подолгу стою в очередях. Все дорого, конечно, ну что поделаешь. Круп нет никаких. На этот год хватит, что запаслись. Приспособились к кроликам. Добавляем в фарш из кроликов картошки, и получается 25—30 больших котлет, что хватает на неделю, а из костей кролика варим супы. Молочные и хлебобулочные изделия есть. Из молока мама делает творог. На рынке ничего не берем. В общем жить можно, если не будет хуже.

Жожу на рыбалку. «Живу я в деревне, живется легко» — как по Некрасову. Я обеспечиваю топливом, мама кочегарит, кашеварит. Сердечко у нее, правда, иногда барахлит. Скажи Славiku, что насчет машины пока ничего не известно. Их нет в наличии. Ты с ним отношения поддерживай. Он тебе еще может пригодиться в это смутное время. Не гневайся на него. К вам очевидно не приеду. Маму боюсь оставить одну. Целуем, папа, мама.

¹ Майно (укр.) — имущество.

25.V.92 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Ваши поздравления с Днем Победы и письмо получили лишь 19 мая. Вот так теперь работает почта при демократах. Теперь, видимо, чтобы кого-то поздравить, надо отправлять поздравления за месяц раньше. Нового ничего нет, кроме того, что цены растут не по дням, а по часам. Мы тебе уже писали, что у нас с 1 ноября ввели в обращение купоны. Местные острословы стали расшифровывать это слово так: коммунисты Украины продолжают обманывать народ. Все равно в правительстве Украины в основном бывшие коммунисты, которые очень быстро перестроились и перекарасились. У нас их называют «комуныками».

Еще перед новым годом, когда объявили, что цены отпустят, и все хватали все подряд, папа купил 5 кг зефира. Мы его чуть не полгода ели.

За эту зиму что-то у меня совсем расклеилось здоровье. Нервы настолько расшатаны, что я уже больше не могу. Всю зиму под полом в спальне жила крыса и по ночам грызла балку под шкафом. Мне казалось, что она грызет не балку, а мою черепную коробку. Я специально держала палку, вставала и стучала по полу, чтобы она ушла. А она и не думала уходить. Я не успею лечь в постель, как она принимается за свое. Или начнет ходить между сухой штукатуркой и стеной. Подойдет к кровати и там, где моя голова начинает грызть. Утром поднималась

с воспаленными от бессонной ночи глазами, раздраженная, и начинала раздирать свою кожу в кровь от зуда. Даже сейчас сижу, а ноги словно в крапиве.

Катюша, когда приедете в отпуск, привозите ничего не надо: вы сами там бедствуете. Разве только дрожжей, я буду стряпаться. А чай у нас еще есть.

Очень много работы в огороде. Устаю ужасно. Ну да ладно. Будь здорова. Целуем. Я и папа.

24.IX.92 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Передаем вам через Аню Лысак гостинец, она едет с одной женщиной к вам в Ленинград за вещами. Передаем: в рюкзаке свекла, морковь и картошка. В сумке все остальное. Поделите со Славиком и Татьяной. Ну а ваши гостинцы на ваше усмотрение. Не помешало бы несколько банок рыбных консервов. Позвони братику, пусть раскошелится для своих родителей, что-нибудь пришлет из съестного заморского. Он по этой части мастер.

Аня — дочка агронома Михайловны в колхозе, где я зарабатываю картошку. Она хочет купить кой-какого барахла: обувь мужскую и женскую импортную, кофе, папиросы. Ты же знаешь, они тут все ездят в Польшу и Румынию, везут электротовары и еще много чего, все это там продают и привозят хорошие доллары. И говорят, у вас кой-что можно купить дешевле, вот и хлынул народ.

Катюша, не сможешь ли ты приютить Аню на 2—3 ночи у себя где-нибудь и показать ей основные магазины? Михайловна обещает, если все будет удачно с поездкой, дать мне гречневой крупы. Да и бензином она меня иногда снабжает колхозным.

Твои 10 купонов, которые у тебя остались и ты выслала в письме, не получили. Письмо вскрыли и деньги забрали, паразиты.

С завтрашнего дня мне предстоит трудиться на картошке. Денег у меня на книжке осталось 16 купонов. А было 3,5 тыс. рублей — это полмашины по старым ценам. Думал, что обеспечил себе спокойную старость. Все пропало. Целуем, папа, мама.

10.I.93 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Хотя зима на дворе, я всегда в работе. У нас тоже все подорожало. Масла сливочного дают по 300 гр. на семью независимо от количества человек. Уже купил на рынке по 400 куп. домашнего.

От Славика нет никакой весточки. Забыл совершенно, кто его поставил на ноги. Рады за него, что он стал миллионером (хотя нам от этого не легче). Он жмот, живет для себя в удовольствие. Хоть бы тебе помог иногда, баламут.

Живем мы по-прежнему. У нас тут открыли церковь в поселке. Так мама ходила на открытие, и ее добре просквозило. Сейчас ходит на прогревания и уколы. Новостей особых нет. Мяса мы еще не покупали. В основном обходимся костями. А на второе блюдо часто приходится нажимать на картошку. Хорошо, что запасаю ею и очень вкусная. Думаем, переживем и этот год, если не будет перебоев с хлебом и молочными продуктами. Получаем мы с мамой пенсии около 10 000 куп. в месяц, и все уходит на продукты. Хорошо, что есть подспорье от своего хозяйства. Часто думаем о вас с Юлечкой. Как вы умудряетесь существовать на такие скудные средства и по таким ценам. Алименты получаешь копейки, своего огорода нет, все купи, каждый пучок зелени денег стоит. Помогать мы вам, к сожалению, совершенно не можем. Ни деньгами, ни продуктами. Даже посылочку с яблоками не выслать — не принимают. Хотя яблок много и даже гниют. Так что единственно — приезжайте на лето отъедаться. Как вы использовали свои ваучеры? Целуем, папа, мама.

16.II.93 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

С мамой случилась беда. Я тебе писал, что она ходила на уколы и уже заканчивала курс, шла домой, упала, сильно ушибла правую руку и ребра. Ночами не спит, все у нее болит. Немного действует левая рука, а правая висит как плешь. Снова ходит на прогревания, а на массаж вожу ее в Червоноград на машине. По дому я кручусь. Кормлю кроликов, кочегарю, готовлю питание, хожу в магазины. Мама за инструктора. Уже освоил печь блины, сырники. В ближайшее время думаю освоить, как месить тесто для вареников и стряпни. Вот так мы здесь прозябаем. Доживаем свой последний тернистый жизненный путь.

Катюша, пришли, пожалуйста, новый адрес Славики. Рады за него, что он купил себе квартиру. Он нас даже с Новым годом не поздравил и маму с днем рождения. И Татьяна тоже. Ты у нас как связаня. Я с ним хоть в письме поговорю на тему совести и порядочности, если он к нам носа не кажет, не хочет навестить своих стареньких родителей. Мама по нему скучает. Пиши.

Целуем, папа, мама.

13.IV.93 г.

Мы живем по-старому. Одолевают всякие болезни нас. Здоровье уходит с каждым днем. Становимся неуклюжими коряками. Все очень дорого. Страшные очереди. Нас по-прежнему выручают кролики и колхозы, где еще можно достать для них корма, да и себе кое-что. У т. Оли здоровье очень плохое. Приезжайте на лето к нам, и Димочку тоже захвати. На откорм. Я во Львове вас встречу. Жизнь серая, скучная. Да и весна дождливая, холодная. Целуем, папа, мама.

28.VII.93 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Получили ваше письмо, спасибо за внимание. Я уже могу писать, хотя рука и плечо еще очень болят. Мы живем потихонечку (торопиться-то некуда). Папа занят приготовлением сена на зиму, а я вожусь с кастрюлями и борюсь с сорняками в огороде. Урожай в этом году овощей и фруктов неплохой, но из-за дождей все портится.

Продукты в магазинах дорожают каждый день. Конец этому когда-нибудь будет или нет? Наверное, скоро, как в Польше или Италии, будут миллионы. Особенно дорого стоят обувь, водка и папиросы. А чаю совсем нет никакого. Прямо какое-то светопреставление.

А теперь про т. Олю. В прошлую субботу, 24-го она умерла. Последние несколько месяцев она уже не поднималась. Видела бы ты ее! Высохла до неузнаваемости! Лежала в гробу сухонькая, маленькая, словно подросток. Вот такие дела. Теперь у меня здесь никого родных не осталось, все только в Уфе. Вот ведь, в свое время не съездили, а теперь и вовсе не выберешься. Пенсии едва хватает на питание, да и где взять российские деньги? И еще поневоле думаешь о том, что, не приведи Господь, конечно, если доведется вот так последние дни свои доживать, кто будет ухаживать? Вы все в Ленинграде, только мы с папой вдвоем здесь в этом Богом забытом поселке, никому не нужные. Мы уж себе с папой место отгородили на кладбище, рядом с Олей.

Вот какое четверостишие сочинили на украинских депутатов. Я их называю не демократы, а дерьмократы. Ведь каждый лезет туда только с целью пожить, а на народ им плевать. На народ всегда всем плевать, только выезжают за его счет. И каждый из них, выходя к трибуне, обязательно провозгласит: «Слава Украине!»

Цэ нэ важко,¹ щоб сказати:
«Слава України!»
Працювати² нэ хотять,
Тильки п'ють, як свини.

Ну ладно, будь здорова. Целуем, я и папа.

¹ Не тяжело (укр.).

² Работать (укр.).

29.XII.93 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Наконец-то имею возможность ответить на твое письмо: ни на почте, нигде не было конвертов. И вот только вчера поступили в продажу конверты, и за ними была даже небольшая очередь. Письма в ближнее зарубежье снова подорожали. Теперь письмо в Россию стоит не 38, как раньше, а 80 купонов. Так что теперь не очень-то распишешься.

Катюша, ты пишешь, что у вас все подорожало в 2—3 раза. Но что творится у нас, это уму непостижимо. Цены подскочили невероятно. Папа говорит, что за молоком и сметаной никого нет — так все дорого. Сегодня из Киева передавали, что на рынке цены стали ниже, чем в магазине. Но это временно, подскочат и

на рынке. Подорожали квартплата, эл. энергия, телефон. В общем, все. А пенсию обещают повысить после Нового года — вот и живи как хочешь. И ведь это еще не предел. Что нас ждет — неизвестно, но ничего хорошего.

Хохлы все ругались, говорили, вот будем жить отдельно, у нас будет полно цукору, Россия якобы отбирала у них весь цукор. Теперь отделились, живут самостоятельно, а сахару по-прежнему нет. Только вместо 1 кг на человека стали выдавать по 1,5 в месяц. Где же, спрашивается, их цукор? Летом что творилось: ягод всяких полно, а варенья не сварить. Стояли полные ведра слив, вишни, абрикосов, все портилось, гнило, в лесу осыпалась ежевика и малина, а что с ними делать без сахара?

Наш папа почти целый месяц лежал во Львове в госпитале. Ведь он совсем стал плохо слышать. Ему и посоветовали получить инвалидность. И вот, слава Богу, все обошлось хорошо, и ему дали вторую группу. Правда, эта врачиха бандеровка ему прямо сказала: вы будете иметь группу, а я что буду иметь? Вымогала взятку, паразитка. Папа уж ей пообещал, что, если все будет хорошо, он ее отблагодарит. Так она его научила, как себя вести на комиссии, и хорошо ему написала. И вот он возил ей набор крольчихных выделанных шкурок на полущубку ее дочери и бутылку коньяка. Зато теперь мы совершенно не платим за свет и квартиру. И кое-какие продукты он получает по заниженной цене в сервисе. Теперь из-за этих льгот, что предоставляют инвалидам, группу стараются получить даже те, кому она не положена. Ивашкин все хвастался, что хоть и воевал, а ни разу не был даже ранен, что его, мол, даже пуля не задела и что он здоров. А теперь я вдруг случайно узнаю, что он тоже получил вторую группу инвалидности. И вот я теперь с ним не разговариваю. Это наш папа действительно был ранен при форсировании Днепра, и даже его родным прислали похоронку, считали его убитым. Вот это ранение и контузия сказались, что у него одно ухо совсем не слышит, а другое плохо. И его состояние ухудшается.

Рады за Славика, что он не погорел летом при обмене крупных купюр. Но ты, Катюша, пишешь, что он знал об этом. Но как же ему удалось об этом узнать? А что у нас творилось на Украине! Когда объявили об обмене, все хлынули в Россию менять деньги, а тут их отдавали просто за бесценок. У многих так и пропали. У нас с папой ничего не было, мы и не беспокоились. А многие держали русские деньги именно в крупных купюрах, потому что они у нас еще ходили подпольно. И вот многие погорели, а кое-кто, конечно, и нажился на этом.

Катюша, ты, наверное, слышишь в новостях по телевизору о положении на Украине. Из-за экономии электричества временно не работают бани, прачечные, парикмахерские. В Червонограде уже начали на ночь отключать свет в домах. У нас в поселке пока этого нет, но тоже ждать надо. А всю осень и до сих пор совершенно не ходят рейсовые автобусы ни в Червоноград, никуда, из-за отсутствия бензина. Ходят только шахтные автобусы, развозят на смену шахтеров. И вот, чтобы как-то добраться до нужного места, приходится поджидать и ловить эти автобусы, иначе никуда не уехать. У папы для машины бензина тоже нет. Ему, правда, дают сколько-то ли в месяц, то ли в квартал как инвалиду ВОВ по госцене, но этого мало. Телевидение начинает работать с 16 ч. — УТ (Киев), с 18 ч. — «Останкино» и с 18 ч. — «Россия» (но только фильм «Санта-Барбара»). Даже лампочек нигде нет. В прихожей перегорела, и вставить нечего, в ванной светит такого накала, что едва можно различить, где ванна, а где унитаз. Папа ездит на базар, но и там лампочек нет. Вот такие у нас дела. Зима в этом году пришла ранняя и суровая. Целуем. Я и папа.

11. III. 94 г.

Здравствуйтесь, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Большое спасибо за поздравления к 8 Марта. Ты всегда присылаешь такие красивые поздравительные открытки. А у нас во Львовской обл. этот праздник не считают, вернее, его считают бывшим «советским», и поэтому открыток нигде нет.

А теперь печальная новость: умер Лебединский д. Саша. Да, да, умер! И настолько неожиданно, что я до сих пор никак не могу поверить, что его уже нет в живых. Умер он 17.02, а накануне, 16-го, я была у них, смотрела телевизор: наш плохо показывает. Сидели с ним рядышком на диване, после еще разговаривали, обсуждали житейские дела. А 17-го он ходил по поселку, словно прощался с ним. Заходил в магазин, хотя ничего не покупал. Со многими встречался на улице, здоровался — в общем, все было обыденно. В обед пообедал вместе с

Валей, посидели, поговорили. Валя стала собираться на работу, а он хотел помыть посуду. Вдруг почувствовал тошноту, лег на диван. Валя вызвала врача. Чем-то колали, но помочь уже не могли, он умер. По поселку это событие пролетело с молниеносной быстротой. Никто не мог поверить, т.к. в этот же день его видели и разговаривали. Похоронили по-христиански: с попом, отпевали в церкви. И похоронили его недалеко от т. Оли. Валя тоже рядом с ним отгородила себе место. Так что будем лежать все вместе, недалеко друг от друга. В жизни жили рядом, почти что соседи, и после смерти будем лежать рядом. Людей умирает в поселке много, чуть не каждую неделю — покойник.

Катюша! Посылаю тебе неиспользованные российские марки. Они были наклеены на присланных мне конвертах, но не проштемпелеваны, чистые. Ты можешь их еще раз использовать, ведь сейчас так дорого стоят письма. Ты, наверное, теперь из-за дороговизны транспорта и в гости не очень-то едешь? Вот ведь что наделали!

У нас уже весна, все зеленеет, прилетели трясогузки. Скоро зацветут тюльпаны и нарциссы — одна из маленьких радостей жизни у меня теперь.

Целуем. Я и папа.

2.VII.94 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

Мы стали писать гораздо реже друг другу, чем прежде. Во-первых, так долго стали идти письма, будто не из ближнего, а из самого дальнего зарубежья. Ну и, во-вторых, дорогие письма стали, конечно.

Теперь о нашем житье-бытье. Ничего: скрипим, но живем. С наступлением жары меня просто гробит поливка огорода. Руки настолько болят, особенно левую, которое было ушиблено, что утром еле-еле поднимаюсь с постели. Худеем с папой, особенно он. Куда все у него делось — нет ни бывшего живота, ни солидности. Остались кости, обтянутые кожей. Потому что работа не по возрасту. Утром встает рано и ездит косить траву кролям на зиму. А травы уже нигде не остается: то взяли под огородами, то многие завели коз, коров, овец и тоже косят на зиму: жить как-то надо. Приходится везде ездить и искать еще не выкошенные участки. Да и то однажды, когда папа косил траву, вышла какая-то вуйка и стала кричать, что он косит ее участок. «Ты скажи, где твое, я не буду косить», — спрашивает папа. — «Всё мое, — кричит она. — Тикай в Россию». Вот так и живем, если это можно назвать жизнью. А что поделаешь — надо. Мы всю жизнь не жили, а только боролись за выживание. До войны были еще школьниками, но тоже родителям помогали в колхозе и дома. А потом война, знаешь, небось, что люди пережили на фронте и в тылу. Я работала за лошадь, нам, учителям, даже зарплату, как лошадям, выдавали овсом. Год учишь учеников, а все лето опять работаешь в поле, в колхозе. А после войны как было тяжело, все разрушено, голодно. Вас двоих детей воспитывали, работал один папа, жили на 800 рублей старыми деньгами, это значит на 80 советскими, вчетвером. Сколько нужно сил, чтобы детей вырастить, поставить на ноги. Только вышли на пенсию, дети взрослые, самостоятельные, живут отдельно в хорошем большом городе, вот, думали, жить бы и жить только. Денег на книжке было на старость, еще вам помогали. И вот на тебе. Думали ли мы, что доживем до таких времен, когда опять приходится абсолютно на всем экономить, выкручиваться, чтобы хоть как-то существовать. Мало того, на тебя еще здесь волком смотрят, как на оккупантов: убирайтесь в свою Россию. О-хо-хо, видно, уж такое разнесчастное наше поколение, что поделаеть.

Катюша, ты пишешь, что очередь на кооперативную квартиру у вас сейчас «заморожена». Как же ты теперь получишь жилье? Ведь ты со своей инженерской зарплатой ничего не накопишь. И на работе тебе тоже вряд ли что-то теперь дадут, нужно было раньше. Что же теперь тебе делать? И ведь помочь вам с Юлечкой мы бы и рады, да никак не можем. Неужели ты всю жизнь так и будешь жить с этими пьяницами и наркоманами в одной квартире?! Ведь это же с ума сойти.

Ну вот, вроде все тебе описала, и даже поплакалась, не сердчай. Напишешь письмо и будто поговоришь с человеком, отведешь душу. А то ведь и поговорить не с кем. Папа то весь день на рыбалке своей пропадает, то на заготовке сена, то еще чего. А с вечера спать рано заваливается. Вот я одна сию долгими вечерами, единственная отрада — телевизор. А поговорить не с кем. А так порой хочется. Ну, до свидания, ждем вас с Юлечкой в гости на лето. Визы к нам еще, слава Богу, не надо, как в Прибалтике сделали. Целуем. Я и папа.

15.X.94 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Получили твое письмо, спешу ответить. У нас все по-старому. Погода стоит дождливая и холодная (идут дожди осенние). Однако заготовил много черники и малины. Сейчас пора грибов, уборка в огороде. Рыба ловится, часто езжу. В общем, я в дороге, я в пути. Вчера ходил в лес, набрал 6 л клюквы, правда, только наполовину красная, но ждать, пока созреет, не дадут — метут все подряд. Раньше в лесу не очень-то народу было, ходил по малину, чернику — рви не хочу. А теперь куда ни приедешь — полно людей. Все что-то собирают, косят, тащат. Клюкву у нас вообще никто никогда не брал, я один то место знал, и всегда много приносил и красную. И калину тоже. Они ее здесь за ягоду не считали и не знали, что с ней делать. А теперь разнюхали все мои места, приходится собирать недозревшую и дома она доходит, иначе и этого не увидишь. То же самое с травой кролям, проблема накосить, приходится где-то выискивать.

Все очень дорого. Но и получаем миллионы. Так что мы тут все на Украине заделались миллионерами. Недавно мама у т. Вали просила миллион до пенсии. Картошка на базаре 10 000 карбованцев за кг. 1 ц стоит 1 млн. Хорошо хоть, что я получил группу, инвалид войны, не плачу за свет и квартиру, и телефон 50%. Бензин получаю 40 л в месяц в два раза дешевле от простых грешных.

На будущий год готовимся с мамой отмечать свои 70-летия. Славик переслал с одним знакомым кое-какие деликатесы. Мы их только на свое 70-летие и попробуем, а он ими питается. Из стариков остались в нашей округе только я и Валин сосед. Да и нам с мамой считай уже по 70, заканчиваем свой тернистый путь. Мы с мамой прикинули, что жить нам осталось, получается, 5—6 лет, больше не протянем, особенно мама. Здоровье ухудшается. Мама сидит здесь как на иголках, боится, что начнется драка. Хочет в Россию. Правда, пока здесь все тихо. Разве что какой-нибудь пьянота озлобится, оскалит зубы.

Пиши о себе и Татьяне с Димочкой, они совсем нас начинают забывать. Целуем, папа, мама.

12.I.95 г.

Катюша! Поздравляем тебя с твоим днем рождения! От души желаем тебе хорошего здоровья на долгие годы, бодрости духа и терпения в наше смутное тяжелое время. Время честности прошло. Сейчас все стали жуликами и хамами. Короче говоря, дельцами и бизнесменами. У меня начинают отказывать ноги, чего я так боялся. Ведь меня, как волка, кормили ноги. А сейчас становится очень трудно ходить. Мы свой уголь поменяли на картошку и сахар. И я сейчас с больными ногами хожу на террикон и собираю уголь, чтобы топить обе печи. Холода стоят сильные. Зима очень суровая и не отпускает. Гололед сильный, ходим как по льду. Газ нам еще не провели, не хватает средств. Новый год и Рождество провели плохо, были дома за телевизором. Вот мы жили и живем в труде и заботе о хлебе насущном. Пиши хоть ты старикам. Целуем, папа, мама.

15.V.95 г.

Здравствуйте, дорогие мои Катюша и Юлечка!

У нас опять ужасно подорожали письма в ближнее зарубежье. Марка стоит 24 тыс., а один чистый конверт целых 6 тыс. Так что приходится иногда использовать старые конверты, ты уж извини.

Вот и отметили мы с папой свои 70-летия... Даже не верится, что уже так много прожили, а хорошего ничего не видели. А теперь и тем более не увидим.

Ото всех получили теплые, искренние поздравления на очень красивых открытках и телеграммах. Как было приятно читать слова пожелания и доброго здоровья, и долгих лет жизни, и всего прочего, что обычно желают в таких случаях, что я плакала от сознания, что меня еще помнят, уважают и желают добра. А ведь это последний юбилей в моей жизни, да, да! Я больше чем уверена, я чувствую это.

Так же много получил поздравлений папа к 50-летию Победы. И из Уфы, и от вас. Только здесь, во Львовской обл., этот день никак не отмечался, т.к. 8-го числа они отмечали день скорби по убитым бандерам и солдатам УПА.¹ А 9-го

¹ Украинская повстанческая армия (Е. Л.).

для них праздника нет, они его не признают, считают нас, всех русских и всю российскую армию, оккупантами. 9-го Мая папа ездил в Червоноград, фронтовики возложили цветы к памятнику Неизвестного Солдата — и по домам. Никто не выступил, не поздравил. Ужас, да и только! В Киеве и в других городах проходили митинги, чувствовался праздник, это только у нас на Западной Украине такое положение. Как я не хочу тут жить больше!

Да еще эти постоянные прорывы трубопровода у нас в огороде. Ведь через наш двор проходит водопроводная труба. И вот только за этот год она лопалась 3 раза! А это значит, пригоняют экскаватор и начинают все разрывать в диаметре 6—8 метров, а то и больше. А то, что там огород засажен, это никого не касается. В апреле месяце так хорошо принялась пересаженная клубника, я радовалась, а утром встаем — ба-атюшки! — все в воде. Разрыли экскаватором ямищу, мало того, что пропала вся клубника, они еще ковшом задели сливу, и так и расщепили ее пополам. Папа ее пытался спасти, но куда там, так и погибла. И ведь такая хорошая была сливка, и единственная. А чтобы проехать экскаватору, им пришлось навезти целую машину гравия. Потом заровняли все бульдозером и уехали, они свое дело сделали. Папа просил в ЖЭКе подводу, чтобы вывезти этот гравий, так эта заразина бандеровка Галя так и не дала подводу. Мы ждали, ждали, так и пришлось нам с папой весь этот гравий вывозить самим. Взяли у соседей тачку, лопатами нагружали и вывозили за дорогу. И это оба больные 70-летние люди! Только я отпереживала этот прорыв, как — опять, новый! — в другом месте. Этой же трубе лет сто, если не больше, они ее все латают и латают, не знаю, будет этому когда-нибудь конец или нет?! Новый прорыв случился как раз в пятницу под выходные. Бригадир говорит: мне некогда, техники нет, ждите до понедельника. Это значит, до понедельника сидеть без воды. Пришлось папе им ставить бутылку и кормить обедом — они это и вымогали. И все сразу нашлось — и техника, и время. Экскаватором опять так все разворотили — страсти Господни: погубили много картошки и помидор, а ковшом опять задели абрикос, и огромный сучище пришлось спилить. Разворотили и уехали. И вот пришлось папе эту ямищу вручную закапывать. Инвалиду 2-й группы. Эх, не было здесь никогда власти настоящей, а теперь и подавно! Богом забытая некрасовская деревня. Ну скажи, как можно все это вынести?! А тут еще по телевизору показывали, как в Прибалтике на кладбищах из могил, где похоронены русские, выбрасывают их кости. Вот так и у нас, наверное, будет скоро. Да что ж это, нас, русских, так все ненавидят, что мы им сделали?! Не могу я здесь больше, хочу в Россию!

Я уже написала письмо Славику, где прошу его посодействовать в нашем переезде куда-нибудь в тихий чисто русский городок. Желательно недалеко от вас. Он ответил нам, чтобы мы приватизировали свой дом, продавали и машину, и мебель, все только на доллары, и тогда он на эту сумму попробует что-нибудь подыскать нам в Ленинградской области или в пригороде Новгорода. Вот было бы хорошо. Все документы, необходимые при ватизации дома,¹ у нас собраны, но мы намеренно их придерживаем: ждем, пока нам проведут газ. Дело в том, что если дом будет частный, газификация нам обойдется в 56 млн.! — астрономическая для нас сумма. Но еще неизвестно, сколько времени протянется это ожидание. По улице трубы уже проложили, а копать траншеи к дому должен каждый сам. Так что эта копка опять ложится на папу.

У нас тут теперь очень популярной стала песенка, ее часто даже передают по радио: «Бачитэ, плачу: хлип, хлип, дайте на хлиб». Вот дожили! Зато «независимая» Украина. Везде такой бардак, беспорядок, просто ужас. Молодежь постоянно ездит на заработки то в Германию, то в Польшу, то в Россию. Привозят по 150—200 долларов. Работают где придется, но в основном на стройке. Организуют свои бригады и договариваются целыми бригадами о работе. Живут в общежитии. Но это как повезет. Уезжают на заработки потому, что многие шахты стали нерентабельными и их собираются закрывать. Шахтеры остаются без работы. Вот ведь жизнь настала — не верится, что все это происходит у нас и с нами. Цены настолько высокие, что не вмещаются в голову. Я с этими нулями просто путаюсь. Ну подумай сама: буханка хлеба стоит 34 тыс., сливочное масло — 400 тыс. кг, сметана — 110 тыс. А пенсии маленькие, у меня 1,5 млн., у папы, правда, большая — около 3 млн. Приедешь на базар — глаза разбегаются от изобилия всяких товаров, и промышленных, и продуктовых, с красочными

¹ Так в оригинале (Е. А.).

этикетками, упаковками, словно цветочная клумба. Но все импортное, ничего не прочитаешь, а цены просто астрономические. И уфимские новости тоже невеселые. Моя племянница Таня и ее муж Вася умерли через 9 дней один от другого. Извини, что кончаю такими печальными новостями, но жизнь есть жизнь, и от нее никому не денешься.

Ну ладно, кончаю, а то расписалась, а папа уже пришел, есть хочет, нужно его кормить. Будь здорова! Поцелуй за меня Юлечку, очень скучаю по ней. Я и папа.

24.I.96 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Мы с мамой решили все же выехать отсюда, мама очень хочет поближе к вам. По телевизору про Россию ни одного часа не показывают. Люди здесь стали жить волками друг к другу. Мы со Славиком хотим поездить по Ленинградской и Новгородской области, присмотреть себе домик или квартиру. Нам с мамой много не надо — доживать свою старость у вас в России. Потом все равно это все будет ваше. Мы с собой в могилу не заберем. Вот такие у нас возникли планы, особенно мама и ддя не может здесь.

Мама совсем рухнула на старости лет. Изучает библию, к ней ходят баптисты два раза в неделю. Вот когда изучит, надо будет искупаться в воде во всем белом, чтобы стать членом их общества. Но она говорит, что купаться не будет. Говорит, я только изучу библию, чтобы попасть в рай. Ну мне, конечно, в рай не попасть. Да, Катюша, у нас за три дня подошли 20 кроликов, уже большие были, чума. Сейчас нет ни одного.

Катюша, ты пишешь, почему я стою в очередях, хотя я как инвалид войны могу брать без очереди. Здесь порядка никакого нет. Им всем плевать, инвалид ты или не инвалид, а к тому же русский. «Тикай в свою Россию!» — вот и все.

Вот такие наши дела и планы. До скорой встречи на Российской земле, т.е. родной сторонке. Целуем, папа, мама.

4.III.96 г.

Здравствуй, Катюша! Здоровеньки были.

Доехал я хорошо, только во Львове пришлось быть на вокзале всю ночь — очень неудобно приходит поезд. Дома было все нормально. Мама нашу разлуку перенесла спокойно, молча. Многое я ей рассказал о нашей со Славиком поездке по деревням и городам России. А за два дня мы с ним наездили 900 км. Ничего хорошего я ддя нас не нашел. Рассказал о житье-бытье в России. У нас жизнь дешевле, у вас дороже. У вас люди разделились на богатых и бедных, и у нас тоже. Мы вроде где-то посередине. Голодные не сидим, слава Богу. Пенсии хватает на еду, а одежды хватит до наших последних дней. В общем, в Россию к вам не поедем. Будем доживать здесь последний десяток нашей старческой жизни. Вот уже 40 лет мы здесь живем и все годы коচেгаем углем. В этом году должны, наконец, подвести газ, а мы задумали переезд в никуда. И сколько нам жить осталось? Особенно мама плоха, руки у нее совершенно отказывают, сильные головные боли, высокое давление. Но она так мечтала жить в Новгороде, кто-то ей расхваливал этот город, вот она и загорелась. И поближе к вам хотела, естественно, а в Питере ей не климат. Но все это останется в мечтах, просто грезы. По телевизору совершенно про Россию не передают, гонят многосерийные zahraniчные фильмы. Вот мама и загрустила по родине. В Тернопольской обл. ОРТ показывает, в Прикарпатской показывает, только у нас во Львовской не показывает. 8-е Марта и 1-е Мая отменили, сняли все памятники Ленину. Поменяли все названия улиц, в Червонограде и во Львове есть даже улицы Степана Бандеры и Джохара Дудаева — они ддя них национальные герои. Катюша, теперь вокзалы, через которые проходят поезда из России, огородили сеткой и решеткой, и местным жителям к поездам не подойти. Раньше они предлагали пассажирам еду, фрукты, как-то имели лишнюю копейку с этого, кормились. Всегда так было. А теперь продавцы кричат из-за этих решеток, предлагают еду, пиво, как в зверинце. Что делают с народом. Вот понаделали делов Ельцин и Кравчук. Скоро должны вестнн какою-то гривну.

Неделю назад я серьезно стал беспокоиться. Ни с того ни с сего заболело сердце. Давление 220 на 110. Уколами, таблетками довел до 150 на 70. Сейчас чувствую себя относительно нормально. Стараюсь не нервничать. Веду спокойный образ жизни. Придерживаюсь советов врачей, перешел на диету. А то уже сказал маме, где лежит мой смертный костюм и белые тапочки.

Новостей особых нет. А к политическим страстям мы уже привыкли и не верим ихнему шахрайству.¹ Все тянут одеяло на себя. Пенсию выдают с большими задержками. Шахтерам годами не платят деньги. Все затухает.

Славик приглашает нас с мамой в мае на новоселье: он купил себе трехкомнатную квартиру на Васильевском острове и отделявает ее по европейскому стандарту. Но мы с мамой не поедем. Мама боится заболеть и не знает, у какой свахи жить.

Вот мы, считай, и перезимовали эту суровую зиму. Сейчас установились сравнительно теплые дни, и снег стал понемногу таять. Нужно копать траншею от тротуара к дому, но земля еще мерзлая, и копать трудно. Да и помогать надо слесарям. Я опять решил развести кроликов.

Скоро весна-красна. Особенно по весне и осенью много работы в огороде. Пенсионер, я где-то читал, должен работать всего 2 часа в день. А тут работаешь с утра до позднего вечера, и все находится работа. Ну и, конечно, буду открывать сезон насчет рыбалочки. Пока еще понемножку клюет рыбешка. Летом ждем к себе на поправку. Пока еще мы живы. Пиши хоть ты старикам.

Будьте здоровы. Целуем. Папа, мама.

¹ Шахрайство (укр.) — мошенничество.

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

ЛЮДМИЛА ЗУБОВА

ЦВЕТАЕВА В ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ БРОДСКОГО

(«Новогоднее» Цветаевой, «Об одном стихотворении»
и «Представление» Бродского)

Сколько раз на школьном табурете...

М. Цветаева

Мальчик садится на место,
расстегивает портфель, кладет на
парту тетрадь и ручку, поднимает
лицо и приоткрывается слушать
ахиною.

И. Бродский

Цветаевский подтекст стихотворения Бродского «Представление» (1986), не очевиден, но весьма важен для понимания этого произведения. Ускорение мысли в стихотворной строке, о котором говорилось в нобелевской речи Бродского, ощутимо отрывает поэта от читателя, поэтому за разъяснением смысла стихов полезно обратиться к прозе автора, в которой он формулирует свои взгляды на сущность поэзии. Основание для толкования и комментария «Представления» с учетом цветаевского подтекста можно найти в эссе Бродского «Об одном стихотворении» (1980) и в объекте этого эссе — стихотворении Цветаевой «Новогоднее».

Обращение к прозе Бродского о Цветаевой вызвано особым местом, которое Цветаева заняла в его сознании: «Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии — изменился весь мой взгляд на мир, а это ведь и есть самое главное, да? С Цветаевой я чувствую особое родство: мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника <...> Цветаева — единственный поэт, с которым я заранее отказался соперничать» (Бродский 1997: 88).

Но о соперничестве есть и другие мнения: «Цветаева интересовала Бродского скорее не как наставница, а как соперница» (Крепс 1984: 25); «Это только кажется Бродскому, что он не вступил в соревнование с Цветаевой. Кажется из любви к ней. На самом деле ее-то он как раз и «победил» (Ушакова 1997: 103). По-видимому, именно в тех случаях, когда Бродский говорит о безусловном превосходстве, непревзойденности Цветаевой в чем-либо, и можно искать импульс Бродского к соперничеству, а точнее, к попытке пойти дальше. Такую точку опоры для движения в направлении, заданном Цветаевой, находим в высказывании: «Взглянуть же на себя глазами странствующей в пространстве души мертвого Рильке, и при

Идея этой статьи принадлежит моему мужу Владимиру Лазаревичу Тискину. — Автор.

Людмила Владимировна Зубова — профессор, специалист по истории русского языка и лингвистической поэтики. Автор книги «Поэзия Марины Цветаевой: лингвистический аспект» (Л. 1989) и статей о современных поэтах («Литературное обозрение», «Русистика сегодня» и др.). Живет в С.-Петербурге.

© Людмила Зубова, 1999

этом увидеть не себя, но — покинутый им — мир, — для этого требуется душевная оптика, об обладании которой кем-либо мы не имеем сведений». Бродский в «Представлении» взялся за аналогичную задачу, возможно, имея в виду и цветаевское «Жизнь и смерть произношу с усмешкой <...> Жизнь и смерть произношу со сноской». «Представление» изобилует и усмешками, и сносками — как в цветаевском смысле «уточнениями», так и в смысле Бродского «аллюзиями».

Трудность понимания «Представления» состоит не только в множестве намеков разной степени зашифрованности и разных возможностях толкования гротескных образов¹, но и, прежде всего, в том, что тональность стихотворения, заставляющая думать о жанре, явно обманна: «это вообще были какие-то частушки» (Шварц 1997: 207), «там в чистом виде стилизация, соединенная с примитивом» (Уфлянд 1997: 143); «Так бывает — какие-то боковые ветви-недомерки вдруг идут в рост, словно бы отвечая потребностям времени в ерничестве, в хохмачестве, в капустнике, в балагане» (Соловьев 1992: 173). Нечаянным провалом в глубину текста можно считать цитату из погромной статьи газете «Единство»: «Разговорную речь «простого народа» он [Бродский] насыщает следующими оборотами: волки воют: «Ё- мое...» ...» (Кормилов 1990: 4).

Основным ключом к пониманию «Представления», несомненно, являются две последние строки: «Это — время тихой сапой / убивает маму с папой»². Как пишет М. Липовецкий, «... искрометная постмодернистская буффонада Бродского *Представление* завершается по сути тем, что весь веселый и фамильярный карнавал культуры предстает нарядным оформлением воронки небытия, в которую все затягивается без следа и без всякой надежды на спасение» (Липовецкий 1993: 170). Впрочем, как я надеюсь показать, ничего искрометного, веселого и нарядного в этом тексте нет: не только финал, но и каждая строка в нем — о смерти, хотя тональностью они действительно похожи на буффонаду. Кстати, семиотический смысл ряженных — обозначать мертвецов, назначение шута — говорить о серьезном. Но исходный смысл забывается, и со временем появляется необходимость в иных мотивациях «неподходящего тона», например, в психологической. И это не подмена, а сохранение сущности в новых условиях и в новых формах.

Бродский начинает эссе «Об одном стихотворении» с характеристики жанра (элегии) «на смерть» и далее показывает, как глубокий трагизм стихотворения Цветаевой усиливается контрастной интонацией: «Цветаева все время как бы борется с заведомой авторитетностью поэтической речи, все время старается освободить свой стих от котурнов»; «экзотичности <...> противопоставляется буквализм прямой речи»; «сдвиг к вульгарности, почти базарной <...> Данный сдвиг — назовем его сдвигом вниз — продиктован уже не просто стремлением скрыть свои чувства, но унижить себя — и унижением от оных чувств защититься».

Другим ключом к «Представлению» можно считать слова о том, что для Цветаевой смерть Рильке «оказывается косвенным ударом — через всю жизнь — по детству». Смерть родителей — не косвенный, а прямой удар по детству. В ситуации Цветаевой «удар по детству» означает удар по немецкому языку, усвоенному в детстве. Для Бродского смерть родителей — удар по родному языку. Цветаева затрагивает тему России в связи с тем, что Рильке в молодости бывал там и читал по-русски. Родители Бродского провели в России всю жизнь и тот свет на этом не только видели, но и жили внутри него, да к тому же во время террора. Следовательно, во всех отношениях тяжесть ситуации, о которой идет речь в «Представлении», значительно усилена.

В эссе Бродский подчеркивает, насколько важна адресованность стихов на смерть поэта. У «Представления» другой адрес, но стихи на смерть мамы с папой соперничают в своей глобальности со стихами этого жанра. Задача Бродского формулируется строками Данте (в переводе М. Лозинского): «Ведь вовсе не из легких предприятый / Представить³ образ мирового дна. / Тут не отделишься мамой-тяттей» (Данте 1967: 211). То, что смерть родителей-не поэтов — удар именно по языку, объясняется развитием сюжета в «Представлении».

Начало последней строфы «Помнишь песню, что, бывало, / я в потемках напевала? / Это — кошка, это — мышка. / Это — лагерь, это — вышка» может быть понято как первые уроки словесности. Все травестированные цитаты типа «достающий из штанин» (Маяковский); «Над арабской мирной хатой / гордо реет жид пархатый» (Горький, Светлов); «Что попишешь? Молодежь. / Не задушишь, не убьешь» (Ошанин) прямым образом связаны с последующими уроками (говоря словами Цветаевой, «на школьном табурете»). Непристойности и пошлости из речевого обихода подростков, уличной толпы, коммунальной кухни — тоже уроки словесности. Может быть, здесь осуществляется антитеза «Тот свет / наш, тринадцати» в сознании Цветаевой и в сознании Бродского: в «Новогоднем» — это осмысление отрочества как прозрения, а в «Представлении» — как первый опыт разочарования. То есть Цветаева увидела в безъязычии метафизическое всеязычие, а Бродский, напротив, во всем многоголосьи официального и уличного языка — безъязычие, убожество, апофеоз которого: «хорошо, утратив речь, / встать с винтовкой гроб стеречь»⁴. Но для Бродского именно этот убогий язык, существующий как данность — в стадии утраты языка вообще,⁵ — подлежал метафизическому освоению.

Стоит отметить, что длинные строки «Представления», ритмически входящие, вероятно, к переводу баллады Эдгара По «Ворон» и к стихотворению В. Сосноры «Баллада Эдгара По»⁶, тематически связаны преимущественно с уроками литературы и истории в школе, официальной пропагандой (все это травестировано еще во времена вхождения образов и сюжетов в сознание)⁷, а короткие, частушечной интонации⁸, — с бытом языка вне культуры. Порядок следования образов и речений довольно последовательно отражает вхождение текстов в сознание ребенка — подростка — взрослого. Это своеобразная биография сознания, формируемого языком.

Цветаева в тексте не названа⁹, тем не менее она присутствует в тексте постоянно.

«Представление» можно считать продолжением поэм 20-летнего Бродского «Шествие» (1961) и «Гость» (1961), а точнее ответом 45-летнего поэта на эти юношеские произведения¹⁰ и новой репликой в диалоге с Ахматовой — на темы «Поэмы без героя». И «Шествие», и «Гость» самым прямым образом связаны также с поэмами Цветаевой (см. также: Рейн 1997: 18). Вероятно, в данном случае имело значение и соперничество Ахматовой с Цветаевой. Бродский проявлял себя как своевольный ученик Ахматовой.

Некоторые положения из эссе «Об одном стихотворении» непосредственно воплощены поэтикой «Представления»: «автор оплакивает <...> самого себя»; «пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зрителя к сцене»; «поэт всегда надеется на некоторую параллельность процессов, происходящих в его творчестве и в сознании читателя»; «Голос, звучащий в цветаевских стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке»; «в поэзии подобием смерти является именно механистичность звучания или возможность соскользнуть в клише». Вот эта клишированность языка «Представления» и есть прежде всего изображение смерти.

Бродский замечает, что «Цветаева стремится дать здесь картину мира глазами его покинувшего» и сам занимает ту же позицию. У обоих поэтов есть биографическое основание для этого: отдаленность от предмета изображения. Оба видят Россию «как тот свет на этом». Как и у Цветаевой, у Бродского в понимании смерти нет ничего утешительного. Но если Цветаева направляет свою мысль от смерти вперед, за пределы быта, то Бродский направляет мысль от смерти назад, в грубый быт жизни. Амфитеатру-раю Цветаевой у него соответствует ад¹¹, а смерть видится избавлением от мучений.

Начало стихотворения Бродского с обращением в первой строке «Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела», с картиной допроса, присутствием Сталина, Кремля, мавзолея в тексте соотносимо с тезисом из эссе о Цветаевой: «Возможно также, что следующее за «Зрел» восклицание «Налаженная перебежка!» — то есть легкость перемещения с этого света на тот — является отчасти эхом скорого на руку революционного правосудия».

Отмечая, что «достоверность цветаевской метафизики именно в точности ее перевода ангельского на полицейский», Бродский и сам обращается к полицейскому языку в самом начале текста.

Читая в эссе: «не является ли жанр стихов «на смерть поэта» как бы логическим апофеозом и целью поэзии: жертвой следствия на алтарь причины?» — неизбежно вспоминаем написанное позже «Склока следствия с причиной / Прекращается с кончиной». Это подводит итог всем предшествующим подходам Бродского к диалектике причины и следствия.

Развивая тезис «с точки зрения Времени смерть и любовь — одно и то же», Бродский дает целый ряд грубо плотских сцен («Я сломал ее по пьянке» и т.п.). Призывы Бродского к буквальному пониманию цветаевского слова позволяют видеть и у него самого не только жаргонную метафору «сломал» — «лишил девственности», но и значение «лишил жизни». Кроме того, «сломал» может означать «лишил воли» (ср. однокоренной глагол речи «уломать» — уговорами заставить подчиниться). В данном случае наглядно проявляется общая закономерность: «нечто главное в сексуальной образности у Бродского — секс, лишенный эротичности, но взамен представленный как акт коммуникации, „часть речи“, если угодно» (Лосев 1995: 289). Собственно, все плотские сцены и «сексуальные» реплики в «Представлении» не имеют смысла вне способа их языкового обозначения.

Когда Бродский, реагируя на слова Цветаевой («Что с тобою бы и на массовку — / Говорить?) что — мест! а месяцев-то!», пишет, что она «прибегает к речевым маскам исключительно из целомудрия <...> старается снизить — а не возвысить — эффект, производимый выражением сильных чувств, эффект признания», то кажется, что он пишет о себе — о своей иронии, о своих вульгаризмах и нисходящей метафоре — о том, что есть почти во всех его текстах, но в «Представлении» речевые маски фактически заслоняют все другие формы речи. Персонажи «Представления» тоже маски — Пушкин в летном шлеме с папиросой (так видятся шевелюра, бакенбарды и гушиное перо¹²), Гоголь в бескозырке (свисающие волосы), Лев Толстой в пижаме (широкой рубахе). На эти внешние ассоциации накладываются и другие, например, можно понять, что Пушкин спускается с небес. В. П. Скобелев приводит анекдот, в котором инициалы А. С. читаются как слово: «ас Пушкин» (Скобелев 1997: 171).

Обратим внимание на то, что Бродский подчеркивает контекстуальную многозначность слов в стихотворении Цветаевой, например, слова «свет» в тройном значении: это и элемент фразеологизма «тот свет», но и «Новый Свет» как географическое понятие, метафоризированное в «иной предел», и свет в буквальном смысле (светящий). Название «Представление» тоже полисеманлично, и в данном случае значений больше: 1) «спектакль», 2) «воображение», 3) существительное, производное от глагола «предстать» (перед Богом), 4) «официальный документ». Учитывая стихию просторечия в тексте Бродского, следует вспомнить и безграмотное произношение слов «представиться» вместо «преставиться» — умереть «светопредставление». Последнее обнаруживает связь с цветаевским многозначным светом, которую можно было бы не считать актуальной, если бы Бродский так подробно не писал об этом слове. Возможно, слова «знак допроса вместо тела» буквализируют понятие Страшного суда. Вспомним и «очную ставку» в «Новогоднем».

Первоочередная актуальность значения «спектакль»¹³ тоже указывает на возможную связь двух заглавий. Их можно сложить, получив одно из клише русского языка «Новогоднее представление». Карнавальность представления, очевидная в тексте Бродского, традиционна именно для новогоднего праздника, наследующего некоторые элементы святочного ритуала.

Актуальность значения «документ» обнаруживается в обращении «Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела». Текст «Представления» начинается как заявление¹⁴. Учитывая биографические обстоятельства Бродского и постоянно присутствующую тему родителей в «Представлении», первую строку можно читать как заявление с просьбой разрешить приехать на похороны¹⁵ и с вполне биографической мотивацией: «Эта местность мне знакома / Как окраина Китая». Бродский действительно там работал¹⁶. Китайская тема в начале «Представления» многоаспектна, она связана и с воспоминаниями о раннем детстве, развернутыми в эссе «Полторы комнаты», и с китайской опасностью для России, и выстраивает сюжет сотворения человека из знаков-иероглифов. Важен также и синоним названия Китая «Поднебесная». Есть связь и между понятиями «Китайская стена» — поставить к стенке

(расстрелять). Переход мысли от допроса или расстрела к письменности, несомненно, созвучен идее Цветаевой о рождении поэта из трагедии.

Вместе с тем слово «окраина» соотносимо с цветавскими словами «краем новым», «с незастроеннейшей из окраин» а «эта местность мне знакома» — с «новым местом». О слове «местность» стоит сказать особо. У Цветаевой в «Поэме Конца» читаем: «Но выпит, но изведен. / (Орлом, озирая местность:) / Помилуйте, это — дом? / — Дом в сердце моем. — Словесность» (Цветаева 1994: 35). Рифма «местность» — «словесность» встречается у Бродского часто, например: «сорвись все звезды с небосвода, / исчезни местность, / все ж не оставлена свобода, / чья дочь — словесность» («Пьяцца Маттеи»); «но ради речи родной, словесности ... / нынче стою в незнакомой местности» («1972 год»). Это говорит об устойчивой связи понятий.

Что касается слов «Вместо мозга — запятая», то здесь помимо зрительного образа, помимо представления о малости, кроме проекции на этот фрагмент главной идеи Бродского о воплощении человека в знаке, есть еще очень важный для него смысл, проясняемый прозаическими текстами о Цветаевой¹⁷ и о Достоевском — о роли придаточных предложений в формировании мысли на русском языке. В таком случае метафора «мозг — запятая»¹⁸ связана не только с графикой, но и со структурой речемыслительной деятельности.

Среди многочисленных травестированных цитат и аллюзий «Представления» можно узнать и цветавские, хотя каждая из них имеет еще несколько смыслов и отсылок, которые здесь не приводятся. Как и во многих других цитатах-перифразах, здесь заметно устранение пафоса, принадлежащего источнику. Каждое из этих совпадений можно было бы считать случайным, если бы их не было так много:

Цветаева

Бродский

С новым местом

Эта местность мне знакома

(Злачном — жвачном) месте

Друг-кунак вонзает клык / в недоеденный шашлык; как фиш на блюде, групп лежит нафарширован; Пролетарии всех стран / маршируют в ресторан

По которой без тебя изноюсь — / Родины

Прячась в логово свое / волки воют «Ё-моё»

Человек вошел — любой — (любимый — / Ты.);

Ничего у нас с тобой не вышло

Вот и вышел человек, представитель населения

Жизнь и смерть давно беру в кавычки; Как рвалось и не разорвалось как — / Сердце?

Исключив сердцебиенье — этот лепет я в кавычках

Связь — кровная у нас с тем светом

Ляжем в гроб, хоть час не пробил; хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида

Теперь — Как ехал?

В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром¹⁹

Вместо мозгового полушарья — / Звездное

Вместо мозга — запятая; Входит с криком Заграница, с запрещенным полушарьем²⁰

что если буквы / Русские пошли взамен немецких

Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем

а потому что тот свет, / Наш — тринадцати, в Новодевичьем / поняла: не без- а все-язычен

Хорошо, утратив речь, / встать с винтовой гроб стеречь

ставку / Очную

знак допроса вместо тела

Из гнезд и веток;
Весь лист! Вся хвоя!

Ропот листьев цвета денег²¹

Даже смертнику в колодах /
Памятью дарованное: рот тот!

То ли правнук, то ли прадед в рудных не-
драх тачку катит / Прокурор скулу квад-
ратит

С незастроеннейшею из окраин

как окраина Китая

Не — притязаний вдовьих

И, как вдовы Матрёны²², глухо воют
циклотроны

Рай не может не амфитеатром / Быть

Мы заполнили всю сцену! остается
влезть на стену!

Приоблокотьясь на обод ложи

рвет когтями бархат ложи

В Беллевию живу. Из гнезд и веток /
Городок

Дом у чорта²³ на куличках

Беллевию: острог с прекрасным видом /
На Париж — чертог химеры гальской

Лучший вид на этот город — если сесть
в бомбардировщик

Рай гористый, грозовой;
Вместо пены — ваты / Клок. Зачем?

Глянь — набрякшие, как вата из не-
скромных ложбины, / размножаясь без
резона, тучи льнут к архитектуре.

Такое снижающее травестирирование, соответствующее одному из центральных образов Бродского — образу испорченного зеркала²⁴ — тоже одно из проявлений усугубленной «трагедии языка». Она следует из реальной ситуации, в которой оказались отправители и адресаты этих сообщений, то есть ситуации, отличающей смерть родителей Бродского от смерти Рильке. Коммуникация Цветаева Рильке продолжается в той форме, в которой она осуществлялась при жизни: Цветаева пишет письмо (« — Восточку, привычным шифром!»). Бродский же, который звонил отцу с матерью по телефону, слышит «комариный ровный зуммер», то есть сигнал несостоявшейся коммуникации. В тексте «Представления» нет прямого обращения к адресату, напомним, что обращается Бродский к председателям, оказываясь подследственным на допросе. Автор не выделен из массы и на ее языке говорит. Поэтому там, где голос Цветаевой поднимается к свету, голос Бродского, вторящий Цветаевой, проваливается во мрак. Отношение между словами-образами Цветаевой и Бродского пропорционально отношению между высью и вышкой.

Здесь есть еще одно важное обстоятельство. Стоит подумать о том, какую трагедию имеет в виду Бродский, говоря о Цветаевой: «Голос, звучащий в цветаевских стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке». Судя по эссе, имеется в виду, что трагичен уход поэта, появляющаяся пустота, это трагедия будущего невоплощения явлений в слове. Но похоже, что в «Представлении» показана худшая трагедия.

Во-первых, воплощенным оказывается искаженный образ сущности — возможно, как возмездие за ложь или заблуждение автора (перифразы типа «достающий из штанин»).

Во-вторых, то, что воплощено, разрушается. Неадекватность языкового опыта экзистенциальному в «Представлении» оказывается вовсе не духовным прозрением, превосходящим языковые возможности, а тем, что ущербный экзистенциальный опыт приспособливает язык к своему убожеству, и язык распадается. В диалогах и полилогах «Представления» резко выражена неадекватность реакций: «скажешь «пли!» — ответят «бля!»; «И младенец в колыбели, / слыша «баюшки-баю», / отвечает: «мать твою!», губительная для языка экспансия речевых стереотипов: «Жизнь — она как лотерея»; «Что за шум, а драки нету?»; забвение смысла слов: «Кто такой Савонарола?» / «Вероятно, сокращенье»; структура речи как замкнутого круга: «У попа была собака».

Бродский как будто развивает тезис Цветаевой «Не обольщусь и язы-

ком / Родным, его призывом млечным» (эти строки он цитирует в эссе о «Новогоднем»). «Представлением» Бродский опять объясняет, почему он не хотел писать о родителях по-русски. Объяснение в «Полутора комнатах» касалось преимущественно внешних обстоятельств, препятствующих продолжению бытия на русском языке. Во всяком случае, речь шла о государственных чиновниках²⁵. Теперь, в «Представлении» Бродский говорит о внутренних, сущностных препятствиях. Но все же и не писать по-русски он не может. Преодолеть эти препятствия, отождествляясь с тем языком, который есть, — задача труднее цветаевской. Поэтому, возможно, появляется такая мрачная метафора, как «Взвиться соколом под купол!». У Цветаевой орловские рысаки уподобляются орлам. Слово *орлы*, пройдя в массовом сознании обработку песней со словами «Взвейтесь, соколы, орлами», обесмысливается, разница между орлами и соколами перестает восприниматься. В «Представлении» сокол, взвываясь, упирается в купол. Не исключено, что слова «Взвиться соколом под купол!», пародируя песенный оптимизм, являются и репликой на цветаевский инвариант вознесения. Эта связь тем более вероятна, что строка продолжается словами «Сократиться в аскарида!», а это явная отсылка к стихотворению Манделштама «Ламарк»²⁶. Может быть, усугубление трагедии языка состоит в том, что экзистенциальный опыт готов стать адекватным языковому.

Конечно, говоря о «Представлении», очень трудно ограничиться рамками цветаевской темы. Литературное многоголосие этого стихотворения требует внимательного обращения и к ранним текстам Бродского с истоками «Представления», и к «Поэме без героя» Ахматовой, и к «Двенадцати» Блока (блоковский подтекст раньше других отметили исследователи — Кэмпбелл 1996, Скобелев 1997), и к стихам Пушкина, Манделштама, Хлебникова, Маяковского, Сосноры, Евтушенко, к поэме Твардовского «Геркин на том свете», к прозе Гоголя, Толстого. Часто в пределах строки и даже слова переплетены самые разные аллюзии. В «Представлении» идет о своеобразный «межвременной семинар» на темы о смысле жизни и философии языка. При всем этом Цветаева для Бродского — главный авторитет.

Бродский часто говорил, что для большого поэта точкой отсчета становится конец, предел творчества его предшественников и современников. Эта мысль может стать ключом к пониманию философии и поэтики самого Бродского, особенно в его отношении к Цветаевой. Мироззрение Цветаевой во многом стало точкой отсчета для Бродского, отправным пунктом для дальнейшего движения. Ср. высказывание Е. Г. Эткинда: «Иосиф Бродский еще свободнее, чем даже стихийная Цветаева: многие иллюзии, которые ею владели, теперь невозможны» (Эткинд 1980: 41).

ЛИТЕРАТУРА

- Бродский 1990: Бродский И. Азиатские максимы // Иосиф Бродский размером подлинника. Таллинн, 1990.
- Бродский 1992: Бродский И. Меньше единицы. Пер. с англ. В. Гольшева // Иностранная литература. М., 1992. № 10.
- Бродский 1994: Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. 1992—1995. Т. 3. СПб., «Пушкинский фонд», 1994.
- Бродский 1995: Бродский И. Полторы комнаты // Новый мир. М, 1995. № 2.
- Бродский 1997: Бродский о Цветаевой. М., «Независимая газета», 1997.
- Бродский 1998: Бродский И. В тени Данте // Бродский И. Письмо Горацию. М., «Наш дом — L'Age d'Homme», 1998.
- Данте 1967: Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., «Худож. лит-ра», 1967.
- Кормилов 1990: Кормилов Д. Лик Горгоны, или нобелевский лауреат о России // Единство. Свободная региональная газета Ленинградских профсоюзов. [1990]. 14 мая — 21 мая. № 16 (43).
- Крепс 1984: Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Анн Арбор, «Ардис», 1984.
- Кривулин 1991: Кривулин В. Театр Иосифа Бродского // Современная драматургия. М., 1991. № 3.
- Кузнецов 1997: Кузнецов С. Распадающаяся амальгама // Вопросы литературы. 1997. № 3.
- Кэмпбелл 1996: Кэмпбелл Т.-Х. Трудности перевода стихотворения Иосифа Бродского «Представление» с русского на английский // Митин журнал. № 53. СПб., 1996.
- Липовецкий 1993: Липовецкий М. Культурга как хаос (метаморфозы диалогической поэтики и эволюция русского постмодернизма) // Россия / Russia. Venezia, 1993. № 8.
- Лосев 1995: Лосев А. Иосиф Бродский: эротика // Russian Literature. XXXVII, № 2/3. 1995.

- Лосев 1996: Лосев Л. От переводчика // Знамя. М., 1996. № 6.
- Лотман 1995: Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russian Literature. XXXVII, № 2/3. 1995.
- Мандельштам 1995: Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., Гуманитарное общество «Академический проект», 1995.
- Неизвестный 1984: Говорит Эрнст Неизвестный. Мюнхен, 1984.
- По 1958: По Э. Ворон. // По Э. Избранное. М., «Худож. лит-ра», 1958.
- Полухина 1992: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Звезда. СПб., 1992. № 5/6.
- Рейн 1997: Прозаизированный тип дарования. Интервью с Евгением Рейном // Валентина Полухина. Бродский глазами современников. Сб. интервью. СПб., «Журнал „Звезда“», 1997.
- Скобелев 1997: Скобелев В.П. «Чужое слово» в лирике Иосифа Бродского // Литература третьей волны. Самара, Изд-во Самарского ун-та, 1997.
- Соловьев 1992: Соловьев В. Буффонада Иосифа Бродского // Соловьев В. Призрак, кусающий себе локти. М., РИК «Культура», 1992.
- Солонович и др. 1967: Примечания // Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., «Худож. лит-ра», 1967.
- Соснора 1987: Соснора В. Избранное. Ann Arbor, «Ardis», 1987.
- Уфлянд 1997: Один из самых свободных людей. Интервью с В.Уфляндром // Полухина В. Бродский глазами современников. Сб. интервью. СПб., «Журнал „Звезда“», 1997.
- Ушакова 1997: Поэт напряженной мысли. Интервью с Еленой Ушаковой // Полухина В. Бродский глазами современников. Сб. интервью. СПб., «Журнал „Звезда“», 1997.
- Цветаева 1994: Цветаева М. Сочинения: В 7 т. Т. 3. М., «Эллис Лак», 1994.
- Цветаева 1997: Новогоднее // Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. М., «Независимая газета», 1997.
- Эткинд 1980: Эткинд Е.Г. «Взять нотой выше, идеей выше...» // Часть речи: Альманах литературы и искусства. Нью-Йорк, 1980. Вып. 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Частично источники прямых и косвенных цитат «Представления», а также разные толкования текста приведены Т.Кэмпбеллом (Кэмпбелл 1996) и В. П. Скобелевым (Скобелев 1997).

² Ю. Лотман, анализируя строфическую структуру «Представления», показывает, что последняя строфа занимает изолированное положение — она появляется после завершения основной структуры, в результате чего общая структура стихотворения может быть истолкована как линейно, так и циклически; «при последней интерпретации заключительная строфа текста станет началом, точкой отсчета <...> все стихотворение, а не только его заключительная строфа может интерпретироваться как бесконечная песня» (Лотман 1995: 316).

³ Возможно, что именно слово *представить* из перевода Лозинского имеет прямое отношение к одному из многочисленных смыслов заглавия «Представление» (не исключено также, что второе слово в названии «Божественная комедия», странным образом определяющее вовсе не комический, на наш современный взгляд, жанр у Данте, отозвалось буффонадной интонацией «Представления» с его трагическим смыслом). «Называя свою поэму комедией ..., Данте пользуется средневековой терминологией: комедия, как он поясняет в письме к Кангранде, — всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке; трагедия — всякое поэтическое произведение высокого стиля с восхищающим и спокойным началом и ужасным концом. <...> Наименование «Божественная» было придано Дантовой Комедии уже впоследствии, как дань восхищения» (Солонович и др. 1967: 566).

⁴ В данном случае существенно, что этимологическое значение слова *отрок* связано с отрицанием способности говорить или права на речь.

⁵ В.Полухина, пишет, что у Бродского «слово в своей ипостаси знака подвержено действию времени <...> и его будущее видится весьма пессимистично» (Полухина 1992: 191).

⁶ Это, несомненно, имеет отношение к рефрену «Никогда» как формуле смерти В «Представлении» Бродского немало переключек с текстом Сосноры, например: «Люстры все танцуют гибель, в кресле из сафьяна Гоголь / усмеяется с власами, .. Ус махається, Денис! / Гоголю еще семнадцать, Площадь же уже Сенатска. / Пушкин вычеркнут из списка, Лермонтова «демонизм» / еще ящеркой в ресницах, еще рано на рапирах / днесь! <...> Вот грядет он в бакенбардах, вот грозит Кавказу в бурках, / в лодке, люльке на Лубянке пишет с пулей: „Не винить...” » (Соснора 1979: 43).

⁷ Так, например, рефрен *Входит* (Пушкин, Гоголь, Толстой и т.д.) соотносится со строкой *Входит Гамлет с пистолетом* из популярной в 60-е годы песни, о происхождении которой можно прочитать в воспоминаниях Э.Неизвестного: «Я и трое моих друзей создали кружок. <...> Мы писали песни, которые потом пела вся студенческая Россия, не подозревая, кто их автор. В том числе «Лев Николаич Толстой», «Венецианский мавр Отелло», «Входит Гамлет с пистолетом», «Я бил его в белые груди»» (Неизвестный 1984: 38). Очень

возможно, что подобные тексты усваивались подростками раньше произведений Толстого и Шекспира, и анекдоты Хармса о Пушкине становились известными еще до уроков литературы.

⁸ Подобное чередование строк имеется в «Риторической поэме» В.Сосноры, с которой тоже связана поэтика «Представления».

⁹ Но в «Балладе Эдгара По» В.Сосноры, одном из очевидных предтекстов «Представления», есть строка: «Наши женщины Елабут, Рождества и в петлях елок» (Соснора 1979: 44).

¹⁰ Ср., напр., в «Шествии»: «Так прислушивайтесь к уличному вою, / Возникающему сызнова из детства, / Это к мертвому торопится живое, / Совершается немислимое бегство».

¹¹ Точнее было бы говорить о превращении рая в ад. Ср.: «Страшный суд — страшным судом, но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров поместить в рай» («Азиатские максимы» — Бродский 1990: 8).

¹² Как и во многих других случаях, здесь открыт простор для разных толкований. Так, например, по рассказам В.Уфлянда, речь идет об изображении Пушкина с пририсованной папиросой; Л.Лосев обращает внимание на строки Бродского «Не знаю, есть ли Гончарова, / но сигарета мой Дантес» (Лосев 1996: 144).

¹³ По мнению В.Кривулина, «поэзия Бродского глубинно и по своей сути театральна <...> может быть, подлинным ключом к поэзии Бродского является взгляд на нее в целом как на драматическое, на грани античной трагедии — действие» (Кривулин 1991: 16).

¹⁴ Сам Бродский увидел анкету в менее ясной ситуации: в первых восьми строках стихотворения О.Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески связан...». Комментарий Бродского сразу выводит принудительное создание текста по казенному клише на экзистенциальный уровень: «Анкета, естественно, заполняется на предмет подтверждения права на существование в новом мире, точнее, в новом обществе» (Бродский 1998: 117).

¹⁵ Ср.: «молчание, вопоряющееся вслед за требованием срочной визы для выезда на похороны близкого» (Бродский 1995: 67).

¹⁶ См. интервью С.Биркертса (Бродский 1997: 84).

¹⁷ «Цветаева — поэт весьма реалистический, поэт одного бесконечного придаточного предложения, поэт, не позволяющий ни себе, ни читателю принимать что-либо на веру»; Одно из возможных определений ее творчества, это — русское придаточное предложение, поставленное на службу кальвинизму («Об одном стихотворении» — Бродский 1997: 117-118); «... она с ее внестрофическим — вообще внестиховым мышлением, чья главная сила в придаточном предложении, в корневой диалектике» («Поэт и проза» — Бродский 1997: 67).

¹⁸ Толкование других знаков, о которых идет речь, опускаю, чтобы остаться в рамках сопоставления Бродского с Цветаевой.

¹⁹ Здесь, конечно, речь идет о Сталине в индивидуальном поезде. На Сталина указывает отсылка к Мандельштаму, писавшему о его жирных пальцах. Образ Сталина-стрелочника говорит о том, что он — второстепенное лицо, виновное в распаде и смерти. Настоящий виновник — время вообще.

²⁰ Биографический подтекст связан со школьными впечатлениями: «Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным» («Меньше единицы» — Бродский 1992: 242).

²¹ Доллары как вещественный знак отдаленности от России.

²² Кроме того, отсылка к рассказу Солженицына «Матренин двор».

²³ Цветаева писала это слово именно с буквой «о».

²⁴ См. специальную работу об испорченном зеркале: Кузнецов 1997.

²⁵ «Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаясь по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения вырваться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно именно по-русски слышали двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку «неде-ле-со-образной». Повторение этой формулы по меньшей мере обнаруживает некоторую фамильярность обращения государства с русским языком. А кроме того, даже напиши я это по-русски, слова эти не увидели бы света дня под русским небом. Кто бы тогда прочел их? Горстка эмигрантов, чьи родители либо умерли, либо умрут при сходных обстоятельствах?» (Бродский 1995: 67).

²⁶ «Если все живое лишь помарка / За короткий выморочный день, / На подвижной лестнице Ламарка / Я займу последнюю ступень. // К кольчезам спущусь и к усоногим, / Прошуршав среди ящерид и змей, / По упругим сходням, по излогам / Сокращусь, исчезну как Протей» (Мандельштам 1995: 213).

ЛЕОНИД ФИЛИППОВ

ПОЛЕТЫ С ЗАТВОРНИКОМ

Вариации на заданную тему

Он не знает запретов и готов
ради пикантности покуситься на небеса.

Абрам Терц

При несомненном ажиотаже вокруг имени Пелевина — как за, так и против — нам затруднительно выразить, в чем именно его выделенность и почему именно ему, Пелевину, досталось в последние годы столько восторгов и ругани. Помимо авторитета солидной премии и явной популярности, за которой его личность несколько расплывается, трудность заключается в его абсолютной доступности и непроницаемости одновременно. Провозглашаемые им истины не содержат, кажется, ничего такого особенно незнакомого. Позволительно спросить, усомниться (и ох как многие усомнились): да так ли уж талантлив ваш Пелевин, и чем, в самом деле, он привлекает внимание за вычетом десятка-другого ладно скроенных новелл, про которые и сказать-то нечего, кроме того, что они крепко сшиты?

Кто же читатель Пелевина? Да едва ли не первый встречный из сколько-нибудь читающих вообще. «Ну как же, читал, знаю, дело известное». А уж среди «учащейся молодежи» — и подавно. Модно даже — это при том, что общая озабоченность чтением литературы за последние годы никак не возросла. Куда там! А вот Пелевин — это просто, это — дело известное.

Что же имеется в том, настоящем Пелевине такое, что располагает к всеобщему панибратству, к упрощению до лубочной, площадной «понятности»? Легкость — да. Во всяком случае — чисто внешняя. О корнях этого свойства и поговорим.

Итак, первое. Он ни в грош не ставит так называемое искусство и демонстративно нарушает все и всяческие правила, отдавая предпочтение сиюминутному настроению, порой — шуточно-балаганному, порой — философски-рассудочному. Но в любом варианте — никаких «высоких целей». «Плоды веселого досуга не для бессмертья рождены». Это и от скромности, конечно, — в начале. Но главное все же — всегда и в любых проявлениях этого писателя — абсолютное нежелание хоть в чем-то быть зависимым, несвободным. Отсюда и поза — «ленивое положенье». Какие, дескать, претензии — никто на глубину и не претендовал. Ах, вы там что-то такое находите? Ну так эти проблемы вам и решать. А мы расставаться с репутацией ленивого шутника не намерены — себе же дороже: отвечай потом за каждое слово. Отсюда и уход от «тщательности» — во всем: и в языке, и в сюжетах. А то, что периодически (то часто, а то совсем редко) встречаешь, читая Пелевина, отточенные и завершенные фразы, фрагменты и целые новеллы — так это от лукавого, каковой и водил пером писателя, восполь-

Леонид Иосифович Филиппов (род. в 1960 г.) — учитель физики и литературы. Публиковался в журналах «Нева» и «Знамя». Живет в Токсово.

© Леонид Филиппов, 1999

зававшись его леностью и расслабленным воображеньем. Будем делать вид, что бездельничаем, способ проверенный, да и многое позволяет. Так сказать, жить играючи. А если на этом фоне кого-то вдруг поразит обилие мыслей (Пелевин — мыслитель! Можно ли ожидать? Ха.), так этот кто-то, видать — редкое исключение среди читателей.

Однако есть уже читатели, с самого начала приученные к тому, что Пелевин — философ. Их предупредили. Опять же — лауреат и все такое. Они-то, конечно, удивятся на господ критиков, не приметивших очевидных глубин.

Естественно, подобный стиль общения с миром не мог обойтись без басенно-анекдотического оформления. Не станешь же, в самом деле, напрямую говорить о таких вещах, как смерть и любовь! Кто подобное нынче читать станет — злая тоска. Да и вспахано там все до дюйма — в прошлые века еще. А при анекдоте молодой прозаик — в наше время эстрадности и короткоживущих форм — вроде при деле, в струе, так сказать. Зверюшки, насекомые — все как-то вроде и не всерьез, ни к чему особенно не обязывает... Басня — она басня и есть: скользя по поверхности, касаться самых глубинных тем. Сквозь смех — часто до слез — проговориться о чем-то весьма несмешном. (На игре слов, например — вроде вот такого: «...Завтра улечу / В солнечное лето, / Будду делать все что захочу») Так, что читатели (слушатели, зрители) только рот разинут от восторга: ах, почему я не стрекоза! Ах, почему я не Пелевин!

На виртуальных крыльшках цыпленка впорхнул Пелевин в большую литературу и произвел переполох. При этом — в игривом стиле — он описал свой собственный опыт, свои похождения как в социуме, так и вне его. И здесь то же — в наше странное время всерьез *такое* не напишешь — засмеют!

Как у юного Пушкина едва ли не все темы замыкаются на эрос, а у зрелого — на вольность (поэзия — любовь — свобода — покой и воля), так у Пелевина первооснова — *освобождение*, уход от связанности. Освобождение от социальности («Затворник и Шестипалый», «Омон Ра», «Чапаев и Пустота...»), от правил игры («Принц Госплана», «Миттельшпиль»), от внешней своей оболочки вместе с ролью («Жизнь и приключения сарая Номер XII», «Проблема верволка в средней полосе», «Жизнь насекомых»), и, наконец, от предметности любви («Ника») и самой жизни («Вести из Непала», «Желтая стрела», снова «Чапаев и Пустота...»). И даже путь к любви — к *истинной* любви — через освобождение. (Вот — почти девиз — слова Бродского: «Как хорошо, что ты никем не связан...»)

Смерть у Пелевина — как у Пушкина — всюду: то самое «упоение... бездны мрачной на краю». Вот здесь — здесь у них просто совпадение. На этой *границе*, на *краю* и есть чувство свободы, читай — *покоя и воли*.

Свобода — и у Пушкина, и у Пелевина — часто синоним и символ множеств-ва понятий.

(«И он, видать,
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли. Эту благодать,
волнам доступную, бог русских нив
сокрыл от нас, всем прочим осенев,
зане — ревнив».

Иосиф Бродский
«Перед памятником Пушкину в Одессе»)

Но пушкинская *вольность* (пусть даже и «смирненная вольность детей») — не то что *свобода*, скажем, у Киплинга. И тем более — у Пелевина (и, если уж на то пошло, — у Бродского). Однако и общее — налицо. Жить так, чтобы быть свободным от страха перед судьбой — значит быть свободным и по Пушкину, и по Пелевину. Ну, у Пелевина чуть иначе — свободным от страха *вообще* — не только перед судьбой (точнее, извините, кармой).

А чтобы избавиться от чего-то, сперва все же следует с этим разобраться. Отсюда и постоянное возвращение к теме судьбы. Про многие вещи Пелевина трудно даже сказать: зачем они? и о чем? — настолько они ни о чем и ни к чему, кроме как к плавности интриги, но только не сюжета, а — кармы этой пресловутой. Автор как-то все посмеивается, и мнется и — остается при своем интересе. Круги литературы и всех этих «восточных» учений на сегодня ведь не совпадают. Так, пошутить разве что.

А в шутку — о, в шутку многое дозволено сказать. И, подобно тому, как Пушкин вытащил из идеи спародировать Шекспира — целого «Графа Нулина», Пелевин, говоря уж буквально словами Синявского, «рекомендует анекдот на

пост философии, в универсальное орудие мысли и видения». В обоих случаях, при этом, высмеивается все. Ничего святого!

Пелевин не развивает и не продолжает, а дразнит традицию, то и дело оступаясь в пародию. Он идет не вперед, а вбок. А что еще прикажете делать на фоне тотальной девальвации всех возможных столбовых направлений? Ведь от этого ихнего «великого» до по-настоящему смешного уже и шага-то делать не надо — достаточно чуть сменить ракурс. Ну, и обладать от природы легким и веселым умом — пушкинского склада. Форма-то начала распадаться давно. Но лавинообразный обвал (словами Бориса Парамонова — *конец формы*) виден все же именно сейчас. Пусть не в первый раз в истории. Однако сегодня это так. И кроме анекдота исчезновению формы противопоставить в самом деле нечего. Один лишь он способен в этой среде распада оставаться благородным, внести в опостылевшую и ставшую самопародией историю соль.

Ну кто еще таким дуриком входил в литературу? Теперь, после Терца, мы знаем — кто. Так что путь проверенный, хотя и чреватый. Зато — по стопам несомненного единомышленника, брата по цеху задорному. У того рифмовались, шли как синонимы «воля» и «доля». Что ж, под таким равенством подписывается и этот: освобождение через то самое «у-вэй», недеяние, которое единственно позволяет идти по земной жизни *спокойно* — ни за что не держась. Это — по-пушкински. Это — тот самый пресловутый «буддизм», который впервые заметил в русской литературной традиции еще Мелькиор де Вогуоз.

В пелевинской прозе царит та атмосфера благосклонности, которую порождает ровная любовь ко всему, о чем пишешь. Он вселенски доброжелателен в лучших пушкинских традициях. Нет более нелепого и бессмысленного обвинения, чем обвинение Пелевина в унылости, боязни и неприятии мира — а ведь именно в этом критики пытаются его уличить! Нет уж — именно приветливость автора к изображаемому — причина того, что пишет он едва ли не обо всем — и обо всем легко и точно. Но — именно легко! И — именно легкая приветливость, скольжение, но не привязанность. Пустота. То самое качество, которое ужаснуло в юном Пушкине пронизательного Энгельгардта и за констатацию которого Абрам Терц был громогласно и всенародно заклеямен русофобом и пушкиноненавистником. Однако, чтобы любить *все*, следует уметь любить не в частности, но предметно, а *вообще*. То самое, о чем у Пелевина сказано: «Любовь, в сущности, возникает в одиночестве». При этом полностью остается в силе пушкинское: «Нет истины, где нет любви». Ибо объективность достигается ровным расположением, проникновением в природу любой вещи. Однако — именно *любой*! Быть беспристрастным как судьба — тем более, что о ней только и пишешь. Порой это приводит к любовному описанию заведомого негодяя — что выводило из себя критиков Пушкина и злит ныне критиков Пелевина. Что ж, все течет, однако мало изменяется...

Оговорюсь — само по себе сравнение с Пушкиным, причисление к одному с ним цеху никоим образом не задает *масштаб* писателя. Речь здесь не о рейтинге, как нынче принято говорить, но о *крови*.

Как Пушкин смотрел на поединок сразу с обеих сторон, «из ихнего и нашего лагеря», так и Пелевину как-то несолидно было бы стать на чью-то сторону — и в описании перипетий 19-го года, и — в 91-м. Что за разница с точки зрения вечности?! За то его и бьют, в частности: вот, мол оправдывает каких-то там палачей гражданской войны. Нехорошо. Стыдно. Та же история — с пугачевскими лихими ребятами (тоже палачами), любовно описанными прозаиком Пушкиным.

Сии сердца холодны и пусты, в них нет ни любви, ни религии. Во всяком случае — в том понимании, каковое вкладывают в эти слова энгельгардты. И, по-своему, они ведь правы. А как иначе писать? Если хочешь о *мире* — так ведь это сколько надо вместили! Отсюда и рецепт, короткий и ясно сформулированный Терцем: «Пустота содержимое Пушкина». Куда уж дальше — в поисках совпадений! Пустота...

И эта самая способность Дон Гуана вкладывать всего себя в каждую новую страсть — она возможна лишь при опустошении, освобождении от материального и инертного. Человек на это не способен, тут нужен некто бесплотный, вроде фигурки принца на экране. А человек — он ведь так и прыгать-то не умеет...

Так что — осторожнее! Да, эта ровная беспредметная любовь обратила на время автора в его героя. Но — не увлекайтесь — перед нами фантом: мардонг, или, может быть, житель долины барона Юнгерна. Не человек. Тот остался — в лучшем случае — у экрана монитора. И, как бы улыбаясь, жмет на курсорные клавиши (иногда — вместе с «Shift»). Впрочем, и это, как сказано — в лучшем случае.

Случается, что Пелевин останавливает действие-игру, заставляет неживого героя (а говоря прямо — труп) замереть с заданной позиции, гальванизирует его. Вроде мертвой царевны, Любочки из троллейбусного парка или годовушского кровавого мальчика. Впрочем, сохраняя за ним право двигать событиями, целыми пластами исторического бытия. И это появление мертвого тела, или — просто смерти как таковой — вносит в текст энергию и динамизм, служит катализатором действия. Так что мертвецы плохо отличимы от живых: они и сами-то часто пугаются. А стоит задеть хрустальные качели — готовы ожить — на время, конечно, для читателя. С перепугу можно подумать, что это назойливые критики приходят, «зомбифицированные», под окно его дома. Ведь не могли же они — те, писаревского времени — так долго сохраниться. Невольно подумаешь: рано сделали музей в Алексеевском равелине... Однако — нет. Это не они. И даже не бедняга Писарев. Они, как ни странно, для этого слишком живые. Наполненные. Чем? Ну, кто — чем...

Нет, все эти мардонги, эти «жители Непала», все эти юные пионеры, только что принятые в мертвецы — все это только один человек — сам автор. Ибо только он и может быть достаточно пуст — и чтоб живым сойти с поезда, и чтоб выписаться из больницы — и все прочее. Во всяком случае — *он склонен к этому стремиться*. Оттого и пишет — сублимирует... Потому-то мертвечина в творчестве подробных авторов не слишком страшна и даже мало привлекает наше внимание: впечатление перекрывается узнаванием. (Героиня «Вестей из Непала» видит, глядясь в зеркало, след протектора на раздавленной груди. Ну так что? Ни ее, ни нас — читателей, это не беспокоит. *Какая в этом печаль?* Умерла так умерла...)

Легкости восприятия, конечно, способствует и явная безответственность автора в отношении так называемых фундаментальных доктрин — будь то «буддизм» или что-то монотеистическое, «из нашего». При всей разносторонней образованности, у Пелевина склонность пользоваться для примера тем, что близко лежит. Цыпленок, кошка, жук с сынишкой... Крошечный эпос. Ибо — какая разница-то? Мир — он и вообще лишь предлог.

С другой стороны, дотошность в мелочах, которые, якобы, лишь гарнир к некой генеральной мысли, вовсе и не выявляет присутствие этой мысли. Порой в прозе Пелевина внаглую отсутствует «главное», и речь почти целиком сводится к антуражу. Тут все в точности по Кэрроллу: каким надо обладать острым зрением, чтобы видеть *ничего!* Ну вот сказал бы автор прямо (бог с ним — хотя бы косвенно) — к чему *он нас призывает* — мы бы, может, дружно объявили его творчество каким-никаким *измом*...

Впрочем, почему Кэрролл? Вот есть и куда более близкое — не только по времени! — у Бродского: «...грызя ноготь, смотрит, объят покоем, / В то никуда, задержаться в коем / мысли можно — зрачку нельзя...»

Однако даже и та мысль, которую автор регулярно поручает то книге, то письму, то репродуктору — любому второму плану, движется отнюдь не по прямой, а скачками и редко вообще достигает хоть какого-то пункта назначения. Так, эскизы, наброски. Догадайся, мол, сама. Кредо такое — учебная сказка называется. Это ведь еще Стругацкие начинали: сюжетом завлечь, а там, уже внутри — подбросить в том или ином количестве и *мысль*. А что делать — без игры скучно, дети не идут — обучение-то факультативное, это вам не первоисточники конспектировать — тут только добровольцы. При таком подходе к изображению жизни не спросишь — а где вот тут у вас показаны *насушенные проблемы нашего непростого времени*. Автор ведь в кусты уйдет — отговорится (в лучшем случае): дескать, какое это еще такое *ваше время*, шутить изволите, время у нас у всех одно и несет оно нас всех одинаково. Куда? Да известное дело, куда. К взорванному мосту... (Или, по Бродскому: «Видно время бежит, но не в часах, а прямо. / И впереди, говорят, не гора, но яма».)

От такой позиции — и обилие готовых решений, читай — штампов: лишь бы только проворнее оттараторить эти необязательные штрихи, антураж весь этот вещный — липкую грязь декораций. Меньше и запачкаешься, не вникая.

А Пелевину есть куда торопиться — сколько еще мыслей оставлено без внимания — почитай, всю мировую мудрость прозевали, сидя в своем коконе. Тут уж, знаете ли, не до тонкостей жанровой иерархии и прочих установленных правил. Скорее наоборот: Пелевин вряд ли написал бы «Чапаева и Пустоту», если бы не знал, что так писать нельзя. Все эти прозаизмы на грани фени, вся эта игра в псевдоисторизм в большой степени строились как недозволенные приемы, рассчитывающие шокировать публику. «Нравоучительный и чинный» роман — не только времен исторического материализма, но и новейший — отправка точка для пародии. Ибо Пелевин пародирует не конкретный жанр, но вообще литера-

туру как таковую — голосом молодой веселой жизни. Не в смысле банального ниспровержения («до основанья, а затем...») как это приписывают постмодернизму. Напротив! Толкая читателя в будущее, Пелевин откачивается назад, в прошлое — истинное, глубинное. На его губах играет архетипическая улыбка. Как у достославного черно(бело)го барона Юнг(ерн)а.

Сказанное, конечно, вовсе не свидетельствует об отсутствии у автора чувства меры или, тем паче, вкуса. Основы никуда не деваются, и никто их не отменяет и отменить не в силах. Только это не те милые совковому сердцу основы, отсутствие которых в пелевинской прозе так обижает многих. У Пелевина заметно прежде всего стремление к порядку, покою и равновесию — в широком, разумеется, смысле. Вселенная пропорциональна, обустроена и обладает правильным ритмом. Не нашими жалкими десятками лет ее мерить. Наше дело — ритм слушать и ему соответствовать. А вот это вот неистребимое: «природа — мастерская, а человек в ней работник» — нет, это не для Затворника: зачем ему мастерская, что он, сапожник, что ли?

Ощущая и принимая временность, фрагментарность вещной жизни, художник естественным образом приходит к мышлению отрывками. Все эти маленькие трагедии из жизни насекомых, другие повести, сами составленные из замкнутых и самодостаточных новелл, все эти обрывы на полужуке — все это отсюда. И вот как раз такое, лоскутно-незаконченное миропостроение приводит при чтении Пелевина к ощущению истинности и полноты бытия. Это — реализм в самом, может быть, глубоком смысле. Что, кстати, является, скорее, побочным эффектом творчества и вызвано не столько желанием автора, сколько его легкостью и всеприятием. Здесь, вплотную — и еще одно, родственное свойство. Что-то вроде покадровой съемки вместо кино: многое в творчестве Пелевина *статично*. Он не просто не любит пресловутый «экшн», он упорно и последовательно его бежит. Его произведения похожи на «живые картины», на скульптурные композиции. Тем ярче на этом вяломеняющемся фоне вспыхивают кульминационные, динамические эпизоды, вызванные прорывом из неподвижности, неизменяемости кокона — во что-то внешнее, новое, как бы более настоящее. Вроде мира чистых красок и безграничного — на первый взгляд — пространства за разбитым стеклом комбината имени Луначарского. («— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость...») Но основной мотив у Пелевина чаще всего статичен. Герои заняты не столько действием, сколько осмыслением. А то и вовсе им одним: действие им разве что мерещится. Снится. И лишь в редкие минуты откровения этот едва ли не вечный сон способен смениться бегом, полетом, любым движением — от статуи — к человеку. Для этого, однако, требуется не просто решимость или иные свойства киногероя. Для этого потребно *знание* — знание того, что происходит *на самом деле*. Хотя, конечно, никакого «самого дела» и нет. Но понять главное — понять, что реальность, окружающая героя, — не такая уж единственная и незыблемая — это герою не возбраняется. Только один шаг, однако — шаг в сторону понимания. Он-то и знаменуется у Пелевина сменой покоя — движением. (Даже в том случае, когда чисто формально дело обстоит наоборот — как в «Желтой стреле». Все тут относительно и целиком зависит от выбора точки отсчета).

В этой же плоскости лежат и метаморфозы, к которым автор прибегает с таким нескрываемым удовольствием: они знаменуют собой ключевой для Пелевина *процесс* — освобождение. Каковое, конечно, невозможно без отрыва от стереотипов.

В воспоминании, в возвращении к пережитому и передуманному (приснившемуся) мания Пелевина и его кредо как режиссера своих постановок. Его лучший рассказ о любви — не любви в собственном смысле посвящен, и даже не «любви вообще», а переживаниям по ее поводу, опыту души. Текст уводит в глубь души, замутненной на поверхности ропотом житейских волнений, и вырывает из небытия совершенный и незаменимый уже ничем и никогда образ — Нику. Мы испытываем вслед за автором печаль свидания с воскресшим и узнанным через века чувством, которое теперь перестает быть чем-то проходящим и обретает черты памятника, получая тем самым право называться таким высоким словом — любовь. (Это, впрочем, прерогатива комментатора — произносить высокие слова. Автору опуститься до такой степени не позволит ни его вкус, ни самоирония.)

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.

Первоначальных... Детского, что ли, или глубже — невоплощенного, дочеловеческого, замладенческого состояния. Во всяком случае, цель — именно там. Картинка та существует заранее, до всякого акта творчества, дело же художника — лишь отыскать соответствие забытого фрагмента и чего-то в себе, то есть — припомнить. Неудивительно, что при этом его упрекают во вторичности. Но не создавать же новые архетипы!..

Подобная позиция автора во времени (а точнее, вне времени), похоже, действительно дает ему свободу. В частности, избавляет от необходимости изображать из себя эдакого писателя — со всем, что входит в этот джентльменский набор: от «встреч с читателями» до выстраивания образа жизни под имидж. И сколько бы ни стремились читатели — и почитатели, и неприемлющие — сотворить из Пелевина первые — кумира, а вторые — страшилку, он успешно избавляется от соблазна приписывать себе-человеку импозантные повадки Поэта. Будь то экстравагантный наркоман-глоуколов или дзенский мастер. Хотя именно так и поступают романтики всех времен и пошибов: в их сценическом реквизите всегда наготове амплуа и маска к нему. Писательство ведь уже само по себе — нечто необыкновенное, зрелищно-подиумное. Однако Пелевин поступает по-иному — как и его великий предшественник, он рассекает единого человека-поэта пополам, оставляя человека вовсе без сценического реквизита, во всей его обыденной простоте. И человек отвечает художнику спокойной деловой благодарностью — снабжая материалом из своего окружения. Что и помогает тому легче находить язык общения с паствой. О, пардон, пардон, с читателями!..

И в полном соответствии с терцевской схемой можно сказать: не был бы один из них, «половинок», Поэтом — второй не мог бы быть назван «всех ничтожней». Баланс. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягивающими человека к Поэту, значит разрушать волю писателя в кардинальном вопросе. Ибо не придирки совести, не самоумаление и не самооправдание слышатся в его учебных сказках, но неслыханная гордыня — та самая, возможная лишь на вершинах творчества, внепространственного и вневременного, столь отвлеченного, что ему воистину безразлично, какой материально-вещный предлог избрать для привязки к этому миру — будь то мыльный сериал, компьютерная игра или идеи «восточных» и иных философов («...людской чуждается молвы...»). В этом, конечно, и трагедия художника — человека, способного лишь *стремиться* в направлении к описанному состоянию души. Человека, может быть, как никто способного осознать ничтожность своей грешной и связанной земной ипостаси, ибо ему дан — в моменты священного служения — иной ракурс — взгляд извне. Это, собственно, ведь и есть определение творчества...

Вот как об этом расщеплении души — на описанное и реальное — у Бродского: «Рано или поздно — и скорее раньше, чем позже — пишущий обнаруживает, что его перо достигает гораздо больших результатов, нежели душа. Это открытие часто влечет за собой мучительную душевную раздвоенность, и именно на нем лежит ответственность за демоническую репутацию, которой литература пользуется в некоторых широко расходящихся кругах... Но даже если эта раздвоенность не приводит к физической гибели автора или рукописи, именно из нее и рождается писатель, видящий свою задачу в сокращении дистанции между пером и душой».

Пелевин, кстати, всех этих, как говорится, мук творчества и не скрывает. И чем позже, тем больше о них склонен говорить: «Впрочем, я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство — вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч» («Чапаев и Пустота»).

Как и во всех случаях истинного служения, здесь — раздвоение. Schizo. И — на земле живет и томится, слоняясь часто без дела, вполне нормальный автор, сын своего времени, лишь иногда впадающий в экстаз прикосновения к абсолюту. Он знает за собой тайну этого помешательства и хотел бы назвать ее на человеческом языке, подыскать аналогии в общепонятной речи. Ну, скажем, что-то из биографии — реальной или вымышленной. Абиссинские корни. Монгольская кровь. Какие-нибудь игры в латино-индейцев и их органическую химию. Мифотворчество... Неважно — все равно дело от этого никаким образом не движется, ибо корень того помешательства никак не здесь. И лишь некие технические детали — ум, информация, умение находить радость в играх с языком — способны оказать помощь страждущему. Но — именно и только помощь. Корень же болезни, повторяю, — вне.

Однако поиски точек соприкосновения в реальности — налицо. В частности, долго мучившую нас проблему «Восток и Россия» («Запад есть Запад, Восток есть Восток» и так далее) Пелевин разрешил уравнением «Россия есть Восток». (Не так, как Блок со своими «Скифами», а по-своему, но — в подобном же ключе). А вместо Петра Великого — в качестве тотемно-виртуального предка Поэта — как-то незаметно подставил нам Чингисхана — примерно так же, как вместо ординарца Петьки из фильма-анекдота — серебряно-фанерного поэта Петра Пустоту. Что ж, это и понятно — писатель-то из Монголии...

Если же говорить о пресловутом одиночестве героя, и если в этом смысле Пелевин чем-то походит на потомка, то — на потомка не столько абиссинца Ибрагима (или, как сказал бы Синявский, Абрама) Ганнибала, сколько — шотландца Лермонта: «...и не от счастья бежит». Точно, не от счастья. Не «от», и не «к». Просто — бежит. Будто в бурях есть покой!.. Ну, или вот это еще: «...забыться и заснуть. Но...» Именно: но! Не холодным сном могилы, а как-нибудь вот эдак, чтобы вырваться из этого круга... Ага, из него.

Так что традиции классики налицо.

Многое в прозе Пелевина — начиная с «Затворника и Шестипалого», — содержит помимо очевидных событий и ассоциаций тему учителя-одиночки в истолковании, приближенном к судьбе писателя. Присутствует и эта вечная тема в поэзии нашей — тема Пророка в пустыне. Или — на берегу пустынных же волн...

Вообще, пророк (учитель) и человек (слушатель) соотносятся в пелевинском творчестве как две реальности, часто совмещенные в одной материальной ипостаси. Как некто, одновременно сидящий за клавиатурой и бегущий на экране компьютера — и не знающий сам, есть ли некое «на самом деле» вообще. И кто «на самом деле» кому снится — Чжуан Чжоу бабочке, или она — Чжоу. И — в этом смысле — все творчество Пелевина об одном — о непрекращающейся попытке проснуться. Живым сойти с поезда. Вырваться на свежий воздух...

Когда же волны УРАЛА все смывают и выравнивают, остается один — нет, двое в одном лице — Учитель и Ученик.

И, как Пушкин рассек и развел себя в лице Петра и Евгения, так и Пелевин сделал то же, и не раз: в лице Затворника и Шестипалого, Хана и Андрея, Чапаева и Петра. Особо отметим, что в последнем случае поэт — отнюдь не в роли Учителя, наоборот. Ибо литератор в расстановке фигур по Пелевину — все же еще не «оттуда», он — здешний. И может лишь стремиться и искать, но никак не знать ответы на вопросы типа «куда» и «как». Сам же Учитель — и вовсе не человек, а только так — прикидывается иногда, для простоты общения:

— Моя фамилия Чапаев, — ответил незнакомец.

— Она мне ничего не говорит, — сказал я.

— Вот именно поэтому я ей и пользуюсь.

В еще большей степени это же относится к черному барону, к ночному пупчику героя «Тарзанки» и прочим подобным персонажам, стоящим к человеку спиной, всем существам своим — вне.

Что же до литератора, то сие — как в ученике, так и в учителе — просто от безысходности в попытках как-то адекватно объясниться:

«Я не пишу стихов
и не люблю их.
Да и к чему слова,
когда на небе звезды!»

И если что-то от поэтического экстаза есть в произведениях Пелевина, то это лишь знак прикосновения к абсолюту, ощущение слабой тени его в душе. Но — лишь стремление, мечта во сне. Ибо реальное соединение с конечной целью (ежели таковая имеется) означало бы погружение в восторг и творчество уже дионисийского образца в изначальном его, хаотическом качестве, то есть — в состоянии, которое никак не может быть ни описано, ни вообще передано адекватно. Хотя и хотелось бы:

«Знаете что? Возьмите экстаз и растворите его в абсолютe. Будет в самый раз».

Однако понятно ведь, что эти начала столь же соединимы, как бронза (в языковом выражении — «медь») — символ незыблемости во времени и пространстве, — и «всадник» — начало противоположное, динамичное во всех смыслах. Как Аполлон и Дионис. Или, если угодно — Аристотель и Платон.

В противоборстве человека и Стихии у автора «Медного всадника» человек полностью вытесняется — как инородное поэзии тело. Вполне аналогично и в аллегориях Пелевина — той из ипостасей, которая тяготеет к материальному

миру, нет места в окончательном раскладе. Так что выбора у героя (точнее — у *действующего лица*) фактически нет: или найти вариант бегства, или исчезнуть вместе с иллюзорным миром и быть похороненным тут же, ради Бога. Спрашивается: сочувствует ли Пелевин Шестипалому и прочим идущим ощупью среди липкой грязи вещного мира? Еще бы! Если он себя, свою человеческую мечту и мелкость переехал и обезвредил в этих героях! Но, сострадая, он беспощаден. Как и всякий художник, когда дело касается искусства, он жесток к человеку:

« — ...И вот когда я думаю, что он тоже умер... И что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...

— Да, — улыбаясь, сказал Затворник, — это действительно очень печально».

Дистанция, позиция видящего лишь фигурку на экране монитора, позволяет Пелевину следить за ней с зоркостью, невозможной, немислимой для автора, отождествляющего себя с человеком. Он трезво взвешивает все про и contra и создает в общем нелестный и неутешительный портрет. И, тем самым, вызывает на себя обвинения в холодном бездушии и мизантропии. Что ж, старая сказка: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках — следствие чувства превосходства, быть может, мнимого». (Тем, кто давно не перечитывал Терца, напоминаю: «он» скорей всего — автор.)

Остался шаг в этом направлении, и мы приходим к еще одной особенности данного типа художников. Речь идет о постепенном искоренении попыток писать *хорошо* — в любом техническом смысле этого слова. Ибо, если от ума, то — не литература. А если *оттуда* — правь, не правь — как надо все равно не получится. И это — тоже от гордыни, от взгляда извне. Парадокс, но именно присутствие, невымарывание балаганных (да еще порой и спустя рукава отредактированных) кусков — наряду с добротной отделанными эпизодами — именно это и есть свидетельство *истинного* дара. Автор никоим образом не стремится доказать кому бы то ни было свой «уровень». Он уверен в себе и так:

Как уст румяных без улыбки,
 Без грамматической ошибки
 Я русской речи не люблю.
 Быть может, на беду мою,
 Красавиц новых поколенья,
 Журналов вняв молящий глас,
 К грамматике приучит нас;
 Но я... какое дело мне?
 Я буду верен старине.

И это, хотя бы интуитивно, хотя бы отчасти чувствуют критики — и раздражаются. Еще бы — ведь если бы он писал *только* плохо — все было бы просто и ясно. Но тут-то!.. Тут явственно виден и талант. А значит — и пренебрежение к их — их! — мнению. Как? Выходит, они — не в счет?! А точнее — нужны лишь на случай работы с бездарностями, а одаренный — он сам по себе. Это уже не просто уменьшение аудитории у литературной критики, каковое и само по себе — по точному злому замечанию Натальи Ивановой — уже породило новый критический жанр — ворчалки. Это куда как хуже: не то что там какому-то массовому читателю стало не до критики. Тут, похоже, и писатель появился какой-то к ней равнодушный. Не отрицающий или спорщик какой-нибудь — с теми еще как-то можно было «работать». А именно что *равнодушный*. Пофигист.

Драматургическое выражение этой авторской гордыни особенно выпукло — в ситуациях самозванства, хлестаковщины. В «Затворнике и Шестипалом» это эпизоды с обожествлением заглавной парочки. Здесь как нигде искрометный, не ведающий запретов пелевинский юмор дает себя знать. Не представляю человека, способного удержаться от хохота при чтении «боговдохновенных» монологов Затворника. Вот это вот «Ей, господи!» — не просто очень смешно. Здесь — вся злость истинной сатиры, сатиры наивысшего сорта — ибо вызвана она к жизни стремлением освободиться *самому* — от этого вот, высмеиваемого. Самозванцы!.. А кто такой и Пелевин, если не самозванец? Пророк, учитель?? Самозванный учитель. С каких это пор учителя работают в одиночку? Самозванцы — да, всегда. Сами, на собственный страх и риск назвали, и сами же знают, о чем никто не должен догадываться: что никакие они не Пророки, а это так, к слову пришло. И если у Поэта — Ажедимитрий, Пугачев и подаренные Гоголю Хлестаков и Чичиков, то у Сатирика свои метаморфозы, но подобного же толка: «апо-

стол» Затворник в сопровождении «говорящего с богами» Шестипалого, маевщинник и «шпион» Иван Померанцев, «революционный поэт» Петр Фанерный. Метаморфоза — излюбленный прием, способ наведения думающего ученика на параллели: животные, которые на самом деле не животные, все эти муравьи, бройлеры, попугаи. И даже любовь к..., которая, оказывается, вовсе и не к..., а именно что просто любовь. Та самая, которая — что-то вроде любви... А как на такие заезженные темы говорить, да еще и заставить взглянуть на них как-то по-новому, если не с помощью подмен-обманок-метаморфоз? Да и понятно это — для нашего человека, с нашим традиционно техническим образованием, вдруг подавшегося в затворники. Все люди — как люди, и вдруг — Пелевин. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха! Сам?! Попробуй-ка тут не возмутись! Самозванец же! Люди, пробираясь хоть к подножию пирамиды, прилагают горы стараний, тогда как Самозванцу готовые к употреблению золотые яблоки сами падают к ногам. («Всё за меня: и люди и судьба»).

О метаморфозах — главной сути творчества писателя... Басня, гротеск, анекдот. И — философия. Травести..

Даже в предельной точке фарса Пелевин нигде не переигрывает (что, казалось бы, неизбежно в такого направления пьесе), но выявляет свою высшую природу, отчего его довольно простоватая манера приводит всех в изумление. Остается только удивляться, как органично воспринял писатель вкусы балагана и анекдотического всеотрицания, столь чуждые уходящей эпохе — эпохе, характеризующейся какими угодно терминами, но уж никак не легкостью и не весельем. К навязшим уже в зубах жалости и ужасу пелевинская манера, не задумываясь, добавляет смех.

И если сравнение столь разных — абсолютно во всех, казалось бы, отношениях — авторов, как Пушкин и Пелевин, все еще вызывает недоумение, возможно, вас, уважаемый читатель, немного смягчит следующее:

Мне снилось, что лестница крутая
 Меня вела на башню; с высоты
 Мне виделась Москва, что муравейник;
 Внизу народ на площади кипел
 И на меня указывал со смехом,
 И стыдно мне и страшно становилось...

В этом «совпадении» мало удивительного: Пушкин ведь в самом деле «наше всё», и куда ни кинь — он тут как тут. Ничего не скажешь — ай да Пушкин.. Смех — но и жалость, и ужас. И муравейник... *Наше всё.*

Ну, а раз данное искусство бесцельно, то оно и лезет во все дырки, встречающиеся по пути, и не гнушается задаваться вопросами, к нему не относящимися, но почему-либо остановившими автора. Он достаточно свободен, чтобы позволить себе писать о чем вздумается — от самого обыденного до наивысшего. Местность пресеченная, тропинка — с зигзагами. Правила относительно цели и направления движения — не установлены. Всякий раз как только принимаешь очередной участок за окончательное направление, называешь каким-нибудь термином, азимут определяешь — начинает казаться, будто искусство это и в самом деле служит, ведет и — даже! — просвещает. Оно все это и делает — до первого пригорка, поворачивает и — доставай компас снова. Если охота. И хорошо еще, если компас поможет — есть ведь и третье измерение — какой там к черту азимут...

Мы же вот так — с картой — и не пробовали. Мы ведь что, мы просто полетать вышли. А просто летать с Затворником — можно.

РЕЙН КАРАСТИ

СОМНИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

Представить вам осмеливаюсь я
принц-Гамлета, любезные друзья,
у нас компания все принцы да князья.
Осмелюсь полагать, за триста лет,
принц-Гамлет, вы придумали ответ...

И.Бродский

Шекспировский вопрос есть главный вопрос XX века. Говорю совершенно серьезно, это не парадокс и не шутка. В этой статье я попытаюсь объяснить, в чем он заключается.

I

«Я бывал и там, и сям, строил из себя шута, насилывал свои мысли, продавал самое дорогое за бесценок; заводил новую любовь, оскорблял старую. Скорее всего, я смотрел на правду с подозрением, отчужденно и сдержанно, но, при всем этом, заблуждения давали моему сердцу новые силы, и худшие испытания только укрепляли мою любовь... Мое имя запятнано, моя природа подчинена моему ремеслу, — они как рука маляра: я достоин жалости и жажду обновления, а пока, словно спешащий поправиться больной, я буду пить уксус против этой инфекции».

Это сказано Шекспиром в молодости, но может быть прочитано и как послесловие ко всей жизни. Не как итог. Итога эта жизнь не имеет. И в силу того, что оборвалась она рано, в стороне от главного поприща, и потому, что сделанное на этом поприще, по-видимому, не сильно ценилось тем, кто прошел его. Но последовавшая слава потребовала итога, причем формального, итога в виде удостоверения личности. Слишком велика была слава, чтобы получить ее, пусть и посмертно, без особых, заверенных нотариусом прав. Никого не удовлетворяла ясно выраженная в его фамильном гербе мысль: не без прав!

Шекспир оставил зримый след в своем времени. Этот след проходит по метрикам, судебным актам, купчим. Его хозяин — сын, муж, отец, домовладелец, откупщик, налогоплательщик (не всегда честный), ростовщик, пайщик театральной труппы, истец, ответчик. Документы говорят о том, что он боролся за свои буржуазные права, прибыли, купил два больших дома в Стратфорде-на-Эйвоне, заботился кое-как о семье. Откупал церковную десятину, спекулировал зерном в неурожайное время, давал деньги в рост. Он рано женился, имел детей, но, как известно, вскоре уехал в Лондон, где стал актером и вернулся в семью лишь за несколько лет до смерти.

Если говорить об авторских правах Шекспира на пьесы, поэмы и сонеты, им сочиненные, таковыми можно считать записи в регистрах книгопродавцев. Но не только. От Шекспира не осталось ни одного автографа, если не считать нескольких подписей 1612—1616 годов под купчими, закладными и завещанием.

Нет, сказать «не осталось ни одного автографа» нельзя. До нас не дошло ни одной рукописи драматурга, так вернее. Ведь после его смерти сохранились списки 36 из 37 известных теперь пьес, по которым печаталось Первое Фолио собрание сочинений Шекспира 1623 года. На титуле этого издания указано, что оно осуществлено по оригинальным рукописям. В предисловии к Фолио, подписанном товарищами Шекспира по сцене актерами Геминджем и Конделлом, дается следующее описание этих рукописей: «Будучи счастливым подражателем Природы, он был самым тонким ее выразителем. Его рука попевала за мыслью: то, что он думал, выражалось им с такой легкостью, что мы почти не обнаружили вычерков в его рукописях». Эти слова подтвердил язвительный Бен Джонсон в 1630 г.: «Мне вспоминается, что актеры, восхваляя Шекспира, часто упоминали, что он не вычеркивал ни строчки в своих писаниях. Я отвечал им: лучше бы он вычеркнул тысячу! Они сочли это выпадом. Я бы не предал это гласности, если бы по невежеству они не хвалили своего друга за то, в чем он больше всего грешил. Я имею право упрекнуть его за это, ибо любил его, не впадая в идолопоклонство».

Странное дело, шекспироведы жизнь бы отдали за строку, несомненно написанную рукой Шекспира, а, может быть, именно эта строка принадлежала бы к той тысяче, которую Джонсон ставил в упрек драматургу! И реплика Джонсона: «Шекспиру не хватало искусства» («Shaxpeig wanted arte») производит впечатление, как любые «мимолетные», не рассчитанные на вечность слова, как случайные фотографические снимки. Если Шекспиру не хватало искусства, значит ему было к чему прибавлять и из чего вычеркивать! Этот выпад литературного соперника, собрата и товарища лучше любого документа говорит нам об истинном Шекспире.

Теперь взглянем на портрет Шекспира в Первом Фолио. Бену Джонсону принадлежит эпиграмма, помещенная там на одном развороте с этим портретом, гравюрой работы Мартина Друскоута:

Здесь на гравюре видишь ты
Шекспира внешние черты.
Художник, сколько мог, старался,
С природою он состязался.
О, если б удалось ему
Черты, присущие уму,
На меди вырезать, как лик,
Он стал бы истинно велик.
Но он не смог, и мой совет:
Смотрите книгу, не портрет.

(перевод А.Аникста)

Этот портрет, как и надгробный памятник в церкви Святой Троицы Стратфорда, всегда вызывал у шекспироведов раздражение своей обыденностью, ординарностью, отсутствием черт гениальности. А ведь это единственное подтвержденное фактом публикации пьес, достоверное изображение Шекспира!

По своему опыту портретиста я знаю: есть лица (чаще среди пожилых), особенность которых в неуловимости черт. Дело тут не в простоте, «деревянности» или, наоборот, особой подвижности, дело не в отсутствии линий и форм, поддающихся шаржированию. Дело в том, что иногда невозможно создать противовес природе, так в ней все уравновешенно, лаконично, так властно перекрывает она все, исходящее от характера, души, таланта, темперамента. Именно эта полнота нередко воспринимается художником как недостаток выразительности. На самом же деле лицо может быть портретом самого себя, оно результат не сложения отдельных черт, а вычитания всего лишнего. Можно критиковать Друскоутовскую гравюру за технику исполнения, неверное наложение теней, неумелую передачу фактуры кафтана. В одном ее неоспоримое для меня преимущество: она представляет личность в последнем ее срезе, когда природой найдена окончательная форма, когда все поверхностно-психологическое равномерно поделено между мышцами, костями, радужной оболочкой и т.д. Об этом лице можно сказать: се человек (не из патетики, в том смысле, что к этому нечего добавить). Наверное, это понимал и Джонсон, и актеры, подготовившие Первое Фолио. Друскоутовская гравюра ценна как фотография человека, с которого сняты почти все покровы земного чувства. Те, кто знал это чувство во всем его блеске, поместили друскоутовскую гравюру в Первое Фолио, потому что в ней для них было явным и ценным отсутствие всего, что перешло в саму книгу — страсти, остроумия, страдания. Осталось спокойное лицо (только это изображение да стратфордский

памятник наделены покоем в смысле равновесия), сосредоточившее в себе мысль, бесконечно далекую от суеты и лицедейства мира. Я считаю, что друскоутовская гравюра глубоко религиозна.

Шекспироведов можно условно разделить на тех, кто видит в «книге» необходимое дополнение к портрету, и тех, кто видит в портрете курьезное дополнение к «книге». В основе антишекспировских воззрений недоумение: как такой мог создать такое! В результате трехсотлетних поисков мы знаем о Шекспире больше, чем о любом елизаветинском поэте, но знание это ограничивается документами, свидетельствующими лишь о его физическом существовании, о его деловой активности.

Шекспир был ровесником поколения реформаторов английской драмы, так называемых «университетских умов»: Джона Лиля, Кристофера Марло, Томаса Лоджа, Томаса Нэша, Роберта Грина. Все они были выходцами из простого народа детьми и внуками йоменов, ремесленников. Все они имели университетские дипломы, но их влекла стихия, из которой они вышли, которую смогли увидеть со стороны — простонародная, ремесленная Англия. Они быстро наводнили литературу реалистическими трагедиями, жестокими фарсами, блестящей сатирой, едкими пародиями, памфлетами, журналистскими репортажами и новой интимной лирикой. Шекспир, выскочка из выскочек, превзошел их всех. То, что он начал с переделки малоталанливых или вовсе бездарных пьес в свои, свидетельствует о его нахальной напористости, хорошем чувстве зрителя и еще раз говорит об универсальной, стихийной природе его гения. Шекспир стал актером не случайно. Это был сознательный выбор, связанный с риском, неизвестностью, возможной потерей социального статуса. Что бы ни говорили об отсутствии документальных свидетельств авторства Шекспира, одержимость сценой в нем была, а его актерство подтверждено документально.

Тем не менее, те, кто видит в портрете Шекспира лишь курьезное дополнение к «книге», имеют право на скептицизм. Мы ничего не знаем о творческом становлении Шекспира. Это так называемые потерянные годы (примерно, с 1582 по 1592). Что он делал в это время: учительствовал, торговал, странствовал с труппой, сочинял? С другой стороны, надежные документы свидетельствуют только о жизни стратфордского обывателя. Из «несовместимости» между документами и «книгой» возник шекспировский вопрос.

Для Шекспира жизнь кончилась, как и полагалось, завещанием. Для противников авторства Шекспира с этого документа все началось. В середине XVIII в. один стратфордский антикварий нашел завещание Шекспира и был неприятно удивлен прочитанным. Манера, в которой была изложена последняя воля драматурга, представилась ему такой примитивной, что само предположение, будто это мог писать Шекспир, унижало достоинство «Великого барда».

Чего он ожидал, этот антикварий? Что распределение денег, имущества, земель и прибылей будет изложено стихами или, по крайней мере, ораторской прозой? Завещание серьезный и не самый приятный шаг для человека, это окончательный расчет с жизнью, тут не место для изящных оборотов. К тому же, зачем вкладывать душу в утилитарный документ, не будет ли это проявлением безвкусицы, погрешностью против стиля? Шекспир больше всех в своем поколении сказал о времени и смерти. Нагружать собственное завещание каким-то последним смыслом не требовалось.

Тем не менее осадок жизни Шекспира стал предметом внимательного изучения в XVIII—XIX вв., в период зарождения академической науки. Накопленные к началу XIX века факты характеризовали Шекспира как самородка из захолустья, полубразованного, беспутного гения, торговца, ростовщика и... творца бессмертных драм. Первым свои сомнения высказал Кольридж. Вслед за ним искать Шекспира стали среди лучших людей эпохи.

Начали с Френсиса Бэкона. Американская писательница Делия Бэкон (однофамилица) верила в то, что за могильным камнем стратфордской церкви хранятся документы, подтверждающие авторство Бэкона, она пыталась проникнуть в могилу, но была задержана. Умерла Делия в психиатрической лечебнице.

Всего на протяжении последних двух веков на место Шекспира было предложено около пятидесяти кандидатур.

Шекспировский вопрос — вопрос трактовки документов. Эта трактовка всегда отражает стиль мышления эпохи. Гуманистический XVII век, в котором следы Шекспира еще не остыли, чувствовал его интуитивно, как современника. Все в этом времени еще отвечало мироощущению и жизненным навыкам самого Шекспира, поэтому-то и не бросалась никому в глаза его коммерческая активность

на фоне его искусства. Этому времени не требовалось доказательств ни физического, ни творческого бытия Шекспира. Энциклопедический XVIII век привнес в шекспироведение систематизм, вызванный исключительным вниманием к устройству природы. Он объяснял отсутствие пересечений между шекспировскими документами и творениями Шекспира с точки зрения здравого смысла, сохраняя таким образом доверие к тайне творчества. Скептический XIX век, утративший естественную веру, не мирящийся с отсутствием фактов, породил сомнение в авторстве Шекспира. Развитие средств массовой информации в середине XIX века привлекло к вопросу самолюбивых дилетантов. Примерно с конца XIX века, когда основной корпус шекспировских документов сложился, антишекспиристы появились и в академической науке. Их было мало, и они находились на положении изгоев. Таким образом, шекспировский вопрос стал для некоторых еще и делом чести. А поскольку эти люди отстаивали кандидатуры в основном аристократических особ, их воззрения на фоне обыденного, обуржуазившегося шекспироведения приобрели оттенок духовной оппозиции... Подозреваю, что для этих ученых антишекспиризм стал знаком принадлежности к воспетой Ницше аристократии духа. В основе их аристократизма не только тоска по рыцарству XVI—XVII вв., но и явная досада на то, что автором шекспировских творений мог быть выходец из престолярства, сын перчаточника, лицедей, и, что самое страшное — приобретатель, накопитель, буржуа. Последнее особенно важно в свете прошлогоднего спора вокруг книги И.М.Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса».

Как известно, эта книга попытка доказать, что авторами шекспировских произведений были Роджер Рэтленд и его жена Елизавета. Гипотеза не нова. Ее автор нью-йоркский адвокат Глосон Цейглер (нач. XIX века), и с самого начала в этом сюжете было что-то от судебного разбирательства.

Книга И.М.Гилилова, как он сам объясняет в предисловии, началась все с того же вопроса: как такой мог написать такое! «Начав когда-то изучать произведения Шекспира и его биографии, я довольно скоро обнаружил (подобно многим людям до меня), что никакими усилиями не могу совместить их воедино, не могу представить себе человека, о котором в этих биографиях шла речь, пишущим «Гамлета», «Лира», «Юлия Цезаря», сонеты. Сведения, сообщаемые биографами, чудовищно противоречили различным отпечаткам личности Великого Барда в его драмах, поэмах, сонетах», пишет И.М. Гилилов. Таким образом, все исследование как бы ставится в зависимость от воображения, которое не способно представить себе Шекспира документов в роли Шекспира-поэта. Позиция, кажется, немного сомнительная со строго научной точки зрения, но не мне спорить с человеком, посвятившим годы научным разысканиям. Академическая оценка «Игры об Уильяме Шекспире...» дана прежде всего в двух работах известных ученых: книге Н.И.Балашова «Слово в защиту авторства Шекспира» (альманах «Академические тетради», № 5) и статье А.Х. Горфункеля «Игра без правил» (Новое Литературное Обозрение, № 30, см. также ответную статью И.М. Гилилова в НЛО, № 34). Меня же занимает не столько суть вопроса, сколько стиль автора, стиль мышления, отношение к предмету и к читателю. Об этом и пойдет речь.

Первая глава книги гипнотизирует открывающейся в ней перспективой тайны. Здесь излагается история возникновения так называемого Честеровского сборника «Мученик любви». Гилилов приурочивает его выход к таинственной смерти Роджера и Елизаветы Рэтленд. Они и были, по его мнению, истинными творцами поэм, пьес и сонетов Уильяма Шекспира. Но пока мы этого не знаем. Нам не дано окинуть одним взглядом аргументацию И.М.Гилилова. Остается одно: отдаться на волю автора. Читатель уже чувствует себя причастным некоему тайному знанию, и это льстит ему. Он возносится в некий метафизический эмпирей, чтобы впоследствии увидеть всю непритязательность документальной правды.

В центральной главе книги («Долгий спор вокруг Стратфорда-на-Эйвоне») нам сообщается, что словарь Шекспира составлял около двадцати тысяч слов, что кругозор его был необычайно богат, что драматург владел несколькими языками, ладил с юриспруденцией, морским и военным делом, ботаникой, был музыкантом и хорошо знал придворную жизнь. Это все Шекспир. А Шакспер... Да, Шакспер. Это раздвоение имени основано на том, что под сочинениями стоит подпись «Shake-speare» (Потрясающий копьем), а документы везде дают какие-то усеченные варианты: Shakspeare, Shaxpere. В английском языке фонетического различия нет, все варианты фамилии Шекспира произносятся одинаково. По-русски же слово Шакспер звучит глумливо, вызывает какие-то смутные ассоциации низкого порядка. Фамилия Шекспир в такой транскрипции теряет динамику, становится приземленной, тяжелой. Это что-то вроде парной фамилии (по типу Иванов—

Иванов), позволяющей отличить голубую кровь от бастарда. О том, что этимологическое написание *Shake-speare* могло быть литературным псевдонимом того, кто в официальных документах подписывался по-другому, как Петрарка, облагородивший фамилию своего отца Петракка, в книге не говорится. Шекспир-поэт отделен от Шекспира документов, потому что задача тут развести их как можно дальше. Шекспир документов впредь будет называться Шакспер: о нем мы узнаем все сполна.

Захолустная грамматическая школа (о хорошем уровне классического образования в этих школах опять ни слова) и как результат малограмотность, отец не то мясник, не перчаточник, семья безграмотна, занятия: откуп, ростовщичество, судебное преследование должников. Особый удар наносится по завещанию, названному «ужасным». Поскольку сами по себе шекспировские документы не могут свидетельствовать против Шекспира-поэта, Гилилов «озвучивает» их, придает им страсть: «чудовищная раздвоенность, подобной которой не знала история мировой культуры», «хватка у нашего заимодавца, похоже, мертвая», «не брезговал давать деньги в рост и таскать своих соседей по судам», «настойчивое и жестокое судебное преследование должника», «мог лишь кое-как нацарапать свое имя на документах» (Гораций, между прочим, вообще не сумел подписать таблички завещания, мучимый жестоким приступом смертельной болезни. Кстати, о доходах со своих полей он даже в одах писал!), «корявыми, неуверенными буквами», «корявое заклинание не трогать его кости». Вот текст этого корявого заклинания (на могильной плите Шекспира): «Добрый друг! Во имя Иисуса, не выкапывай прах, заклоченный здесь. Благословен будет человек, который сохранит эти камни, и проклят тот, кто потревожит мои кости». Бюст над могилой Шекспира И.М.Гилилов описывает так: «... главное внимание всех, писавших о монументе, привлекает голова бюста, и мало что из шекспироведов ею удовлетворен. Многие отмечали одутловатое, невыразительное, даже глуповатое лицо. Большая лысина, короткая шея, кончики ухоженных (у памятника. — *Р.К.*) усов закручены вверх». А ведь речь идет о могиле человека, просившего не тревожить его кости. Кем бы ни был лежащий там, насмешки над его надгробьем звучат как-то дико и, скажем прямо, неприлично, даже святотатственно. Автор, наверное, не вынес урока из судьбы Делии Бэкон. Все мы, конечно, воспитаны в неверии, но так запросто надругаться над могилой решится далеко не каждый!

А вот как рисует И.М.Гилилов мир графа Роджера Рэтленда: «высокая трагедия служения искусству», «люди, возможно, самые удивительные из всех, прошедших по земле», «члены этой удивительной семьи». Мир Рэтлендов в «Игре об Уильяме Шекспире» это мир литературных игр, эрудиции, целомудрия, необыкновенной чувствительности, мир военной аристократии, рыцарства.

Как же строятся отношения Шакспера с этим миром? Очень просто: предприимчивого актера-ростовщика использует для продвижения на сцену и в жизнь своих произведений круг ближайших друзей Рэтленда, с ним во главе: это граф Саутгемптон, Мэри Сидни, граф Уильям Пембрук. Автор довольно выразительно описывает, как это все происходило. «Как я уже говорил, не исключено (но и ничем не доказывается), что в отдельных случаях пьесы попадали в труппу через Шакспера, от него требовалось лишь помалкивать о своих доверителях, за что он получал время от времени кошельки с золотыми монетами, которые предприимчивый стратфордонец расчетливо пускал в оборот — (курсив мой. — *Р.К.*). После смерти Рэтленда Шаксперу было приказано «убраться из Лондона» (естественно, за мзду). Это сказано так крепко, что снова возникает мысль о личной ненависти. Доказательств нет (как нет и прямых доказательств авторства Рэтлендов), и автор (надо отдать ему должное) не настаивает на наличии этих доказательств. Просто мы так увлечены тайной аристократической четы и так убеждены в ничтожестве Шакспера, что не замечаем, как научный текст превращается в художественный (или публицистический?). В предисловии к «Игре...» «Александр Липков, доктор искусствоведения» пишет следующее: «Меня восхищает научная капиталность работ Гилилова, его беспощадная к себе требовательность». Не знаю, не знаю, большой риторический талант — да, страстная, мессианская убежденность в своей правоте — да, но вот что касается «беспощадной к себе требовательности»? Впрочем, в нашу эпоху зануд и скептиков так ли уж нужна эта требовательность в науке? Не лучше ли занимательность?

II

Изагая историю вопроса и пересказывая книгу Гилилова, я не пытался быть объективным, хотя и не намеревался, повторяю, вступать в научный спор. О книге этой написано много, и, надо признаться, почти все отзывы отрицательные. Есть серьезные и глубокие научные статьи (лучшая из них А.Х.Горфункеля), есть возгласы читательского недоумения («Я в этом вопросе не специалист, но не понимаю, как можно...»), есть вполне оправданное раздражение популярно-безвкусным стилем и ажиотажем вокруг книги, есть просто издевательства над автором («лебединая песнь седеющего шекспироведа»). Но устные отзывы, мной услышанные, были совсем иного характера. В среде моих знакомых восторгов не было, но довольно многие интеллигентные люди говорили: «Нет, ты знаешь? Переворот! Конечно, это все неприятно, но что можно против этого возразить?». И вот эта как раз постановка вопроса меня насторожила. Похоже, наш век воспитал в людях даже образованных и скептических какую-то немую готовность подчиниться любой предлагаемой мнимости, претендующей быть жизнью.

Короче говоря, я решил исследовать книгу И.М.Гилилова на предмет отношения к власти. И интересен мне прежде всего не сам автор, а некоторое общее настроение, которое ему удалось блестяще (говорю это без иронии) выразить.

Попробуем восстановить облик «Великих владетелей», создателей и хранителей шекспировской тайны, какими они выступают в книге. Всякие цитаты, вырванные из контекста, могут, конечно, исказить смысл. Но рассматривать мы будем не концепцию (как мог, я ее изложил выше), а именно стиль, образ мышления автора:

«Как видно, они все время держали в тени свои занятия, окружали их завесой секретности, хотя в силу происхождения и высокого общественного положения им нелегко это было сделать».

«... это предельно высокопоставленный, замкнутый, недоступный для простых смертных круг. Утонченные философские беседы, словесные пикировки могущественных вельмож, вершащих судьбами страны, и очаровательных юных аристократок, завоевывающих их сердца...» (это об атмосфере «Бесплодных усилий любви» — такая же, как считает И. М. Гилилов, царил и в замках, где писались шекспировские пьесы).

«А дела (и игры) у этих высоких персон бывали иногда весьма удивительными. ...они могли устраивать импровизированные спектакли и в жизни, используя случайно попавшийся под руку «живой» материал»

«...перед нами Великая игра, самое блестящее создание гениального драматурга, сценой для которого стало само Время, а роль не только зрителей, но и участников отведена сменяющим друг друга поколениям смертных»

«Между членами кружка поддерживалась переписка; в некоторых сохранившихся письмах заметны следы подобия организованной структуры»

«...посвященные могли давать какую-то клятву или обет сохранения тайны и ее разглашение было чревато (пример поэта Уитера свидетельствует о преимуществе молчания) серьезными неприятностями».

На этом прервемся. Осмелившийся проболтаться о Тайне Великого Феникса поэт Уитер был помещен в сумасшедший дом. Автор считает, что «Великие владельцы» также уничтожали тиражи неудобных им книг, жгли библиотеки, заставляли огромное число людей («чужих посвященных» и «полупосвященных»), оказавшихся по необходимости в роли исполнителей втянутыми в Игру, «держат язык за зубами». Не говоря уж о том, что рядовые люди были «живым материалом» для театра, «гениально» устроенного ими из действительности. И дело вовсе не в том, было это на самом деле или нет (Горфункель убедительно доказал, что такой заговор в Англии XVII века невозможен — она была абсолютистским, но не тоталитарным государством). Дело в том, что И.М. Гилилов не просто прощает «Великим Владельцам» все эти кошмары, навеянные душной атмосферой нашего столетия, похоже, он ими восхищается!

Пресловутый Шакспер вызывает гамму чувств от брезгливого пренебрежения до благородного гнева за то, что занимался откупам, судился с должниками, не платил налоги, в завещании мало оставил жене, не дал детям высшего образования и сам его не получил. Хорошо, пусть он обыватель, и его пошлость вполне традиционно раздражает аристократию духа. Но за что это осторожное и почтительное восхищение, эта беззаветная преданность, которая звучит в каждом упоминании таинственных титулованных особ? Откуда взялась эта любовь взалек к фамильным замкам, университетскому образованию, привычке повелевать, догматизму камзолам, атмосфере секретности? Что такое, наконец, эта Тайна у И.М.

Гилилова? Прежде всего мы должны уяснить, что Тайна, несмотря на взволнованный тон, которым о ней говорится, не христианское таинство, не скрытая пружина мироздания, не кантовская вещь в себе, в ней по сути нет ничего непостижимого. Тайна это секретная информация об истинном авторстве и способы ее сокрытия. Между тем, она несокрушима, она исходный и конечный пункт всех размышлений. Все приводимые А.Х.Горфункелем против «Игры об Уильяме Шекспире...» аргументы из истории, логики, библиографии, филологии, из соображений здравого смысла, элементарной нравственности — аргументы совершенно бесспорные, говорящие не только о натяжках, но и о явной некомпетентности И.М. Гилилова во многих вопросах, стоит нам лишь поверить в Тайну, окажутся «факультетом ненужных вещей». И Горфункель это понимает: «От стратфордского «Шакспера» не осталось автографов его сочинений, он их и не писал никогда. От Рэтлендов не сохранилось автографов шекспировских произведений, надо было соблюсти тайну. На смерть «Шакспера» не откликнулись современники: кому было дело до ничтожного стратфордского обывателя? Не было печатных откликов на смерть супругов Рэтлендов — тайна. Таким образом, отсутствие документальных доказательств превращается в самое убедительное доказательство». Тут иная, своя логика, и нам, жителям XX века, нетрудно увидеть связь способа аргументации в «Игре об Уильяме Шекспире...» с содержанием самой Тайны. Тайна здесь это скрытое могущество немногих и манипуляция многими, некий великий заговор с театральным воплощением, это пьеса, играть в которой одновременно унизительно (непосвященным) и почетно (посвященным). Тайну надо любить, в нее надо уверовать, забыв о ее прозаической природе, перед ней и ее великими авторами склоняется И. М. Гилилов и призывает склониться нас.

Лучше всех, на мой взгляд, шекспировский вопрос сформулировал упомянутый в статье Горфункеля американский телеведущий: «Если мы поверим в стратфордского Шекспира, мы поверим в чудо; если в Рэтленда, то в огромный заговор». Что же такое это «чудо» — чудо человеческого гения? Ответить, пожалуй, легче от противного, так же как на вопрос о Боге, ведь речь идет о самом главном в человеческой природе. Поставим вопрос так: что значит не верить в человека?

И.М. Гилилов считает, что Елизавета Рэтленд, помимо прочего, была автором сборника стихов, подписанного Эмилией Лэньер, женщиной низкого происхождения, и, по некоторым сведениям, легкомысленного поведения. «В духовном и моральном плане ... сомнительную «даму полусвета» отделает от высоко нравственной, бескомпромиссной к пороку позиции автора книги целая пропасть». Иначе говоря, безнравственная Лэньер не могла написать такой возвышенной книги, точно так же, как мелочный и грубый Шакспер не мог писать великих драм. На это Горфункель возражает: «Искренние и благочестивые стихи сочиняли итальянские куртизанки XVI в. ... Не лишне также напомнить, что для христианиния переход от грехов к искреннему покаянию действие естественное». Но И.М. Гилилов не может вообразить, что грешник и похабник может при этом быть глубоко верующим и талантливым человеком: так не бывает. Далее Шакспер не учился в университете, плохо знал древние языки, значит не мог глубоко чувствовать античность, знать, любить и цитировать древних авторов. Шакспер не был, в отличие от Рэтленда, в Италии и Дании — как мог он так сильно изобразить местный колорит этих стран? Шакспер не вращался в аристократических кругах откуда у него знание оборотов придворной речи? И т.д. до бесконечности. Здесь уже речь идет не о моральном облике, а об опыте. Встав на этот путь, мы попросту отрицаем воображение и интуицию, забываем о том, что человек (особенно если он актер) бывает не только собой, но и другим.

А чудо Шекспира (и человека вообще, не только ренессансного) как раз в том, что он изменчив, многолик, универсален, он не высоко нравственный трагический робот для управления другими и сочинения стихов, он не функция своего социального и материального положения, он грешник, пьяница, плебей, актер, шут, король, привратник, могильщик, рыцарь, и все в одном лице. Вот почему это главный вопрос века: или чудо творчества, или великая тайная сила. Или верить в человека, или в организацию.

Факты, как известно, вещь упрямая, особенно в правильной комбинации. Они ищущают современного человека, падают на них. Поверь, не задумываясь над смыслом и подлинностью, пойми, что гениальность происходит не от человека с его даром воображения и проникновения в суть жизни, а от обстоятельств и вещей, что человек сам по себе ничто перед Тайной, и ты уже не с грязными и подобострастными актерами, не с детьми колбасников, не с обывателем, озабоченным своими сараями и амбарами, шиллингами и фунтами, — нет, ты на недосыгаемой высоте, в тесном кругу вершителей судеб мира. И история для тебя превращается в спектакль, воплощение твоей творческой воли, и ты сам

трагичен, потому что принял на себя великую миссию, а весь мир вокруг смешон, потому что они твои актеры, да еще и на содержании. Случалось, что целые нации начинали верить в огромный заговор, они вступали в эту тайную игру, делались орденом посвященных. Жизнь их превращалась в театр с парадами и сожжением книг, дискредитирующих Тайну, днем и факельными шествиями по ночам. Верили они и в другую организацию: тайный союз плебеев, ростовщиков и стяжателей — и для верности отправляли этих Шаксперов в газовые камеры.

III

Но посмотрим на себя со стороны. Пусть стратфордский Шекспир это миф или культ. Откуда этот культ берется? Так ли уж необходимо верить в авторство того, а не иного человека? В конце концов, никто же не сомневается в наличии самих пьес. Неужели это сила привычки? Но откуда тогда страсть и убежденность? Возможно, как и всякий культ, стратфордский восходит к детским впечатлениям, не развеявшимся с возрастом. Что ж, попытаемся восстановить картину изначального знакомства с Шекспиром (у меня оно произошло лет в 7-8). Мне кажется, что в основе был контраст между именем «Потрясающий копьем» и круглым спокойствием лица на гравюре Друсхоута. Круглого было много, оно прояснялось со временем: театр «Глобус», земной шар, тот самый «мир», который лицедействует и каждое упоминание которого в пьесах заставляло дышать глубже в виду открывшегося горизонта, дугообразным был берег Илирии и острова Просперо. Круглыми были короны и державы, шляпы священников и моряков, лес в «Как вам это понравится» и хоровод вокруг Фальстафа в «Виндзорских насмешницах». А что было острым и летящим, связанным с копьем, мне трудно сказать: смех шута Фесте, шпиль стратфордской церкви, кинжалы, перебранки, неотвратимость законного конца, будь то комедия или трагедия?

Нечто подобное происходило и с цветами. Главный цвет Шекспира был зеленый. Это и океан — полоса на краю любой пьесы (ворвался он лишь в «Бурю»), и леса не только круглые, но и вообще без формы как Бирнамский, и поля сражений, и «Зеленые рукава», и снова глобус, летящий шар Коперника и Галилея, зеленый от всех этих вещей. Но был еще и красный: от напряженного алого шатров, тог и мантий чрез все золотистые и бурые оттенки пламени и крови к самому благородному цвету почвы и коры. Кровь соединялась с землей, пламя с океаном, это и был цветовой итог любой драмы, животворные сумерки, растворяющие даже серый кошмар Дунсинана и Эльсинора.

И все это был Шекспир-человек, не собрание его сочинений, даже не театр, а его стремительное имя, круглое лицо, несложная биография. Без Шекспира лично все теряло смысл. Поэтому вопрос, был он или не был, вовсе не праздный. Жизнь Шекспира, какой она предстает в «стратфордском культе», тесно связана с деревьями: еще в XIX веке показывали яблоню, под которой он уснул, возвращаясь с пивного состязания; когда сгорел деревянный «Глобус», он вернулся домой и посадил в саду туговое дерево. Все эти вынесенные из детства полутона океана и огня, почвы земли и листвы говорят вот о чем: все люди сделаны из праха и все растут в вечность; творчество, жизнь, любовь не распределяются среди членов профсоюза, а растут из почвы вместе с нами, и никто не знает, где будет цветок и где плод. Поэтому личность Шекспира есть оправдание человека вообще, и не только маленького Шакспера, что бы он там ни писал в своем завещании, но и более образованных и могущественных персон.

Если так, то творчество Шекспира первейшее доказательство его жизни, а не аргумент против нее. Мы подходим к исходному пункту: на вопрос: «Как такой мог написать такое?» — я отвечу не в порядке спора, лишь для себя: «Только такой и мог». И снова вопрос: «Какой такой?» При всей своей неуловимости, недокументальности Шекспир как человек невероятно ясен. Его биография, как и у Пушкина, сплошной анекдот, из нее рождается образ, только выразить его почти невозможно. И так же, как и с Пушкиным, его произведений недостаточно! Нам хочется увидеть его самого, настоящего, хоть краем глаза, увидеть и поговорить.

Мне кажется (судя по «Факультету ненужных вещей» уже упоминавшемуся), в 46-м году в Алма-Ате Юрию Домбровскому было о чем беседовать с Шекспиром. «Новеллы о Шекспире» книга не самая читаемая, тем более мне хотелось бы напомнить о ней, ведь если мы все-таки признаем права за интуицией и воображением, то не стоит с порога отказывать художественной прозе о Шекспире

в правдивости. Вопрос лишь в том, какого рода эта правдивость, и на него я попытаюсь ответить.

«Документы, редкие достоверные воспоминания, посвянительные надписи ... учтены мною с возможной полнотой», писал Домбровский. Но за пару страниц до этого: «Тут требуется творческое постижение, даже больше — личное приобщение к своему герою, проявление его опытом всей твоей жизни». Он не отказался от субъективности, но субъективность человека такого масштаба, как Домбровский, пропущенная сквозь «опыт всей жизни», дает результаты, не сводимые к понятию «вымысел».

Актер Бербедрж входит за кулисы, снимая на ходу железные рыцарские перчатки. Публика недовольна представлением «Ричарда Третьего», в партере назревает скандал. Бербедрж раздражался, и поэтому играл плохо. «Теперь он сидел красный от стыда, раздевался и был так зол, что вообще никого бы не хотел видеть: ни приятелей, ни театр, ни эту темную, скверно обставленную уборную, где все шатается и скрипит, ибо все здесь сделано на скорую руку... со сцены через колючие доски дуло так, что шевелились дешевые реденские занавески...» Это сказано на третьей странице новеллы «Смуглая леди»: еще нет Шекспира (только раз Бербедрж помянул почему-то недобрим словом «Билла», мы не знаем, зачем ставили заведомо непопулярную пьесу, вообще ничего не знаем и не понимаем, потому что без предисловий брошены в эту непонятную обстановку. Но ветер, дующий со сцены «Глобуса» за кулисы, «реденские занавески» это не просто реализм. Возникает чувство почти метафизической подлинности: где-то в двух шагах, за деревянной перегородкой то, что мы столько раз пытались представить стержень мира, «дней связующая нить», и дует от круговращения земли и времени.

Театр, как ракушка, скрывает сцену, Лондон окружает театр, имя Билл, мелькнув в реплике Бербедржа, постепенно проясняется, мы начинаем догадываться, кто это. Разговор, пространство, все действие приближается к Шекспиру концентрическими кругами. И окружности то и дело возникают контрапунктом: медная кружка для сборов, шиллинги выручки, перевернутый бочонок с нечистотами.

Но ожидания обмануты, Шекспира не видно. Бербедрж вслед за каким-то юным аристократом направляется из театра в трактир «Сокол». Актер явно вязался в историю, недаром то и дело всплывает имя Марло, зарезанного в трактире. И тут вместо криминальной развязки новый поворот: юноша это переодетая фрейлина Мери Фиттон, «смуглая леди сонетов», и Бербедржа она привела в комнату с грязной кроватью, чтобы как-то мутно объяснить в любви и пригласить на свидание сюда же завтра: постучав, он должен назваться Ричардом Вторым (одна из ролей Бербедржа). Кроме того, пусть он передаст записку «мистеру Виллиаму». Мысли Бербедржа и Мери то и дело возвращаются к этому господину: «Друг вашего величества куда более тонок в обращении!» — дразнит Мери Бербедржа. А сам он в это время думает: «Да, Билл-то и поэт, и друзья у него все вон какие, и за этой леди он гоняется уже около пяти лет, и стихов исписал целую тетрадь, а так ничего у него и не вышло. Я же простой актер, и вот она моя».

Спустившись в трактирный зал, Бербедрж видит нечто, напоминающее нам о сквозняках за кулисами «Глобуса»: «Драка шла кругами. Поднимались самые дальние столики», нас снова затягивает круговорот. Увидев, что драка вокруг Шекспира, Бербедрж бросается к нему на помощь.

Все опять вертится вокруг Шекспира, но на этот раз мы не успеваем опомниться, как видим его (глазами Бербедржа): «Виллиама хватали за ворот, а он хлестко бил по рукам и говорил „Уйди!“».

Едва мы что-то разглядели, как бешеное вращение драки остановлено: в трактир, рассекая толпу, вступает граф Пембрук. «Шекспир, увидав его, снял руку с эфеса шпаги и с каким-то неясным восклицанием шагнул вперед. Мистер Виллиам, сказал юноша громко и спокойно, не замечая толпы, вы мне нужны».

Появляется надежда рассмотреть героя вблизи. Шекспир с Пембруком крупным планом сначала идут по улице, а потом беседуют у Пембрука в доме. Но мы настолько захвачены тем, что говорит Пембрук и тем, как реагирует на это Шекспир, что облик снова ускользает от нас.

Опять мелькают окружности: бутылка хереса, глиняная пробка, серебряные чаши, и, наконец, бронзовый шар, который Шекспир берет со стола и подбрасывает в руке. Из пьяной исповеди Пембрука мы узнаем, что Мери долго была его любовницей, звала Шекспира балаганным шутом, имела от Пембрука мертвого ребенка, «как ведьма зарыла его где-то в огороде» и после этого на коленях умоляла Пембрука жениться на ней; узнаем, как она интриговала через королеву, добиваясь брака, что рассорила Шекспира с Пембруком, «чтобы они не встретились в одной постели», что бросила в конце концов обоих и встречается в «Соколе»

с кем-то из актеров, что Пембрук там искал именно ее. Потом узнаем, что завтра покровитель Шекспира граф Эссекс, любовник семидесятилетней королевы, выступит с бунтом против нее, а значит, Шекспиру лучше уезжать из Лондона сегодня же ночью, ведь заговорщики обречены.

В этом потоке грязи Шекспир непонятно спокоен. Затем он поднимается и уходит. А мы так и не поняли, как он выглядит и что у него на душе.

Наконец Шекспир один, он возвращается домой «редкой лондонской ночью, полной звезд, лунного света и скользящего тумана над рекой». Мы видим его силуэт: «И по привычке всех высоких прямых людей, голову держал так высоко и прямо, что со стороны казалось — он идет и пристально всматривается в даль». Только Шекспир ли это? Нет, похоже, это сам Домбровский. А Шекспир опять улизнул, прорвал сеть.

Но на этот раз сам обман оказывается ложным ходом: через несколько строк мы падаем в новый вихрь мыслей Шекспира! «Все, что касается этой черной змеи, он знал уже давно. Только не в том порядке. И это уже перестало его трогать. Но Эссекс, Эссекс, вот что его мучило! Да! Теперь уж, пожалуй, ничего не сделаешь. Королеве нужна его голова». Шекспира беспокоит не подлость возлюбленной, а судьба друга и покровителя. Точно так же, как Бербедрж, забыв о Мери, бросается в драку, чтобы спасти Шекспира, устремляется в сторону Эссекса сам Шекспир. Но мысли его бегут дальше, в страшные области, Бербедржу недоступные: «Семидесятилетняя любовница! Кто знает, что скрывается за темной этой слов? Он всегда, еще с тех времен, когда работал у отца на городских скотобойнях, был особенно любопытен к этим черным провалам в душе человеческой. Но это и пугало его, как только он осознавал в себе этот интерес». Перед нами завязка Гамлета и Макбета: история, политика, любовь, скотобойня приоткрывают занавес, ветерок со сцены колышет редкие занавески, скрипит наскоро сколоченная мебель. И в следующий миг все связалось: в записке от Мери, переданной Бербедржем, была та же просьба, уехать срочно из Лондона. И Пембрук, и Мери, и он — все как-то замешаны в заговор Эссекса. Пьеса о низложении тирана «Ричард Третий», заказанная Шекспиру, была провокацией, частью неуклюжей политической игры. Его использовали.

Последние, судорожные обороты действительности, обратившейся в мысль: «И тут он вдруг ясно понял, что она была в том же самом трактире, откуда после свидания с ней и спустился к нему граф Пембрук. Это пришло к нему как внезапное озарение, и он сразу же почувствовал, что да, вот это и есть правда. И дальше он уже не мог идти.

Он остановился около какого-то дома, стиснул кулак и, откинув голову, истово посмотрел на зеленые звезды.

Потом очнулся, взял в руки молоток на бронзовой цепочке и несколько раз ударил в эту дверь. Ударил в эту крепкую дубовую дверь раз, и два, и три, потому что он стоял, думал, смотрел на звезды около самых дверей своей квартиры».

На следующий вечер Мери Фиттон стоит у окна своей комнаты. Тоска от предстоящего свидания с Бербедржем постепенно сменяется в ней радостным возбуждением: там, на улицах началось!

Вслед за мятежным Эссексом движется толпа.

«Шли купцы, торговцы, разносчики, сидельцы лавок, менялы, ювелиры, шлюхи, конюхи с извозчицх дворов, трактирные девки, мясники, рабочие городских скотобоев, клерки из ратуши, полицейские, темные личности из кабачков и заезжих дворов...

Шел секретарь суда, медлительный и длинноротый человек, доктор, специалист по выкидышам, которого и она знала, шел... Она ухватила за занавеску... Шел актер и пайщик театра «Глобус» Виллиам Шекспир, который не послушался ее записки и ухнул с головой в такой клокочущий котел, из которого уже не вылезают».

Мы уже не различаем ни в ритме прозы, ни в смысле происходящего, что это: направленное течение истории, вращение деревянной сцены, пустые и лихорадочные мысли Мери или разговорот вечности. Но и сумерки знакомы нам, и ритм все же на редкость узнаваемый. Это поступь Шекспира и нашего столетия:

Уж вечерет. Город кроет тень,
Все тот же город,
тот же год и день,
и тот же дождь и тот же гул и мгла,
и тот же тусклый свет из-за угла,

и улица все та ж, и магазин,
и вот толпа гогочущих разинь.

Мери ждет Бербеджа в гостинице. С раздражением, яростью, страхом она думает об одном человеке: Шекспире, который теперь неизвестно где. Она вспоминает свое знакомство с ним, как он взял несколько аккордов на клавишине, вспоминает, какими гибкими и умелыми ей показались тогда его пальцы, как раздражала огромная плоская серьга у него в ухе, как он с трудом мог дышать в ее присутствии. Нет, руки были не нежные, а сильные и грубые. Она не может понять, почему не захотела стать его любовницей. Действительно почему? ...Грязноватый поток сознания прерван стуком в дверь и знакомым голосом: «Ричард Второй».

Бербедж узнает, что Шекспир среди заговорщиков, участь которых уже ясна. Снова летит копьё — Бербедж несется выручать друга из беды, ему нужна та, кто заманила Шекспира в ловушку, лишь она знает, где он теперь. «...уже не осталось следа от прежней высокой влюбленности. Черная ведьма! Ворона! Кладбищенская жаба! Цыганка! Трактирная потаскуха! Девка!» — опять мусор сознания, прах внутренней речи, обрывки страстей, из которых возникнут макбетовские ведьмы.

Бербедж стучит в дверь и яростно называет идиотский пароль: Ричард Второй. Ему отвечают: «А вам тут делать нечего, Ваше величество. Вильгельм Завоеватель пришел раньше Ричарда Второго». Это голос Билла.

Мы видим Шекспира здесь в предпоследний раз снизу вверх, глазами Мери Фиттон. О свидании с Бербеждем и пароле он узнал еще накануне. Он, видимо, покинул восставших и ринулся сюда, в «Сокол». «Какой ветер поднялся от него, когда он хлопнул дверью! Даже пламя свечи заколебалось и чуть не погасло. Как полный хозяин, как будто тысячу раз он был тут, он подошел к стулу, раз! Сбросил плащ. Раз! Отцепил шпагу и швырнул ее на постель. Раз! Подошел, внимательно посмотрел на этот ужасный полог и рванул его так, что он затрещал и порвался, и пинком отбросил его в угол». Из следующей за этим удивительно грациозной и яростной немой сцены мы узнаем о Шекспире нечто, быть может, самое главное. И одновременно становится ясно, зачем нужна была эта романтическая потаскуха, этот праобраз леди Макбет, героиня сонетов, та, чьим именем названа новелла.

«Какая беспощадность, отточенность всех движений, невероятная ясность существования скользили в каждом его жесте. Та ясность, которой так не хватало ей в ее путаной чадной жизни». Ведь это наша жизнь, это нам не хватает «невероятной ясности!» За «смуглой леди» скрывался читатель.

А что Шекспир? «Страшное облегчение, которому не полагалось затягиваться, чувство безнадежного равновесия, притупленности овладело им». Он думает об Эссексе. Он предал его, ушел с полпути. «И вдруг он понял другое: вот он один, теперь у него ни друга, ни покровителя, ни любовницы. С другом он говорил сегодня в последний раз, покровителю сегодня отрубят голову, а любовница... Ну вот она лежит пред ним, распустившаяся, мягкая и уже полусонная... Что ему еще нужно от нее?». Начинается кода, последние повороты того колеса, что управляло всем действием:

«И вдруг словно косая дрожь пробежала по его телу, и он услышал, как на его голове зашевелились и поползли волосы.

От этой сырости, полумрака, скомканной грязной постели его внезапно потянуло в свою комнату, к бумаге, книгам, перу...

Он шел по улицам Лондона, зеленый от лунного света, тяжелый, усталый, но весь полный самим собой. ...

И почти шаг в шаг, не отставая, шел с ним родившийся сегодня во время мятежа его новый спутник, принц датский Гамлет, которому в эту ночь было столько же лет, сколько ему, Шекспиру!»

Нет, мы видели не лицо Шекспира, не его душу: мы видели, во что, перегорая, уходит жизнь, куда на самом деле идут толпы зевак и куда идет «принц-Гамлет». Видели, как в сумерках улиц, под зелеными звездами и зеленой луной, в грязных трактирах, деревянных балаганах, каменных домах все вертится: драки, бронзовые шарики, мысли, страхи, провокации и как таинственное это вращение незаметно переходит в шествие, а шествие в древесный рост, в полет копья сквозь алую плоть скотобоен, сквозь черные провалы сцены туда, к незримой нити, соединяющей все. Мы увидели совсем не то, что ждали. Не психологию творчества, не иллюстрированную биографию, а формы движения самой жизни, которые стали формами личности Шекспира и с «невероятной ясностью» перелились в мир, им созданный.

По ночам солнца древних сражались с чудовищами преисподней, омывались в подземных реках, плали по ним, сходили на ложа загробных богинь, гасли в волнах. Тревожный закат, последние сполохи на бледнеющем небе говорили о начале тайной жизни светила. Что там затевалось? Были то отблески доспехов, плеск поднимаемых парусов, улыбка богини или тихое угасание?

Таков Шекспир «Смуглой леди». Он дерется с проходимицами, он блуждает по улицам-рекам ночного Лондона, он идет вместе с бунтовщиками Эссекса, у него свидание в трактире. Мы не видим его лица, он все время окружен каким-то мрачным вихрем: потасовки, толпы, бунта, страсти.

Мир «Смуглой леди» полон движения. Движение это так убедительно, что начинаешь понимать: Шекспир, автор своих творений, представим только в нем. Оно придает ему неуследимость, незаметность. Вглядеться в его лицо нам, беглым свидетелям, нельзя. Понимаешь и другое: вне этого движения, вне этой постоянной смены декораций, вне этой неуловимости, этого риска, одержимости нет Шекспира. Рэтленд, Бэкон и другие, успевшие при жизни оказаться по ту сторону мольбертов Оливера, Хиллиарда, Джона де Критса, подтвердили свою способность остановиться, предстать перед лицом грядущего в спокойных позах, в красивых одеждах, среди парков и крытых галерей, атласа и парчи. Бытовой фон их творчества, если бы они были авторами шекспировых произведений, от начала до конца кабинет, библиотека родового поместья, комфорт и неподвижность. Шекспир же, за двадцать лет написавший больше трех десятков пятиактных пьес, не считая сонетов и поэм, представим пусть даже зевающим перед лицом веков от усталости, но никак не в кабинете. Чтобы разглядеть Шекспира, надо его остановить. Друскоутовская гравюра, стратфордский памятник это остановленный Шекспир.

Остановленный Шекспир герой двух новелл Домбровского «Вторая по качеству кровать» и «Королевский рескрипт». Они начинаются там, где кончается документ. К документу сам Домбровский относился так: «Его подлинность, синхронность, его форма (ведь это дошедший до нас осколок времени), четкость, неподкупность и независимость, то есть свобода от всех последующих напластований и истолкований, придают ему ту единственную достоверность, которой настоящий художник пренебречь не вправе». Может быть, именно такое понимание заставило дать новеллы об умирающем Шекспире в «неподкупном свете дня», ведь все разговоры, встречи, высвечивающие, наконец, лицо Шекспира, происходят в этих новеллах утром или днем.

Днем происходит разгор Анны Шекспир с пастором о предстоящем возвращении Шекспира в Стартфорд, о том, что его не очень-то ждут в семье, считают кутилой, молодым лондонским хлыщом в тонком зеленом плаще и с дворянской шпагой на боку. Этот разговор о праведности нажитого, о степенях веры, об искуплении и раскаянии заканчивается почти апокалиптическим предостережением пастора: «Будьте тверды и готовьтесь к испытанию вашей веры. Ибо некто уже стучится в двери вашего дома и во тьме мы не можем разглядеть лица его». Эти слова нам стоило бы принять и на свой счет. Ведь, как уже было сказано, тайна Шекспира это испытание нашей веры в человека, лица которого мы никак не можем разглядеть за вихрем времени. К тому же, этот человек творец, и мы должны поверить в него только на основании его творений. Поэтому вопрос об авторстве Шекспира это вопрос веры вообще, религиозный вопрос в самом остром его преломлении.

Днем приезжает Шекспир в Оксфорд, в гостиницу «Золотая корона». Мы видим его насквозь: он приехал последний раз повидать свою возлюбленную Джен Давенант, жену хозяина гостиницы, он тяжело болен, «Глобус» сгорел, и он рассчитался с театром навсегда, его стихи и пьесы больше не пользуются успехом. Он возвращается в родной город к старой, нелюбимой, но ждущей его жене.

Днем происходит разговор молодого врача Саймонса Гроу с Бербедем о том, что весь дом ждет смерти Шекспира, уже написавшего завещание. Днем Гроу входит в комнату умирающего Шекспира, и мы видим, наконец, этого плотного, упитанного джентльмена средних лет, с большой лысиной, полными щеками и очень бледного. Днем мы узнаем о характере его болезни. Днем Бербедеж уезжает с рукописями Шекспира.

Что же происходит в этих новеллах ночью? Ночью Шекспир мучается удушьем, ночью забывается от страданий, ненадолго, просыпается часа в три, тяжелый, набрякший, сонный, но не может снова заснуть. Предрассветным часом молодой Гроу просыпается в своей комнате и думает о больном: «Он как будто даже не умерал, а готовился к какой-то схватке. К участию в судилище, диспуте, к защите своих исконных прав перед каким-то высоким трибуналом. ... человек этот понимал, что защита будет трудная, ибо все свидетели лгут, а судьбы под-

куплены». Это снова ведущая тема XX века (и важный мотив у Домбровского) — противоборство человека и следствия.

Домбровский снова и снова возвращается к сюжету отречения Петра, на рассвете, с третьим криком петуха. Это окончательный расчет, отречение от всего, что связывало с жизнью, разрешение всех противоречий, двусмысленностей, называние вещей своими именами, отбрасывание последних сомнений. Недаром в этих повестях так читается документ: в нем, в этом промежуточном или окончательном результате судьбы, словно бы сосредоточена вся сила, действовавшего когда-то вектора. Документ спокоен, бесстрастен, но хранит в себе все давление жизни, выбросившее его на поверхность времени. В науке документы призваны разрешать сомнения, проливать свет. Но только художник способен преодолеть давление жизни, толкнув документ обратно в его время и представить все, что предшествовало появлению этого документа, увидеть человека, поверив в него на основании буквы официальных бумаг. Тогда в чередовании дня и ночи, белых просветов и черных строк, в какой-то предрассветной гравюрной штриховке проявятся черты Уильяма Шекспира.

В эссе Домбровского «Ретлендбеконсоутгемптоншекспир» рассказывается такая история. В послевоенные годы в Алма-Ате Домбровский познакомился с художником Иткиндом. Иткинд получил госзаказ на бюст Шекспира. Домбровский принес художнику массу репродукций разных портретов Шекспира. И все-таки Иткинд остановил свой выбор на друскоутовской гравюре и стратфордском бюсте. Домбровский задумался: что за чувство руководило Иткиндом? Мог ли Шекспир быть таким?

«Да нет, это он, он самый, — сказал Иткинд спокойно. — Только болен он очень, у него вот эта самая, он приложил руку к груди, закашлялся и несколько раз хрипло вдохнул и выдохнул воздух: — х! х! х! Одышка! Дышать ему тяжело! И сердце, сердце... Вот я сделаю, вы увидите, это должно хорошо выйти...

А через неделю он явился к нам и сказал, что все готово и мы можем посмотреть его работу. ...

Задрапированный снизу какой-то пестрой занавеской, перед нами стоял автор «Бури», Шекспир последних лет своей жизни. Он был уже немолод, не больно здоров, но ясен, прост и спокоен. Он смотрел на нас из какого-то жизненного далека, и самое главное, что было в нем, это чувство глубокого равновесия (именно равновесия, а не удовлетворения), полного и честного расчета с жизнью и самим собой. Но было тут и еще что-то. Что же?

И вдруг мне вспомнилось: вот так порой смотришь с крутой высоты на место, где твой дом и дор. Все тебе тут издавна знакомо, искожено, изъезжено, примелькалось и приелось, но ты поднялся над всем этим, и все сразу стало иным, острым, натянутым и болезненным, как пульсирующий нерв. И то ли высота поглотила весь сор и шелуху, то ли ты почувствовал под ногами край земли — дальше уже не шагнешь, некуда! но все уже другое, совсем другое, и ты в эту минуту тоже другой.

Одним словом, что-то очень важное пришло мне в голову, только я не знал, как это выразить, и сказал:

У Бенедиктова есть гениальные строчки:

Так над землей, глядишь, ни ночь ни день;
Но холодом вдруг утро засвежело,
Прорезалась рассветная ступень,
И решено сомнительное дело».

ИСТОРИЯ НЕРАВЕНСТВА

ИГОРЬ ЕФИМОВ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР В РОССИИ

К середине 1930-х годов диктатура большевиков достигла апогея полновластия. Созданная Сталиным машина подавления держала под абсолютным контролем всё население страны. НЭП был отменен, с рынком покончено, экономическая независимость крестьянства раздавлена, внутрипартийная «оппозиция» разгромлена. Многие свидетели, вспоминая те годы, говорят, что между 1935-м и 1936-м наступило какое-то странное затишье. Казалось, что отсутствие видимых внутренних противников и угроза извне должны привести, наконец, свирепую власть к перемирию с собственным народом, должны ослабить жестокость многолетних репрессий и преследований невинных людей.

И тогда-то и грянул Большой террор.

«Что произвело это необычайное событие?» — спрашивает Лев Толстой о войне 1812 года.¹

«Что произвело эту непостижимую катастрофу?» — спросим и мы о Большом терроре в России 1937-го.

Сейчас есть целый ряд видных историков, которые находят рациональное объяснение даже для такого дикого этапа войны коммунистов против общества, каким явилось «раскулачивание». Они считают, что растущая экономическая мощь и независимость крестьянства создавала потенциальную угрозу власти партократии, поэтому она повела против крестьянства войну на уничтожение. Российский крестьянин был превращен в колхозника, то есть возвращен в крепостное состояние с обязательным прикреплением к месту жительства, так что отнять у него плоды его труда стало намного проще. С этой точкой зрения можно спорить. Можно указать на то, что лишенная возможности какой бы то ни было политической организации крестьянская масса никакой угрозы для партократии не представляла. Или что резкое падение сельскохозяйственного производства в результате коллективизации было чревато более серьезными опасностями для власти коммунистов. Но, по крайней мере, на сегодняшний день слышны какие-то споры, ведется какое-то аналитическое осмысление раскулачивания.

О Большом терроре не спорят.

Событие это до сих пор не имеет убедительного рационального истолкования. Оно продолжает ужасать нас не только своими масштабами, но и необъяснимостью. Зачем всемогущей коммунистической диктатуре понадобилось уничтожать миллионы своих лояльных подданных? Причем подданных нужных, полезных? Причем без видимой задачи запугать остальное население, ибо принимались все меры, чтобы скрыть масштабы происходящего? Причем накануне надвигающегося столкновения со страшным внешним врагом — Германией, а может быть, и Японией?

«1937 и 1938 годы, — пишет Лидия Чуковская, — воспитывали в людях пожизненный ужас и притом некое равнодушие к собственному поведению, по-

¹ Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч. в 22 тт., т. 6. М., 1980, с. 7.

тому что судьба человека не очень-то зависела от его слов, мыслей, поступков. Человек круглосуточно пребывал в ужасе перед судьбой и в то же время не боялся рассказывать анекдоты и в разговорах называть чужие имена: расскажешь — посадят, и не расскажешь — посадят... Написал письмо Ежову в защиту друга — и ничего, тебя не тронули; написал множество доносов, посадил множество людей, а глядишь — и тебя самого загребли... Трудность постижения действительности, никогда до того не существовавшей в истории, сбивала с толку и не учила разумно вести себя: чувство причин и следствий было утрачено начисто.¹

В мировой истории каждый эпизод массового террора содержит по крайней мере один повторяющийся элемент: большинство натравливается на меньшинство. Отличаются они лишь приметой, по которой это меньшинство выделяется: инквизиция сжигает «еретиков и ведьм», Иван Грозный казнит «изменников», в Турции режут «неверных» армян, Гитлер уничтожает «расово неполноценных» евреев. Но каждый раз это меньшинство обладало каким-то имуществом, богатством, которое властителям было соблазнительно отнять. Стимул грабежа придавал террору подобие смысла.

В Большом терроре 1937 года нет даже этого элемента. У расстрелянных, высланных, брошенных за лагерную проволоку не было ничего своего — все, чем они владели, и так принадлежало коммунистическому государству. Их обвиняли в шпионаже, диверсиях, саботаже — но даже сами палачи, пытками вырывавшие эти признания, не могли всерьез верить в них. Жертвы террора не понимали, за что и для чего их убивали. Не понимаем этого до сих пор и мы.

Зато сегодня у нас есть возможность приблизиться к ответу на другой вопрос: кого убивали? За кем приезжали по ночам «черные марусы»? Кто заполнил подвалы и тюрьмы НКВД во всех городах огромной страны?

Сейчас, 60 лет спустя, сопоставляя огромный объем свидетельских показаний, исследований, опубликованных документов, мы можем ответить на это достаточно определенно: в подавляющем большинстве жертвами оказались квалифицированные специалисты самых разных профессий. В подвалы Лубянки и котлованы ГУЛага хлынул поток инженеров, профессоров, писателей, учителей, врачей, офицеров, прорабов, завмагов, а также профессиональных партийцев, имевших какой-то опыт и знания еще с дореволюционных времен. То есть мы ясно видим, что удар был направлен не в диком ослеплении, а по точному прицелу: на хозяев знаний и хозяев вещей.

Партократия есть идеальная машина для захвата и удержания власти. Инстинкт власти руководит всеми ее действиями и порывами. Сокрушив все сопротивляющиеся силы в стране, уничтожив реальных противников, отняв богатство у богатых и последнюю рубаху у бедных, она столкнулась неожиданно с огромной сферой, перед которой должна была почувствовать себя бессильной: с круговоротом современной информации, необходимой для управления индустриальным обществом.

Нельзя забывать и то, что Ленин и Сталин «ковали» свою партию из людей, находившихся на нижних ступенях по шкале врожденного неравенства, из низковольтных. Именно такие люди были слепо преданы партии. Со дна привычной приниженности она вдруг возносила их на вершину власти. Уже при первом расколе РСДРП (1903) все образованные и самостоятельно мыслящие отшатнулись в лагерь меньшевиков.² Внутривнутрипартийная борьба 1920-х годов шла по той же схеме: «вычищались» люди со знаниями, с талантом, с аналитическим складом ума. Спаянная железной дисциплиной победная колонна «коммунистов-сталинцев» понимала только одну логику: логику нагана и колочей проволоки. Но, победив, она столкнулась с задачей, к которой была абсолютно не готова: задачей управлять экономикой огромной страны.

Оказалось, что и в коммунистическом государстве, где «упразднены» классы и частная собственность, кто-то должен заниматься все теми же четырьмя функциями: труд, распорядительство, власть, миропостижение. Власть целиком принадлежала партократии, трудовой народ был в избытке. Но кому же поручить две другие функции? Победители судорожно кинулись готовить кадры «классово близких» хозяев знаний и хозяев вещей.

¹ Л. К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1980, т. 2, с. 413—414.

² Сб. Большевики, 1903—1916. Составитель М. А. Цыяловский. М., 1918. Перепечатана в Нью-Йорке: Телекс, 1990, под ред. А. Серебрянникова.

За десятилетие, предшествовавшее Большому террору, в России наблюдается неслыханный рост числа людей, получивших более или менее сносную подготовку к управлению хозяйством индустриальной державы. С 1926 по 1937 год количество научных работников возросло на 570%, инженеров и техников — на 470%, агрономов — на 390%, работников культуры — на 500%.¹ Общая численность «специалистов» увеличилась в пять раз, достигнув цифры 9,5 миллионов человек. Принимались все меры, чтобы в этот слой не просочились отпрыски «эксплуататорских классов», — их просто не пускали в вузы и на рабфаки. Отбор шел только среди выходцев из рабоче-крестьянской среды. Тем не менее это был отбор. И он выделял и возносил самых способных, самых энергичных, самых мысленных. То есть давал возможность проявиться врожденному неравенству.

Таким образом к середине 1930-х годов управление огромной многонациональной империей оказалось в руках двух структур, сильно отличавшихся по своему составу, по человеческому материалу. Одна безраздельно владела политической властью, другая — необходимой информацией. Политическая власть оказалась в руках партаппарата, составленного из людей, способных преданно служить, подчиняться, даже идти на смерть, но неспособных «предвидеть и предсказывать». Хозяева знаний и хозяева вещей были лишены реальной власти в обществе, но сильно превосходили средний уровень, включая и партократию, по своим знаниям и умственным способностям.

Вся идеологическая накачка большевиков сводилась к идее, утверждавшей, что миром эксплуатации правит капитал и что стоит разрушить этот мир, отнять капитал — и безраздельная власть окажется в твоих руках. Однако выяснилось, что в этом новом мире, где уничтожен капитал и рынок, управление хозяйственно-производственной деятельностью переходит опять к кому-то другому. Раньше это был буржуй — обладатель капитала, теперь его место занял специалист — обладатель информационного потенциала. В миллионах жизненных ситуаций специалист мог сказать всевластному партократу, что отданный им приказ невыполним потому-то и потому-то. А у партократа не было ни знаний, ни умственных способностей, чтобы оценить, насколько специалист прав. Именно поэтому так часто специалистам предъявлялись обвинения в саботаже. Но на психологическом уровне эта ситуация была чревата только одним: нарастанием глухой, иррациональной ненависти обделенного талантом к талантом одаренному.

Из этой подспудно кипящей ненависти и вырвалась лава Большого террора.

Принято считать, что террор был исключительно преступлением коммунистической диктатуры, что народ не принимал в нем участия. На уровне организационном — не принимал. Но на уровне эмоциональном партия и народ были едины. Их родила вечная подозрительная неприязнь низковольтного большинства к высоковольтному меньшинству.

Нельзя также забывать, что террор, направленный против верхних слоев общества, не только удовлетворяет инстинкт власти, но и несет весьма ощутимые блага всем уцелевшим. Если за ночь «черные маруси» тихо увезут на расстрел тысячу профессоров, завлабов, председателей, генералов, то наутро уже десять тысяч человек, стоявших ниже по служебной лестнице, поднимутся один за другим на следующую ступеньку, получат повышение по службе, увеличение оклада, новую квартиру.

Это про них Сталин скажет: «Жить стало лучше, жить стало веселей».

Радостный энтузиазм поздних 1930-х, отголоски которого долетают до нас под музыку Дунаевского в кадрах кинохроники тех лет, не был одним только пропагандным мифом. Когда ты являешься утром на работу и тебе внезапно предлагают занять место твоего начальника, огонек радости в душе вспыхивает безотказно. И ты не очень склонен интересоваться, куда делся этот довольно занудный тип, помыкавший тобою еще вчера. А на твоё освободившееся место тут же продвинется другой. А на его место — третий. И цепочка радостных огоньков постепенно сольется в ручеек, в реку, выплеснется на улицы праздничными демонстрациями, парадами физкультурников, знаменами и транспарантами, загремит барабанами и оркестрами.

Конечно, и внутри партократии должны были раздаваться опасливые голоса: «А не ослабнет ли государство, если мы будем так последовательно снимать верхний слой лучших специалистов?» Но исходить такие предостережения могли

¹ Leopold Labedz. The Structure of Soviet Intelligentsia. In: The Soviet Intelligentsia, Richard Piper ed., New York, 1961, p. 69.

только от людей, в которых еще сохранялась какая-то способность «предвидеть и предусматривать». А именно эта способность и была самым опасным свойством в те годы, именно она служила признаком, по которому шел отбор жертв. Господствовал лозунг: «У нас незаменимых нет!» Поэтому можно себе представить, как редко и как слабо должны были прорываться такие голоса.

Иногда доводится слышать такое объяснение: массовый террор был необходимой ценой проведения индустриализации.

Но лучший исследователь Большого террора, историк Роберт Конквест, отвергает этот аргумент. «Все экономические успехи, достигнутые — или, по крайней мере, объявленные — Сталинским режимом, — пишет он, — были уже в наличии накануне Большой чистки. Нет никакого сомнения, что в хозяйственном плане террор принес только вред: он изъял из производственного процесса большое число лучших руководителей... Экономический рост в 1938—40 годах замедлился».¹

Деспотические режимы применяли бы массовый террор гораздо чаще, если бы над ними не висела военная угроза извне. Именно поэтому случаи массового террора наблюдаются, как правило, в крупных империях, которым реже грозят нападения соседей: проскрипции Суллы в Древнем Риме, инквизиция в Испании. Но когда к власти приходят низковольные, то есть неспособные предвидеть и предусматривать, тогда ослабевает даже инстинкт самосохранения и военную угрозу перестают принимать в расчет.

Уничтожение командного состава Красной армии, при нарастающей угрозе со стороны Германии, при уже начавшихся военных столкновениях с Японией, выглядит шагом самоубийственным для режима, политическим безумием. Если бы Сталин опасался заговора своих генералов, достаточно было бы уничтожить верхушку командного состава. Но нет — террор докатывался до батальонных командиров. Конквест приводит число погибших (по данным советской прессы): маршалы — трое из пяти; командующие армией — 13 из 15; адмиралы — 8 из 9; корпусные командиры — 50 из 57; командиры дивизий — 154 из 186; общая численность уничтоженных офицеров — около 43 000.² На место квалифицированных профессионалов военного дела были выдвинуты необученные новички. Красная армия была настолько ослаблена, что оказалась неспособна, при огромном численном и техническом превосходстве, разгромить небольшую финскую армию в войне 1939—40 года.

Итак, история ясно показывает, что Большой террор уничтожал людей в подавляющем большинстве лояльных и даже преданных режиму; что он привел к катастрофическому ослаблению военной и экономической силы советского государства; что при честном исследовании террору невозможно найти ни прагматического, ни идеологического, ни экономического, ни военно-стратегического объяснения. И неизбежно возникает вопрос: как мог такой умный, хитрый, умелый, прожженный властолюбец, как Сталин, нанести себе такой удар? Зачем ему понадобился Большой террор?

Снова и снова логический ум историка пытается атаковать это противоречие — и снова и снова отступает в растерянности. Даже Конквест доходит лишь до признания, что «случившееся в России под властью Сталина не может быть понято и интерпретировано в категориях здравого смысла, если под здравым смыслом мы договоримся понимать то, что житель демократического Запада считает естественным и разумным».³

«Я не могу поверить, что Сталин — это просто вульгарный гангстер», — восклицал страстный представитель лагеря уравниателей Бернард Шоу.⁴ Мыслитель-состязатель не побоится подобного допущения. Но и ему будет нелегко поверить, что гангстер мог действовать так явно во вред себе, что он утратил инстинкт самосохранения. Ибо ни тот, ни другой не посмеет поставить под сомнение одну из составляющих рассматриваемого противоречия. А именно утверждение: «Сталин — умный».

Но почему? почему?

Почему образованные и думающие люди продолжают считать умным человека, который разорил сельское хозяйство в великой сельскохозяйственной держа-

¹ Robert Conquest. The Great Terror. A reassessment. New York, 1990, p. 461.

² Там же, с. 450.

³ Там же, с. 470.

⁴ Там же.

ве, кормившей до него не только себя, но и половину Европы? который уничтожал преданных ему слуг и соратников? который ни в грош не ставил ни свои, ни чужие обещания, но верил листку бумаги с подписями Молотова и Риббентропа? который отказывался замечать миллионную немецкую армию, подступившую к границам России? который верил, что урожай можно поднять, насадив лесозащитные полосы? который с важным видом писал свою лингвистическую околесицу? Почему?!

Да только потому, что сильному уму — хоть уравнителя, хоть состязателя — сладко верить в логическую стройность миропорядка. До тех пор пока мир подчиняется причинно-следственным связям, сильный ум чувствует себя уверенно, он имеет шанс вознестись над миром и — хотя бы в теории — главенствовать в нем. Какие бы извержения кровавого безумия ни прорывали тонкую пленку разумности на протяжении мировой истории, рациональный ум ухитряется либо не заметить их, либо подыскать им логическое истолкование. Ибо иначе он потеряет главное свое сокровище — чувство уверенного превосходства над хаосом, сладкую гегелевскую мечту о том, что «все существующее разумно».

Он рассуждает примерно так: «В долгой и яростной борьбе за власть Сталин победил всех своих противников, включая таких умников, как Троцкий, Каменев, Бухарин. О чем это говорит? Только о том, что он был в чем-то умнее и хитрее их».

Допустить, что в политической борьбе, в кризисную эпоху, главные действующие лица — не хитроумие, не логика, даже не расчетливое коварство, а темный инстинкт и иррациональная страсть, было бы слишком болезненным ударом для гордыни сильного ума. Поэтому такое допущение всерьез не рассматривается ни одним так называемым профессиональным историком.

Парадокс заключается в том, что при всех своих талантах и прекрасной образованности Троцкий не обладал теми важнейшими знаниями, которые дает только одна школа — школа унижений. Вернее, он окончил только первый класс ее: унижения талантливого юноши из еврейского местечка, вынужденного пробиваться внутри сословной, иерархической, сильно зараженной антисемитизмом империи. Для него разрушение империи было естественным концом унижений. Революция покончила с сословным, имущественным, национальным неравенством — теперь врожденное неравенство могло, наконец, проявиться, вынося наверх самых энергичных и талантливых. И, в первую очередь, его самого.

Не то Сталин.

В школе унижений он прошел все классы, все ступени. Сын пьяницы-сапожника, избивавшего его по любому поводу. Беднейший ученик в церковной школе.¹ Недоучившийся семинарист. Несостоявшийся поэт. Революционер, которого используют для уголовных дел. Среди блистательных ораторов и борзописцев — косноязычный нацмен, не владеющий по-настоящему ни одним языком. Бездарный военачальник среди прославленных красных полководцев гражданской войны.

Как он должен был их всех ненавидеть!

С какой затаенной мстительной страстью шаг за шагом продвигался к моменту торжества над ними. И как он был понятен и близок в этой главной страсти темной массе рядовых большевиков!

Конечно, Сталина никак не устраивала ситуация, в которой таланту воздавалось бы должное. На что он мог тогда надеяться? Недоучка, с темным прошлым, раскритикованный самим Лениным, не имеющий никаких особых заслуг перед партией?

Но в одной сфере он был гениален. И знал это.

Он был гением посредственности.

Чувства, которые низковольтный испытывает к высоковольтному, бушевали в нем с такой силой, что тысячи и миллионы низковольтных инстинктом, нутром опознавали в нем своего природного вождя. И шаг за шагом проталкивали его к вершине власти. Власти над партией — а значит, и над всей страной.

И он не обманул их надежд. Он возглавил армию низковольтных и повел их на самоубийственное, иррациональное, мстительное уничтожение высоковольтного меньшинства.

Подстроить падение политического соперника, захватить демагогией толпу, организовать убийство опасного противника может всякий прожженный поли-

¹ Лев Троцкий. Сталин. М., 1990, т. 1, с. 25—30.

тик. Но начать планомерное убийство миллионов людей в собственной стране можно только в том случае, если в душах десятков миллионов будет тлеть осознанная или неосознанная ненависть к уничтожаемому. Должна быть ненависть к еретикам, к ведьмам, к инородцам, к иноверцам, чтобы в стране запылали костры и замаячили виселицы. Но что может быть более надежным, всегда готовым, чем тихая ненависть отставшего к обогнавшему, обделенного к одаренному, слабого к сильному?

Во всех главных кампаниях, проводившихся Сталиным за время его 25-летнего правления, мы видим его безжалостно преследующим лучших: лучших крестьян, лучших инженеров, лучших ученых, лучших командиров, лучших композиторов, лучших писателей и даже — самоубийственно! — лучших врачей.

Русские высоковольтные в подавляющем большинстве приветствовали свержение монархии. Революция казалась им справедливой расплатой за столетия социального неравенства. Но высоковольтному интеллигентному сознанию дика мысль о том, что врожденное неравенство может доставлять людям еще большие страдания, чем неравенство сословное, имущественное, классовое. Ибо этих страданий высоковольтный — получивший от рождения пять талантов — не испытывает и не знает. Он не понимает, что ему нужна защита от недоброжелательства низковольтного большинства. И защита эта вырабатывается веками в виде морально-религиозных требований и прочной структуры социальных отношений. А там, где эту структуру внезапно разрушает политическая буря, высоковольтным, одаренным, сильным — не выжить.

Катастрофу революции многие интерпретировали как расплату за социальное неравенство.

Катастрофу Большого террора следует интерпретировать как расплату за неравенство врожденное.

— За что?! Мы служили своей стране верой и правдой! Приносили огромную пользу! Мы ни в чем, ни в чем не виноваты! Убивая нас, вы сами себе наносите страшный вред и ущерб! — кричали изумленные жертвы террора.

«Для нас нет худшего вреда и ущерба, чем терпеть вас, догадливых, притких, быстроумных, рядом с собой, а особенно — над собой», — могли бы ответить низковольтные, если бы обладали даром красноречия и аналитического мышления.

Большой террор 1937—38 годов должен был бы послужить страшным исправительным уроком всему строю политического мышления высоковольтных уравнилелей даже в том случае, если бы он оставался единственным примером в XX веке. Но как добросовестная учительница повторяет снова и снова трудный урок беспечным ученикам, так история повторила это событие не один раз.

НАМ ПИШУТ

из Брюсселя

ДУЭЛЬ В КОНЦЕ XX ВЕКА

Последний лауреат Букеровской литературной премии — роман Яна Макэвана «Амстердам». Ян Макэван — известный английский писатель, автор двух сборников рассказов, удостоенных премии имени Сомерсета Моэма. Он также автор шести романов, из которых два были награждены литературными премиями, а его предпоследний роман «Постоянная любовь» стал бестселлером. Автор живет и работает в Оксфорде.

В наше время дуэльные нормы изменились: ни шпаг, ни пистолетов, вместо этого клинические средства убийства, например, эвтаназия в присутствии врачей и медицинских сестер.

Место дуэли тоже меняется. Это не пригород Парижа или Петербурга в десяти верстах от дома. И участников поединка доставляют туда не бьющие копытом рысаки, а самолеты.

А сами участники драмы? Их социальный слой остался прежним. Герои романа «Амстердам» принадлежат к высшим кругам лондонского общества. Клайв Линли — известный композитор. Вернон Халлидей — главный редактор престижного журнала «Судья». На примере их жизнеописаний автор рисует картину интересов, страстей и амбиций интеллектуальной и политической элиты Великобритании.

В промозглый февральский день Клайв и Вернон встречаются возле Лондонского крематория, где только что превратилось в пепел тело их бывшей возлюбленной Молли Лейн.

«Бедная Молли. Все началось с легкого покальвания в руке. Она его почувствовала, пытаясь остановить такси около Дочестер Гриль. Ощущение не проходило. Через несколько недель она с трудом вспоминала названия предметов. Парламент, химия, пропеллер — эти слова простительно не назвать с первого раза. Но кровать, сливки, зеркало?.. После исчезновения из ее памяти *asanthus* и *tresaiola* Молли обратилась к врачам. Она хотела услышать заверения, что все это пустяки. Вместо этого ее послали на анализы. В определенном смысле назад она уже не вернулась. Как быстро Молли превратилась в покорного пациента, пленника своего мужа Джорджа, угрюмого собственника. Стремительность ее нисхождения в мир сумасшествия и страданий стала предметом разговоров...

Появление Джорджа на ступеньках часовни побудило двух друзей retirоваться на заросшую сорняками и посыпанную гравием дорожку».

Им совсем не хотелось сталкиваться с ним. Как могла Молли, блестящая, умная женщина, одна из самых известных в лондонском обществе, выйти за него замуж? Что она нашла в нем? Знаменитая журналистка, остроумная красавица, за которой поклонники ходили толпами? Конечно, он богат. Но Молли могла покорить кого угодно.

На похоронах присутствует еще один бывший любовник Молли — министр иностранных дел Великобритании Джулиан Гармони. Композитор и журналист — представители свободных профессий, что предполагает либерализм их взглядов и идейные расхождения с Джулианом Гармони, членом консервативного кабинета, вероятным кандидатом на пост премьер-министра. Если он не классовый враг, то уж во всяком случае противник или соперник. А о чем говорить с противником? И друзья продолжают стоять особняком. Им кажется, что никто из присутствующих не переживает смерть Молли так болезненно, как они.

Вернон познакомился с Молли, когда они оба жили в Париже. Роман с молодой талантливой журналисткой перевернул его представления о жизни. Клайв встретил Молли позднее, когда из подающего надежды музыканта он уже превратился в известного композитора. Вот тут и появилась Молли, экзотическая, свободная душа, пренебрегающая правилами и предрассудками. Он влюбился без памяти и сделал ей предложение, которое она отвергла. И вот сейчас глубокие сожаления закрались в его сердце. Если бы он смог убедить Молли стать его женой, то ее конец не был бы таким печальным. Во-первых, он, в отличие от Джорджа, не держал бы ее взаперти, в полной изоляции от друзей. Ведь бедная Молли умирала в убеждении, что все о ней забыли. Во-вторых, он бы не допустил столь полной деградации блестящей личности. Скорее придушил бы ее подушкой. Клайв поделился своей мыслью с Верноном. Но тот рассмеялся, не веря, что его друг способен на такой поступок.

Странные это были похороны, без тела и гроба, без надгробных речей. Участникам только и оставалось, что рассматривать друг друга, обмениваться мнениями, новостями и по взглядам определять степень близости того или другого к ушедшей.

Автор — мастер завязки и многозначительных намеков. Как хороший садовник, он умело разбрасывает семена будущих событий, предоставляя читателям возможность самим пожинать плоды. В этом экономном романе каждая фраза несет смысловую нагрузку. Не случайно в эпиграфе, которым автор предваряет роман, говорится об ошибках друзей.

Друзья обнялись и расстались,
Ошибки пошли совершать.

(В. Х. Оген «Перекрестки»)

Роман начинается с описания встречи друзей. Будет еще одна, не менее знаменательная. Но до этого пока далеко. А тем временем Клайв и Вернон мерзнут на кладбище. У Клайва ооченели руки и ноги. Вернувшись домой, он пытается согреться, выпив виски, пробует играть на рояле. Замерзшие руки ему не повинуются. «Не так ли все началось у Молли? Вначале ей отказала рука, потом ноги, потом все тело».

Ощущение холода, онемения в руках не проходит, но Клайв не намерен кончать жизнь как Молли, низведенным до положения растения.

Эта мысль появляется сама по себе. А появившись, уже не покидает композитора. Ни попытки заняться своей симфонией, ни попытки заглушить страх спиртным не помогают.

И тогда он просит Вернона об услуге. Такой важной, что преданному другу понадобилось несколько дней на размышления, прежде чем он согласился. Но и он в свою очередь просит Клайва об одолжении. Оба друга приняли решение, которое составляет завязку романа. «Друзья обнялись и расстались. Ошибки пошли совершать».

Последующие события ведут к трещине в их отношениях, которая становится все шире и глубже. Ни о каком возвращении к прежней дружбе не может быть и речи. Одна надежда, что их пути никогда не пересекутся. Но судьба рассудила иначе. Последняя встреча Клайва и Вернона служит эпилогом романа. За несколько недель, прошедших между этими двумя событиями, автор разворачивает картину жизни английского общества. И он делает это с большим мастерством.

Произведение Яна Макэвана, казалось бы, имеет все черты полицейского романа. На самом же деле это роман нравов. На примере судеб трех протагонистов (трех потому, что судьба третьего любовника Молли Джулиана Гармони переплетена с судьбами Вернона и Клайва) автор описывает поколение 1960-х годов, иллюстрирует настроения и взгляды политиков, журналистов и артистов.

Хотя положение дел в искусстве достигло редкого благополучия и расцвета при Маргарет Тэтчер, и журналист, и композитор дружно ругают консервативное правительство. Их левые взгляды не дают им увидеть тот факт, что именно сейчас страна достигла благоденствия, что консерваторы смогли преодолеть кризисную ситуацию. И что сами они от этого только выиграли.

Критикуя идейные убеждения своих героев, автор наносит удар по сторонникам левых взглядов, которые составляли подавляющее большинство среди поколения 1960-х годов.

Герои Яна Макэвана терпят моральное и профессиональное фиаско. Каждый случай автор вскрывает отдельно и подробно.

Композитор, прогуливаясь в горах на севере Англии, присутствует при сцене насилия. Но он не желает отвлекаться от внезапно нахлынувшего на него вдохновения. Женщину насильовали почти в его присутствии, а он в это время сочинял заключительную мелодию к своему Opus Magnum. Эта мелодия оказалась парафразой мотива «Оды к радости» Бетховена.

Журналист, движимый ревностью и личной неприязнью, ошибся в оценке настроений общества и своих читателей. Эта ошибка стоила ему карьеры. И престижный журнал превратился в орган «желтой» прессы.

Министр, полагая, что никто не вправе судить его, позволил себе сфотографироваться в неподобающем виде. Его политическая карьера закончилась бесславно, лишь преданность жены спасла его от оскорбительного унижения.

Профессиональная несостоятельность героев, по мнению автора, — следствие их моральной несостоятельности. Как члены общества они бесполезны. Например, когда Клайва приглашают в полицейский участок, чтобы дать показания и опознать преступника, он не может этого сделать.

При всей видимости романа реалистического, этот роман абсурдный, потому что он держится на психологической хитрости: персонажи не в состоянии совершить того, чего от них ожидает автор. Это нерешительные, осторожные и расудочные люди. Такие люди обычно не способны на убийство, скорее на самоубийство. И у них всех есть для этого причины: неудавшаяся симфония, катастрофа с журналом, бесславный конец карьеры...

Творение Яна Макэвана можно определить как сатирическую повесть, в которой он занялся исследованием заката идеализма 1960-х годов, моральной деградации общества.

Трудно сказать, следует ли считать несоответствие характеров протагонистов их поступкам достоинством романа или его недостатком. Возможно, автор решил, что для нравоучительной повести не нужны реальные, жизненные образы. И своих героев Ян Макэван обрисовал скупо, без подробностей; они лишены плоти, и потому читателю трудно с ними себя ассоциировать. И потому невозможно им симпатизировать и переживать за них. Драма их жизни нас не затрагивает.

Если в обрисовке героев недостает жизненных подробностей, то текущими новостями роман изобилует. Возможно, ничего страшного в этом нет, но уж очень часто страницы романа напоминают газетные очерки воскресного выпуска «Таймс». Тут и проблема педерастии, и эвтаназия, и беспринципные голландские врачи, и любящая жена, спасающая мужа (а-ля Хилари Клинтон), и фатальная неизвестная болезнь.

При всем при том, этот короткий роман (80 печатных страниц), написанный элегантно прозой, читается увлеченно и вызывает восхищение логичностью повествования на основе абсурда.

Описав полный круг, герои снова встречаются на похоронах. Но вопрос как в «Гамлете» с Полонием: кто ужинает кем. Наконец-то Джордж может устроить торжественную панихиду Молли. Какое наслаждение составлять список приглашенных и готовить успокойную речь...

Лариса Залесова-Докторова

ПУШКИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина

«ЗИМА. ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ В ДЕРЕВНЕ? Я ВСТРЕЧАЮ...»

«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» (1829) — стихотворение, примечательное сложным соотношением бытового и лирического планов. Содержание его могло бы составить содержание рассказа или повести: однообразная и скучная жизнь зимой в деревне, которую нарушает неожиданный визит гостей и мгновенно завязывающийся роман. Повествование разворачивается в реальной временной последовательности (утро, день, вечер), насыщено многочисленными, конкретными, порой самыми незначительными бытовыми подробностями. Стихотворение несомненно имеет биографическую основу. Обстоятельства жизни Пушкина и в Михайловском, и в тверском имении И. Вульфа (где оно было написано), известные нам по письмам Пушкина и воспоминаниям его современников, очень близки к воспроизведенной здесь картине деревенской жизни. Исследователи пушкинского творчества выдвигали предположения и о возможных прототипах двух «сестриц» (...старушка, две девицы (Две белокурые, две стройные сестрицы)). По одной версии, речь идет о дочерях П. А. Осиповой, по другой — о сестрах Варваре и Екатерине Черкашениновых.

Однако чисто повествовательный сюжет является здесь лишь основой для сюжета собственно лирического. В научной литературе стихотворение неоднократно сопоставлялось с элегией П. А. Вяземского «Первый снег» (1819), где поэту удалось передать свойственное русскому человеку восприятие зимы как праздника. Снег и мороз, зимнее оцепенение природы парадоксальным образом пробуждает в нем прилив жизненных сил и ощущения радости бытия. В пушкинском стихотворении часто усматривают полемику с Вяземским, что вряд ли правомерно. Пушкин очень ценил элегию Вяземского, ему самому было близко и понятно именно такое восприятие зимы. (Ср. «Осень», «Зимнее утро»; стр. I—II, Гл. V «Евгения Онегина»). Согласен Пушкин и с тем, что здесь проявляется отличительная черта русского национального характера. Татьяна Ларина, «русская душою», особенно любила «русскую зиму». Зимняя скука и апатия, столь выразительно переданные в последней части пушкинского стихотворения, сменяются восторженным и радостным чувством: прелесть девушки и оттенки ощущений влюбленных связываются поэтом с особым, «зимним» состоянием природы и человека. В этих строках обнаруживаются прямые переключки с Вяземским:

Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щек твоих свежей алеют розы,
И лилия свежей белеет на челе.

(Вяземский)

И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

(Пушкин)

Резкое изменение самого образа зимы в пушкинском стихотворении обусловлено изменением душевного состояния поэта. Выясняется, что скука, хандра и утрата вдохновения вызваны вовсе не зимой и не деревней. Причина в том, что поэт нуждается в любви как необходимом условии пробуждения своих душевных сил. (Ср.: «Я помню чудное мгновенье»). В данном случае речь идет не о большой

любви, а лишь о мимолетной влюбленности. В стихотворении не уточняется даже, которая из двух одинаково белокурых и стройных девиц привлекла внимание поэта. Важна не столько она, сколько его чувство к ней. Это чувство — мгновенно вспыхнувшая влюбленность — освещает и преображает все вокруг. Зима оборачивается уже не скучной и бесцветной, но яркой и праздничной своей стороной.

Таким образом, в контексте лирического сюжета бытописательная часть стихотворения приобретает новый смысл. Не только и не столько жизнь зимой в деревне, сколько жизнь в отсутствии любви. Реальный объективный мир, воспроизведенный в стихотворении со всем житейским правдоподобием, во многом — лишь мираж, меняющий очертания в зависимости от состояния внутреннего мира человека.

О. С. Муравьева

Errata

В публикации романа Н. Катерли «Тот свет» (№ 2, с. 27, стр. 29 сн.) вместо «Бабарыкин» следует читать «Боборыкин».

В публикации писем Г. Иванова к Р. Гулю (№ 3) вместо «изд-ве» следует читать «Издательстве» (с. 139, примеч. 7; то же — в № 4, с. 32, примеч. 2 к письму № 13); вместо «Маковского. 14» — «Маковского¹⁴» (с. 139, стр. 1 сн.); вместо «наст. фам. Шварц-Омонский» — «псевдоним Шварц-Омонский» (с. 140, примеч. 4); вместо «философии Достоевского» — «философии Блока и Достоевского» (с. 142, примеч. 21); вместо «соредактор, затем гл. редактор (1947—1968)» — «гл. редактор (1953—1968)» (с. 147, примеч. 3); вместо «1883—1975» — «1883—1976» (с. 154, примеч. 11).

В послесловии Н. Телетовой к публикации рассказа В. Набокова «Дракон» (№ 4, с. 6) допущены следующие опечатки: после слова «Verlag» пропущено — «, Jena» (стр. 3 св.), начало стр. 7 сн. следует читать — «Не сдавая рассказ в печать».

В предисловии к рассказам «Сестрицы Вейн» и «Знаки и символы» не учтена их имевшая место перестановка. На с. 72 следует читать «шливовое» вместо «сливовое» (стр. 22 св.).

В предисловии к публикации писем к Г. Струве (№ 4) вместо «Д. И. Чекалина» следует читать «Д. И. Чекалова» (с. 24, стр. 4 св.). На с. 39 следует читать «intégrale» (стр. 15 св.) и «их» (стр. 18).

Приносим извинения авторам, переводчикам и читателям.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Г-ну Шубинскому, критику

Не имея чести знать Ваше отчество и не разделяя вообще Ваших взглядов на ответственность детей за мысли отцов, не могу, тем не менее, не высказаться публично о Вашей статье «Писательская Дума, или Протокольная история» («Час пик», 24 марта с.г., с. 15). Не могу, потому что явно на мой счет (ибо именно я оказался соседом Алексея — не Александра! — М. Любомудрова в ставшем, в том числе Вашим усердием, знаменитым двухтомнике «Русские писатели. XX век», изд-во «Прогресс») относится аккордный пассаж: «Насколько мне известно, *некоторые из авторов* (курсив мой. — М. Э.), которым все же посчастливилось участвовать в работе над двухтомником, оказались очень смущены соседством с «[Протоколами сионских мудрецов» (см. статью «Нилус С. А.» — М. Э.). Прими в работе участие еще несколько серьезных ученых — скандал был бы еще грандиознее».

Вы высказались публично почти через месяц после обсуждения двухтомника на Секции критики Союза писателей С.-Петербурга — Вы, автор двух стихотворных сборников и едва ли не десятков газетных и журнальных статей (ну почему Вы не свой среди поэтов? Что Вас подвигло пополнить секцию А. И. Рубашкина?!). Я очень жалею, что не внял уговорам Начальства и не был на шабаше заступников дискриминируемого народа — хотя мне было что сказать и о словнике, и о содержании статей. Огромное спасибо Татьяне Вольтской, запечатлевшей в «Невском времени» обсуждение издания русофобов едва ли не протокольно. Да-да, я не оговорился, ибо если в словаре не нашлось места для такого русского «лицедея», как Николай Глазков, или для пародиста А. А. Иванова, но увековечен ДОВИД КНУТ, странно, что на переплете не вытиснен МОГЕН ДОВИД (поясняю для православных — это шестиконечная звезда на флаге государства Израиль).

Да, в двухтомнике необъяснимые пропуски (Ваши филиппики совершенно справедливы). Да, издание 1998 г. содержит пятую часть имен, бывших в одноименном издании того же издательства 1990 г. (и тоже разгромленного в печати). Все так. Более того, в нынешнем есть и М. А. Лохвицкая (умерла в 1905 г.), и публицист В. М. Пуришкевич, но нет ЛЬВА ТОЛСТОГО, за 10 лет начавшегося века написавшего и «Живой труп», и едва ли не все статьи.

Но неплохо бы иметь в виду, что авторы словаря запрашивали Союзы писателей (а имя им сейчас легион!), чтобы их персонажи не обрели бессмертие с одной лишь датой рождения. Неплохо было бы знать, что М. Ф. Пьяных — не сотрудник Пушкинского Дома, а бывший профессор Педагогического университета им. Герцена. Что статью об Ольге Берггольц, действительно в два раза превышающую статью А. И. Павловского об А. А. Ахматовой, написала издательский редактор двухтомника, и Пушкинский Дом в сем неповинен...

Я не защищаю издание. Меня тоже шокируют и иные наличествующие, и некоторые пропущенные имена. Но неужели трудно понять, что вместить в 140-листный двухтомник (а точнее — ВТИСНУТЬ): 1) Серебряный век, 2) русскую литературу («по обе стороны») 1917—1985 годов, 3) современную литературу было заведомо невозможно...

Вот об этом и надо было говорить и писать, а не выставлять на посмешище Дело и Людей.

*Мих. Эльзон,
к счастью, сотрудник Публичной библиотеки
и, увы, Ваш сочлен по секции критики СП СПб.*

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ. Из новых стихов	3
ВАСИЛЬ БЫКОВ. Рассказы. <i>Перевод с белорусского автора</i>	5
ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ. Стихи	21
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Чтение. <i>Одноактная пьеса</i>	24
ВЛАДИМИР МАРАМЗИН. Возвращенец	36
СЕРГЕЙ НОСОВ. Хозяйка истории. <i>Роман</i>	44
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ. Стихи	100
МАРК ГИРШИН. Жених и невеста. <i>Повесть</i>	103
АРТУР КРОТОВ. Поющие во ржи	125
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ. Посвящается городу. <i>Стихи</i>	131

ГЕНЕРАЛЫ-ПРЕЗИДЕНТЫ

ЖАН ЛАКУТЮР. 17 брюмера генерала де Голля. <i>Перевод с французского и примечания Л. Цивьяна</i>	132
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Б. Ф. ЕГОРОВ. Елец — молодец. <i>Похвала русскому купечеству</i>	162
ЮРИЙ ПЕТРОВ. Злые мифы	167
ФЕДОР НАРИЦА. Граждане, неграждане и фарисеи	175

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ЕЛЕНА ЛАКТИОНОВА. Письма из-за кордона	179
--	-----

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

ЛЮДМИЛА ЗУБОВА. Цветаева в прозе и поэзии Бродского (<i>«Новогоднее» Цветаевой, «Об одном стихотворении» и «Представление» Бродского</i>)	196
ЛЕОНИД ФИЛИППОВ. Полеты с затворником. <i>Вариации на заданную тему</i>	205

ЧИТАТЕЛЬ — КРИТИКУ

РЕЙН КАРАСТИ. Сомнительное дело	214
---	-----

ИСТОРИЯ НЕРАВЕНСТВА

ИГОРЬ ЕФИМОВ. Большой террор в России	227
---	-----

НАМ ПИШУТ

<i>Из Брюсселя.</i> ЛАРИСА ЗАЛЕСОВА-ДОКТОРОВА. Дуэль в конце XX века	233
--	-----

ПУШКИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

<i>К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.</i> О. С. МУРАВЬЕВА. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»	236
--	-----

Errata	237
-------------------------	-----

Письмо в редакцию	238
------------------------------------	-----

CONTENTS

POETRY AND PROSE

Natalia Gorbanevskaya. New Poems	3
Vasil Bykov. Short Stories	5
Tatiana Voltskaya. Poems	21
Sergei Gandlevsky. Reading. <i>A one-act play</i>	24
Vladimir Maramzine. The Defector That Returned	36
Sergei Nosov. The Mistress of History. <i>A novel</i>	44
Sergei Stratanovsky. Poems	100
Mark Girshin. Bridegroom and Bride. <i>A tale</i>	103
Artur Krotov. The Birds in the Rye	125
Sergei Kalashnikov. Poems.	131

GENERALS - PRESIDENTS

Jean Lacouture. Brumaire 17 of General de Gaulle. Translated from the French and commented by L. Tsyvian	132
---	-----

JOURNALISM

B. F. Yegorov. Yelets: What a Town! <i>Homage to the Russian Merchants</i>	162
Yury Petrov. Wicked Myths	167
Fiodor Naritsa. Citizens, Non-Citizens and Pharisees	175

OUR PUBLICATIONS

Yelena Laktionova. Letters from Abroad	179
--	-----

ESSAYS AND LITERARY CRITICISM

Liudmila Zubova. Tsvetaeva in Brodsky's Poetry and Prose (« <i>A New Year Poem</i> » by Tsvetaeva, « <i>About One Poem</i> » and « <i>Performance</i> » by Brodsky)	196
Leonid Filippov. Flying with a Hermit. Variations on the Theme	205

READER TO CRITIC

Rein Karasti. A Dubious Matter	214
--	-----

HISTORY OF INEQUALITY

Igor Yefimov. The Great Terror in Russia	227
--	-----

WE HEAR FROM

Brussels: Larisa Zaiesova-Doktorova. Duel in the Late 20th Century	233
--	-----

PUSHKIN'S ENCYCLOPEDIA

The 200th Anniversary of Alexander Pushkin O.S.Muraviova. «It's Winter. What Can One Do in the Country? I Meet...»	237
A Letter to the Editor	238
Errata	237

Сдано в набор 15.03.99. Подписано в печать 22.04.99.
Формат 70×108 1/16. Печать высокая. 21,0 усл. печ. л. 21,73 уч.-изд. л.
Тираж 9700 экз. Заказ № 801.

Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Государственного комитета РФ по печати.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

движение «демплатформой в ВЛКСМ». В пятнадцать лет самоуправление, демократия, вечера у костра с откровенными разговорами. И, разумеется, песни Окуджавы, Галича, Городницкого. Галя была избрана председателем Совета коммуны. Чтобы понять среду, в которой формировалось наше поколение, вспомните и население университета и Публичной библиотеки, ленинградских театров и Филармонии, знаменитого кафе «Сайгон», где можно было встретить писателя Сергея Довлатова, композитора Александра Журбина, а рядом с ними — известных диссидентов. Галин муж, Михаил Борщевский, познакомил ее с «тунеядцем» Иосифом Бродским.

Атмосфера полутайной свободы, в силу обратной связи, поспрашивала каждого его собственный путь. Что же помогло Галине «прорваться» на избранный ею психфак университета в шестьдесят шестом, когда был непробиваемый конкурс?

За четыре экзамена — двадцать баллов! Безо всяких блатов и денег. И стала Галя специалистом в области этнографии, этнологии, антропологии, этносоциологием, этнопсихологом. В шестьдесят девятом у нее родился сын Платон, а у меня — сын Сергей. Галя поступила в аспирантуру Института этнографии Академии наук. В семидесятые годы начались поездки в Абхазию и Нагорный Карабах. Международные экспедиционные отряды изучали феномен долгожительства. Галину интересовали, прежде всего, этнокультурные традиции и социально-психологические стороны явления. Она обнаружила в Абхазии странную для советского сознания черту — искреннее уважение молодых к долгожителям, которые, оказывается, обществу просто необходимы. Но в тех же экспедициях она почувствовала опасность зреющих межнациональных конфликтов.

Интеллигенция и политика — вопрос вечный. И не имеющий, вероятно, решения.

Для Галины политика стала шансом претворить в жизнь социологические, этнологические знания, наиболее перспективные и полезные для общества, которые она приобрела, — в Петербурге, в Казани, в Абхазии и Карабахе. Она пришла в политику как депутат от Армении именно потому, что была специалистом по межнациональным проблемам. Политика, по сути, и есть продолжение социального творчества.

Оля, почему все-таки Галина, с ее жесткой логикой и зрелой прозорливостью, не смогла уклониться от смертельного удара, который предвидела?

Я думаю, сказалась преопределенность. Характер Гали, ее судьба. Галина имела уникальное влияние на умонастроение людей. И были у нее враги, как у каждого порядочного человека. Удар был точен. Убили человека, смерть которого стала знаковой. Сегодня понятно: реформы захлебываются. Демократические ценности дискредитированы в широком спектре умов. Обнищавший народ доведен до отчаяния. Поэтому кто-то решил: поиграв в демократию, поставить логическую точку. И в этом смысле прав академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда на второй день после убийства сказал: «Она была обречена! Ее нельзя было переубедить — ее можно было только убить». Это жестокие слова, но я с ним согласна. У Гали был особый тип ума. Ум, который доходит до человеческой души, до сердца, до нашей системы ценностей. Ее понимали все — от академика до бомжа. Известный генетик Эфроимсон считает, что основной биологической особенностью одаренных людей, гениев, являются «неспящие ассоциации». Он имеет в виду необычайную быстроту реакций, способность моментально анализировать, одномоментно синтезируя разную информацию — актуальную, витающую в воздухе. По Дарвину, побеждают только циничные, с повышенным инстинктом самосохранения, а по Эфроимсону — способные к самопожертвованию. Это и есть выдающиеся люди. Пришла как-то на могилу Гали с группой американцев. А там — учительница, петербурженка, рассказывает старшекласникам о жизни и смерти Галины Старовойтовой. И вспоминает при этом, что сказал своим родным Махатма Ганди, уже приговоренный к смерти от руки наемных убийц: «Если я спокойно скончаюсь дома, на своей постели, не верьте тому, кто про меня скажет: он был великим человеком!» Почему, рассказывая о моей сестре, она вспомнила именно это? Может быть, и в учительнице, и в ее учениках так продолжается судьба Гали? Та самая харизма. Слово красивое, а высокий трагический смысл его раскрывается свободно, как жизнь.

Беседа с Михаилом Кононов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70327 в каталоге Агентства «Роспечать» — «Газеты и журналы» (спрашивайте во всех отделениях связи России и стран СНГ).

Во втором полугодии 1999 г. «Звезда» предполагает напечатать:

Виктор Соснора. «Хроника Ладogi». Поэма.

Олег Дудинцев. «Убийство времен русского ренессанса». Роман.

Анатолий Курчаткин. «Бегство». Роман.

Михаил Панин. «Летчик». Роман.

Андрей Столяров. «Избранный круг». Повесть.

Джон Донн. «Поединок со смертью». Последняя проповедь. С английского.

Кейс Верхейл. «Гроза в прошлом веке». Повесть. С голландского.

Джамейка Кинкейд. «Автобиография моей матери». Роман. С английского.

Алексей Ансельм. Современная физика. Люди и проблемы. Статья, интервью.

Лидия Чуковская. «Прочерк». Глава из книги.

Вячеслав Вс. Иванов. Воспоминания о Романе Якобсоне.

А. А. Любичев. Историческое эссе.

Нина Кривошеина. Воспоминания об А. А. Любичеве.

Борис Носик. «Дом с привидениями (История возникновения французской компартии)».

Натан Эйдельман. Дневники.

Иван Лапшин. Письма к Н. И. Забеле-Врубель.

Ф. В. Расс. «Дело № 21058». Письма из соликамского лагеря.

М. В. Юдина. Письма к В. С. Люблинскому.

Ю. В. Зельдич. «Президент Франклин Рузвельт».

Элеонора Иоффе-Кемппайнен. «Карл Густав Эмиль Маннергейм — маршал и президент».

Дмитрий Травин. «Диктатура доллара против диктатуры пулемета (Аргентинская модель)».

Михаил Эпштейн. «Информационный взрыв и травма».

Специальный выпуск журнала посвящен культуре 1980-х годов.

Продолжаются рубрики: «Книги XX века» (ведет **Игорь Сухих**), «Читатель — критику» (ведет **Рейн Караста**), «Философский комментарий» (ведет **Борис Парамонов**), «Строительство империи».

В следующем номере журнала читайте:

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина — стихи, проза, публикации, исследования

- Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому и В. А. Жуковскому
- Письма Льва Сергеевича Пушкина
- Борис Голлер. Петербургские флейты. Повесть.